80 КОП.

ИНДЕКС 73274

НАШ СОВРЕМЕННИК

Наш современник, 1989, № 4, 1 – 192.

1989

НАШ СОВРЕМЕННИК

4

ISSN 0027-8238

НАШ СОВРЕМЕННИК

4 · 1989



В. И. ЛЕНИН *Художник А. Зубов*

НАШ СОВРЕМЕННИК



ОСНОВАН А. М. ГОРЬКИМ В 1933 ГОДУ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

4 · 1989

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА», МОСКВА

СОДЕРЖАНИЕ

Рукописи не рецензируются

Рукописи менее авторского листа не возвращаются

Редакция просит высылать рукописи только бандеролями

Рукописи, направленные членам редколлегии, будут рассматриваться только в том случае, если они поступят в редакцию, а не по домашним адресам

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию газеты «Красная звезда»: 123826, Москва, Хорошевское шоссе, 38.

Технический редактор Л. Л. Ежова. Корректоры С. Л. Колганова, М. И. Кононова.

Адрес редакции: 103750, ГСП, Москва, Цветной бульвар, 30. Телефоны: 200-24-24 (главный редактор), 200-24-83, 200-24-94 (заместители главного редактора), 921-43-59 (ответственный секретарь), 921-48-71, 200-23-05 (отдел прозы), 200-23-07 (отдел поэзии), 200-24-76 (отдел очерка и публицистики), 200-24-70 (отдел критики), 928-32-16 (международный отдел), 200-24-32 (технический редактор), 200-23-54 (корректоры), 200-24-12 (зав. редакцией)

Сдано в набор 12.01.89. Подписано к печати 17.03.89. А-02924.
Формат 70×108 1/16. Бумага типографская № 2 Печать высокая.
Усл. печ. л. 16,8. Усл. кр.-отт. 17,24. Уч.-изд. л. 22,56. Тираж 249 000 экз. Заказ 139
Цена 80 коп.

Издательство «Литературная газета», 103750, Москва, Цветной бульвар, 30.
Ордена «Знак Почета» типография газеты «Красная звезда».
123826, Москва, Хорошевское шоссе, 38.

Николай ФЕДЬ

ПОСЛАНИЕ ДРУГУ,
или
ПИСЬМА О ЛИТЕРАТУРЕ

Друг мой!

Ты ставишь вопросы и требуешь ответов на них. Смогу ли я это сделать? Меня страшат не только трудность предмета, но и твои знания и твой тонкий эстетический вкус. Тебя непросто удивить. Знаю, ты можешь все простить, кроме однообразия и скуки. Но как мне избежать этого? Пойми, хлопотное дело писать о текущей литературе. Тем более о некоторых ее сегодняшних тенденциях. Суди сам — не успеет высохнуть типографская краска твоей статьи, как бойкий журналист тут же и прихлопнет тебя. Особенно шустрый, скажу тебе, народ пошел в не так уж толстых, но и не совсем тонких журналах. Житья не дают серьезным писателям. Не приведи господь, если во главе такого издания вдруг окажется некто из бывших чемпионов по боксу. У этого свои понятия о чести и законах искусства. Этой тенденции соответствует усиление нигилизма по отношению к отечественной истории и культуре, оплевывание жизненной силы классических традиций и вместе с тем чрезмерное увлечение так называемой «диссидентской литературой» без учета критериев ее художественных ценностей. Что это: свидетельство внутреннего разлада и утрата чувства реальности и прочих моральных устоев? Бесспорно одно — это не причина, а следствие. Застойный период в экономической и социально-политической жизни, углубление общественных противоречий породили у ряда литераторов пессимизм, трагическую растерянность, поколебали веру в идеалы, в цельную гармоническую личность. Отсюда рост душевного смятения их героев, расщепление сознания, уход в мир тяжелых субъективных переживаний и т. д. Есть и другие аспекты проблемы. Читай же и прости, если что не так.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Успехи и просчеты современной литературы связаны с состоянием нашей жизни, с эрозией социализма и его духовных ценностей. А это наша общая беда. Ведь наш народ жадно тянулся к печатному слову, которое с давних времен было для него не пустой забавой, а голосом неподкупного судьи, перед которым не скрыть правды. Но правда где-то заблудилась и никак не могла к нему пробиться...

За последние годы заметно снизился и уровень теоретической мысли. В эту брешь начали просачиваться разрушительные силы капитулянтского, ревизионистского и мелкобуржуазного толка. А в наше время стали заявлять о себе недвусмысленные попытки подвергнуть сомнению жизненность нашего теоретического наследия, бросить тень на основополагающие ленинские идеи и культурные ценности народа. Целенаправленно, а нередко и по недомыслию на страницах некоторых газет и журналов с дилетантской серьезностью муссируются мнения, будто бы к В. И. Ленину восходят истоки административно-командной системы, что нашему строю чужд дух социализма и вообще проблематична правильность нашего выбора.

Все это умело внедряется в обыденное сознание, и кое-где уже начинают вызревать опасные рецидивы прошлого, подогреваемые националистическими наст-

рениями. Именно поэтому важен анализ сложнейших явлений и событий, активная позиция здоровых патриотических сил. Ведь обращение к ленинской концепции социализма не означает простого возвращения к ней, но ее историческое осмысление, то есть раскрытие жизненности учения В. И. Ленина в новых условиях.

Яркая ленинская звезда социализма всегда освещала трудный путь советского народа, согревала сердца тех, кто оказался в трагической ситуации в годы беззакония и репрессий. Характерно, что многие из этих людей поднимают свой гневный голос против попыток очернить нашу историю, представить послеоктябрьский период как сплошную цепь ошибок. Беру «Правду» от 17 января 1988 года. Коммунист, Герой Советского Союза Петр Семенович Колодяжный (г. Красногорск) пишет: «До 1937 года жил на Дальнем Востоке. Тогда был арестован мой отец, работавший железнодорожником. Вскоре в заключении он умер, а в 1956 году посмертно реабилитирован. Думаю, каждому ясно, сколько горя, переживаний, мытарств пришлось пережить и вынести. Ведь я был сыном «врага народа». Но я был убежден, что отец, сибирский партизан, коммунист революции, не мог быть врагом той власти, которую сам завоевал. Пережил трагедию отца. И никогда свою личную трагедию не ставил выше интересов народа, страны. Конечно, трудно быть выше личных настроений и эмоций. Но надо. Такова жизнь».

В редакции газет и журналов идет огромный поток писем соотечественников и настоящих друзей из-за рубежа, которые против извращения основополагающих принципов научного коммунизма, против ревизии идей и идеалов социапизма, наконец, против иллюзий насчет буржуазной демократии и американизма. Приведу выдержки из одного такого письма, присланного в «Правду» англичанином Дэвидом У. Стэйтом («Правда» от 26 августа 1988 г.). «Господа! Я надеюсь, что в энтузиазме перестройки и гласности, которые я полностью поддерживаю, советский народ и его правительство не откажутся от своих социалистических идеапов и принципов. Я испытываю озабочвнность, поскольку некоторые советские люди, кажется, видят в западном капиталистическом обществе, возглавляемом США, путь к лучшей жизни, который следует копировать. Конечно, в советском обществе многое можно было бы улучшить, но, сказав это, позвольте предостеречь советских людей насчет капиталистического общества, чтобы они не устремились слишком нетерпеливо ему навстречу».

Стэйт снова и снова обращается к центральной мысли своего письма: «...Советский Союз и его народ могут многим гордиться и за многое быть благодарными... ему (народу), следует очень осторожно относиться к перенимвнию капиталистических идей и методов. Следует признать, что капитализм по существу есть «закон джунглей», в то время как социелизм в своем лучшем проявлении (то есть когда обеспечиваются справедливость, высокий моральный уровень и свобода личности) олицетворяет собой высшие устремления человеческого духа... Я и моя семья христиане. Я горд тем, что я британец, и, несмотря на то, что я капиталист (хотя сравнительно мелкий и не являющийся членом какой-либо лолитической партии), я многим восхищаюсь в Советском Союзе».

Можно не сомневаться а том, что так думает большинство реалистически мыслящих людей мира.

Несмотря на тяжелые испытання, вера народа в избранный им путь не поколеблена. Все, что было,— достижения и победы, поражвния и беды,— это вехи судьбы строителей нового мира. И никому не дано изменить эту судьбу. «Да, социалистические принципы, само наше общество под воздействием авторитарно-бюрократических отношений, застойных явлений оказалось серьезно деформированным,— говорил М. С. Горбачев на встрече с молодежью Москвы и Подмосковья.— Слова разминулись с делами. И все же при всем негативном значении этих явлений они не оказали безнадежно разлагающего впияния на людей, на наше общество и не изменили основы социалистического образа жизни. Несмотря на все сложности и тормозящие факторы, миллионы советских людей самоотверженно трудились во имя социализма. Будь иначе, товарищи, трудно было бы рассчитывать, что политика перестройки, курс на обновление социалистического общества встретят такую горячую поддержку всего народа. Значит, жива социалистическая идея в наших людях, во всех поколениях, сохранилась преданность Октябрю, вера в социализм, вера в наш выбор».

Именно советская многонациональная литература сыграла громадную роль в сохранении в народе веры в созидательную силу ленинских идей, в гуманный облик социализма. Хотя на этом пути ей пришлось многое преодолеть и выстрадать.

Чувствую, друг мой, ты заскучал от всех этих общих рассуждений и отступлений. Но я предупреждал тебя, что литература — тонкая штука. Тут сам черт ногу сломит: куда ни сунься, то политика, то специфика, то амбиции — и все дьявольски запутано. А если серьезно — литература чрезвычайно важное дело, и в разговоре о ней недопустим облегченный подход или смешивание с другими видами духовной деятельности. А это уже анализ, требующий душевной работы, от которой мы так блистательно отвыкли. Что же делать! Наверно, буду продолжать.

В работах В. И. Ленина («О национальной гордости великороссов», «От какого наследства мы отказываемся?», «Критические заметки по национальному вопросу», «Памяти Герцена», «Лев Толстой, как зеркало русской революции») определено место наследия в культуре нового типа. К сожалению, многие ленинские заветы остались втуне. Хотя в конце 80-х достоянием общества становятся многие и многие ранее преданные забвению, а то и совсем отвергнутые художники, школы, целые направления и сложные явления отечественной и мировой литературы.

Вместе с тем сейчас заявляют о себе и нездоровые тенденции. Это небрежение к духовным ценностям далекого и близкого прошлого, к народной культуре. Сегодня именно об этом хлопочут, этого всячески добиваются расторопные откупщики перестройки и радетели неограниченных свобод в культуре. По словам Валентина Распутина, они пытаются создать в обществе такую атмосферу, при которой всякое упоминание о традициях и национальных корнях «вызывало бы решительное отвержение, а вокруг деятелей национальной мысли и культуры завести обстановку нетерпимости и террора. Немало они, надо признать, уже добились, ставя национальное рядом с фашистским и манипулируя этими понятнями с такой ловкостью, что разные их цвета для неопытного глаза соединяются в один. Послушать их — будто не было у нас тысячелетней культуры и еще более глубокой истории, будто были мы в мире вечными приживалами возле чужого тепла и ничего достойного мы ни в одном виде деятельности не добились, собственного дела не построили, будто величие отечественной истории и культуры в прошлом и настоящем — это хрен с редькой, и не более того, будто не выработали мы ни приличных собственных правил, ни ценностей, ни общественных установлений». Увы, это нынешняя реальность.

С этими процессами, аидимо, связана и неслыханная дискредитация деятелей художественной культуры иными газетами и журналами. Судя по некоторым средствам информации, при помощи клеветы и всякого рода циничных домыслов растет давление на творческую интеллигенцию. Разумеется, прицельный огонь ведется по наиболее талантливому и авторитетному. Дело дошло до подсчета тиражей, денег и количества комнат в писательских квартирах. Что уж тут говорить об их моральном облике? Идет некое соревнование в изощренности наветов. Тюменская областная комсомольская газета изрекла, не устыдившись: «Пресмыкающиеся господа писатели, утратившие чувство позвоночника». Остряки союзного значения могут отнести подобные шалости за счет суровых климатических условий Севера, мол, вечная мерзлота способна пагубно влиять на разгоряченные не в меру головы тружеников пера. Если б это было так. Однако... откройте столичные издания. Скажем, агентство печати «Новости», готовящее материалы для всех газет. В одном из них (явно рассчитанном на обывательский вкус!) живописуется «райская» жизнь наших писателей. Дикостью (не могу иначе охарактеризовать) несет от писанины некоего Г. Петросяна: «Творческие союзы предоставляют своим членам значительные блага. Бесплатные командировки, возможность издаваться или выставляться. Жить и работать на всем готовом за счет Союза в Домах творчества и многое другое, не говоря уже о престиже». И все это на страницах многомиллионых изданий, в сенсационном духе, на потребу обывателю, который суетится: «Так их, умников, «инженеров человеческих душ», кузькина мать» — и покряхтывает, довольный собою.

Как человек, хорошо знающий методы работы и возможности средств информации, замечу, что они могут много сделать в деле формирования общественного мнения, возвышая и облагораживая его; вместе с тем обладают равными возможностями и дезинформировать, оболванивать массы, активизировать агрессивное начало обыденного сознания. Все дело в том, в каких руках — добрых или недобрых — находится это обоюдоострое оружие. Факты говорят, что именно дезинформация находится на острие иных наших современных средств массовой информации, в частности в вопросе отношения к творческой интеллигенции, и уже на публику все больше начинает воздействовать вся эта чехарда. Читать об этом тяжело и неприятно. Но это реальность, от которой никуда не уйти. С удивлением и болью говорит известный белорусский писатель Нил Гилевич о парадоксах общественного мнения: «Будем откровенны: у известной части общественно-активного населения предшествующие времена воспитали не совсем уважительное и даже неприязненное отношение к национально-сознательной творческой интеллигенции. На последней сессии Верховного Совета республики мне было тяжело и грустно видеть, как грубым выпадам одного депутата против белорусских писателей горячо аплодировали в зале,— увы, отнюдь не «отдельные товарищи».

Хуже, если к подобным оценкам подключаются центральные газеты. Солидная газета «Известия», обычно проявлявшая ранее чуткое отношение к интеллигенции, в последнее время, к сожалению, все чаще впадает в мелочную тенденциозность. Недавно она затеяла недостойный разговор, скажем так, вокруг имени известнейшего русского художника Ильи Глазунова. Приведу лишь один пример, характеризующий методу корреспондента. Глазунов говорит о перестройке, в частности, следующее: «Но если мы говорим серьезно, то что мы меняем? Крышу или фундамент? Чтобы изменить фундамент, надо отменить марксизм, ленинизм и т. д.». Журналист комментирует, как бы предъявляя художнику политическое обвинение: «Вот так, взять и отменить. Был марксизм и ленинизм, и — нету. Правда, не ясно, как отменять это самое «и т. д.»... Я допускаю, что В. Верников тонкий знаток живописи, однако зачем же в такой недопустимо грубой форме оскорблять не только Илью Глазунова, но и миллионы подписчиков газеты?! В письме художника опровергнуты все домыслы и приписки корреспондента — вот бы и извиниться редакции вместо предпринятой смехотворной попытки защитить честь мундира...

Тем не менее попытаемся взглянуть на проблему шире и глубже. Негативное отношение к художественной интеллигенции определенной массы читающей публики — это, как говорится, одна сторона медали. Но имеется и другая — собственно деятели литературы и искусства.

Почему со страниц газет и журналов, из

издательских планов исчезают имена современных художников слова, составляющих честь и достоинство русской изящной словесности? Так что же происходит с литературой?

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Одна из тревожных тенденций текущей литературы — уклонение от создания полнокровного героя, изображения положительно прекрасного человека, что в конечном счете является главной задачей для любой литературы, хотя и дьявольски трудной для успешного решения. Объясняя основную мысль романа «Идиот», Ф. М. Достоевский писал С. А. Ивановой 13 января 1868 года: «Идея романа — моя старинная и любимая, но до того трудная, что я долго не смел браться за нее, а если взялся теперь, то решительно потому, что был в положении чуть не отчаянном. Главная мысль романа — изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете, в особенно теперь. Все писатели, не только наши, но даже все европейские, кто только ни брался за изображение положительно прекрасного — всегда пасовал. Потому что эта задача безмерная».

Будучи явлением социальным, литературный герой интересует современников прежде всего своими связями с общественной жизнью. Поэтому идейно-художественный критерий является определяющим при оценке художественного образа. Ибо он воплощает характеристические приметы времени, несет в себе истинные человеческие свойства современника. Каков он, этот герой литературы? Каким должен быть? От ответов на эти вопросы не может уйти ни один писатель, равно как читателю важно отчетливо видеть, на каком герое сосредоточивает свое внимание автор и что приветствует, а что, напротив, осуждает либо подвергает сомнению в нем. Бессмертные литературные герои — Антигона, Дон Кихот, Отелло, Болконский, Мелехов — это крупные вехи в истории человечества. Течет время, уходят их создатели, меняются люди, нравы, обычаи, политические системы, а они живут, сходят со страниц книг и воспринимаются новыми поколениями как реальные люди, страдающие, любящие и борющиеся вместе с ними...

Увы, современной литературе не хватает не только философичности, проникновенного взгляда на состояние современного мира, но и по-настоящему полнокровных образов и сильных характеров. Правда, широта взгляда и художественно совершенные образы взаимосвязаны и взаимообусловлены: нельзя писать шекспировской кистью пройдоху, обуянного мелкими страстями, или ничтожество, разбухшее от непомерного честолюбия. Не потому ли вдохновение покидает «эффективно» мыслящих и смекалистых беллетристов в тот момент, как только они касаются главного — изображения характеров, действующих в данных, конкретно-социальных условиях. Все реже и реже встречается в сегодняшних книгах яркая индивидуальность, самобытная личность, наделенная чувством, умом и исторической памятью.

История предоставляет серьезному писателю широкий простор для раздумий о движении жизни, человеке, судьбе народа. В ее анналах хранится множество событий, фактов, свидетельств очевидцев и т. д., проливающих свет на то, «почему» и «как» это было. Опираясь на удивительную способность искусства приближать минувшее, погружать нас в атмосферу отзвучавшей жизни, писатель дает нам возможность глубже понимать современность, острее чувствовать связь эпох как процесс развития человеческого в человеке. Здесь важную роль играет не только воссоздание того, что было, но и изображение того, как было. «Как было» — это концентрация авторского отношения к тому, «что было».

Между тем для достижения этого нужны характеры, живые художественные образы, через которые просвечивалась бы авторская идея, и не только просвечивалась, но двигала бы дела, мысли и эмоции героев. Диалектика частного и общего, сила воображения вскрывают внутренние связи событий и явлений, увеличивая и подчеркивая специфику ви́дения художника. Но это ви́дение, чтобы не быть виде́нием, пустым фантазированием, призвано опираться на реальную действительность. Конечно, историческое содержание явления искусства далеко выходит за рамки данной эпохи, однако выходить за рамки эпохи может лишь потому, что возросло в ней своими корнями.

В романе «Мужики и бабы» Б. Можаев описывает русскую деревню 30-х годов. Как известно, левацкие заскоки, вылившиеся в широкую кампанию «сплошной коллективизации», нанесли большой вред экономике страны, укладу народной жизни. По словам автора, ему хотелось «не просто оглянуться на деревню, прожитую жизнь, воскресить ее в своей памяти, но и разобраться в многолетнем наслоении, словно накипи на самоварной трубе, расхожих представлений относительно столбового вопроса: кем же был этот мифический средний крестьянин — тороватым, неутомимым работником, у которого следовало учиться «способам перехода к лучшему строю» (Ленин), или аморфным, недоразвитым увальнем — живет, а для чего — сам не знает?». Такова главная задача.

В произведении царит атмосфера всеобщей разрухи, стихия массовых сцен и общих психологических состояний. Образы как бы не находят своего настоящего развития, должного саморазвития и самораскрытия — и ни один из них не является неповторимо оригинальным или ярче других выписанным... Автор стремится показать конкретных носителей левацких перегибов (председатель райисполкома Возвышаев, попирающий элементарную законность, под стать ему губернский уполномоченный по коллективизации Ашихмин и секретарь местной партячейки Зенин) и тех, кто им противостоит (в этом плане любопытен середняк Бородин, который не может примириться с методами коллективизации: «Не то беда, что колхозы создают, беда, что делают это не по-людски...»).

Есть тут и фигуры бедняков — в основном это завистливые и мелкие люди, к тому же лентяи и выпивохи. Их имена говорят сами за себя: Якуша Ротастенький, Настя и Степан Гредные, Тараканиха. При всем этом «Мужики и бабы» вызывают противоречивые чувства. Виной тому не только язык романа, клочковатый и невыразительный, но и то, что герои выступают в нем не пластически полнокровными, реалистическими созданиями, но носителями определенных авторских идей. Более того, здесь слишком ощутима навязчивость авторского произвола. Не потому ли в романе, по сути, нет живых персонифицированных характеров. Если это лежало в основе замысла беллетриста — дать массу, собирательный образ крестьянства,— то здесь больше чем ошибка: автор не учел своих возможностей, ибо для того, чтобы создать столь противоречивый собирательный образ, нужны недюжинный талант и могучий творческий инстинкт, способные проникнуть во внутреннюю суть грозных событий тех лет.

Отсюда проистекает и уязвимость общей концепции произведения. Середняк — вот кто, по мнению автора, главная фигура времени. Фигура, конечно, важная, но главная ли? Послушаем внутренний монолог кузнеца Ивана Никитича, в котором он протестует против решения комсомольцев открыть ссыпной пункт в церкви, в этом «рассаднике суеверия и мракобесия». «Вот как, значит — дурдом? Рассадник суеверия? Да где же, как не в церкви, очищались от этого суеверия? А теперь ссыпной пункт. Амбар из церкви сделать! А что ж мужикам останется? Где лоб перекрестить, святое слово услышать? Дурдом? Скотина вон — и та из хлева на подворье выходит, чтобы вместе постоять, поглядеть друг на друга. Тварь бессловесная, а понимает — хлев, он только для жратвы. А мне, человеку, ежели муторно на душе, куда податься? Где обрести душевный покой, чтобы миром всем приобщиться к доброму слову? А чем же взять еще злобу, как не добрым словом, да на миру сказанным? Иначе злоба да сумление задушат каждого в отдельности. Зависть разопрет, распарит утробу-то, и пойдет брат на брата с наветом и порчей. Ох-хо-хо! Грехи наши тяжкие. Темное время настает... Более всего сокрушало его даже не требование твердых заданий, не выколачивание хлебных излишков, а закрытие церкви».

Подобных деклараций в романе много. Не изменяет ли автору чувство историзма? Все было гораздо сложнее. Бесспорно, процесс коллективизации втянул в свою орбиту классовые столкновения, межгрупповые и межличностные несогласия, острейшие конфликты в крестьянской среде. Шла ожесточенная борьба, решался вопрос: быть или не быть новому укладу жизни. История — не Невский проспект в погожий летний вечер, по которому мирно прогуливается нарядная публика,— исторический путь чреват терниями...

Показать этот путь на человеческих судьбах — вот единственно плодотворный подход писателя. Декларации же, провозглашенные с позиций шатких воззрений, — неблагодарное занятие.

Вообще, приписывать прошлому грехи современности равносильно тому, что во всех отвратительных пороках XX века (жестокость, наркомания, пьянство, проституция, бандитизм) винить обезьяну, от которой произошел человек.

Подлинное мастерство писателя состоит в том, чтобы заставить нас думать, более того — видеть то, что он изображает. Вспомним и другие произведения «деревенской прозы». Перед взорами читателей предстали образы земледельцев, неброских, медлительных, на первый взгляд в чем-то даже странных, но обладающих поистине высокими человеческими чувствами, незаемным умом и добротой. В глубинных пластах исконной крестьянской жизни, кровными узами связанной с вековыми традициями русского народа, писатели открыли животворные истоки, способствующие росту общественного сознания в новых исторических условиях. Этот процесс продолжается и сегодня.

В показе деревенской действительности в литературе 70-х годов, разумеется, была своя логика, но здесь таилась и известная односторонность, строго говоря, некая упрощенность, приводящая в конце концов к максимализму, когда некоторые писатели обвиняли своих героев в тяжком грехе только за то, что те уезжали на жительство в город,— это вменялось им как измена родным пенатам, земле, извечным нравственным крестьянским устоям. Со временем подобная категоричность заметно пошла на убыль, писатели стали более исторично смотреть на деревню и ее перспективы, углубился социально-нравственный анализ крестьянского бытия.

Тому подтверждение произведения середины восьмидесятых годов и среди них — роман «Рой» молодого писателя Сергея Алексеева. В центре повествования семья крестьянина Василия Заварзина, давным-давно переселившаяся из Вятской губернии в Сибирь. Большая была семья. По ней и дом строил Заварзин, в надежде, что все будут жить одним «роем». Но постепенно разъехались из отчего дома сыновья Иона, Сергей, Тимофей. Остался с отцом в опустевшем доме лишь младшенький Артюша, умом тронутый. Не по душе старику такая жизнь. И долгими ночами одолевают его тяжелые думы.

Правильно ли живут Заварзины? Не убывает ли в их душах доброта? Отчего утрачивается ныне потребность сызмальства учить детей хозяйствовать на земле, заботиться о родителях, почитать и оберегать их старость? Жжет душу старого Заварзина мысль, что не так живут нынче крестьянские дети. Не хозяевами родной земли себя чувствуют, а временными поденщиками. Правда, меняется жизнь на селе, уходят в прошлое порядки, оторвавшие землепашца от почвы, да не легко перемены даются. Да, условия бытия накладывают неизгладимую печать на человека. Жизнь всегда богата событиями, противоречиями, переходами и характерами, которые в различных взаимосвязях, неповторимости и противоборстве отражают

свое время. Разумеется, это сложный, ие всегда безболезненный, однако неизбежный процесс. Это учитывает писатель. Его героям чужды самонадеянность и созерцательность: они мучительно ищут выход из создавшейся ситуации, переживают, нередко ошибаются, но от этого не становятся менее интересными и убедительными.

Сергей Алексеев пристально всматривается в происходящие в людях перемены, стремится по-своему истолковать диалектику глубинных связей прошлого и настоящего. «Почему-то стало принято оберегать детей от хлопот со старыми родителями, все чудится — в тягость им будет, во вред. Мол, пожить не успеют, порадоваться жизни: то с ребятишками маета, то со стариками морока... Что же могло случиться в мире, в его бесконечном коловращении, если вдруг л и ш н и м и стали родители? Если стало нестерпимо жить под одной крышей, одним г н е з д о м? Только дикое семя может отлететь, куда унесет ветром, пасть на землю и дать росток либо погибнуть. И гибнет его больше, иначе бы давно все засеялось чертополохом. Человек же, считал Заварзин, тем и отличается от неразумных существ на земле, что сознательно с е е т свое потомство. То есть бросает зерно в заранее выбранную и вспаханную почву, не одним поколением удобренную. Неужто пришли такие времена, когда посев можно доверить ветру и все равно, где зерну прорасти и какие соки тянуть?»

Произведение С. Алексеева заключает в себе большой массив жизненного материала (многоцветные, умело выписанные картины жизни и природы, острые нравственные конфликты, человеческие судьбы), свидетельствует о мировоззренческой четкости романиста. Кажется, одиим из бесспорных достоинств романа «Рой» является реализм повествования и искренность авторской интонации. Писатель ставит своих героев в напряженные ситуации, раскрывает общественно-психологическую природу их поступков и дел. Чем шире распахивается их внутренний мир, тем отчетливее проявляются их человеческие достоинства.

Современность в романе соединяется с поисками исторических основ народного бытия, тех жизнестойких нравственных принципов, которые живут по сей день, возвышая духовный мир человека. Вместе с тем чувство Родины и Истории позволяет автору раздвинуть внутреннее пространство произведения, углубить его философский смысл. В истории народа, в его трудовых свершениях и духовных устремлениях видит Сергей Алексеев те социальные явления и события, которые, отражаясь на людских судьбах, порождают неповторимые человеческие характеры. Автор попытался по-новому раскрыть нравственно-гуманистическую сущность отношения человека к окружающему миру, к природе, требующего не только совершенствования знаний, но и революции в его созидании.

Все это обусловило новизну и жизненность главного персонажа — Тимофея Заварзина. Пожалуй, в последние годы в литературе трудно найти героя, который с такой пронзительностью воплотил бы в себе существенные черты молодого человека, стоящего выше, духовно и нравственно, иных расхожих литературных интеллектуалов. Тимофей Заварзин подкупает читателя своей душевностью, терпимостью к людским слабостям и демократичностью; вместе с тем ему чужды категоричность и чувство собственной непогрешимости.

И все-таки много и недостает Заварзину как литературному герою. Хотя он обладает некоторыми прекрасными качествами человека, понимающего общественную значимость своей жизни, тем не менее еще окончательно не сложился как тип, несущий в себе социально-нравственный опыт современника. Это и упрек, и в известной мере одобрение. Упрек, ибо писатель еще не поднялся в данном конкретном случае к вершинам обобщения большой художественной силы. Одобрение, поскольку автор способен подмечать характерные для нынешнего человека особенности, умеет разглядеть в быстро текущей жизни то, что начало лишь определяться и приобретать еще неясные контуры, но уже живо интересует и волнует всех нас.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Жизнь, как из рога изобилия, сыплет парадоксами. На недавнем съезде писателей СССР Виктор Розов счел необходимым напомнить присутствующим о том, что «у нас есть руки, ноги, печенка, селезенка, язык, уши, глаза — наши органы». По непонятным причииам умолчав о других не менее важных органах человеческого организма, видный драматург тем не менее обратил внимание писателей на главную, по его мнению, нашу особенность: «Человек отличается от животного тем, что он живет не телом, а душой». Когда делегаты съезда усвоили этот вывод-открытие драматурга, была провозглашена главная задача современного литературного процесса. «Мы должны,— сказал он,— наполнить людей внутренним содержанием». Ибо «очень много людей погрязли в теле». Не страшно, если это «тело» не отклоняется, так сказать, от нормы. Но, заметил драматург, «тело может быть здоровенным». Тогда шутки плохи: «вечером перейдешь дорогу, а это тело идет на тебя...» Воображаете, что может взбрести в голову этому здоровенному телу?

Из-под этих и других глубокомысленных розовских пассажей бьют живые родники. Оказывается, «здоровенное тело» может «идти на тебя» не только при переходе дороги. Об этом в конце 1988 года поведали литераторы-узбеки. «Писательская общественность Узбекистана, — отмечают они в письме, опубликованном в «Московском литераторе»,— возмущена поведением московского критика Ю. И. Суровцева во время проведения заседаний «круглого стола» СП СССР по проблемам литературы и русского языка в Средней Азии, проходившего в Ташкенте 11—14 октября сего года. Нам показался кощунственным призыв к воскрешению в новом учебнике узбекской советской литературы Ш. Р. Рашидова-писателя, с которым выступил Ю. И. Суровцев иа пресс-конференции 13 октября. Там же ему был задан прямой вопрос, не участвовал ли он, как литературный критик, в возвеличивании «творчества» Шарафа Рашидова, на что Ю. И. Суровцев ответил отрицательно. Будучи уличен одним из присутствовавших во лжи, Суровцев пытался вырвать у него из рук текст выступления. Согласитесь, что слишком жалкое впечатление произвел иа нас один из руководителей Союза писателей СССР, говорящий неправду с трибуны и использующий в качестве аргумента собственную физическую силу».

Строгость стиля соответствует величию события. Ну скажите положа руку на сердце, кто из нынешних наиболее популярных беллетристов может достойно передать весь накал негодования и душевное смятение в тот момент, когда «тело идет на тебя» (Розов), готовое использовать «в качестве аргумента собственную физическую силу»? Никто из них не в силах это сделать, как не способны постичь глубину духовной близости Рашидова-писателя и Суровцева-критика те публицисты, которые звонче всех кричат о застойном периоде. Тут иужны иные перья. И хотя история с «флагманом» современной критики не вдохиовляет на благородные поступки, все-таки, кажется, она не столь драматична, как представляется узбекским писателям. Ну, ие выдержал человек, иу, махнул кулаком раз-другой. А может, довели до крайнего нервического состояния либо переутомился чрезвычайно, возделывая скудную ниву литературной критики. Вспомиим, сколько энергии, изворотливости и саркастического хохота вложил он в свои «полемические маргиналии»! С какой неутомимостью преследовал, клеймил и предавал публичному позору своих оппонентов! А его переводы чуть ли не всей нашей миогоязычной литературы разве дешево стоят? Будем справедливы: велики заслуги Суровцева и в поддержке того же Рашидова. Впрочем, последний не остался перед ним в долгу — республиканской премией воздал неутомимому подвижнику на поприще литературной теории и перевода. Вот только с «собственной физической силой» малость подкачал. Но, как говорится, и на старуху бывает проруха...

Об этой забавной истории я рассказал, друг мой, не только для того, чтобы рассмешить тебя или вывести из глубокой задумчивости. Мне почему-то захотелось лишний раз напомнить, что изречение, формула (выбирай любое слово!) «Жизнь есть борьба» распространяется и на сферу литературно-критическую. Посему не будем слишком порицать тех, кому открывшаяся возможность свободного говорения вскружила головы, и они понесли такое...

Хотя это имеет и оборотную сторону. Раньше — по случаю отсутствия демократии и отсюда иевольной сдержанности в словах — трудно было понять, кто каким горшкам молится, каков его настоящий образ мышления и т. д. Теперь все становится на свои места — пошел в гору ничего не признающий, шибко критикующий субъект. Скажете, далеко не всем предоставлена возможность доносить свои мысли до масс при помощи газет и телевидения. Дак разве всех напечатаешь или втиснешь в телекамеру? Пускай явят свой лик и изрекут истину наиболее достойные журналисты, философы, литераторы. Нам нечего и некого бояться. К тому же плюрализм он и есть плюрализм — каждый может поведать нечто, по его мнеиию, весьма поучительное и сугубо личное.

Другое дело беллетристы. Вот, скажем, Юлиан Семенов. Кто не знает Юлиана Семенова? Его знают, его читают многие. Книги прославленного автора вырабатывают у обычиого читателя прочный иммунитет к духовной культуре и высоким идеалам. Такова суть его творческой оригинальности.

Но вот в своей публицистике последнего времени он воспылал любовью к ученым изречениям, философской мудрости, любит ссылаться на высокие политические авторитеты. При этом тонко и умно предупреждает читателей, что «некультурность и политическая малограмотность никого не украшает». Ах, как это по-современному звучит. Особенно когда он в подтверждение своих высказываний приводит ленинские цитаты.

Классики марксизма-ленинизма были гениальными мыслителями, энциклопедически образованными людьми, крупнейшими учеиыми. В их трудах можно найти суждения по широчайшему кругу проблем. Для того, чтобы глубоко овладеть их учением, творчески усвоить дух материалистической диалектики, иужна напряженная работа мысли.

Гораздо легче вырвать из коитекста цитату и приспособить ее, как это становится модой, к своим интересам. Не так ли иногда поступает Юлиан Семенов? Давайте посмотрим. «А ведь Ленин предлагал платить сто тысяч золотом, если работник дал миллионную прибыль»,— констатирует он и бодро излагает свою собственную идею, как если бы она вытекала из ленинского положения. «Наверное,— продолжает беллетрист,— пора разрешить нашим изобретателям, если в течение полугода его мысль не принимают в работу, продавать свой проект иностранным фирмам. Ведь в конце коицов мысль не знает границ, она принадлежит человечеству. Позорно превращаться в лежащую на сене собаку...» О том, что мысль не имеет границ и принадлежит всему человечеству, известно давно. Хотя кое-что следует уточнить — не имеет границ мысль прежде всего в силу своей способности проникать в тайны мироздания, умения открывать новое, а не вследствие полного освобождения ее обладателя от обязанностей перед обществом, даже под страхом превращения «в лежащую на сене собаку». Это во-первых. А во-вторых, стремиться все

превратить в деньги, продаться хоть черту-дьяволу, лишь бы получить личную выгоду,— является ли это показателем высокой культуры и политической грамотности, как только что уверял нас Семенов? В свете этих и подобных умозаключений слишком уж старомодной выглядит наша классическая литература с ее любовью к Отечеству и благородному человеку, честь которого неотделима от чести России. Вспомним хотя бы бессмертного левшу Н. С. Лескова. «А те лица, которым курьер нимфозорию сдал, сию же минуту ее рассмотрели в самый сильный мелкоскоп и сейчас в публицейские ведомости описание, чтобы завтра же на всеобщее известие клеветон вышел.

— А самого этого мастера,— говорят,— мы сейчас хотим видеть.

Курьер их препроводил в номер, а оттуда в пищеприемную залу, где наш левша порядочно уже подрумянился, и говорит: «Вот он!»

Англичане левшу сейчас хлоп-хлоп по плечу и как ровного себе — за руки. «Камрад,— говорят,— камрад — хороший мастер,— разговаривать с тобой со временем, после будем, а теперь выпьем за твое благополучие». ...А англичане сказывают ему:

— Оставайтесь у нас, мы вам большую образованность передадим, и из вас удивительный мастер выйдет.

Но на это левша не согласился...

Его силой не удерживали: напитали, деньгами наградили, подарили ему на память золотые часы с трепетиром, а для морской прохлады на поздний осенний путь дали байковое пальто с ветряной нахлобучкою на голову. Очень тепло одели и отвезли левшу на корабль, который в Россию шел. Тут поместили левшу в лучшем виде, как настоящего барина, но он с другими господами в закрытии сидеть не любил, а уйдет на палубу, под презент сядет и спросит: «Где наша Россия?»

Англичанин, которого он спрашивает, рукою ему в ту сторону покажет или головою махнет, а он туда лицом оборотится и нетерпеливо в родную сторону смотрит». С этим чувством любви к России и скончался безымянный народный гений. Последние его слова были: «...у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни бог войны, они стрелять не годятся». Таков он, герой Н. С. Лескова! Полагаю, вряд ли найдется читатель, который заподозрит меня в попытке сравнивать хоть в чем-нибудь Лескова и Юлиана Семенова. Тут разговор о типах писательского мышления в напряженные периоды социальной действительности и способах их реализации. (Время написания «Левши» совпало с невероятно трудным положением Лескова после уничижительной писаревской критики, однако ж он не помышлял, а тем более не призывал продавать свои мысли «иностранным фирмам».)

Раз уж зашла речь о всех нас, то разве можно обойтись без модного напоминания о нашей где-то рабской сущности? Конечно нельзя. Ибо неполным, в некотором роде даже искаженным будет наш духовно-нравственный портрет. Разумеется, есть об этом и у Юлиана Семенова, но, так сказать, в его творческом исполнении. Вот: «Я из себя по капле выдавливаю раба»,— Чехов писал еще в начале нынешнего века». Так что же предлагает популярнейший современникам? «Пора бы,— развивает он чеховскую мысль применительно к нынешним поколениям,— и нам за это взяться всерьез». Проще говоря, как были рабы, так ими и остались. Что касается слова «нам», то это чистейшее лукавство «инженера человеческих душ». Уж он-то не раб, само собой. Нет в мире человека, который бы хоть на секунду поверил, что Юлиан Семенов, человек чрезвычайно предприимчивый и активный, да вдобавок еще и «культурный и политически грамотный», до сих пор не выдавил э т о с а м о е из себя. Быть того не может. Возможно, недодавил, не выжал окончательно — это другой разговор. Да и кто станет утверждать, что у него вообще были эти «капли раба». Не было и быть не могло у Юлиана Семенова. У других были и есть, а у него нет, и баста...

Признаюсь, друг мой, много недоуменных вопросов встает перед мысленным взором, когда читаешь «про жизнь» некоторых современных беллетристов. Иной раз сокрушаешься, другой — удивляешься, а третий раз, право же, становится смешно и грустно. Ощущается какой-то разрыв, что ли, между их творчеством и реальной жизненной программой.

Недавно вышел роман Владимира Дудинцева «Белые одежды». Читатели дали высокую оценку общечеловеческому пафосу романа, его антикультовской направленности, его гневному протесту против всякого насилия, в каких бы формах оно ни проявлялось. Но вот Владимир Дмитриевич говорит о дне сегодняшнем, о проблемах перестройки. Естественно, он всячески приветствует процессы, происходящие в стране. Однако писателя беспокоит «отсутствие активно действующей части в массах». Нужна тесная смычка «актива» и «пассива», поскольку без сотрудничества, как он говорит, с «какой-то общественно пассивной многочисленной частью общества... перестройка невозможна». А что такое «общественно пассивная многочисленная часть общества»? Писатель осторожно, можно сказать, дипломатично объясняет: «Отсюда (из общественно пассивной многочисленной части общества.— Н. Ф.) исключаю журналистов, экономистов и организаторов экономики, активных производственников...». Итак, журналисты, экономисты, организаторы экономики и активные производственники — общественно активная часть, а все остальные — рабочие, колхозники, интеллигенция, то есть собственно народ — это пассивная, инертная масса. Странная логика.

Но пусть выскажется литератор до конца. «В обществе,— продолжает Дудинцев,— существует какая-то инертная масса, к которой нам еще предстоит подобрать ключи». Прекрасная мысль, только несколько неожиданными для автора нашумевшего в свое время романа «Не хлебом единым» кажутся эти ключи. Слишком уж они материальные, бездуховные, что ли. «Я полагаю,— развивает свою идею автор,— что такими ключами будет дешевая качественная колбаса, обилие свежих, хороших овощей, недорогая одежда, а для молодежи — достаточное количество тряпья». Вот те на, а как же с «не хлебом единым жив человек»? Или теперь уже не до жиру — быть бы живу? Как бы там ни было, во всем этом чувствуется трогательная забота о простых советских тружениках, можно сказать, великодушие романиста. Смотрите: даже почти падшие души, то бишь «инертную массу», не отринул он по чистоте душевной и природной доброте своей, а одарил пусть дешевой, но всетаки добротной колбасой, да к тому же опять-таки, заметьте, дешевые одежды посулил, дабы, насытившись, смогли оные прикрыть наготу свою.

И хотя не уточняет Дудинцев, как долго «инертная масса» должна наслаждаться обещанными ей благами великими, зато дает четкое представление, к а к и м п у т е м этого достичь,— это «демонстрация н о в ы х (!) а к т и в н ы х м е р» и «п р и м е н е н и е в л а с т и». В тихий, размеренный голос литератора врываются вдруг грохочущие звуки: «Необходима демонстрация новых активных мер по отношению к тем, кого аргументированно критикует пресса»; «Народ (!) требует... применения власти, а сверху ее не применяют...»; «...у нас начальство снизу до самого верха говорит о перестройке, но не принимает активных мер...»; наконец твердо и довольно решительно: «Я прямо скажу: говоря о гласности, меня удивляет позиция наших верхов. Мы слышим оттуда хорошие речи, но я не вижу, чтобы оттуда, с Олимпа, хоть раз была сброшена молния на кого-нибудь». Право, не хочется вспоминать, как Хрущев «сбросил молнию на кого-нибудь» и чем все это кончилось...

Вот так и живем — стоит малость оклематься от удара сброшенных молний, как снова, уже «от имени народа», просим применения «новых активных мер», а потом... Впрочем, было бы даже очень интересно узнать, какая такая разница между с т а р ы м и и н о в ы м и а к т и в н ы м и м е р а м и, то бишь старым и новым применением силы. И есть ли вообще разница? По мне, новое насилие ничуть не лучше старого, если не циничнее, поскольку обычно выступает под видом новой истины. И Дудинцеву не хуже, чем «инертной массе», ведомо, что благие намерения, равно как самые демократичные лозунги, теряют свой смысл, как только начинают внедряться в практику и общественное сознание посредством применения силы...

Крутой поворот — такова суть переживаемого нашим обществом переломного времени. Времени смелого поиска, изменения атмосферы, ритма и настроя жизни. Реализм стал движущей силой развития, показателем творческой инициативы и личной ответственности. Отсюда требование серьезного осмысления событий прошлого и настоящего, трезвый учет современного уровня общественного сознания. Попытки упростить процесс, подменить анализ примитивизмом и вульгаризаторством чреваты грубыми ошибками. У некоторых философов, историков, писателей господствует такой подход: что было плохо, то теперь хорошо, а что было хорошо, то теперь из рук вон плохо. Увы, подобная практика становится распространенным явлением, своеобразной позицией. Между тем необходим настоящий анализ происходящих событий, всесторонне освещение как негативных, так и положительных моментов нашей жизни и истории. В равной мере это относится и к художественному творчеству. Что происходит в нынешней литературе? Какие новые тенденции наметились в ней? Тут могут быть самые противоречивые ответы. Но несомненно одно — главная суть исторического момента состоит не в свободе от общепринятых норм социалистической демократии или вседозволенности, а в необходимости подлинно художественного постижения действительности.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

Литература и политика...

В наш сложный и тревожный век литература покинула сферу личных переживаний и вышла на широкий простор общественной жизни, стала полем битвы идей. Идет скрытая, ни на секунду не прекращающаяся борьба. По словам В. И. Ленина, наши идеологические оппоненты хотят «убить марксизм «посредством мягкости», «удушить посредством объятий... взять из марксизма все, что приемлемо для либеральной буржуазии... и отбросить «только» живую душу марксизма, «только» его революционность».

Гете как-то с горечью заметил: истину надо повторять постоянно, ибо находятся люди, которые непрестанно извращают ее. Великий писатель имел в виду глубокую заинтересованность людей, проповедующих неправду, их стремление затемнить истину в угоду вполне определенным тенденциям.

Когда в середине 1988 года в Копенгаген прибыла московская делегация в составе Г. Бакланова, Ю. Афанасьева, А. Гельмана, Н. Ивановой, их встретили В. Аксенов, А. Гладилин, Е. Эткинд и другие не менее активные на ниве неприятия социализма диссиденты-эмигранты. Сколько было радостных возгласов и крепких рукопожатий. Но вот прошли первые часы восторгов, утихла радость по случаю долгожданного свидания, охи, ахи. Может быть, теперь обнаружилась разность мировоззренческих подходов, политических платформ? Из той скудной информации, которую мы получили, ясно одно — тут никаких проблем. Как говорится, полное единодушие. Сошлись даже в гневно-презрительной оценке позиции советского журнала «Наш современник», который ну прямо-таки невтерпеж и тем, и другим заклеймить как антиперестроечный. Чему после этого удивляться? Может быть, поведению историка Юрия Афанасьева, для которого «вы» (эмигранты) и «мы» (он и

другие представители московских кругов) — это единое целое: «нас нечего разделять, еще надо разобраться, почему вы уехали»? Или объединению, казалось бы, разнонаправленных сил? Верно замечено, в Копенгагене встретились единомышленники, представляющие одно литературное направление, которое нетерпимо (употребим эвфемизм) относится к другому литературному направлению.

Повторюсь: литературные дела (и это блистательно подтвердили все те же аксеновы, эткинды, гладилины и иже с ними) никогда не были отторгнуты от политики, напротив, они всегда тесно соприкасались друг с другом. Кое-кто предпочитает умалчивать об этом или делать вид, что это якобы его не касается. Но нельзя проповедовать ложь и быть истовым поборником истины. Попытка отделить мировоззрение от творческого метода писателя — сказочка для несмышленышей или тех взрослых недорослей, которые уверовали, что Запад только о том и помышляет, чтобы устроить для всех «сладкую жизнь».

А ведь за оную «сладкую жисть» надо платить по большому счету. Иосиф Бродский поставил в один ряд Ленина и Гитлера, Наум Коржавин любому виду социализма предпочел чилийскую диктатуру. Горько оплакиваемый иными московскими изданиями Галич добросовестно обслуживал радиостанцию «Свобода», в меру своих сил и способностей клевеща на социализм. То же следует сказать о Викторе Некрасове. С восторженным умилением поведала «Литературная газета», вынеся в заголовок назидательные его слова: «Это вам говорю из Парижа я...» На вопрос, чем он занимается, последовал очень остроумный ответ «парижанина»: «клевещу помаленьку... на историческую родину... раз в неделю по «Свободе», трудоустроен...»

Нет, в насквозь пропитанном идеологией XX веке литература едва ли принимается в расчет, когда заходит речь о политической борьбе. И так было, пожалуй, всегда. Хотя, возможно, и не в столь откровенно обнаженной форме, как сегодня. Хотите доказательств? Вчитайтесь в текст любого произведения — и вы их получите.

Как относятся к этому нынешние беллетристы? Ознакомьтесь с недавним интервью Михаила Шатрова. «Я участвую своими пьесами,— убежденно говорит он,— в политической борьбе, меня это занимает, в первую очередь...» Заметьте: «участвую... в политической борьбе». И не гденибудь участвует, а в нашей стране, в наши дни, в напряженнейший период жизни нашего общества. Сказано сие Шатровым искренне и без лукавства.

Ныне, пожалуй, ни один здравомыслящий человек не станет отрицать связь литературы и политики. Но одно дело с в я з ь и совсем другое у ч а с т и е в политической борьбе. И Шатров эту разницу отлично понимает, если готов (что само по себе должно квалифицироваться как исключение из общего правила!) признать низкий художественный уровень своих пьес. Но если быть последовательным, ему придется согласиться и с тем, что прямое участие в политической борьбе — не что иное, как участие в борьбе за власть. В нашем случае: за какую власть? Желание политической борьбы и скорой победы в ней столь велики, а настоящие творческие возможности — увы! — так обидно малы, что драматургу приходится прибегать к... плагиату.

Как постепенно выясняется, идея плагиата овладела иными популярными и популярнейшими нашими беллетристами с такой силой, что они уже и не мыслят своей бурной деятельности — иногда по демонстрации «исторической невменяемости русского народа» (Эштейн М.— «Искусство кино», 1988, № 7) — без «опоры» на чужой текст. В одиннадцатой книжке (1988) «Нашего современника» как-то неделикатно, бестактно взяли да и привели примеры использования, то бишь плагиата Анатолия Рыбакова в его «Детях Арбата». «Ну и что? — возмутится иной поклонник таланта романиста. — А может, эти плагиатские куски из книг Светланы Аллилуевой, Анны Аллилуевой, Джузеппе Боффа помогли доразоблачить прошлое?». Да простится святая простота! Откуда знать ему, что плагиат — это постыдное воровство, проступок, который на Руси испокон веков считался одним из наиболее ярких проявлений непорядочности?

А ведомо ли это вам, Анатолий Наумович? Поверьте, я никогда не задал бы такой вопрос, если бы не этот январский ваш пассаж: «...прочитал в «Правде» от 18.01.1989 г. письмо, подписанное М. Алексеевым, В. Беловым, С. Викуловым и другими. Нападки (?) на «Огонек», которыми переполнено это письмо, направлены не только против самого журнала, а против всей прогрессивной современной литературы и журналистики (?), п р о т и в п и с а т е л е й, у ч е н ы х, и с т о р и к о в, которые считают своим гражданским долгом участвовать в перестройке. Лично я как писатель полностью присоединяюсь к выступлению М. Колосова... Факты, в нем приведенные, хорошо известны всей литературной общественности» (Разрядка моя. — Н. Ф.). Но ведь неправду вы пишете — и вы это прекрасно знаете. Ах, Анатолий Наумович, Анатолий Наумович... Вам ли, автору серых и скучных сочинений, к тому же уличенному в плагиате, читать рацеи и вещать от имени литературной общественности? Помилуйте!..

Итак, М. Шатров и его пьеса «Дальше... дальше... дальше!». Благо черпал бы из произведений великих или хотя бы у мало-мальски порядочных людей. Так нет же, говорят, берет в сообщники того, кто всеми средствами боролся с нашими идеалами. Как тут не разочароваться? Передо мной письмо коммуниста, московского ученого А. О. Арутюнова. Приведу его полностью, и пусть читатель сам разбирается, что к чему. Александр Арутюнов сообщает следующее: «Как читатель современной литературы, коммунист и научный работник, я целиком поддерживаю политику партии в области перестройки общественных отношений, осуждения и разоблачения произвола и преступлений периода 30-х—50-х годов, времен субъективизма и застоя. Вместе с тем в этом деле недопустимо нарушение элементарной авторской и литературной этики, то есть плагиатное заимствование фактов и текста у других авторов. В этой связи у меня вызывает возмущение и недоумение тот факт, что М. Шатров в своей пьесе «Дальше... дальше... дальше!» (на стр. 26—27, «Знамя», 1988, № 1) прибег к полному текстуальному плагиату, заимствованному со стр. 139—140 книги Орлова «Тайная история преступлений Сталина», вышедшей в Лондоне в 1954 г.

Это следующие фразы:

«В кремлевском кабинете из членов Политбюро были только Сталин и Ворошилов... Каменев: «Нам обещали, что наше дело будет рассматриваться на заседании Политбюро».

Сталин: «Перед Вами как раз комиссия Политбюро, уполномоченная выслушать все, что Вы скажете».

Зиновьев: «За последние два года нам давалось немало обещаний, но ни одно из них не было выполнено...»

Каменев: «А где гарантия, что нас не обманут еще раз?»

Сталин: «Гарантия? Какая тут, собственно, может быть гарантия? Это просто смешно! Может быть, Вы хотите официального соглашения, заверенного Лигой Наций?»

Орлов — бывший советник советского посольства в Испании, бежал в США в 1938 году, присвоив кассу посольства. Как видно из американских справочных изданий, он работал консультантом комиссии конгресса США по расследованию антиамериканской деятельности в 50-е годы, выступал свидетелем против Компартии США. Орлов был профессором Колумбийского университета, членом правления Еврейского национального института в Нью-Йорке. Умер в 70-е годы. В период разгара необоснованных репрессий 1936—38 гг. Орлов находился в Испании.

Этот провокатор приложил руку к трагической гибели по клеветническим обвинениям многих заслуженных людей, принимавших участие в схватках с фашизмом в Испании. О пагубной роли таких провокаторов настало время рассказать советским людям.

По моему мнению, плагиатное использование некоторыми нашими литераторами фактов, публикуемых в зарубежных изданиях, и циркулирующих у нас слухов дискредитирует политику гласности, проводимую нашей печатью, порождает сомнения в моральной чистоплотности людей, которые выступают как самые активные и творческие поборники перестройки».

Верно, активности подобным людям не занимать. Вспоминается выступление М. Шатрова на конференции, посвященной актуальным вопросам исторической науки и литературы. На трибуне — человек в кожанке, грозно сдвинутые брови, сверкающие острым блеском очи, а над головою вскинутый вверх крепко сжатый кулак. Истинное благородство сквозило в позе и в вопросах, бросаемых в притихший зал драматургом. А какое искусство недомолвок и иносказаний! «Вот оно, настоящее»,— восторженно бормотал мой сосед справа и громко вздыхал... А тут письмо ученого о плагиате. Право, не укладывается в голове: тот Шатров на трибуне — весь порыв, неподкупная честность «горячего прораба перестройки», неукротимая готовность к немедленному искоренению вдохновителей Нины Андреевой — и этот Шатров, представший в своих сочинениях весьма заурядным человеком, не брезгующим списыванием чужих текстов. Чудны дела твои, господи. Впрочем, нет здесь никакого чуда.

Исторический поворот в общественном развитии обнажил всю низость самодовольства, политического цинизма, дутого авторитета в литературе, и каждый «повис на своем собственном удельном весе», то есть предстал в настоящем виде. Некоторые литераторы все чаще прибегают к изощренной демагогии и политическому авантюризму. Случайно ли это?

Изменения в сознании современника сопровождаются не только восхождением к истине, поиском созидательных идей, трезвыми, пусть и беспощадными оценками ошибок и трагедий прошлого, далекого и близкого. Здесь заявляют о себе и негативные явления, попытки извратить понятие «новое мышление», использовать его в антисоциалистических целях. Поворот сознания к демократическому мышлению и подлинным нравственным социалистическим ценностям высветил и мелкобуржуазную психологию, эгоцентризм и эгоизм. Все это не может не вызывать беспокойства. Далеки от процесса демократизации и всяческие попытки подхлестнуть эмоции, подогреть страсти, посеять национальную или социальную подозрительность, столкнуть между собой разные социальные группы. Прикрывать подобные действия гласностью и перестройкой по меньшей мере кощунственно. Кое-кто стремится использовать процесс демократизации, гласность, столь важные нашему обществу, в своих целях, превратить, говоря словами В. И. Ленина, в «бесконечное унижение и самооплевывание социализма перед всем миром», развращение «социалистического сознания рабочих масс...» (т. 6, с. 8—9).

Поэтому сегодня с особой остротой встают как политические мотивы поступков, так и морально-социальный облик тех, кто широковещательно зачисляет себя и своих ближайших друзей в «горячие прорабы перестройки». Не попасться бы на крючок политическим авантюристам и демагогам! Как можно понять из монологов М. Шатрова, журнал «Огонек» — это зерцало истинной демократии и свободомыслия, которому поверяют свои идеи наиболее светлые умы и который неутомимо, несмотря ни на какие козни врагов перестройки, сеет разумное, доброе, вечное. Честь и слава его главному редактору!

Но кто такой В. А. Коротич и откуда у него такая нетерпимость к достояниям нашей истории, всему действительно талантливому в литературе и искусстве, к современным русским писателям? Зависть, ожесточенность несправедливостью к нему в прошлом или какие-нибудь скрытые от людских глаз мотивы? Скажем, М. Шатрова где-то можно понять — личные мотивы, о чем он сам откровенно говорит: репрессирован отец, крупный организатор производства, родственник А. И. Рыкова;

другой — меньшевик-эмигрант Николаевский был связан, как пишет Александр Арутюнов, с антисоветскими кругами в США — тут драма. Но об этом в другой раз.

В. А. Коротич — «жертва» застойного периода. Может ли здесь идти речь о ярко выраженных чертах человека, порожденного этим смутным временем? В самом ли деле ему чужды такие понятия, как честь, справедливость, чувство долга? Несомненно одно — это фигура *комическая*. Может быть, оттого он непредсказуем и однозначен. Всмотримся в его деятельность: главный редактор «Огонька», он же автор великого множества сочинений в рифму и верноподданнических рецензий (об этом позже), бывший киевский врач и стипендиат ЮНЕСКО, чуть не угодивший на постоянную дипломатическую работу; он же бывший преподаватель в американских университетах и сверх того — чемпион Украины по боксу (а ведь застойный период, надо полагать, задушил в нем и многие другие таланты!).

Ну, может, совсем не задушил, однако ж придал им, то есть талантам, некую суть эрзаца, так что они как бы уже и не таланты, а лишь мечта, фата-моргана, словом, фальшь. Еще в бытность свою в Киеве, в пору бурной врачебной и боксерской деятельности, Виталий Алексеевич начал кропать вирши, что, естественно, в глазах его клиентов и поклонников ринга придало его бравой фигуре несколько утонченный вид. Конечно, оные вирши не так чтоб уж слишком смахивали на поэзию, но их печатали, похваливали, а вкупе с повышенной активностью автора они представляли собой мощную пробивную силу, что полонило сердце Наума Коржавина, можно сказать, духовного отца нынешнего Коротича. Впрочем, судите сами, есть ли в виршах нашего автора хотя бы намек на чувство или же мысль какую-нибудь. Возьмем вот это, к примеру, из сборника «Голоса», вышедшего в столичном издании:

Трудящиеся! Мы — одной семьи,
любое дело мой товарищ сдюжит.
В труде одном взрослеют наши души,
одним трудом на свете живы мы.
В проектах — повесть и ракетодром,
их воплотив — мальчишка станет мужем.
А без труда — в чем утвердиться можем,
когда одной дорогою идем?!

По-моему, здорово, черт возьми! Я ни за что не соглашусь с мнением, будто от этих стишков сильно отдает графоманством. Напротив! Вдохновенные очи сочинителя и в прозе «низкой жизни» видят блики прекрасного. Тут пульсирует ритм, передающий внутренний трепет души и предельное в чем-то трудовое напряжение «хорошего человека» и «отличного поэта», как высказалась о Коротиче огоньковская же и его «близко знакомая» критикесса; здесь рифма... Впрочем, с ней, видимо, не совсем того, или, как ерничает комедийный персонаж, не в ту степь. Зато какой пафос и какая идейная высота! Вдумайтесь только в вопрос, который как бы венчает весь накал борения страстей и глубочайших внутренних раздумий автора: «А без труда — в чем утвердиться можем, когда одной дорогою идем?!» Действительно, в чем? Не найдете ответа, и не пытайтесь. Вот если бы, скажем, не одной дорогой шли мы, а разными путями двигались, тогда другое дело, может, и «утвердились» в чем-нибудь ином, а так «ни туды, ни сюды»...

Или вот эта, скажу прямо, редчайшая поэтическая находка (знаю: сильно гневается редактор «Огонька», когда слишком уж пытаются откапывать следы поэтических и прочих красот в его сочинениях): «...одним трудом на свете живы мы» либо — «в труде одном взрослеют наши души». Да-с... Каюсь, я не поклонник современной поэзии. Даже увешанная мыслимыми и немыслимыми иноземными значками, побрякушками и прочими амулетами лира Евгения Евтушенко не трогает меня. Не то вирши Коротича — здесь все-таки что-то есть... Да и критикесса Татьяна Иванова в восторге от них. Чего уж более? Не может же она ошибаться в оценках на этот счет, а тем более в своих потаенных чувствах. Как доверительно нашептывает она читательницам, у нее «ни одной ошибки никогда не было»; Иванова отлично помнит до сих пор, что в ее личной практике «при близком знакомстве хороший поэт всегда оказывался хорошим человеком», каковым, бесспорно, является и милейший Виталий Алексеевич. А что, не правда?

Никак не умаляя версификаторских и прочих способностей Коротича, все-таки дерзну утверждать, что он более силен по части публицистики. Тут у него и рука тверже, и перо изощреннее, да и призвание гораздо определеннее. Как и подобает чемпиону, Коротич уверенной боксерской рукой начертал на первой полосе «Учительской газеты» (28 июня 1988 г.) таковы слова: «Мы боремся, как боролись люди во время революции. Они знали: будет хорошо всем, поэтому и мне будет хорошо. Большинство людей, которые хотят остановить перестройку, это люди, которым уже хорошо. А как другим — им совершенно безразлично, лишь бы сохранить свой уровень «хорошо». Люди, построившие коммунизм для себя лично, особенно энергично призывают других заняться строительством коммунизма для всех остальных. Поэтому борьба сейчас часто обретает *социальный, едва ли не классовый* характер...».

Что в конечном итоге имеет в виду автор: что сегодня речь уже идет не о групповой борьбе с ее ненавистью и жестокостью, а о заметно углубляющихся национально-идеологических противоречиях; что под лозунгами приоритета общечеловеческих ценностей, демократических свобод, консолидации «граждан мира» и т. п. навязывается чуждое нашему народу миропонимание и чужой образ жизни? Что бы ни говорили, сложившаяся ситуация, надо полагать, весьма непростая, даже напряженная, иначе вряд ли стал бы столь откровенно говорить об этом Виталий Коротич.

Не только откровенно, но кое в чем весьма проницательно. Идеей о едва ли не классовом характере сегодняшней борьбы в нашем обществе Коротич наждачной бумагой утер нос тем выдающимся умам от философии, экономики, истории и, конечно, литературной теории, из лексикона которых исчезла категория «классовая борьба». При встрече упомянутой категории в трудах других авторов они, эти выдающиеся умы, испытывают некую неловкость за политическую неграмотность последних. Как будто пробил час райской жизни на почве вселенского идеологического единомыслия. Вопреки своим убеждениям Коротич наносит неожиданно сильный удар по теоретикам, которые, игнорируя требование научной методологии, по сути отвергают значение партийного, классового подхода для раскрытия объективного содержания исторических явлений и событий. Таковы парадоксы идеологической борьбы.

Если сейчас, как утверждает Коротич, действительно борьба обретает «едва ли не классовый характер» (а наш просвещенный современник знает, к чему это приводит), то позволительно спросить — между какими классами в социалистическом обществе разгорается данная борьба? И справедливо ли разделять народ на «правых» и «неправых»? Кому, скажите, это выгодно? Гуманному облику социализма? Животворным идеям перестройки? Между тем полгода спустя Коротич, как говорится, вогнал гвоздь по шляпку. «Еще, — вскричал он, — один важный вывод, прорастающий для меня сквозь накопленный опыт, — *о бдительности*... Если уж мы творим революцию, то слова о том, что революции нужно уметь защищаться, не должны умереть».

Из каких источников черпает мудрость сей оракул? Что движет им? Внимательно просматриваю комплекты литературно-художественных журналов, начиная с середины прошлого века, — и не нахожу ничего подобного насчет бдительности, революционной борьбы, в коротичевском толковании, и прочего. Беру XX век — начало столетия, десятый, семнадцатый, девятнадцатый, двадцать пятый годы... Листаю тридцатые — стоп! Из журнала в журнал деление на «наших» и «ненаших», «друзей» и «врагов», бесконечные призывы к *бдительности*, к защите революции и многое другое. Вот откуда, оказывается, позаимствовал «методы борьбы» Коротич. При этом он, не умеющий «спорить с демагогами, которые лгут в глаза», преспокойно заявляет: «...хочу подчеркнуть, насколько важен для меня смысл дела, которым я занят. *И я счастлив, делая то, что хочу*». (Разрядка моя.— Н. Ф.)

Поразительное признание! Чего доброго, какой-нибудь слишком доверчивый читатель подумает, что «Огонек» кооперативный журнал, издаваемый В. А. Коротичем и компанией на собственный кошт. А почему бы и нет? С его-то способностью «быстрого реагирования». Разве не Коротич, будучи «дитем» времен брежневского правления, в мгновение ока стал «дитем перестройки»? Боже вас упаси напомнить ему об этом — принародно откажется, обидится, блюдя чистоту облика своего. Каким благородным гневом запылал и как принародно возмутился, когда спросили его — так когда же был он искренним: в пору прославления брежневских «Воспоминаний» или теперь, предавая анафеме брежневщину и все, что связано с ней. Отказался устно и печатно — не хвалил, мол, люди добрые, не ползал подобострастно по листу бумаги, вознося до небес творение новоиспеченного члена Союза писателей СССР. Не было такого!

Что ж, придется стряхнуть пыль с пожелтевших страниц рецензии В. А. Коротича «Вместе с партией, вместе с народом», посвященной названной книге: «Все годы автора «Воспоминаний» наполнены борьбой за правду. Правда эта выстрадана и борьба за нее ведется откровенно, неудержимо, повседневно. В этом общий дух повествования; никакой позы, никакого выпячивания своих личных заслуг в общем достижении: пусть оценивают другие. На приеме в честь своего недавнего 75-летия Леонид Ильич сказал очень важные и запомнившиеся всем нам слова о скромности, а принимая четвертую звезду Героя Советского Союза (это после слов о скромности. — **Н. Ф.**), подчеркнул... «Воспоминания» чрезвычайно важны для каждого. Надо быть бесспорно сильным, смелым и талантливым человеком, чтобы их написать. Это произведение — на каждый день...» и т. д. и т. п. (цит. по: «Политическое образование», 1988, № 18, с. 100, 102). А как же с честным признанием ошибок, с покаянием, к которому так истово призывает «Огонек»? Значит, все это неправда, распространяемая трехмиллионным тиражом?

Нет, это правда, но правда некой группы, от имени которой вещает Коротич, хотя недавно «Огонек» сетовал (1989, № 3), что «...мы не слиты в команды, комитеты, организации». Слиты, да еще как! По крайней мере такой вывод можно сделать на основании многочисленных заявлений редактора. Например, на встрече с ленинградскими читателями он особо подчеркивал: «...мы *собрались* во имя правды и культуры... мы *обязаны* чувствовать ответственность... если мы *изменим* правде... мы, *творя* великую перестройку...» и т. д. Так рождается борьба противоположностей в реальной действительности: «мы» и «они», «дети» и «враги» перестройки, «чувствующие» и «не чувствующие» ответственность и т. п. А тут рукой подать до обострения социальных противоречий, о чем так пылко мечтают радетели демократических свобод.

Вообще, когда иные «эффективные» публицисты поднимают слишком большой шум об абстрактной свободе и демократии, чрезвычайно важно обращать внимание на то, не стоят ли за этим частные интересы вполне определенных лиц и групп. А тут, как говорится, не до культуры общения: бей, хватай, оскорбляй — лишь бы тебе достался кусок послаще да пожирнее. Открываю «Московский литератор» (3 февраля 1989 г.). Письмо в редакцию. Пишет москвич Ю. А. Дьяконов: «В журнале «Огонек» № 3 с. г. опубликована статья «Дети Шарикова», из которой следует, что инициативной группе не удалось собрать голоса за выдвижение в кандидаты в де-

путаты В. Коротича. Ну что ж бывает... Но вот что настораживает. Оппоненты именуются в грубо оскорбительном тоне. Это «черносотенцы», «подонки», «хулиганы», «молодчики из мюнхенских пивных», «дети Шарикова». Но не просто. Это и «противник», «откровенный противник перестройки», «противник политический». У них «звериный оскал», «хамские выкрики», это «погромщик — темная тупая обывательская сила».

Между тем перед этой публикацией 6 января 1989 года на совещании в ЦК КПСС «главный редактор журнала «Огонек» В. А. Коротич остановился на вопросах культуры дискуссий (разрядка моя. — Н. Ф.), консолидации сил творческой интеллигенции...» («Правда» от 8 января 1989 г.).

Тут невольно вспоминаются слова Коротича, что невозможно «спорить с демагогами, которые врут в глаза». Н-да-с... В феврале с. г. из беседы с известным писателем Валентином Пикулем мы узнали, как чувствовали себя честные литераторы в страшную пору правления товарища Брежнева, которого, напомню, Коротич славил своим пером и ему же салютовал вверх поднятым боксерским кулаком — и добился хорошей жизни. Так вот Пикуль писал в эти годы: «Не хватает дыхания, чтобы жить в полной мере и работать... Хорошо живется только подонкам и диссидентам, но писатели патриотического направления осуждены быть задвинуты (сегодня на это направлены главные усилия Коротича.— Н. Ф.) на задворки литературы... Такова обстановка!.. Будем надеяться, что наверху опомнятся и поймут, куда идет страна, в которой весь идеологический фронт отдан на откуп...» и т. д.

Бесспорно, литература всегда переплеталась с политикой. Но я считаю в высшей степени справедливым твое замечание, друг мой, что между политикой и политиканством нет ничего общего. К тому же политиканство литераторов — в общем-то ограниченных цеховыми пристрастиями — нередко кончается небезобидными эксцессами. Да, честолюбивые замыслы отдельных личностей не могут быть всеобщим делом, равно как прожекты столичных публицистов нелепо выдавать за мнение всего народа.

ПИСЬМО ПЯТОЕ

Друг мой, я выскажу субъективное мнение: порою мне кажется, что в современной литературе постепенно размывается категория времени, то есть время как бы останавливается, не двигается, остается за пределами повествования. Мне представляется это серьезным недостатком. Ибо вне категории времени невозможно создание живого, полноценного образа, равно как воплощение художественного замысла реально лишь в контексте времени. Тут, конечно, следует отличать историческое, реальное время от художественного времени. Реальное время непрерывно, несмотря на то, что моменты (события) предстают разрозненными (прошлое, настоящее, будущее). Современность — центральное звено, связующее всю «цепь времени». В искусстве давно известны способы «растягивать», «останавливать» время, способы прихотливого сочетания временных планов и временных пластов. Все это способствует более глубокому раскрытию мира внешнего, мира внутреннего, тонких психологических, душевных состояний. В отличие от условного времени произведения искусства реальное время не может «сжиматься», равно как и «расширяться», однако может чрезвычайно наполняться, уплотняться событиями, образуя в конечном счете известные переломные периоды в истории.

Создавая особую сложную эстетическую структуру реальности, художник волен по своему усмотрению «сжимать» либо «расширять» время. Под его пером современность становится зеркалом всех времен. В отличие, скажем, от музыки, говорящей о времени как таковом (И. Ф. Стравинский заметил, что музыка «упорядочивает отношения между человеком и временем»), литература отражает данное конкретное время, неотделимое от условий, места бытования героев произведения.

Но если время расплывается, теряет свои очертания, то, естественно, становится все труднее определить, где, в каком крае, каких конкретных условиях существуют, при каких обстоятельствах действуют персонажи. Именно этот недостаток присущ современной беллетристике, в которой, из-за отсутствия подлинного, серьезного социального анализа явлений и событий, история и современность предстают перед нами в каких-то странных масках вместо своего настоящего облика. Так стирается грань между реальным и воображаемым, между добром и злом, между правдой и неправдой.

Мне уже приходилось писать о своеобразном типе писателя, который легко и равнодушно скользит по поверхности жизни, выдавая за образец полугероя, полуправдивость, полуправду, а это далеко не совпадает с целями и задачами настоящей литературы. Тут, пожалуй, впору привести суждение, прозвучавшее около полутора веков тому назад. В 1839 году известный французский критик Сент-Бев в статье «Меркантилизм в литературе» был вынужден констатировать, что сочинительство и печатание все больше перестают быть прерогативой художника слова. Сент-Бёв точно подметил суть происходящих процессов: с повышением общего уровня образованности, с приобщением более широкого круга людей к произведениям искусства создались благоприятные условия для проявления многих художественных дарований, но одновременно все большим количеством людей стали овладевать (иногда на всю жизнь!) иллюзии, будто художественное творчество — легкий труд, приносящий жизненные блага и сладкий вкус популярности.

В наше время — может быть, в большей степени, чем когда-либо,— это странное заблуждение является уделом многих.

Смешение временны́х границ, жизнь в мечтах, когда утрачивается связь между разными периодами бытия, отсутствие линейного порядка событий — разве не эти черты в той или иной мере присущи, к примеру, великому множеству стихов, сочинений Л. Петрушевской, роману З. Журавлевой «Роман с героем — конгруэнтно — роман с собой».

Героиня-рассказчица З. Журавлевой живет в вымышленном, вневременном мире. Роман настолько «исключительно умственный», что теряет под собой всякую реальную основу. Отмечу, что этот прием не нов и давненько вызывал на Западе многочисленные пародии. Известный французский драматург Р. Баншон едко высмеял его в своей пьесе «Три мушкетера», изображая в прологе похороны Д'Артаньяна — маршала Франции, за гробом которого идут его давно умершие родители, сообщает исследователь В. Молчанов. Кстати, Раиса Александровна Горелова из романа З. Журавлевой тоже конструирует жизнь и старческую немощность своих ушедших в мир иной родителей...

Время не движется, время остановилось, время исчезает — это, согласись, мой друг, чрезвычайно серьезная проблема, требующая пристального внимания и осмысления.

Многие трудные нерешенные вопросы стоят на очереди у мыслящего человека, и писателю надо хорошо знать этого человека, необходимо почувствовать движение его души, чтобы увидеть за такими вопросами сдвиги в его сознании. Как не сказать здесь о замечательном художественном опыте Леонида Леонова, который жаждет проникнуть в глубины человеческого духа, понять, что же движет человеком — «стремление к радости» или же «опыт страдания». Не потому ли, как признается художник, чаще всего его «прельщает подсмотреть, как бьется в человеке жилка жизни». Все сложнее, чем может показаться на первый взгляд: «Не с повышения в должности или получения диплома, не с переезда на новую квартиру или приобретения лишней пары обуви, а как раз с несвойственных, зачастую неуклюжих мыслей начинается новый человек». Литература призвана идти рядом с жизнью, стремиться запечатлеть ее горячее дыхание.

Сегодня снова усиленно пропагандируется идея так называемой «исторической дистанции». Суть сей идеи такова: за жизнью не угнаться, она опережает возможности художественного отражения действительности, поэтому не может быть сейчас истинно художественных произведений о нашей современности. Словом, подождем, посидим, посмотрим... Что тут ответить? Что эта идея стара как мир и в шестидесятые годы гордо сияла на знамени «Нового мира». Или что художники прошлого не откладывали перо и не ждали, пока «отстоится опыт» и события отодвинутся в прошлое; за бьющей в глаза пестротой повседневности они умели разглядеть и запечатлеть главные тенденции времени, равно как новые черты в характере человека. Они не только поспевали за развивающейся действительностью, но и опережали ее, создавая бессмертные образы свои. Это свойство настоящих служителей муз. Об этом же свидетельствует и опыт выдающихся советских художников. Не в бытописании, не в переложении на образный язык политических лозунгов, а в постижении глубоких противоречий действительности, в страстной проповеди добра и справедливости состоит подлинность искусства. Не лукавят ли глашатаи «исторической дистанции»? Ибо придерживаться ее — значит принижать роль и значение настоящей литературы и тем самым оправдывать творческую несостоятельность тех беллетристов, популярность которых зиждется на спекулятивных идеях.

Для настоящего художника не существует «исторической дистанции», он изображает жизнь такой, какой видит проницательным взором своим. Точно так же не ждет, когда ему позволят исповедовать правду. Нет, правда неотделима от его таланта — это одно целое. Изменить правде равносильно потере дарования. Помнишь, друг мой, ты рассказывал мне о поездке в Италию и встрече с искусством великого Микеланджело? Теперь мой черед сообщить тебе один факт из его жизни. Однажды художнику передали просьбу папы Павла IV, чтобы он внес поправки в «Страшный суд»; по словам святейшего, некоторые фигуры своим видом оскорбляют благопристойность. Мастер ответил: «Скажите папе: то, что его раздражает, мелочь, которую легко исправить — пусть папа переменит к лучшему мир, и я тотчас устраню недостатки картины». Каков ответ, а? Но вернемся в наш сегодняшний день.

Василий Белов не стал ждать, пока «отстоится», успокоится не в меру разбушевавшееся время, отодвинул в сторону «историческую дистанцию» и поведал о нынешней нашей жизни в романе «Все впереди». И надо сказать, поднял в нем чрезвычайно важные и неоднозначные вопросы, на которые ответов нет и не будет завтра. Это и проблемы научно-технического бума и его негативных последствий, и опасность укрепляющего свои позиции мещанства, открыто поедающего корешки культурного слоя народа, это и все беспардоннее и наглее заявляющее о себе диссидентство, враждебную суть которого мы еще до конца не осознали. Если бы Белов лишь поставил эти вопросы, то уже одно это свидетельствовало бы о его гражданской ответственности. Однако он пошел дальше. Как всякий серьезный писатель, он попытался по-новому осветить эти и подобные явления, подчеркнув их бесспорную опасность для общества.

О, это дорого ему стоило. Какой шум поднялся! Как по команде, выскочили из своих укрытий «аналитики литературы», эффективно мыслящие литературоведы и всякого рода литературные прилипалы — и пошла губерния писать: и лучше бы писатель не высовывался из своей Тимонихи, и как он смеет неуважительно сказывать про Москву и светлые ее нравы, и т. д. и т. п. Признанный «мастер фигурного говорения» (Платонов) иронизиро-

вал: «Некоторые веяния, принижающие роль и возможности разума, коснулись, к сожалению, и литературы. Веяния эти не новы, склонны к повторению и — чуть модернизированные — характерны для кризисных эпох, когда, по словам Томаса Манна, «пышным цветом «цветут» всякие тайные знания, полузнания и шарлатанство, мракобесие сект и бульварно-пошлые верования, грубое надувательство, суеверие и идиллическое пустословие», объявляемое иными людьми «возрождением культуры и достославной народной души». Отразившись в пафосе и структуре романа В. Белова «Все впереди», веяния этого толка поразительно обеднили и снизили возможности признанного писателя» (И. Дедков).

Вот, оказывается, как просто можно походя унизить нашего талантливейшего писателя цитатой из другой эпохи. Но чужой текст может сыграть злую шутку с тем, кто за него прячется: слова «шарлатанство», «мракобесие», «бульварно-пошлые верования», «грубое надувательство», «идиллическое пустословие» — с головой выдают критика, характеризуют «культуру» сего официального проповедника соблюдения «культуры дискуссий».

Но продолжим речь о романе В. Белова. Конфликты и характеры взяты писателем из реальной действительности. Острота и предельная напряженность мысли обусловлены современной жизнью. Люба Медведева (позже Люба Бриш), Иванов, Медведев, Зуев, Наталья Зуева — все они образы полнокровные, характеры оригинальные. Это живые люди, со своими человеческими слабостями и достоинством, наделенные крепостью духа и моральными изъянами. Но каждый из них по-своему глубоко несчастен. Даже Люба, образ, олицетворяющий во многом «тихое» мещанство, несет в себе внутренний надлом и как будто начинает к концу романа чувствовать не свойственный ей «дискомфорт». А уж Медведеву, Иванову, супругам Зуевым — этим страдание отпущено полной мерой. И не только из-за трагически сложившихся обстоятельств (осуждение Медведева, инвалидность Зуева, «недуги» Иванова и Натальи), но и в силу обостренного восприятия действительности, их чрезмерной душевной открытости. В. Белов далек не только от идеализации своих героев, но даже от однозначно положительного отношения к ним, хотя именно с их судьбами связаны его надежды.

Особо следует сказать о Брише. Подобного образа наша литература до Василия Белова, пожалуй, не знала. Он тоже не однозначен. Внимателен к Любе, заботится о детях, отцом которых является Медведев. Но за внешней обходительностью видится не просто мещанин, а типичный носитель зла, разлагающееся и разлагающее начало. Его главная цель — деньги, личное благополучие, которых стремится достичь любыми средствами, любой ценой. Вместе с тем Бриш лишен чувства родства со страной, где он живет. Здесь он гость, а точнее — ночной вор, прокравшийся в дом и ломающий то, чего нельзя унести. Он космополит по сути своей, по чувству и убеждению.

Тем не менее не в описании жизни героев главная суть дела. Центральная мысль, основной конфликт находятся в иной плоскости — в сфере столкновения разных жизненных принципов и миропониманий, воплощенных в образах Медведева и Бриша. Тут, собственно, проявляются подлинное достоинство и дерзость авторского замысла, но здесь же обнаруживаются и слабости исполнения. Писатель как бы робеет перед внутренним цензором, недоговаривает, укрощает свободный бег своего пера — и несколько сковывает, ограничивает художественное развитие ведущей идеи. Тому виной — причины субъективного и объективного характера.

Спор между Медведевым и Бришем — это глубокий конфликт противоположностей, несовместимость взглядов на прошлое и настоящее, по сути, два подхода к явлениям социальной действительности, к личности, которые на поверку оказываются непримиримыми. Да, формирование сознания, жизненный опыт, устремления героев идут как бы в двух разных направлениях: один талантлив, доверчив, в чем-то наивен; другой хитер, с двойным дном, расчетлив — для него родина там, где больше платят. Между ними, можно сказать, пролегла целая эпоха в развитии общественного сознания, хотя вскормлены они одними и теми же соками и живут в одном городе, в одной стране. Однако не одними убеждениями и желаниями жив человек. Чтобы повлиять на действительность, важен свой поступок — лишь мысль, проявленная в действии, ведет к истине. При всех своих знаниях и драматическом жизненном опыте последних лет Медведев еще не обладает ни способностью активного действия, ни действительным пониманием происходящих событий, чтобы достойно противостоять Бришу, хотя он полон негодования и пользуется безусловной симпатией и поддержкой писателя.

Но в этом, как представляется, со всей очевидностью сказался художественный инстинкт Василия Белова — не торопить события, не подхлестывать жизнь и, стало быть, не предрекать судьбу героя там, где еще не определилась судьба народа. В этом бесспорное торжество реализма нашего талантливого современника. Да, у писателя есть все основания не спешить с выводами. Его правда сурова и глубоко драматична, как сама жизнь. Что же там, впереди?.. Не случайно финал романа остается открытым. Пафос произведения обрывается в тот момент, когда конфликт достигает своего наивысшего накала. Два друга, Иванов и Медведев, сжав кулаки, напрягая челюсти, вплотную придвинулись друг к другу. Что дальше: ненависть, непримиримая борьба или взаимопонимание, активное отстаивание общих интересов? Вот заключительные строки: «Оба замерли. Они сверлили, пронизывали друг друга глазами. Их обходили, на них оглядывались, а они стояли, готовые броситься друг на друга. Это было как раз посредине моста...

И Москва шумела на двух своих берегах».

«Неоконченность» романа усиливает драматическую напряженность, глубину противоречий изображенной действительности и в то же время раскрывает какую-то скрытую тенденцию творчества Белова, нарастание внутреннего беспокойства писателя за состояние мира.

Ощущение зыбкости мира и всего сущего охватывает сердце, когда закрываешь последнюю страницу романа Василия Белова «Все впереди».

Если перед нами действительно серьезный художник, в его жизнь неразрывно связана с жизнью народа, он не станет писать о том, что не присуще народному миросозерцанию. Об этом, в частности, поведал нам известный русский поэт А. В. Кольцов в письме к Белинскому от 28 сентября 1839 года. «Еще непременно напишу в ваш альманах и скоро пришлю, — сообщал он своему адресату. — И уж кое-что хочется написать. А если угодно вам спросить, почему мало? — трудно отвечать, и ответ смешной: не потому, что некогда, что дела мои были дурны, что я был все расстроен; но вся причина — это суша, это безвременье нашего края, настоящий и будущий голод». Беда легла тяжелым камнем на душу поэта, и сникла его муза, утратив широту напева. И есть отчего: «Куда ни глянешь — везде унылые лица; поля, горелые степи наводят на душу уныние и печаль, и душа не в состоянии ничего ни мыслить, ни думать. Какая резкая перемена во всем! Например: и теперь поют русские песни те же люди, что пели прежде, те же песни, так же поют; напев один, а какая в них, не говоря уж грусть — они все грустны, — а какая-то болезнь, слабость, бездушье. А та разгульная энергия, сила, могучесть будто в них никогда не бывали. Я думаю, в той же душе, на том же инструменте, на котором народ выражался широко и сильно, при других обстоятельствах может выражаться слабо и бездушно».

Жизнь народа, его страдания — это жизнь писателя и страдания его. Только по такому принципу живет искусство, только такую правду оно исповедует. Правда сообщает искусству действенность, составляет главный смысл художества. Народная мудрость о правде, откристаллизованная в пословицах и поговорках, песнях и преданиях, выражает извечное стремление масс жить по правде, по справедливости. Потому-то и говорится: «Хлеб-соль ешь, а правду режь», «Одно слово правды весь мир перетянет». Без правды иссыхает и увядает рано молодость, без нее и радость становится не в радость.

Нет, друг мой, наши споры, рассуждения, философствование ничего не стоят, если они не проверяются практикой. Человек проявляется только в действии, и не по декларациям, а по делам судим мы о людях. Точно так же обстоит дело и в познании самого себя — в поступке раскрывается наша сущность, наши настоящие возможности, а отнюдь не в мечтаниях и беседах. Но думал ли ты, друг мой, что весь фокус в том и состоит, что между словом и делом существует порою «дистанция огромного размера». И не потому, что мы любим много говорить и предпочитаем ничего не делать или что-то вроде этого. Ничуть! Мы можем мечтать, фантазировать, строить планы, но при всем нашем страстном желании у нас нет никаких возможностей все это воплотить в жизнь. Почему? Время не наступило, условия не созрели или мы сами еще колеблемся, не уверены в успехе задуманного. Современность с ее труднодуловимыми нюансами, переходами, условиями диктует людям свои права. Об этом важно помнить как при оценке исторического прошлого, так и нынешней нашей жизни.

Сегодня вопрос не в том, что произведение написано на современную тему (как будто писатель может отрешиться от современности!), а в том, к каким проблемам оно обращено и в каком ракурсе их рассматривает, какова сила его реализма и мировоззренческая четкость. Не секрет: еще выходят в свет сочинения, в которых герои щеголяют равнодушием либо социальной инфантильностью. Нередко бывает, что в произведении намечается что-то важное, рвется к жизни — и не может воплотиться в яркие образы, в полную силу засверкать многоцветными красками, потому что еще не созрело и окончательно не сформировалось, чтобы быть вынесенным на суд читателя. Иным же авторам присущ ряд блистательных качеств, но недостает настоящей любви — ни к своим героям, ни к жизни, ни к природе.

Между тем литература не только серьезное дело, но и такое призвание, которое немыслимо без высокой ответственности и великой любви. И чем больше ускоряется темп общественного развития, чем сложнее становятся задачи, выдвигаемые временем, тем настоятельнее встает перед ней необходимость создания такого характера, который воплотил бы в себе главные черты представителя новой цивилизации.

Современность стучит в сердцах героев многих книг талантливых писателей. И это естественно. Центром художественной системы всегда является человек, включенный в историческую действительность. Творческий поиск писателя сопрягается со стремлением создавать литературные образы, выражающие правду эпохи. Поэтому на какие бы темы он ни писал, какие бы пласты социальной действительности ни исследовал — мироощущение, чаяния, дела и поступки его персонажей призваны быть вплетены в контекст важнейших событий современности, включены в орбиту общественного, морального и общечеловеческого.

Роман Анатолия Соболева «Якорей не бросать!» один из таких. Подобные книги пишутся редко. В них — знание жизни, любовь к людям, высокий профессионализм и боль: боль за человека и воистину трагическое состояние этого «прекрасней-

шего из миров»; земле, воде, воздуху, населенным мириадами живых существ, угрожает бесплодие, отравление, исчезновение. И виной тому человек, объявивший природе беспощадную войну... Те же рыбаки, о которых повествует Соболев, — это, в общем, честные люди, занятые своим делом, выполнением плана, личными делами. Но где-то в глубине сознания нарастает беспокойство — что же дальше, к чему приведет столь варварское отношение к живому миру океана. «Люди как дети неразумные, — говорит Николай. — Землю замусорили, океан подчистили». А когда Серега Лагутин бездумно роняет: «На наш век хватит», — рыбаки дают решительный отпор его вредным обывательским взглядам. Но их протест носит стихийный характер, это пока словесные турниры («Все видят, все говорят — и никто не действует»), которые не приносят никакой пользы в деле сохранения окружающей среды. И от этого глухая тоска, душевное смятение главного героя.

Бесспорно, в нашей жизни научно-технический прогресс играет значительную роль. Но всегда ли НТР приносит положительные результаты? А. Соболев подвергает художественному анализу происходящее, размышляет, ставит вопросы: правильно ли мы живем? Чем приходится расплачиваться за вышедший в ряде случаев из-под контроля человека технический прогресс? Не вытесняет ли так называемое «благосостояние», узко понимаемое, духовного богатства и подлинной красоты жизни?.. Это приводит романиста к широким обобщениям, дает возможность выявить и понять точки соприкосновения отдельной человеческой судьбы с Историей и Современностью.

Писатель не упрощает локальные, личные и глобальные проблемы, не идет на поводу эмоций. Конечно же, НТР — это не прогресс ради прогресса, а ступень исторической судьбы человечества, рубеж познания, через который ему суждено пройти. Есть ли реальные виновники творимых тотальных разрушений? Да, есть, отвечает Соболев, мы сами, человеческое равнодушие и те, кто руководит этим плановым разрушением. В романе — это Некто в большом кабинете, обладатель власти и непререкаемого авторитета. Вот он: выхолен, тщательно выбрит, на щеках оптимистический румянец, говорит важно, не торопясь, давая собеседнику возможность оценить весомость и значительность своих слов. А в глазах пустота и жестокое равнодушие. С этим начальником и произошел у героя разговор о китах. Во всем мире уже звучали призывы прекратить бить китов: прекратить, пока не уничтожили все стадо, пока кит не превратился в исчезнувший вид животного мира. «Будем бить!» — твердо ответил Некто в большом кабинете. И слово «бить» он произнес так, что герою показалось, будто сверкнуло оно, как топор на эшафоте. Он был уверен в непогрешимости своей деятельности на благо народа, хотя в действительности ничем больше и не занимался, кроме причинения вреда именно народу...

Приводя многочисленные факты, выводы ученых, писатель протестует против стереотипных взглядов на природу — современному человеку следует совершенствовать, менять свою собственную психологию и освобождаться от шаблонного мышления. Нет, роман не просто обличает безответственность. Он всем своим образным строем выражает тревогу за жизнь на земле.

Суждение о художественном явлении всегда будет приблизительным, если принимать во внимание лишь тему, изображенные события. Тут важно проникнуться общим замыслом произведения, осознать то, что «за кадром», то есть то, на что писатель лишь намекает, как бы утаивает, но о чем заставляет размышлять, вспоминать, переживать. Именно эта незримая, но овладевающая нашими чувствами и мыслями сила искусства и является источником его могучей внутренней энергии. В романе Анатолия Соболева — это философия нашего бытия. Как пафос, как лейтмотив повествования. «Кто я, — размышляет герой. — И зачем пришел в этот мир? Кто запрограммировал в глубинах веков именно меня? А вдруг я занял чье-то место, мне не положенное? Вдруг где-то там (где там — вверху, внизу?) произошла ошибка и я появился вместо кого-то? И тот был бы умнее, добрее». А почему человек кричит, появляясь на этот свет? Может, это ужас рождения? Человек приходит сюда из другого мира, из другого состояния. Возможно, младенец кричит от такого же ужаса, который охватывает человека в конце жизни, — ужаса перехода из одного мира в другой? Может быть, рождение — это тоже смерть, конец существования в одном мире и начало в другом? Никто не помнит часа своего рождения, а разве кто помнит час своей смерти? Кто может рассказать о том моменте, когда он пересек временнýю и пространственную грань жизни и смерти? Никто! Тайна, великая тайна. Или грань, видимая и осознанная нами с этой стороны, с нашей, не есть Истина? А вдруг есть взгляд и с другой стороны? И какая из этих сторон настоящая?

Целый рой догадок, воспоминаний, мыслей, вопросов будит в нашей душе Анатолий Соболев. И нет пока ответов на них. И будут ли когда-нибудь... Исследуя острейшие проблемы времени, произведение этого замечательного русского писателя, рано ушедшего из жизни, помогает отличить подлинные ценности бытия от фальшивых и сквозь текучие туманы случайностей и дымовые завесы дезинформаций видеть ориентиры на курсе, достойном человека. Это особенно важно в нынешних условиях, когда человечество, устав от тупых и самонадеянных политиканов, от обостряющихся национальных, социальных и глобальных проблем, взывает к терпимости и милосердию.

(Окончание следует)



Николай **РАЧКОВ**

В ГЛАЗА ДРУГ ДРУГУ ПОГЛЯДИМ

Такая картина...

Не поются что-то песни,
Грусть на сердце запеклась.
Что мне радоваться, если
Вся родня в селе спилась.

Если билась в переплясе
Столько зим и столько лет,
За бутылку дядя Вася
Пропивал велосипед.

Пили братья, пили тетки,
Каюсь, грешен был и я.
Знать, с ума сошла от водки
Вся Кирилловка моя.

Ну и кто ж чего добился?
Вот она, картина, вся:
Кто до чертиков допился,
Кто вчистую пропился.

Пили, не соображая,
Где начало, где конец.
Было не до урожая,
Не до телок и овец.

Пили так, что все забыли,
Что умели и могли.
...Потому что долго жили
На Земле, но без земли.

Кто ты?

Все в природе и ясней, и проще,
Все взаимосвязано навек.
Вырубая и леса и рощи,
Вырубает род свой человек.

Или он не чувствует укора,
Все живое на Земле губя?
Отравляя чистые озера,
Не казнит ли самого себя?

Словно вены, он взрезает реки.
Под сияньем звездного Ковша
Корчится предсмертно в человеке
Темная безгласная душа.

И пока не сгинул бор угрюмый
И растут последние цветы,
Человек, опомнись и подумай —
Кто ты и зачем на свете ты?..

Покос

Встал до зари, как по тревоге,
А травостой — в росе густой.
Пошел он, шире ставя ноги:
А ну, коса, коси, не стой!

Валы вставали по колена.
Уж темнота ползла ужом.

...Прилег он на охапку сена
Перед еловым шалашом.

Всего, всего до пят ломило.
Хотел быть первым? Поделом.
Но небо, вспыхнув, наклонило
Все звезды над его челом.

Армения. Декабрь 1988 года

Земля вставала на дыбы,
Принудив всех к повиновенью.
И рухнули дома — гробы,
И все живое стало тенью.

Рассвет горел кровавой ржой.
Кого спасли, кого сумели,
Те снова умерли душой
В больничной белизне постели.

А всех костей и не собрать.
Припомню — сразу сердцем стыну.
В одном мешке дитя и мать,
И кровь сочится сквозь холстину.

И судьбы все переплелись
В одной проклятой дымной груде.
...От Рая все мы отреклись.
Так вот он, Ад. Глядите, люди.

* * *

Тщеславные поводыри,
Чудовищные, злые силы...
И вот: какие пустыри,
Какие страшные могилы!

Был выдран тот и этот род
С землей, как корни бересклета.
Ну где, какой другой народ
Сумел бы вынести все это?

Расходится дурманный дым.
В грудь свежий ветер бьет упруго.
Пусть больно нам, но поглядим
С надеждою в глаза друг другу.

И верить будем в эту синь,
В открывшиеся взору дали,
Пока еще жива полынь —
Трава забвенья и печали...

* * *

Чего в мечтах не городили?
Вот-вот на нет сойдут рубли...
Но лошадей — и тех сгубили,
В оглобли женщин запрягли.

Внушили им, что так и надо.
Не странно ль слышать:
— «Милый мой!» —

Среди разлада и распада
Цивилизации самой.

Усталые с г спешки лица,
Глаза сухи, душа в слезах...
И это все — нам не простится
Ни на земле,
Ни в небесах.

Баня

В Ледовитом океане —
Баня!
Пышут полки, горячи,
Как оладушки в печи.

Захватило дух клещами,
Не дыши и не кричи.
Боцман паром угощает,
Поддает на кирпичи.

Я сомлел. Уже я розовый.
Я хриплю: «Не надо, не...»
Ну а веничек березовый
Ходит, ходит по спине.

И вот эта для старпома
Поговорка дорога:
«Коль ты в бане —
Значит, дома,
Где березы и снега...»

За бортом вода клокочет,
Разбиваясь о бушприт.
Боцман красный, словно кочет,
В белой простыне сидит.

Не фигура — габарит.
Боцман здраво говорит:
«Не о рыбе, не о плане
Думай, выйдя в океан.
Перво-наперво — о бане.
Будет баня — будет план».

После бани чай крутой,
И не в кружке, а в стакане.
Хочешь — падай, хочешь — стой:
Анекдот — о той же бане...

Я сижу, и мне легко.
Я душою далеко.
Там, где в беленькой сорочке
Спит ромашка, — боже мой!
Где, волнуясь, обе дочки
Ждут скорей меня домой...

Хорошо от их улыбки.
Я во сне. Я как убитый.
И меня качает в зыбке
Самый-самый
Ледовитый.

* * *

Войска уходят — и грохочут вслед
Жестокие ракетные разрывы.
Могил солдатских на чужбине нет.
Могилы дома, где поникли ивы.

Прощай, прости, непонятый Восток.
Всей боли за раскаяньем не спрятать.
Впиталась кровь в твой камень и песок.
И не отмыть ее
и не отплакать...

Снегирь

Схватил мороз зари стеклянной пламя
И хрустнул, — и осколочки зари
Вдруг ожили в снегу, взмахнув крылами,
И стали называться — снегири.

Один весь день горит в моей аллее,
Как будто бы манит издалека.
И день светлей,
И на душе теплее
От этого живого огонька.



Сергей АЛЕКСЕЕВ

КРАМОЛА

РОМАН

19. В ГОД 1182... В ГОД 1183...

ПОТЕКЛИ смерды по трясинам и болотам, затрещали в трещотки, зазвонили в колокольцы, абы птицу на крыло поднять, по воздуху ее распустить. Да страшно птице от земли подняться, покинуть травы да камыш. Менее человек пугает ее треском да звоном на земле, нежели соколы в небе. Попрятались утицы и перепелки, кулички в трясинах будто сгинули. А белому лебедю нигде не спастись, велик он, аще бы в осоках утаиться, и бел, еже бы перо свое в грязи марать.

И расправил лебедь крыла, побежал водою и крикнул так, что другие птицы обмерли и смерды зазябли. Взмыл он в небо под соколиный глаз и поплыл к смерти своей.

Пала на того лебедя стрела черная, взметнулся белый пух, ровно облачко, полетел над землей. И не успел он опасть на травы болотные, а уж птица смерть приняла и, свергнутая с небес, распласталась у лошадиных ног.

Еще в юности сказал Игорь старцу-кудеснику: «Нет прекраснее зрака, егда сокол лебедя избивает!» И ответил ему кудесник: «Спросим же у встречных, княже. Кто одним словом скажет — того и правда».

Пошли они лесом, чернец на пути встретился, вязанку хвороста нес.

— Ответь же, божий человек: какой зрак прекраснее всего на земле? — спросил кудесник.

— Лик господа нашего,— смиренно молвил инок.

Пошли они полем, увидели пахаря с сохою, в тяжком труде пребывающего. И его попытали. Утер пот ратаюшко и вымолвил:

— Зрак тот, егда хлеб на столе стоит.

Пошли они степью, где намедни сеча случилась кровавая. Вороны над мертвыми телами кружились, черви кишели — аж трава шевелилась. Отыскали они умирающего воина, спросили.

— Зрак сей — мир,— вздохнул он и умер в тот же миг.

Будто накрепко запомнил тогда слова сии юный князь Игорь Святославович. Да повыветрились они на бранных полях, ровно надпись на придорожном камне...

А случилось тут князю поехать на охоту соколиную с шурином своим Владимиром Ярославичем Галицким да с сыновьями малолетними. В печали глубокой ехал он. Сон дурной накануне привиделся и не давал покою ни в тереме, ни в вольном полюшке.

Поднялась из болотца утица, пустили своих соколов Святослав и Олег да поскакали за ними следом. Чуть увидел сей зрак Игорь, и отошла от сердца печаль-кручина. Залюбовался — эко чудо! В небе соколы летают, сыновья по земле скачут! Будь крыла у них — так бы и воспарили!

Олегов соколец первым настиг утицу, ударил походя, а другой-то сокол, Святославов, озлился, что добычу допереж взяли, и налетел на соперника своего. И стали они бить друг друга, роняя перья на мертвую утицу. Вот уж крыла поредели, и хвосты щипаны, а все не уймут страсти своей. Видно, до смерти схватились соколы-соперники. Загляделся Игорь в небо, да слышит, Ярославич кличет:

— Соколы-то в небе, а соколята на земле!

И узрел Игорь, аки сыновья его, с коней сойдя, насмерть бьются в худой осоке. Вот уж за кинжалы похватались княжичи, кружат кругами, ровно вороги лютые. Олег хоть и меньше летами, а не уступает старшему брату, и злоба из очей его брызжет!

И сыплется на них соколиное перо...

Поднял Игорь плеть и поскакал к своим отрокам. Едва поспел Владимир, абы десницу его остановить.

— Эка невидаль — отроки повздорили! Не беда, коль потешатся до первой крови!

На отца глядючи, охолонулись сыновья, спрятали кинжалы и очи потупили. Тем временем рухнул к ногам Олеговым соколец его, распластал крыла и глаза закатил. А сокол Святослава покружил из последних сил и тяжко на плечо господину своему опустился.

И будто унялся Олег, а гнев в очах-то шает, горит угольком оброненным. Того и гляди — пожаром обернется...

Затужил Игорь, еще пуще запечалился, да так и разу сокола не пустив, велел домой ворочаться. Поднял Олег добычу свою — битую утицу, а соколом мертвым бросил в брата.

— Неужто и вас ко кресту приводить?! — взбеленился отец.

Ускакали сыновья. Князь с шурином своим тихо поехали, поводья до травы достают.

— Отчего же печаль твоя, брат? — спросил Владимир Ярославич.— Не ведал ты горя, коли сия безделица тоскою блазнится. Все есть у тебя: дружина храбрая и дом, и мудрая жена, и дети — княжичи удалые. Пожелаешь — и на Киевский престол сядешь. Ты же, брат, в печали, ровно под черными чарами.

— Завидую тебе, шурин,— вдруг вымолвил князь.— Твоему роду завидую.

— Тебе ли завидовать, Святославич? — понурился Владимир, в камень лицо затвердело.— Изгою и бездомок не завидует...— И закричал, потрясая плетью: — Отче мой, Осмомысленный, Настасьичу престол завещал! Выб...ку — Галич, а мне?! Сказывал, веры нет у меня. А веры по всей Руси нет! — Он заступил конем путь Игорю, заговорил страстно, так что сокол слетел с руки и забился на ременной привязке: — Сам-то он с верой живет ли? Христу молится! И посты блюдет! Да ведь абы боярам своим угодить! И не верит он в триединого бога! Трояновы стези в душе своей тешит, стихии умом покоряет. И шагу не ступит прежде, чем тропы под ногой не позрит! А хворь потом лечит причастием святым. Недужится ему, егда он во храм ступает. Лихорадка бьет, очи пылают! А его звезды мучают у честного креста!

— А ведаешь ли ты Трояновы тропы? — Игорь оживился.

— Не ведаю и ведать не желаю! — недобро засмеялся Ярославич.— Тропа изгою ведома одна — с корзиной по Руси! Прогонят от одних ворот — я к другим. Коли пожалуют — так поклонюсь, а ежели и пнут — так тоже поклонюсь. Аще и ниже, до земли. Коль веры нет по всей Руси — откуда ж справедливости-то быть? Где ныне Стыд и Совесть? А Русь жива, егда сим богам князья и служат, и требы воздают! — он снова засмеялся, плетью погрозил.— Боится меня Осмомысленный отче! Молниями стреляет, а слова сыновьего боится! Изгнал, да не обрел покоя. Страшно... Бояре пожелают странника беспутного и пойдут против Олега Настасьича! Да напрасно тревожится он. Не надобно мне ни жалости боярской, ни отчего престола! В ноги повалятся — не сяду. Вольная тропа ближе сердцу моему.

Князь Игорь печально вздохнул.

— Обида в душе твоей, шурин. И разум застит гордыня... Да все одно — завидую. Неспособно мне жить, аки ты, и не волен я. Будто сокол на привязи. И пускают в небо меня токмо птиц других избивать.

Поднял он коня на дыбы, припал к косматой гриве, прокричал:

— На род наш проклятие пало! Сокол на сокола! И быть тому вечно!

И понес его конь, стелясь вровень с травою.

Ночью проснулся князь в темных покоях, растворил окна и кликнул холопа, абы воды умыться принес. Прибежал холоп с ушатом и кувшином, поливал князю на руки и на голову. Сам же таращил очи: темень, хоть глаз коли, а князю умываться вздумалось.

Окончание. Начало в №№ 1, 2, 3 за 1989 год.

Утерся Игорь полотенцем, велел покои окурить травою и, взяв свечу, поднялся к Ярославне.

Княгиня сидела над угольями. Светился от огня ее печальный лик.

— Вижу... Сны тебя мучили, князь.

— Мучают, Ярославна,— князь поднял руки над угольями — и потускнел огонь.— Черторый не дает мне покоя... Кончак вдругорядь приснился. Плыли в лодии, а гнев мой — ровно парус под ветром!.. Он же веселый, на сурне играл. Надо мною тешился...

Ярославна взмахнула руками над противнем — запылали уголья, и огненный жар, воссияв, волосы поднял ее и украсил зарею.

— И потекла наша лодия! Сквозь щели струи забили, а волны бушуют окрест, гибелью ветер грозит!.. Кончак же дерьмом своим щели те мажет — замазать не может. И топит, топит вода нас! Уж возле горла стоит! А я в дерьме плыву...

— Князь мой, лада,— Ярославна метнула щепоть травы в огонь — взреял и растворился дым голубой, а уголья враз почернели и пропало во тьме лицо княгини.— Боязно мне и сказывать...

— Сказывай!.. И не прячь лика своего!

— Не прячу, господин мой. Уголья гаснут, знать, в огне душа твоя,— княгиня взожгла рукою уголек, накрыла дланью — засветилась длань. — Я волховала... Мне не открылась суть уреченья твоего. Зрак заслоняет сень луны! И гасит уголья мои и чары, как ныне ты их погасил огнем своим. Мне мало ведомо, мой лада. Да то, что ведомо,— сжимает перси мою... Сей сон твой страстный в руку...

Княгиня выпростала свет из рук своих — и загорелся уголь. И отступила тьма. Лицо же Ярославны словно пеплом замело.

— Из всех живущих ныне на Руси тебя избрало небо!

Отпрянул князь и сжал ладонью горло. Душа похолодела, зато воспрял огонь на противне.

— Зачем?

— Сие не ведомо!.. Огонь, что ныне жжет тебя и коий ты все тщишься погасить, заронен небом. Ты над собой не властен, князь. Но путь свой сам себе укажешь. И лишь в пути тебе понять должно, зачем ты избран. Зрю я — вельми обильно мук и страстей по земной тропе твоей! А по небесной — благо!.. Но далее бессильны мои чары. Луна претит, мешает — вот же, вот она! И что за нею — мне не видно... Батюшка бы мой узрел! Дозволь, мой лада, я к нему поеду? И рок твой до конца узнаю я?

— Не след мне рока ведать, коль над собой не властен,— князь опустился на колени, склонясь к ногам жены.— Муки выпадают? Так что же? Привычен к мукам я. Нет выше муки, чем тебя, кудесницу, любить. Ты допереж неба избрала меня! И власть твоя сильнее власти звезд. На поле бранном я молюсь тебе, и образ твой мне чудится повсюду. Иной раз меч свой подниму над супостатом — в его очах твой лик увижу я! Егда же с братией в поход отправлюсь — ты по холмам бежишь напереди, десницею мне машешь и зовешь...

— Зову, зову, мой князь! — воскликнула она и вмиг же погрустнела.— В пути твоем грядущем, лада, есть мука трудная — разлука. За уречением своим — меня забудешь.

— Тому не быть! — заверил князь и обнял стан жены.— Предначертанья божии не в силах отнять мою любовь и память.

— Не зримо будущее нам,— вздохнула Ярославна.— И тайнами объят твой путь. Лишь ведомо, что страстью выстлан он, аки углями, а выткан из мучений. Луна, луна...

Княгиня застонала, но вдруг вскочила, бросилась к огню и рукавом смахнула серый пепел. И вырос над углями светлый купол, но в тот же миг княгиня окропила его водой — и воссияла радуга в светлице. Начало — над огнем, а тот, другой, конец, пробивши стену терема, раздвинув тьму, достал полуночной звезды. Перстами, словно пряжу, она перебирала все семь цветов; смешала их, скрутила в бечеву и, вновь расправив, опустила очи.

— Не ведомо...— и, волосы переложив на грудь, стала плести косу, вплетая радугу, как ленту. — Узрела лишь... Нет, не ведаю.

— Что ты узрела — сказывай! — взмолился Игорь.

— Колокол звонил... То ль на пожар, то ль вече созывалось. Да, чудный колокол! Висит над Русью, а сам же из Руси отлит. И в колоколе том — ты, княже, вместо била... Нет! Не властны мои чары, не ведаю к чему... Почто же бьют в набат тобою, лада? Хочу уразуметь, но мне луна свет застит! Не пускает... Что бьют тобою — можно толковать двояко...

— Довольно, Ярославна! — крикнул князь.— Устала ты. И Осмомысленный твой отче не скажет более. Довольно!

Отшаял в противне последний уголек, но свет не умирал в светлице. Коса с вплетенной радугой озаряла окна, и из окон уже вливался свет зари. Ночь отступала от ее ударов, и утро бранным полем занималось по Руси.

— Забудь о Черторые, спи спокойно,— княгиня Игорю прикрыла дланью очи.— Не думай более... Помысли о сынах своих, охотой соколиною утешься...

— Охотою? — князь встрепенулся, голос дрогнул.— В охоте нет утехи, Ярославна. А дети мне покоя не приносят... Позрел я ныне усобицу такую, что впору бы ослепнуть! Откуда злоба в них?.. Меня Олег сразил: покорный был и ласкосердный. Тут же из глаз обида так и прыщет! В учение отдам его, к кудесникам отправлю. Олег, Олег... Неужто дух Гориславича в нем пробудился с новой силой, утроенною за три поколенья? Неужто род наш так и будет наводить поганых половцев на Русь? Неужто сокол мой в мытях, и силы нет избить крамолу — птицу Див?!

Прощания того никто не видел...

Река была еще в тумане, и вода от сонной лени не струилась, жалась к берегам. Не ведомо ей было, чьи ладони так ласково щекочут гладь и чье чело она умыла на заре, кем был унесен на память камень со дна ее и кто писал перстами имя, кто в зеркало смотрелся темное и видел только небо да робкий край зари.

И лес, притихший в сладкой дреме, не слышал, кто под сенью крон бродил и листья рвал, кто плакал тихо и чья слеза катилась по стволу березы, ровно капля сока. И полю было все равно, кто по нему ступал и чья рука колосья шевелила, персть осыпая на землю — все спало.

Все видела и знала лишь ночная птица, но пением своим, тревогой не добудилась никого, а скоро и сама заснула, от зари ослепла, онемела...

Потом, проснувшись, и река, и лес, и поле долго ждали н рук его, и легоньких шагов, да уж напрасно было: княжич прощался с лошадью, уткнувшись в гриву.

— Ты постареешь,— говорил Олег.— Губа отвиснет, брюхо растолстеет. Не годен станешь под седло, егда вернусь я... Мне что, я выберу из табуна другого, и объезжу, аки тебя, и обучу скакать, абы не достали стрелы. Послушным будет новый конь... А с тебя, мой верный, снимут шкуру и вымочат ее, и разомнут, и сапоги пошьют иль ту же сбрую... Но лишь одно я от тебя сумею сохранить — имя твое, и посему ты будешь жив и навсегда со мною, коль именем твоим другого кликать буду. Я позову, а ты заржешь... Кто ж виноват?! Что ж мне творить, коль век коня и человека настолько разный?!

Но пробил час! А с матерью прощаться недосуг...

Вот и котомка за плечами, и посох руку холодит. Длань старца на плечо легла.

— Пошли же, отрок. Путь наш далек...

Оборотился княжич — у ворот стоял отец, а под десницею его — братья, и ветер волосы на главах перепутал...

Да где же мать?!

Хоть бы одним глазком позреть ее... Вон руки! Руки на решетке окна светлицы! Мать?..

А под ногами уж и степь ковыльная трепещет. И скрылся терем, сторожевые башни прикрылись лесом, и Подол истаял на земле под жарким солнцем. Но долго перед взором средь белых облаков лежали руки на витой решетке окна ее светлицы. И само окно, оставив терем, улетело в небо и утвердилось в куполе его.

— Что ж стану делать я у волхвов, старче? — спросил Олег.— Неужто смысленным кудесникам не жаль лишать меня и матери, и крова милого, и отчизны родной? Велика ли цена ученью вашему, коль так безжалостно оно? Коль душу ломит мне?

— Душа твоя подобна сотам в борти: пуста еще и, аки воск, мягка,— проговорил старик.— Страшиться нет нужды, не сломится она. Ты ж ныне — пчелка, князь.

Летая от цветка к цветку, ты станешь собирать нектар познанья и заполнять пустые ячеи.

— Сколь долго ж будет сие учение, старик? И хватит ли терпенья мне?

— Прежде, отрок, я проведу тебя кругами живота людского,— возвестил кудесник.— Познанью грош цена, коль им ты станешь набивать утробу, а в сытости дремать. Я сердце выну из твоего лона. И людям брошу! И ежели оно засветится, то люди позрят его, поднимут и передадут тебе. Однако наперед пройдет оно сквозь руки тьмы людей, сквозь свет и мрак. И коль не остудят сии руки сердца — ведь теплым сердцем каждый греться рад! — и ежели не погубит его страсть и прелесть не изъязвит, то рок тебе — служить богам. А иначе — ты станешь человеком, княже. Получишь свой удел и править будешь, и ходить в походы, защищая Русь. Но в сонмище людском, среди обид и страстей ты будешь верен правде, и не поднимется твоя рука на брата, ибо, согретый твоим сердцем, он брат тебе втройне. И к красоте причастен будешь ты, поскольку правда в красоте сокрыта. Она аки жемчуг в перламутре раковин. Отныне пред тобою, отрок, два пути — небесный и земной.

— Егда же, старче, я вернусь под отчий кров? — крепился княжич, но в очах его таились слезы.— Мне не позреть уж более живыми ни мать свою, ни братьев, ни отца, пока я послухом твоим с тобой скитаться буду и собирать нектар. Кому ж я понесу его, коль стану одинок?

— Печаль твоя понятна мне,— и в старческих очах возникла радость.— Учение недолгим будет, и никто в гнезде твоем состариться и умереть не сможет. Но для тебя же, отрок, минет вечность. Абы познания достичь, осмыслить мирозданье, тебе бы не хватило и трех жизней. А посему с тобою вкупе мы ступим ныне на тропу Трояна. Земной тропой я поведу тебя сквозь мир Живых, а после мы пойдем тропой небесной сквозь молчаливый мир — мир Мертвых. И лишь тогда подвластно будет Время.

— А есть ли путь назад? — спросил Олег, волнуясь и теряя голос.— Мир тот в одну лишь сторону пускает!

— Назад пойдешь один,— поведал старец.— Я ключ тебе вручу от всех дверей, а сам же там останусь. Теперь ты мой наследник. Но не престол получишь от меня — всего лишь ключ, абы ходить тропой Трояна.

— А вкупе нам назад пути не будет? — испугался княжич.— Ты умрешь?

— Да, отрок, я умру. Да смерть моя мне будет и награда,— утешил старец.— Ты будешь жить — и я в тебе! И снова стану леп и молод. Твоими же очами мир увижу я. Ты же, взрастивши чад своих, вложи им помыслы свои и душу. И вновь воскресну я! И ты воскреснешь! Так много поколений мы будем жить. Так жили ранее, в далеких временах, и будут жить еще, пока земля стоит, пока стоит на свете Русь. А ежели рок назначен тебе будет богам служить — ты тоже не печалься. Единожды взяв отрока, аки я взял тебя, ты передашь ему наследство. Все повторится, и жизни не прервется ход. Служа богам, ты служишь людям.

— Нет, старче, я не верю! — воскликнул княжич.— За смертью мрак, и ничего нет боле! Закрыты очи, дыханья нет! И труп смердит... А из сырой земли уже не встанешь! Я зрел на бранном поле кости. Они мертвы. Нет жизни в них!

— Аки же бо стояла Русь, коль с человеком умирало все? — промолвил старец и с древа лист сорвал.— Позри сюда, несмысленный мой отрок. Се лист, на нем рисунок древа. Он вырос на ветвях, он светом насыщался, на ветрах трепетал, но минул срок — сронился наземь, почернел и перстью разлетелся. Зачем он жил? Абы исчезнуть в бездну?.. Нет, княже, сей лист — позри! — он дерево взрастил! Он жизнь свою, свое тепло и свет — все древу отдал и, оставив почку, покинул ветвь. Позри! — прикрикнул старец и дланью указал на древо черное.— Сей дуб огонь палил. На нем сгорели листья — он умер! Хоть ветви есть, есть ствол и корни... Так и человек живет на древе, аки лист. Сорви его — и древу больно, и человека нет...

Разжал ладони старец, и понесло листок по травам, по земле, забило в щель между камней — он зелен был и мертв уже...

— И не прирастить его, коль сорван,— продолжал кудесник,— ни чарами не воскресить, ни молитвами. Сей лист не просто мертвый. Он лишен Пути. Такая кара страшнее смерти. Ибо созревший лист, взращая почку, жизнь древу продолжает. И павший наземь — еще живет и полезен ему: от стужи корни укрывает, а

превратившись в тлен, удобрит землю... Бессмертен человек, и жизнь его бессмертна, покуда служит древу своему, покуда не лишен Пути.

— Ты сказывал, есть два пути? — задумчиво промолвил княжич. — Куда же путь другой? Куда ведет он?

— Оба — к Правде,— успокоил старец.— Земной — короткий путь; небесный — бесконечен.

Шумели листья над главой, тянулись к свету, давая древу сень. А в кроне веселились птицы...

Земля, окрученная радугой, купалась в маре, и жаворонок пел под разноцветным коромыслом, звенел, как колокольчик под дугою, и лошади неслись, вздымая пыль. Весна себе ни чести не искала, ни славы не жаждала на поле брани, а исполчилась вкупе с солнцем и одолела зимнюю хворобу. И сей союз благословенный, сей мир, заключенный навеки, неодолим был, и трава, пробив земную хлябь, тянулась к небу. Взломав коросты почек, новорожденная листва развертывала ушки: лес слушал птиц, лес жмурился от солнца и заводил весенний хоровод.

От запаха земли открытой, от свежих трав и вольного простора взыграли кони, понесли наметом, сбивая тяжесть с застоялых ног, но, тучные, так скоро притомились...

Настигла Игоря княгиня и стременем коснулась стремени мужа. Понур был князь. Весенний свет и дух земли его не радовали, в очах зима еще не отступила...

— Зачем в Путивль скачем? — спросил он холодно и гриву лошади своей расправил, расчесал.— Все спутано! Конюшего побью...

— По сыну своему тоскую,— призналась Ярославна.— Тревога в сердце... А коль она на сердце матери ложится — знать, чада кличут, знать, беда случилась с ними.

— Да полно,— отмахнулся князь.— Твой первенец Владимир давно ли был у нас?.. Ответь же мне, зачем мы скачем?

Седло свое оставив, Ярославна спустилась наземь и рукой взялась за стремя Игоря.

— Мой господин... Покорна я тебе была и слова поперек сказать не смела. Таков уж мой удел... Но ныне я скажу!

— Послушавший жену — да сам мудрец ли? — усмехнулся Игорь и понукнул коня.

— Послушай же меня, о лада! — воскликнула княгиня, и огонь блеснул в ее очах.— Ты сына волхвам отдал — не забыл ли? Ты имени его не помнишь!.. А меня он кличет, и глас его я слышу повсеместно!.. Се чибис закричал, а я Олега слышу... Нет мочи, князь! Верни мне сына!

— Ты ведаешь, не в силах я, княгиня,— он поднял Ярославну, посадил в седло.— Мне нет пути тропой Трояна...

— А чудится — он близко, рядом! И с ним беда! Или вот-вот случится! Окрест Путивля... Горит его сердечко, полыхает! Он рвется к нам! Позри: сияет радуга! Се знак! Се путь его!

— Не верю я...

— Не веришь? Отчего же?

— Предречения твои несбывны, Ярославна. Я же, послушав, томлюсь теперь, и главу преклонить ко сну невмочь. Доселе я видениями во снах страдал, а ныне бессонницей страдаю. И наяву ко мне приходит дядя мой, казненный Игорь. И мщенья жаждет, меч свой подавая...

— Твою беду руками разведу! Утешь же ты меня! Молю, скажи, нет ли вестей тебе от сына? Не скрыл ли ты беды и горя?

— Тебе же ведомы все тайны! И скрыл бы я — ты в миг один узрела б,— недобро усмехнулся князь.— Взожгла бы угольев и травы бросила, провидица. Иль птиц послала бы... Ты же колдунья, чародейка, горазда предвидеть волю неба!

— Не смейся, лада! — взмолилась Ярославна.— Коль знал бы ты, владеющий мечом, как тяжко чарами владеть! Как жить невыносимо, грядущее познав! Печально как разлуки ждать!

— Ты сказывала мне — я избран небом! — князь вдруг разгневался, рванул поводья.— Избрание сие покоя не дает! Огонь в груди пылает, душа горит!.. Коль ты сказать не вправе, зачем я нужен небу, открой хотя бы срок, когда я призван буду!

Ты же ведаешь грядущее! Когда начнется путь мой, дабы исполнить свое предназначенье? Поверь, кудесница, устал я ждать. Мучительно взирать на небеса из часа в час. Я ведь земли не вижу. И спотыкаюсь!

Княгиня распустила узел, и убрус шелковый упал на плечи. Весенний ветер волосы расправил, раздул их, ровно парус, разметал, а Ярославна собрала их, устами прикоснулась и князю подала.

— Возьми кинжал, отрежь их, брось на ветер. Чем дальше разнесет их, тем боле времени в покое будешь ты. И муки отойдут, развеется печаль. А я пойду сбирать по волоску. Коль птицы разнесут на гнезда, так буду ждать, пока птенцы не встанут на крыло, и лишь потом тихонько выплету... Покуда собираю — над тобою бессильно будет небо!

Игорь вздрогнул, голову поднял. А конь его забил копытом землю. В тот час ударил с неба ветер, деревья застонали, поникли травы. Из набежавшей тучи спустился смерч на землю и хобот свой нацелил на дорогу.

— Скорей же, режь! — вскричала Ярославна.— И смерчу брось! Он разнесет мои власы по свету, и ты навек избавлен будешь от власти всех богов! И неба! Мне не собрать их станет за три жизни!

Князь дланями огладил голову ее и, волосы прижав к лицу, промолвил тихо:

— Нет... И волоску не дам упасть.

И в тот же миг унялся ветер, и смерч опал, а туча окропила землю и радугу спустила над Путивлем.

— Знамение! — княгиня подняла десницу.— Сынок! Сыночек!.. Слышишь, князь! К нам он бьется, аки в утробе бился!

Поводьям повинуясь, помчались пошади, и жаворонок с неба усыпал серебром дорогу...

У городских ворот встречали сыновья...

Княгиня опустилась на колени перед Олегом, вздохнула вольно:

— Здравствуй, князь. Измучил ты меня... Да жив, и слава богу.

Олег волос ее коснулся рукою:

— Мать...

— Я звал тебя? Иль мужа за тобою посылал? — спросил отец, седла не покидая.— Почто ты здесь, а не в ученье?

— Отец, послушай брата! — не вытерпел Владимир.— Он весть принес!

— Пусть скажет сам! — отрезал Игорь.— Коль дан язык ему. Почто до срока ты очам моим явился?

— Прости же, отче,— княжич поклонился, но взгляд был тверд.— Прости, что я без слова твоего явился... На Русь идет беда. Леса из копий встали средь степи, у Дона.

Послушал Игорь и с коня спустился. Сыновий взгляд был чист и прям, и лик спокоен. Лишь уста дрожали.

— Да тихо по сумежью, отче! — вскричал Владимир.— Великий Святослав рассеял супостатов. Кончак едва ли к лету соберется. А летом с братиею всей на Дон пойдем, и половцы навек забудут дорогу в Русь! Святослав бежит по землям рати собирать!.. Брат мой, ты лжешь!

— Я правду сказывал! Руси грозит беда! Я к вам бежал предупредить..

— Он лжет, отец!

— Помилуй, брат! — взмолился княжич.— А ты, отец, скажи хоть слово! Опомнитесь, услышьте! Беда идет на Русь! Я сам позрел: шатры, шатры... Вся степь в шатрах! Траву уж съели кони, земля черна окрест. Лишь чуть спадет вода — и ринутся на Русь!

Молчал отец, сжимая меч, и брат молчал, взирая на отца. Неистовство Олегом овладело.

— Не медли же, отец! Я заповедь нарушил, сойдя с тропы Трояна! У старца вымолил свое наследство — ключ! — дабы пройти сквозь царство Мертвых... А старец там остался. И умер в тот же миг... А мог бы жить, добро творя! Я же убил его!

Игорь обнял сына, поцеловал в уста.

— Отец, он нездоров! — воскликнул Владимир.— Рассудок помутился у него!

— Настал мой час,— промолвил князь.— И путь открылся мне... Мыслилось: весть боги принесут. А сын принес ее.

— Ступай, не медли,— попросила Ярославна, припав к его груди.— И дале слушай токмо волю сердца. Приляг на землю, ухом прислонись и слушай, аки слушают биение копыт. Я же восстану меж землей и небом, и так стоять мне, доколе ты в походе. И знай: дабы спасти тебя, я брошу свои волосы на ветер и неба власть сниму. Ты токмо кликни мне о сем иль в мыслях пожелай. Но ты детей моих спаси! Мне их не защитить своими чарами. Спаси детей! Не дай им сгинуть!

— Исполню, — проронил он. — Ты уж прости меня, коли обидел словом или взглядом... Прощай!

И поклонился, десницею земли достав.

— Поведайте же, что сие прощанье означает? — воскликнул князь Владимир.— Ровно сговорились на потеху, а я дивлюсь...

— Дружину собирай! — прикрикнул Игорь. — На Дон позрим. И выступай сей час!

— Но аки ж Святослав? Обиду затаит! — он бросился к отцу. — Внемли же, отче! Промеж нас крамола встанет! Престол отнимут!..

— У нас отнимут Русь! — взгневился князь. — Садись же на коня и стяг свой разверни по ветру!

— Твори, се велено отцом! — вступилась Ярославна. — Я зрю: похода Святославова не будет! Полков он в русских землях не сберет. Ступай, сынок, и в сече береги отца.

Она взяла поводья своего коня и подала Олегу.

— Се конь тебе, сынок. Отцу советник будешь. Ступай и ты. Ступайте все! За землю Русскую. За Русь.

Неслись гонцы, с коней валила пена...

Все жило в тот час, все стремилось к цвету, а не к смерти, и дух весенний голову кружил. Но загнанные лошади, уставшие дышать, хрипели и бежали мертвыми. Гонцы седлали подводных, скакали дальше: весть в ту ночь всю Северскую землю облетела, в Чернигов донеслась.

И поднялась земля.

Князь Игорь ночь пережидал в своих покоях, дабы с зарею ступить на путь, ведущий в неизвестность. Облаченный в легкую кольчугу, лежал на одре, а мыслью уж в который раз поля измерил и просторы, и броды выведал, и ход через болота. Однако думою своею ежечасно в незримую твердыню упирался. Путь открывался не далекий, а что за далью было? Свет иль тьма?

Грядущий день был днем Егория, святого воина, вступившего со змеем в поединок. И вот теперь поверженный когда-то змей вдруг ожил и приполз на берег Дона, чтоб вновь сразиться, но уже с другим Егорием. А по крещению князь Игорь так и звался...

Или уж угодно небу, чтоб в земли Русские являлся змей, а Русь бы каждый раз Егория рождала? К чему же испытание сие? Чтоб дух проверить, волю искусить? И коли Русь не годна для сраженья — иссякла воля, извелся ратный дух,— то истребить ее когтями змея? И пусть погибнет, аки обры?.. Нет, змей на Русь ползет, когда поживу чует и слабость братии, в усобицах погрязшей. В князьях нет мира, нет единства. Целуют крест друг другу, а из храма выйдя, готовы горло перегрызть... Неужто правду сказывал Владимир Ярославич: нет веры на Руси?

Великою княгинею когда-то на Русь явилась с неба Совесть. А правил Русью Свет, взявший ее в жены. И началось от них все женское колено — Красота и Правда, Храбрость и Отвага, Надежда, Вера и Любовь. Последней дщерью Совести и Света стала Добродетель; от нее уже пошли Честь и Слава — дочери, которых и доныне ищут. С той поры чтут материнство на Руси особо, поскольку оно свято.

Но ныне всех богинь затмил один Христос, сын бога, посланный на землю. И все смешалось. Отринутые боги не вернутся. Они ушли, хоть люди им и служат, и поклоняются, и приносят жертвы. Еще не заросли Трояна тропы, а волхвам ведомы таинственные знаки, искусство чар и предсказаний. Пока еще жива в народе память и мудрость древняя, пока еще не оскудела животворящая природа и существует образ мирозданья — древо. Но все обречено на гибель! Лишь минет срок, и все уйдет в преданья, какие ныне носят по Руси певцы-сказители, гусляры, старцы.

Другая вера все еще слаба, как деревце, взошедшее на камне. Оно сулит богатые плоды, но прежде чем окрепнуть, переболеть должно, привиться корешками в чужой земле. И когда ствол поднимется, набравшись соков той земли, когда взметнутся ветви и привыкнут к теплу другого солнца, когда, наконец, распустятся цветы и те плоды созреют — вкусивший их обрящет веру!

А ныне храмы ставят на Руси, и златом украшают, и резьбою, балуют очи и ласкают слух распевами псалмов. Да сердце-то не внемлет! Понятны и близки образы Христа, распятого за добро и правду, и богини-матери, но тут же перед взором — отринутые боги! Свои, привычные, родные! И — отринутые... А отринутых-то жальче. Кому же кланяться? Кого просить о милости? Кому служить? Кем клясться?!

Две веры, множество богов...

И если две, то есть ли Вера?! Нет ее! И потому всяк может богом быть! Повелевать людьми, себя величить и в свою веру обращать других, насильно собирая под десницу.

Насилие, крамоле, распря...

Но Русь одна! Одна земля на всех! Как же на ней ужиться?

А змей — он вот, он у порога. Лежит, готовый для прыжка. Порушит города и веси, ложжет огнем. Людей угонит на чужбину...

Князь Игорь встал и запалил свечу от тающей лампадки. Егорий на иконе змея бил...

Неужто небо предрешило ему сей подвиг? Неужто роком предначертано избавить Русь от змея?

Нет... Святое дело святый должен править. Безгрешный, не проливший капли братской крови. А он — внук Ольгов, Гориславича гнезда птенец. Весь род измаран кровью. Проклятие на роде том!

Князь Игорь лег, но тут же встал, пронзенный мыслью, и кольчуга вдруг стала тесной и короткой, забилось сердце, сорвалось дыханье.

— Но ежли искупленье? — проговорил он тихо, пугаясь своей мысли.

Смыть позор и кровь с отца и деда. И с себя — своей же кровью! И кровью супостата, коего водил на Русь и с коим в лодии бежал от Чарторыя! Очистить наконец свое гнездо, куда три поколенья рода носили мерзость, думая, что пищу. Очистить и отмыть, как полая вода смывает с берегов всю грязь и мусор. И жить потом, не ведая усобиц, и чадам наказать...

— Нет, мало... Мало! Так в чем же есть мое предназначенье?!

— Не мучай себя мыслями, внуче! — вдруг из угла донесся голос. — Напрасно се. Егда сведомый воин, оставив меч, измыслиям предастся — беда ему!

— Ты кто?! — воскликнул Игорь, подняв над головой свечу.

— Я дед твой, внуче, Гориславич. Меня многажды поминал ты — и я пришел!

И выступил из тьмы седой старик. Снял с лика паутину, встряхнулся. Лампадка под иконою погасла...

— Зачем явился, дед?

— Да упредить тебя, безмудрый! — засмеялся Гориславич, и дух сырой земли, дух тлена разлился по покоям. — Покуда тщишься ты избавить от проклятья род — Глебович Владимир позорит твои земли. В полон жену и домочадцев уведет. Воротишься искупленным в удел — ан нет удела! Лишь головни дымятся да косточки лежат. Помысли, внуче! Зорил ведь он тебя?

— Зорил, — князь застонал и стиснул зубы. — Доныне не могу забыть!

— Тем паче! Неужто не взыграет в тебе месть от сего зрака? И свары побоясь, воступишься женой и состояньем?

— Не поступлюсь...

— Ты же о верах думы тешишь, — вздохнул старик. — Есть дева именем Обида. Она сильнее всякой веры, а святостью святей божьей матери.

— Что же творить мне ныне, дед? — ослабли плечи, руки опустились. — Уже дружина собрана! Полки ведут братья... Что делать мне?

— Тмутаракани поискать, — нашелся Гориславич. — Утраченную отчину свою. Кто правит ныне там? И по какому праву, коль стол тебе принадлежит?

— Тмутаракани?.. — в раздумье молвил князь, но вдруг очнулся. — Да ворог у ворот! За Доном сила темная восстала! Из небыти пришла! Коварный змей идет поганить нашу землю!

— Твори с ним мир! И, златом наградив, пошли искать Тмутаракани! А то и Киевский престол!

Взметнулся Игорь, и свеча затрепетала.

— В дерьме его я плавал! Сыт по горло!..

Свеча погасла, и на миг в покоях воцарился мрак. И в мраке том горели очи Гориславича...

Но вот открылась дверь, и свет возник! Покои озаря, он разом вышиб тьму и смрадный дух.

— С кем ты, отче? — огляделся княжич. — Один?

— Теперь с тобой...

Князь Игорь распрямился, отер свой лик усталой дланью. И вдруг услышал шепот:

— Есть дева именем Обида. Она бессмертна! Слышишь, внуче? Богов отринуть можно — Обиду не отринешь!

Князь уши заткнул и закрыл глаза. Кричать хотелось, разрывая горло, крушить, выматывая страсть, абы не слышать боле глас искушения. Скорей бы утро... Там, при свете дня, с дружиною своей в походе придет покой. Душа окрепнет, ум же — просветлится.

— Сын мой, ответь: подвластно ль человеку Время? Могу ли я сей день начать сей час же? Или, напротив, остановить его, абы никогда не начинался?

— Время человеку неподвластно, отче, — промолвил сын. — Подвластна воля. А волею своей ты в силах задержать поход иль, поспешая, его ускорить. Но Время не задержишь и на миг. Оно уйдет.

— Куда? Назад или вперед уходит Время?

— Назад, отец. Время — се дорога под ногами человека.

— Коль так, — князь Игорь вскинулся, взмахнул рукой. — Могу ли я утечь вперед по сей дороге? Иль, на коня вскочив, умчаться в даль веков?!

— След за идущим остается сзади; впереди себя следа ты не оставишь. К сему же, отче, дорога Времени идет по кругу, ровно гору крутую обвивая. И аже круг тот сотворив, поднимешься на пядь, не боле. А прямо правит лишь тропа Трояна.

Глава поникла княжья. И он в раздумье меч снял со стены и чресла лентою ременной опоясал. Затем из красного угла достал червленый стяг, расправил хоругвь.

— Путь мне указан. Пойду... И волею своей соединю крамолами расколотую Русь!

20. В ГОД 1920...

На извозчике они добрались до здания Реввоенсовета, вошли в прохладный подъезд, и после короткого разговора с дежурным Андрей ощутил сосущую пустоту в душе, как бывает около постели родного умирающего человека. Только здесь он почувствовал, что уже давно не принадлежит себе, что судьба, отпустив ему последнюю возможность насладиться воздухом свободы, теперь всецело зависит от чужой воли.

Отлучившись ненадолго, дежурный вернулся, выписал Бутенину ордер в общежитие краскомов и вызвал конвой. Красноармеец с винтовкой встал подле Андрея и кивком головы показал на дверь.

— Что ж, прощай, — сказал Андрей растерявшемуся Бутенину. — Не поминай лихом.

И, заложив руки за спину, вышел на улицу. Босые ноги уже привыкли к земле, к щебенке, однако в Москве горячая брусчатка жгла ступни, и к этому, наверное, нельзя было привыкнуть.

Его привезли на Лубянку, отвели в подвал и заперли в общей камере, не такой уж и большой, но здесь на двухъярусных нарах сидело и лежало человек тридцать, судя по одежде — бывших офицеров. Андрей привычно узнал, где свободные нары, и лег на сплющенный соломенный матрац. Его ни о чем не спросили — это уже было хорошо. В камере шел какой-то долгий ленивый разговор, однако при этом, как показалось Андрею, каждый оставался лишь сам с собой.

Он пролежал до вечера, пока не принесли и не стали подавать в окошечко миски с какой-то болтушкой. Есть он отказался и даже не встал, и его миску подали назад нетронутой. После ужина разговор чуть оживился, и Андрей начал прислушиваться к нему. Но в это время дверь отворилась, и надзиратель выкрикнул его фамилию:

— С вещами на выход!

Андрей не ожидал и поэтому сразу не понял, что зовут его. А когда голос надзирателя дошел-таки до сознания, он встал и совсем глупо спросил:

— Куда?

— Приказано в одиночку.

Все вещи, в том числе и сапоги, остались в поезде Чусофронта, поэтому Андрей лишь одернул гимнастерку и пошел «на выход». И только сейчас сокамерники словно бы увидели его и, стихнув, проводили настороженными глазами.

Ночь в одиночке показалась долгой. Он засыпал на несколько минут, однако сразу же начинал сниться тот полузабытый сон-землетрясение: дом трескался и рушился, и надо было входить в него, чтобы вытащить слепых женщин. Андрей просыпался; вскочив с нар, подтягивался за решетку и смотрел в темное, пыльное стекло.

Утром ему принесли еще крепкие яловые сапоги и чистые солдатские портянки. Андрей не стал сразу обуваться, а, поставив их на нары, ходил взад-вперед и думал. Сапоги были какой-то приметой, каким-том знаком... но — каким? Куда-то поведут? Или вызовут на допрос? Или... просто они арестованным полагаются, как миска с болтушкой?

«Ну, если еще окажутся впору...» — загадал он, даже мысленно боясь произнести желание. Размяв портянку, он намотал ее на ногу, аккуратно, без единого рубчика; с опаской сунул ступню в сапог, потянул голенище. Пальцы скрючились, клещами сдавило пятку. Андрей опустил руки и, не надевая второго сапога, долго сидел, прислушиваясь к ноющей боли. Взгляд сам собой бегал по серым стенам, задерживаясь то на высоком окошке, то на обитой железом двери, пока не остановился на круглом отверстии волчка. В его глубине, там, за дверью, матово светился человеческий глаз. За ним наблюдали...

Андрей отвел взгляд, не спеша снял сапог. И неожиданно с силой запустил им в дверь. Грохнуло железо, искристая пыль замельтешила в косом солнечном луче. Закрывшийся волчок сразу стал черным и незрячим.

Он тут же пожалел об этом: стоит ли обращать внимание? Пусть смотрят, если кого-то интересует, как он чувствует себя, оставшись наедине с собой. Пусть подглядывают, как он сидит, ходит, пусть видят, что он думает... Вся жизнь была на виду, на зрении сотен людей; а тут всего один какой-то глаз...

Утром он снова отказался есть, хотя уже тошнота сосала под ложечкой; лишь кружку воды выпил. На прогулку его не выводили и целый день не беспокоили, если не считать внимательного глаза в волчке. Несколько раз Андрей ответно смотрел и старался прочитать чувства человека с той стороны двери. Но сам по себе, без лица, глаз казался каким-то оловянным, бесчувственным. Скоро и к нему он потерял интерес, успокоившись на мысли, что ходят ведь люди в зоопарк глянуть на животных. И если верить Бутенину, об Андрее говорили — зверь...

Вечером опять принесли болтушку, и он, уже почти смирный, выпил ее через край, не чувствуя ни вкуса, ни запаха. Затем он вновь медленно двигался вдоль стен и изучал все черточки, все надписи, хотя и тщательно затертые, но все-таки проступавшие по серой извести. Больше всего попадались колонки цифр — кто-то считал дни; реже — имена и малопонятные фразы. В углу, справа от окна, Андрей различил нарисованное распятие, с деталями и светотенями, отчего оно казалось объемным, будто выпирающим из стены. Это напоминало божничку; возможно, кто-то тут стоял и молился...

В следующее мгновение горячим ветром опахнуло голову и заложило уши, словно от ударной волны разорвавшегося снаряда. Ноги подломились, и лишь усилием воли он устоял и медленно развернулся лицом к двери: черное отверстие волчка глядело ему в грудь — точь-в-точь как винтовочный ствол.

Можно было сразу догадаться, что эта одиночка — камера смертников. Здесь ждут конца. И тех, кто чертил на стенах цифры и буквы, кто спал на этих нарах и молился у распятия, уже нет на свете...

Андрей опустился на нары. Теперь ясно, зачем везли его через полстраны в Москву! Каждому преступнику — свое, заслуженное. Простого убийцу казнят на сельской площади; именитого везут в столицу, возводят на плаху, чтобы не просто отрубить голову, а соблюсти ритуал — чтобы были и толпы народа, и палач в черно-красном одеянии, и барабанный бой... И голову потом заспиртуют, выставят в музее. На все в этом мире есть свой, единожды и навсегда заведенный порядок, и изменить его никто не вправе, никакая власть. Если огонь горит, никого не согревая, и сжигает дом — это пожар; точно так же: если приговоренных к смерти станут убивать тайно — будет не казнь, а убийство! Не будь в мире ритуала — и распятия Христа не было бы... Так думал Андрей, сидя на нарах, и мысли эти и удивляли, и страшили его...

Его разбудили рано утром, и только открыв глаза, он понял, что крепко и без снов проспал всю ночь. Первую за последние месяцы.

Надзиратель впустил в камеру тюремного парикмахера, и тот сразу же стал усердно намыливать Андрею лицо — трехдневную щетину на щеках и подбородке.

— Усики оставим? — спросил он.

— Зачем? — усмехнулся Андрей.

Парикмахер пожал плечами и, сунув конец ремня в руки арестанту, начал править бритву.

— Многие желают с усиками.

Брил он аккуратно, ощупывая пальцами каждую шершавинку, бережно гнул голову то влево, то вправо, то запрокидывал назад, чтобы почище обработать нижнюю челюсть. Затем смочил тампоном кожу на лице и насухо вытер белой простынкой. Между делом прижег йодом розовое пятнышко на шраме.

— Прошу!

— Благодарю вас.

Спустя четверть часа в дверной лючок подали чистое белье. Он принял это как должное, не спеша разложил рубаху и кальсоны на нарах и стал переодеваться. Конечно, не мешало бы сводить в баню. Последний раз он мылся в Уфе, под струей холодной воды из водонапорной башни. Впрочем, тут — свои порядки...

Переодевшись, он снова сидел в ожидании и примерно уже угадывал, что последует дальше. На завтрак принесли несколько рассыпчатых картофелин с большим куском рыжеватой селедки и луковицей. Он съел все с аппетитом и без спешки и, когда подавал пустую миску, в лючок увидел лицо надзирателя.

— Какие будут просьбы?

— Сапоги тесные,— сказал Андрей.— А еще дайте бумагу и карандаш.

Люк захлопнулся. Минут десять длилось ожидание. Сапоги принесли новее прежних и почему-то еще теплые внутри, словно их только что кто-то снял с ног. Андрей принял от надзирателя бумагу и карандаш, надел сапоги и сел за железный столик, привинченный к стене. Рука с карандашом легла на белый лист расслабленная и спокой-

ная, и он, наблюдая за ней, как за чем-то отдельно существующим от него, вспомнил брата, когда прощался с ним перед отъездом Саши в монастырь. Его руки были спокойными и чуть холодноватыми...

Однако дверь громыхнула, и надзиратель — уже другой, постарше годами,— сказал голосом сухим и бесстрастным:

— Березин, на выход.

— Я не успел написать письмо,— Андрей показал чистый лист.

— У вас еще будет время. Приказано выводить.

Андрей свернул бумагу и вместе с карандашом сунул в карман.

Ему казалось, что тюремные коридоры и лестничные марши все время поворачивают вправо, и пока он не очутился во внутреннем дворе здания, создалось впечатление, будто он прошел несколько огромных кругов. Здесь Андрея посадили в крытый черный автомобиль, рядом сел конвоир-красноармеец, а впереди — военный, в котором угадывался гражданский человек. Машина долго петляла по городу и наконец остановилась у высоких мрачных ворот.

Андрея привезли в Бутырку и вновь поместили в одиночку. Не успел он осмотреться, как в скважине скрежетнул ключ и в камеру вошел тот самый полувоенный-полуштатский, что сопровождал его в тюрьму.

— Моя фамилия Прудкин,— представился он.— Вот вам бумага и карандаш. Даже два,— он выложил стопку листов на столик, брякнул карандашами.

— У меня есть...

— Вначале выслушайте,— перебил его Прудкин.— Опишите всю свою жизнь, начиная с момента, когда вас мобилизовали в Красную Армию. И особенно подробно о том, что произошло на Обь-Енисейском канале, когда вы преследовали банду Олиферова.

— Кому это нужно? — спокойно спросил Андрей, но Прудкин перебил, нажимая на голос:

— И — главное — постарайтесь ответить на вопрос, верите ли вы, что в России можно построить самое совершенное общество, общество благоденствия. Допустим, в ближайшие двадцать лет...

— Отвечать не стану, — сказал Андрей. — Этот вопрос провокационный.

— Почему? Разве вы не можете ответить — да или нет?

— Могу... Видно, мне уже терять нечего... Но вы подводите меня под политическую статью!

— У нас нет еще никаких статей, — объяснил Прудкин. — Есть суды, ревтрибуналы, а уголовного уложения — увы...

— Кого это интересует? — Андрей терял терпение.— Для кого писать?

Прудкин усмехнулся, защелкнул кнопку на портфеле.

— Пишите для потомков,— сказал он.— В назидание... И поторопитесь. Не забывайте: революция требует оперативности. Некогда миндальничать, размышлять... Пишите быстро, коротко и определенно. У вас в запасе всего сутки!.. Да, кстати,— он достал из кармана перочинный ножик и, секунду поразмышляв, положил на стол.— Потом вернете.

— Значит, через сутки меня расстреляют? — неожиданно для себя спросил Андрей.

— Об этом не принято говорить,— отрезал Прудкин.

— Да-да, я знаю, — согласился Андрей. — Извините.

— У вас есть возможность выжить,— несколько помедлив, сообщил Прудкин.

Андрей взглянул на него и усмехнулся:

— Для этого я должен кого-нибудь выдать? Продать? Или оговорить?

— Для этого,— чеканя слова, произнес Прудкин,— вы должны правильно оценить ситуацию, в которой находитесь.

— Я ее уже оценил.

— Тем более...

Прудкин, недовольный чем-то, поморщился и вышел, чуть не столкнувшись в дверях с надзирателем.

Итак, срок — сутки, столько продлится жизнь. Он открыл ножик, попробовал пальцем остроту лезвия и принялся чинить карандаш. Дерево было мягким, ровные стружки слетали на пол, сворачиваясь в колечки. Когда обнажился стержень, на колени посыпалась черная пыль.

Он вдруг вскочил, ощущая возбуждение: надо спешить! Спешить! В любой момент может что-то измениться в планах людей, властвующих над ним, и тогда он не успеет исповедаться, осмыслить и излить на бумагу всю сложную жизнь последних лет! А это нужно сейчас! Очень нужно!

Время — сутки. А надо вспомнить и написать, что было с июня восемнадцатого, с момента, как его с братом и сестрой высадили из поезда в Уфе. Хотя нет, начать следует с конца зимы, когда его, больного тифом, вынесли из вагона и оставили на снегу. Но тогда будет не ясно, кто вынес и почему. Значит, придется писать, что люди в поезде боялись тифа, войны, революции, что перепутанная и смутная жизнь в России начала входить в привычку и жизнь человеческая невероятно подешевела, как дешевеют бумажные деньги, если истощился золотой запас. Кроме того, надо написать, что упали в цене честь и совесть — святая святых российской жизни, и потому нарушился главный ее ритуал... Может быть, поэтому нельзя за двадцать лет построить совершенное общество?

«Погоди, погоди,— оборвал он свою мысль.— Так вообще будет непонятно, с какой стати я ехал домой, когда формировалась Красная Армия и требовались командиры. Значит, начну с того, как дал подписку, что не буду выступать против Советской власти...»

Он примерился карандашом к бумаге, однако рука сама собой остановилась.

«А не лучше ли уж вспомнить, как, присягнув царю и отечеству, повел я свою полуроту в первую атаку? И как убил первого в своей жизни человека? Да, врага, но у него из простреленного горла текла обыкновенная человеческая кровь. И была она горячая, и прожигала снег до самой земли!..»

Он вертел в пальцах карандаш, а лист бумаги оставался чистым.

«Или лучше начать с детства, со своей первой раны... Нет, начну сразу с того памятного яркого зимнего дня на берегу Обь-Енисейского канала, с живого столпа обезумевших от пулеметного огня оленей...»

21. В ГОД 1919...

Столп не развалился и не распался, даже когда над каналом повисла тишина. Он шевелился и дышал, пока животные, давя друг друга, бились в конвульсиях, а потом застыл, как извергнувшаяся из недр лава. Некоторое время еще слышался хруст костей и рогов, напоминая оседающую к земле кучу хвороста; затем воцарилось безмолвие.

А вечером, когда полумертвые от усталости красноармейцы бросили преследование банды и вернулись на берег канала, мороз так сковал туши животных, что без топора невозможно было отчленить ни кусочка. Впрочем, тогда было не до пищи: люди валились с ног и засыпали на снегу.

Операция для Андрея и его людей закончилась бескровно, если не считать двух красноармейцев, получивших легкие ранения; зато банда Олиферова потеряла до трехсот человек убитыми, весь обоз с оружием и боеприпасами, значительную часть оленьих упряжек, и сорок шесть человек было взято в плен.

И вот теперь, пока бойцы отдыхали в брошенных белыми чумах, пленные жгли огромные костры, чтобы отогреть землю и закопать уби-

тых. А пока огонь загонял вглубь звенящую мерзлоту, они рубили и варили оленину. Работали лихорадочно, нервно, подчиняясь любой команде: великое ошеломление внезапного нападения красных в глухом, таежном углу еще не прошло, не остыло чувство неотвратимого конца, и, оставшись в живых, они пока не верили в это. Еще вчера они убивали и жгли, и каждый из них тайно от себя предугадывал примерный исход своей жизни. Однако пленение было неожиданным поворотом в их судьбе, непредсказуемым событием, и страх перед неизвестностью превратил их на какое-то время в послушный рабочий скот.

Андрей, опьяненный удачей, возбужденный, не мог не то что уснуть, но и просто спокойно посидеть или полежать. Он обходил брошенный стан олиферовцев, считал трофеи, проверял, горят ли в чумах костры, сам менял караул, приставленный к пленным, и дежурных боевого охранения, присматривал, как варят оленину и как долбят яму, сдвинув огонь с оттаявшей земли. И словно споткнувшись на бегу, он часто останавливался перед столпом, глядел на его вершину и чувствовал, что на какие-то мгновения утрачивает реальность: лунный свет зеленил переплетенные тела и рога животных, придавая фантастическому сооружению зловещий оттенок.

К полуночи он вдруг успокоился, обострившаяся усталость враз подломила ноги, метнула в глаза горсть колючего песка, но теперь он уже сознательно не мог бы уснуть. Его люди имели право устать и валиться с ног, имели право на слабость, на законный отдых и беззаботный сон; он же был обязан идти дальше их, терпеть больше тягот и лишений, чтобы не отступиться от единожды и навсегда избранной доли.

Наблюдая за пленными, Андрей отметил, что к полуночи у них исчезла и нервная энергия, и затравленность в движениях, уступая место обыкновенной человеческой усталости. За ними сейчас нужен был глаз да глаз, поскольку, справившись со страхом, освободив от него рассудок, они могли пойти на риск: караул из пяти человек, а отряд спит без задних ног, и есть возможность, пока кругом тайга и ночь, сбежать и затеряться в снегах; или, на худой конец, осознав, что они военнопленные, олиферовцы могли попросту сесть или лечь спать, поскольку имели полное право не работать.

Перед утром, утроив караул и оставив за себя Ковшова, Андрей все-таки забрался в чум, втиснулся между красноармейцами и мгновенно заснул.

Ему почудилось, что сон этот начал сниться, едва закрылись глаза. Будто шел он с полком по горячей башкирской степи, и обжигающее солнце палило неприкрытую голову. Бойцы плескались водой, смеялись, и когда брызги попадали на лицо, то испарялись с коротким шипением, словно на раскаленном железе. Только вот никого он не мог узнать в своем полку: все вместе эти люди казались знакомыми — огни и воды с ними прошел, а каждый в отдельности — чужой. При этом шли они все босыми. От степи исходил жар, но земля мягкая, жидкая от воды, и ногам было приятно; чистая эта грязь ласкала ступни и щекотно выдавливалась между пальцев. Андрей, чтобы посмотреть в небо, круто задрал кверху заболевшую от зноя голову и — проснулся...

Оказалось, что спит он в чуме один, заботливо накрытый шкурами, а рядом пылает нестерпимо жаркий костер, и вестовой Дерябко еще подваливает дров. Намерзший вокруг отверстия-дымохода куржак теперь таял, и брызги, рассеченные струями тепла, летели в огонь и на лицо.

— Весна, — проронил Андрей, выпрастываясь из-под шкур. — Капель...

— Да уж потеплело! — радостно сообщил вестовой. — Того и гляди забуранит... Завтракать-то будете?

— Давай!

Дерябко принес вареной оленины, оттаянного на огне, чуть подгоревшего хлеба и котелок каши.

— Это уж на обед кашу заварили! — похвастался он. — Крупы трофейной аж пять мешков!

— Что? — подскочил Андрей. — На какой обед?!

— Дак времечко-то — третий час,— вестовой засмеялся.— Ковшов все рвался будить, а я не давал. Говорю, четвертые сутки человек не спамши...

И вдруг мощный грохот сотряс чум, ударило по ушам, струя дыма метнулась к стенке. Андрей вскочил.

— Это хлопцы тешатся! — опережая вопрос, пояснил вестовой.— Пушку наладили и по каналу лупят.

— Куда Ковшов смотрит? — Андрей закрутился в поисках валенок. Валенки лежали за костром, сушились, кем-то подставленные.

— Дак он первый и придумал! — сообщил Дерябко. — С обеда палят!

— Быстро Ковшова ко мне! И прекратить стрельбу!

Андрей намотал портянки, обулся, хлебнул горячей каши с салом. Новый орудийный выстрел раскатился над тайгой, и через мгновение разорвался снаряд. Веселый ор и смех откликнулся ему эхом. Ковшов пришел радостный и от этого выглядел вольным, независимым.

— Ты что там стрельбу открыл? — спросил Андрей.

— Лед долблю, проруби делаю.

— Что, угорел?

И только сейчас Андрей подумал о трофеях. Пулеметы еще можно было вынести на себе, вывезти, впрягшись в нарты, а что делать с орудиями и сотнями снарядов? Олени погибли, лошадей нет, да и не вытащили бы они по таким снегам неподъемные стволы и лафеты; Олиферов знал, как возить пушки по тайге.

И оставить нельзя: банда теперь до лета никуда не двинется с этих мест, лишившись обоза; значит, будут ходить по округе и, прячь не прячь, наткнутся, отыщут по следам, весь снег перевернут.

— Что будем делать с пушками? —Андрей покосился на ротного. Тот беззаботно махнул рукой:

— А утопить к чертовой матери!

— С нас голову снимут.

Дело принимало серьезный оборот. Он неожиданно подумал, что Олиферов, придя в себя, обязательно проверит, какими силами располагают красные, а узнав, что их всего-то рота, — ударит непременно! Ему сейчас терять нечего: все равно пропадать в снегах! А в обозе у него осталось все: оружие, боеприпасы, продукты... Если уже не проверил и не готовит удар! А они тем временем — развлекаются!

— Почему меня не разбудил? — закричал Андрей, хватая полушубок. — К ночи надо уходить!

— К ночи и уйдем, — согласился Ковшов. — Только водички напьемся.

— Олиферов тебе напьется... Готовь роту!

Он почувствовал возбуждение и жажду действия, по силе равную вчерашней, победной. Перепоясался ремнем, схватил рукавицы и выбежал на улицу.

Слабый еще ветерок гнал поземку, шевелил края шкур на чумах и сметал густой иней с сосновых крон. Потеплело, но не так, чтобы разыгрался сильный буран, однако лес кругом шумел, и ночью под этот шум можно было неслышно подойти совсем близко.

Андрей обернулся к каналу и замер.

Пелена поземки вылизывала основание столпа, взвихренный снег колебался над его вершиной, и создавалось впечатление, что все это чудовищное сооружение воспарило и медленно летит над землей.

Он сморгнул видение, встряхнулся, отвернувшись от столпа, но взгляд уперся в пленных, сгрудившихся вокруг большого костра. Они стояли, подняв воротники шуб, и тянули руки к огню. Многие были одеты в эвенкийские малицы, и от этого их плотный круг чем-то напоминал оленье стадо. А по тому, как они стояли — недвижимые и озаренные огнем,— по тому, как одинаково держали вскинутые руки, касаясь друг друга плечами, можно было подумать, что они исполняют какой-то языческий ритуал, обрядовое действо заклинания огня.

— Так чего с трофеем? — спросил Ковшов. — Мои люди — не кони, чтоб на себе это железо возить. Да и не уйдем мы с пушками...

— Ладно, топи, — согласился Андрей. — Канал глубокий?

— Кто его мерил... — буркнул ротный.

— А надо измерить! Может, там воробью по колено?

— Измерим, — пообещал Ковшов и крикнул: — Клепачев! Давай!

Бойцы засуетились, звякнул замок. Снарядом вспороло траншею на заснеженном льду, но вода не выступала. Клепачев сделал поправку, и следующий взрыв взметнул стеклянный столб. Канал охнул, выпустив через пробоину воздух, и синеватое пятно, разрастаясь на глазах, поплыло по белому снегу.

— Давай! — снова крикнул Ковшов.

Снаряды ложились вразброс, рвали снежную корку, расчерчивали лед в косую линейку, выламывали, срикошетив, деревянные, навечно поставленные свайные берега, и редкий доставал воды.

— Только на людей и годятся, — пробурчал Ковшов в перерыве между выстрелами. — Про́руби хрен прорубишь...

Когда пушка умолкла, Андрей недовольно покачал головой, но сказал без угрозы:

— Выуживать пушечки придется самому!

— Леший бы их выуживал, — бросил ротный и направился к нартам с оружием. — Мне они больше не сгодятся!

Андрей проводил его взглядом и, встав на лыжи, пошел проверять боевое охранение. Дерябко как тень тянулся за ним. А красноармейцы, облепив нарты, потащили их на лед.

Он уже перешел канал и поднялся к опушке густых пихтачей, а чуть сгорбленная, с тяжелыми плечами спина Ковшова все еще стояла перед глазами. Не в духе пребывал «Стенька Разин», самовольство так и бродило в нем, как омоложенное пиво. Андрей считал, что ротный упрямился на любой его приказ лишь потому, что не привык еще к дисциплине и по-прежнему чувствовал партизанскую вольницу. А тут Березин встревает на каждом шагу и не дает сделать по-своему.

— Дерябко! — Андрей остановился. — Скажи Ковшову, чтоб пулеметы не топил. А то он, чего доброго... Хотя нет, сам скажу!

Он повернул назад, скатился со склона на лед и пошел к синим пятнам воды, возле которых суетились красноармейцы. Предчувствие оказалось верным: разобранные и привязанные к нартам станковые пулеметы уже были у проруби. Андрей распорядился, чтоб их утащили назад, к чумам, а сам пошел к другой проруби, где маячила фигура Ковшова.

Красноармейцы топили орудия и снаряды. Без всплеска, как щуки, уходили в черную воду пушечные стволы и откатники, с трудом пролезали в пробоины детали лафетов и рыбьей молодью порскали снаряды. И после каждого брошенного в канал предмета вода в проруби вспучивалась и облегченно вздыхала.

— Ковшов! Пулеметы не топи! — приказал Андрей. — Понесем с собой.

— Ты, что ли, понесешь? — огрызнулся ротный, расхватывая ножом кожаные ремни на нартах и освобождая орудийный ствол. — Люди не отдохнули, с ног валятся. Двадцать два пулемета — шутка?

Красноармейцы, не отрываясь от дела, смотрели на Андрея и ждали. Серые лица, красные глаза, натруженные руки и ноги ждали

отдыха и послабления. Ковшов не преувеличивал, не защищал свою роту. Но Андрей знал: невиданный трофей, до зарезу необходимое оружие — станковые и ручные пулеметы — любой ценой следовало вытащить из тайги! Бросить боеприпасы и продукты, на карачках идти, на четвереньках ползти, а — вытащить!

— Хорошо, — нашелся вдруг Андрей. — Станины от «максимов» топи. А стволы понесут пленные!

Ковшов молча дорезал ремни, сунул нож в ножны и не спеша подошел к Андрею, сощурился:

— Пленные понесут?! Да их самих надо нести! У нас ведь ни одной пары лишних лыж! Ни одной! А может, их тоже сюда?! — он кивнул на прорубь. —Под лед! Вслед за пушками...

— Ты что, Ковшов? — Андрей, отшатнувшись, оглянулся на стан, где возле костра сгрудились пленные, но взгляд натолкнулся на парящий столп. Защемило в висках, онемела прикушенная губа. Стоило единственный раз изменить железному правилу — продумать весь завтрашний день до последней мелочи и принять решения, четко выверив путь, стоило заснуть безмятежно и спать потом, не вздрагивая от дум и мучивших душу вопросов, от шороха ветра и пушечной стрельбы, как немедленно и необратимо нарушился привычный ход вещей. Так грозит гибелью патрон, всего-навсего перекошенный в магазине, и так же кончается путь праведника, единожды солгавшего ради добра.

Ковшов придвинулся ближе к Андрею, сказал тихо, чтобы не слышали красноармейцы:

— А без лыж они не ходоки. Тогда и нам хана. Очухается Олиферов — догонит в два счета. Моя рота против двух полков не устоит. И если он начнет карать!.. Налегке уходить надо.

Самое страшное было то, что он не изворачивался и не трусил, а говорил правду. Пленные свяжут по рукам и ногам; по пояс в снегу далеко не уйдешь...

Ротный приблизился к проруби, оттолкнул бойца и, припав на живот, долго, по-конски, цедил темную ледяную воду.

В плен брали поодиночке, пока преследовали банду. Кто-то отстал, увязнув в снегу, у кого-то кончились патроны, а большинство оказались и вовсе безоружными, растеряв боевое снаряжение в утренней суматохе. Они зарывались в снег, лезли на деревья или, обезумев, бежали в обратную сторону, к наступавшим.

Андрей тоже почувствовал жажду, ссохлись и зашуршали губы. Он лег у проруби, в том месте, где пил Ковшов, сделал несколько глотков дышащей живой воды и заглянул вглубь. Снарядная воронка напоминала человеческий глаз, и черный зрачок его был бездонным и завораживающим. Охвостья белой поземки, касаясь воды, мгновенно исчезали в ней, и чудилось, будто непроглядная пучина глаза засасывает в себя все, что только может видеть. Он сел в наледь у края воронки, не в силах оторвать взгляда от тающих снежных лент. Ему показалось, что весь белый снег можно было ссы́пать сейчас в этот темный зрачок и тот ничуть не стал бы белее. Чернота могла бесконечно пожирать снег, но и свет бесконечно поглощал черноту. Иначе бы никогда не наступал день. Значит, света и тьмы всегда поровну? Значит, добро и зло — части равновеликие и в этой борьбе никогда не будет полной победы, как не будет и единства?!

В темноту проруби канул черный пушечный ствол, затем один за одним исчезли светло-золотистые снаряды. Туда же полетели мешки с мукой и солью, головки сахара, и лишь когда развязали и высыпали рогожные кули с кружка̀ми мороженого молока, глаз воронки слегка прикрылся белым, но нутро его, просвечиваясь, оставалось непроницаемым, дегтярно-черным.

— Добра-то сколь, добра! — стонали мужики из таежной деревни.

На берегу вдруг запылало множество костров: бойцы зажгли чумы...
Андрей встал с наледи и подошел к Ковшову. Ротный глядел спокойно, и лишь краснота в глазах да опущенные брови выдавали в нем бычье упрямство.
— Отпусти их, — вдруг сказал Ковшов.
— Их отпустить? — возмутился Андрей. Но, не готовый к этой мысли, замолчал, смерил ротного взглядом и, встав на лыжи, пошел к стану. «Отпустить! — злясь повторял он. — Нашел кого отпускать!»
Пленные жарили на огне оленину и ели: дымились паром горячие руки, куски подгорелого мяса, жующие рты.
Они тоже готовились в дорогу, набирались тепла и силы, набивали утробы. Андрей прошел мимо, но успел заметить настороженные, следящие взгляды. Пленные ждали и, возможно, подозревали, что именно сейчас решается их участь.
Пойти и спрятаться, чтобы побыть одному, стало некуда. Чумы горели с треском, дымились, и по всему стану пахло горелым мясом и шерстью. Запах этот будоражил воспоминания, обжигал кровь в жилах. Единственным укрытием на берегу канала оставался олений столп. Андрей зашел к нему с подветренной стороны и встал, словно у обелиска. Дерябко ходил за ним как хвост.
И вдруг стало спокойно. Улеглись лихорадочные мысли, исчезло зудящее желание немедленно куда-то бежать, что-то делать. Новые думы разгорелись постепенно и ровно, набирая жар и свет, словно костер в тихую ночь.
— Ковшова ко мне! — приказал Андрей.
Дерябко встал на лыжи и, попыхивая самокруткой, пошел на лед канала. Андрей достал из нагрудного кармана сложенный вчетверо чистый лист бумаги и карандаш. Половинку оторвал и спрятал обратно в карман, а на второй половинке стал писать, приспособив ее к планшетке.
— Ковшова к командиру! — кричали на льду.
Ветер трепал дымы над станом, придавливал их к земле, развеивал по всему окружающему пространству, и горьковатый запах их казался вездесущим.
Ковшов пришел, когда Андрей закончил писать.
— Через полчаса рота должна стоять в походном порядке, — приказал Березин.
— Ясно, — буркнул ротный.
— Обеспечишь прикрытие, потом снимешь дозор, — Андрей помолчал.— А пленных в расход! Сейчас же! Срочно! — Он поискал глазами Дерябко, обнаружил его рядом с собой. — Готовь пулемет! — процедил сквозь зубы.
Ковшов набычился, глянул в землю.
— Андрей, не марай рук.
— Зачитаешь приговор, — Березин подал ему бумагу. — Там все сказано.
— Я? — спросил ротный. — Мне?!
— Тебе.
Ковшов какое-то время смотрел на маленький листок, трепыхавшийся в руке Андрея, затем отвел свои руки назад, мотнул головой.
— Это приказ! — крикнул Андрей. — Хватит играть в «Стеньку Разина»! — И, отвернувшись в сторону, добавил, понизив голос: — Я не могу простить... Не хочу... Они людей заживо жгли. Не прощу. Не имею права.
— А ты кто, господь бог, что ли? — с угрозой и вызовом спросил ротный. — Или верховный судья?.. Зачем их стрелять? Они безоружные!
Андрей схватил его за ремни портупеи, притянул к себе.
— А ты что, не стрелял в безоружных? Не стрелял?!

— Стрелял, — признался Ковшов. — Но больше рука не подымается... Не могу. Я человек, Андрей, и не хочу карать, хватит. Миловать пора. Если всем карать — кто миловать будет? Мы же так-то весь народ изведем, под корень...
— Вон как ты заговорил! — Андрей расстегнул, раздергал воротник полушубка. — А ты помнишь «эшелон смерти»? Головни в гробах помнишь?!
— Я все помню, Андрей, — вдруг заторопился Ковшов. — Но ты послушай меня... Давно хотел сказать, послушай... Они ж комиссаров пожгли, краскомов... А мы ведь знаем, на что идем. Знаем! Дак зачем же вот этих-то в расход? Ведь не они же жгли! Другие! За что же их-то?.. Если нас, — он постучал кулаком в грудь, — на огонь поведут — мы терпеть должны. Терпеть, Андрей! А то месть получается! Вы наших девять, а мы ваших сорок! Мы ведь на себе крест поставили, когда за народное дело воевать пошли. Погибнем, дак чего? Вроде как уже вне закона. Я так думаю. Чего же мы за свои жизни убивать будем? Давай помилуем, а?
— Они же враги народа! — возмутился Андрей. — Они же не успокоятся! Вот приговор! — он подал бумагу. — Выполняй приказ!
Ковшов глянул на командира, на его протянутую руку, помотал головой и снял шапку.
— Тогда все, — сказал он. — Тогда я отвоевался.
Бросил шапку на снег, начал стягивать с себя мерзлые, гремящие ремни. Снял, швырнул все к ногам Андрея.
— Не могу я больше. Не могу. Вот уж и животина друг дружку давит...
— Это дезертирство! — отрезал Андрей.
— Не-е, — Ковшов расстегнул забрызганный водой и обмерзший полушубок, вздохнул свободно. — Сам пришел, сам и уйду...
Рука Андрея потянулась к кобуре. Ковшов не дрогнул, лишь посмотрел на револьвер и сказал глухо:
— Не стреляй, Андрей. Не бери грех на душу.
И стал раздеваться. Не спеша снял полушубок, оленью безрукавку; склонившись, содрал гимнастерку. Оставшись в нижнем белье, босой, он отступил от темной кучи одежды, сказал негромко:
— Не обессудь уж. Угорел я, спасу нет.
И пошел с кручи, проваливаясь в снег.
— Ковшов! — крикнул Андрей. Рука подняла револьвер. Белая спина была вровень с мушкой. — Назад, Ковшов! — скулы сводило от напряжения.
Ротный ступил на лед и по лыжне пошел к проруби.
Красноармейцы, суетившиеся возле нарт, распрямились и замерли. Андрей выбежал на кромку берега, опустил револьвер.
Люди у проруби машинально расступились, давая Ковшову дорогу. Тот присел на корточки, зачерпнул ладонью воды, глотнул, смочил голову и без всплеска нырнул в черный зрачок.
Ошеломленные бойцы стояли, опустив руки. А на берегу, у костра, зашевелились, загомонили пленные и, теснее сгрудившись, заслонили огонь.
Револьвер выпал из руки Андрея и повис на шнуре, касаясь земли. Березин, как во сне, поднял его, не отрывая глаз от проруби. И вдруг крикнул зло:
— Дерябко! К пулемету! Чего рот разинул?!
Дерябко, опомнившись, развернул пулемет, торопливыми руками заправил ленту. Толпа пленных окутывалась дымом невидимого костра.
— Дайте мне! Мне дайте! — вдруг закричал вожак примкнувших к отряду мужиков. — Я их, сволоту!.. Я их... Дайте!..
Он бежал к пулемету, орал черным ртом. За ним со страхом и с какой-то неуемной жадностью на белых лицах спешили, обгоняя друг друга, мужики.

— Огонь! — громко выдохнул Андрей...

С застругов срывалась белая поземка. Снег касался горячего пулеметного кожуха и мгновенно исчезал. Ветер трепал и тяжело всхлопывал пустую патронную ленту...

22. В ГОД 1920...

Он писал весь день и к ночи вдруг понял, что закончит намного раньше указанного срока. Он не подозревал, что можно так быстро рассказать всю свою жизнь — всего-то за считанные часы, что можно вспомнить и обдумать все, даже самое непонятное, найти причины каждого поступка, каждого поворота в судьбе. Иногда, описывая сложные ситуации своей жизни, Андрей ловил себя на мысли, будто он это уже когда-то писал и перед кем-то уже отвечал за все свои грехи и добродетели...

После полуночи Андрей вызвал надзирателя. Тот молча принял бумаги, кивнул и закрыл дверь, загремел засовом.

В холодной тюремной постели Березин так и не мог согреться. Сон пришел раньше, чем тепло. Он спал, а восход над городом отодвигал мрак, озаряя крыши домов, улицы и окна. Наконец свет достиг дна глубокого колодца тюремного двора и проник в камеру.

Андрей не слышал, как отворили дверь, и поднял от подушки голову, когда Прудкин уже стоял над ним.

— Мы ознакомились с вашим делом, — сказал тот, надев пенсне и открыв папку. — Но требуются некоторые уточнения. Почему вы не зачитали приговор пленным?

— Некогда было, — пожал плечами Андрей и сел. — Я всецело признаю свою вину.

Последнюю фразу Прудкин словно не слышал.

— У вас не было времени, потому что пленные могли в любую секунду бежать?

— Нет, — оборвал Андрей. — Они не хотели бежать. Они предчувствовали расстрел.

— То есть как предчувствовали? Им кто-то сказал об этом?

— Не знаю. Они чуяли смерть. Как животные ее чуют. А возможно, оценили ситуацию.

— Хорошо, — согласился Прудкин. — А вы оценили ситуацию?

— Да. Я говорил, что признаю...

Прудкин перебил его, нажимая на голос:

— Тогда ответьте на такой вопрос: смогли бы вы расстрелять дезертира Ковшова, если бы он не покончил с собой?

— Смог бы...

— Надеюсь, сейчас вы поняли, что нужно было сделать с пленными? — Прудкин впервые оторвал глаза от бумаг. Снял пенсне.

— Сейчас понял.

— Что?

Андрей приподнял ноги и стал держать их на весу: каменный пол леденил ступни, деревенели пальцы, обмороженные зимой восемнадцатого.

— Я должен был достать лыжи. Или вести их так...

Прудкин захлопнул папку, спрятал пенсне в нагрудный карман.

— Ничего вы не поняли, — сказал он, толкая дверь. — А жаль.

Андрей лег на нары и натянул одеяло. Постель еще не остыла, соломенный матрац хранил тепло...

23. В ГОД 1919...

Он чуял погоню спиной. Заслоны оставались через каждые десять верст с жестоким условием сниматься только по приказу. Кроме того, он дважды, пока не добрались до таежной деревни, высылал разведки в

разные стороны, однако олиферовцев не было. Вестовые падали от усталости, а он гнал их с новыми приказами. Наконец заслон, оставленный на канале, передал весть, что пешие бандиты пытаются перейти через лед и что сдержать их можно разве что час-другой. Андрей приказал отойти, хотя это было уже лишним: донесение шло более полусуток, поэтому бойцы с двумя пулеметами либо погибли возле канала, либо отошли самостоятельно. Однако другие заслоны молчали, не было вестей о передвижении банды и на следующее утро, и Андрей несколько успокоился. Зато мужики, ходившие с ротой на канал, всполошились, осознав вдруг, что утром красные уйдут, а они останутся с бандой один на один, если те снова пожалуют в деревню. Андрей посоветовал им выставить в тайге посты и оставил им три трофейных пулемета, которые мужики сами принесли с канала.

Отсюда же, из деревни, он послал вестового Дерябко в полк к комиссару, чтобы тот снялся и пришел в Заморово. Все-таки если Олиферов увяжется в погоню, его можно будет встретить как полагается и разбить основные силы.

Но к концу вторых суток Андрей приказал сняться всем заслонам и догонять роту. Банда дальше своего разрушенного стана идти не рискнула.

Потом уже пошли не спеша, рано останавливались на ночлег, охотились по дороге на глухарей и тетеревов, однако красноармейцы были печальны, будто возвращались с похорон. Не слышно было смеха и разговоров, и только на привалах, рассевшись кругами возле костров, нет-нет да и запевали бойцы свою походную партизанскую песню:

Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны...

Андрей, вначале не обратив на это внимания, неожиданно догадался: жалеют своего ротного! Горюют по «Стеньке Разину»! И, догадавшись, стал изредка замечать на себе косые, недобрые взгляды. Ты, говорили глаза, ты сгубил нашего командира, ты его до проруби довел и головой пихнул. А как им объяснить, что он сам, сам выбрал такую долю? Еще тогда, в башкирской степи, когда вызвался расстрелять дезертира. Там аукнулось — здесь откликнулось...

На то война и гражданская, думалось Андрею, что воюют в ней не армии, воюет народ, расколовшись надвое. Воюет за новую идеологию, за новую веру, и если через сто, двести лет кто-либо из потомков, обернувшись, поглядит на эти уже как бы евангельские времена, то многого и многого не увидит. В забвение канут страсти и противоречия. Останется лишь то, что будет канонизировано и записано в Историю. Любая новая или даже обновленная идеология в первую очередь заботится о святости и непорочности своего зачатия. Она рядится в белые одежды, чтобы никто потом не смел ткнуть пальцем. А если кто и отважится ткнуть, то ему никто не поверит, ибо нельзя белое называть черным.

Но даже и при таком условии кое-что все-таки сохранится в неподвластной забвению народной памяти. Наверное, появится новая мифология, думалось Андрею далее, сложатся предания и сказки, где, как и в старых сказках, будет много волшебства, переживаний и счастливый конец, в котором торжествует добро. Их станут рассказывать устно, передавая из поколения в поколение, и пока утверждается «Новый завет», сказки эти будут считаться ересью. Однако со временем ересь, обратившись в миф, сможет спокойно сосуществовать с канонами вплоть до следующего Обновления.

Все повторяется в этом мире, все возвращается на круги своя...

До Заморова оставалось верст двадцать, когда прибежал запаленный и взмыленный Дерябко. Он промчался мимо идущих колонной красноармейцев, увидел Андрея и упал перед ним, раскинув лыжи.

Встревоженные бойцы остановились, обступили вестового, а тот закричал, захлебываясь морозным воздухом:

— Виноват я, товарищ Березин! Братцы, виноват я!

Ему натерли снегом лицо, привели в чувство. Вестовой, путаясь в словах, поведал:

— Пришел я к комиссару Лобытову, все рассказал. Как дрались, как обоз у Олиферова взяли, как пушки топили... — Дерябко запнулся.— Ну, короче, про все сказал. А он меня под арест! Измена, товарищ Березин! Теперь Лобытов в Заморово идет, чтоб нас встретить, чтоб разоружить и всех под арест! Под трибунал! Я виноват! Я сбежал, чтоб предупредить. Уходить надо, братцы! Не пойдем же мы супротив своего же полка? Супротив своих же хлопцев?!

— Куда ты зовешь уходить? — Андрей встряхнул его и толкнул от себя. Дерябко тяжело завалился в снег; барахтаясь, старался убедить бойцов:

— В Заморово идти нельзя! Ждут! На дороге засады! Измена! Уйдем в лес, хлопцы? И будем колошматить беляков. Как раньше бывало!

Красноармейцы молча смотрели на командира, ждали решения.

— Нам уходить некуда, — сказал Андрей. — Уйти — значит объявить себя вне закона!

— Верно! — одобрил Клепачев, исполнявший обязанности ротного.— Неужто не сговоримся со своими-то? Ежели недоразумение такое — разберемся, ну а ежели... тоже поглядим. Лобытов — парень крепкий, изменить не мог нашему делу! Не поверю, чтоб Лобытов в изменники пошел!

— Мне не верите? — закричал Дерябко. — Ну, идите, идите! С пулеметами ждут! Чуть рыпнемся — положат нас. А славу нашу — себе!

— Отставить разговоры! — приказал Андрей и вытащил Дерябко из снега, поставил на ноги. Сказал тихо: — Запомни, Дерябко. Славу отобрать нельзя. Твоя слава навек тебе остается. Умрешь — а она все твоя.— И крикнул красноармейцам: — Домой пойдем! А с комиссаром я сам поговорю!..

Верст за десять до Заморова Андрей повернул роту и повел в обход села, чтобы выйти к нему с обратной стороны, где его не ждут. «Ишь чего ты захотел, товарищ комиссар! — мысленно усмехался Андрей. — Полк в свои руки взять! Ты и раньше причины искал... Да не выйдет! Мои люди за тобой не пойдут».

И чем ближе оставалось до села, тем сильнее вскипала злость на комиссара. «Мы там в снегах мерзли, а ты отсиделся в тепле и теперь — на готовенькое хочешь? Да еще и разоружить? И ведь наверняка комбригу доложил, паскудник!»

Он чувствовал, что это всего-навсего злость говорит в нем, что нельзя верить ей и причина лежит где-то глубже, но от обиды щемило в скулах и солоновато становилось во рту.

К Заморову подходили поздним вечером. Андрей остановил роту и выслал разведку из толковых бойцов. И пока разведка обследовала окраины села, красноармейцы сидели на снегу в напряженном молчании, курили в рукав, вздрагивали от знобящего мокрые спины холода. Разведчики вернулись через час и доложили, что полк расквартировался в Заморове, а Выселки свободны и можно хоть сейчас входить. Кроме того, они захватили и привели с собой двух часовых. Разоруженные красноармейцы стояли, потупя головы.

— Что же так полк-то охраняете? — спросил Андрей. — Спали, что ли?

— Не спали, — тянули часовые. — Да видим — свои идут...

— А приказ какой был? От Лобытова?

— Доложить, если появитесь...

Андрей отозвал часовых в сторону, спросил прямо:

— Лобытов вас против меня настраивал? Говорил, что я изменник?

— Как сказать, — мялись красноармейцы. — Митинговали вчера...

— Говорите прямо!

— Лобытов сказал, что пленных не расстреливают, — признались часовые. — Что мы не банда какая-нибудь, что мы — Красная Армия. А то нас народ любить не будет.

— Сейчас пойдете с нами до Выселок, — приказал Андрей. — Потом к Лобытову. Скажете, что я снял вас с постов, что стою на Выселках. Пусть он уберет засады с дороги, нечего людей в снегу морозить. А сам идет ко мне! С повинной!

На Выселки пришли тихо, расположились в избах, и в первую очередь Андрей выставил по околице пулеметные заслоны и велел бойцам отдыхать и топить бани. Скоро со всех дворов потянуло ни с чем не сравнимым вкусным банным дымком. В предчувствии жгучего пара и березовых веников красноармейцы повеселели, доставали чистое белье, чесались блаженно и балагурили. Но и тут Андрей услышал короткий печальный разговор:

— «Стенька»-то наш любил... Так и не попарился напоследок.

— Дак теперя, поди, моется. Чистый стал.

Андрей подумал и сразу же согласился со своей мыслью: пока существует его полк, а в нем — рота Ковшова, до тех пор и будут вспоминать «Стеньку Разина». И даже если полностью поменяется личный состав, память о нем не исчезнет. Возможно, потом о «Стеньке» сложат свою песню и станут петь ее на привалах и в походах. И в ней, в той песне, конечно же не будет слов о том, как он отбирал хлеб у людей в «эшелоне смерти», как ограбил мужика, содрав с него потную рубаху, и как затем чудом не застрелил товарища, с которым бежал из вагона. Всего этого не будет, поскольку мифология тоже любит непорочное зачатие и белые одежды.

Время шло, истопились бани, а Лобытова все не было. И сам не являлся, и вестей не подавал. Значит, что-то задумал; наверное, ищет выход, раз потерпел первую неудачу с засадами на дороге. Не так-то просто разоружить ковшовскую роту! И чтобы не дать осуществиться новым замыслам Лобытова, чтобы ввести его в заблуждение и просто попугать, Андрей приказал пулеметным заслонам открыть огонь над селом, пощипать печные трубы. Минут десять шесть пулеметов кромсали темное небо над крышами Заморова, после чего Андрей послал вестового Дерябко в село.

— Комиссара Лобытова ко мне, — приказал он и пошел в баню.— Пока не напарюсь, пусть ждет, — бросил на ходу.

Баню истопили жаркую; волосы на голове трещали так же, как и камни в каменке, когда на них плескали воду. После таежных скитаний в зиму восемнадцатого, когда он, как медведь-шатун, ходил от села к селу, Андрей любил париться, и если была у него к чему-нибудь жадность, так это к первому, с легким угарчиком пару. Именно к первому, поскольку той бродяжьей зимой ему всегда доставался самый последний, сырой, душный — одним словом, какой оставался в субботнюю ночь после хозяев. Да и то нельзя было зажечь свет, громко хлопать веником, все следовало делать с оглядкой, по-воровски. А когда выдавалась вольная баня и не ворованный пар, Андрей упаривался до изнеможения. Ходил всегда один, сам запаривал веники, сам поддавал на каменку и исхлестывал себя до синих, как давленая черника, полос. Обычно Дерябко, ожидавший в предбаннике, уводил его едва живого, укладывал на постель, поил квасом или ледяной водой, намешанной с медом, и начиналось как бы новое возрождение души и тела...

Андрей окатил полок, выждал, когда он подсохнет, и лишь тогда опрокинул первый ковш на каменку. Как взрывной волной, ударило в лицо, вышибло дверь. Андрей прикрыл ее; нашарив засов, загнал в гнездо. Лампа слегка притухла, зачадила, а он забрался на полок и стал греться. Никто не знал, сколько и как он мерз в походе. И теперь, втягивая в себя растраченное тепло, он вдыхал обжигающий легкие жар

и долго не мог вспотеть. И когда наконец на плечах созрели первые мутные капли, он растянулся на полке и закрыл глаза. Он чувствовал, как пот щекочет бока и грудь, как, накопившись в ложбине позвоночника и нагревшись, горячит кожу, но это был еще грязный пот, соленый и липковатый. Потом он слез на пол, напился из ковша горячей воды и снова плеснул на камни. Вместе с чистым потом он начал ощущать прилив свежести и банный жар. Можно было браться за веник...

И, взявшись за него, он забыл о бунтующем Лобытове и обо всем на свете. Он выбивал, выстегивал из себя многодневный холод, и ему казалось, что вместе с холодом уходят все горечи и печали, накопившиеся за много дней. Чтобы облегчить душу, надо истязать тело, и когда оно просит пощады — душа ликует.

Измочалив веник до голых прутьев, он отбросил его в угол, сгреб с груди налипшие листья и, качаясь, пошел к двери. Впереди было еще два захода, а пока от пара ощущалась лишь усталость, и следовало перевести дух. Он отодвинул засов и вывалился в предбанник...

И сразу чьи-то ледяные руки схватили его, бросили на осклизлый земляной пол и завернули локти назад.

— Ты уж извиняй, товарищ Березин, — сказал взводный Клепачев. — Мы тебя сдадим. Нам всем разоружаться совсем ни к чему. И под трибунал идти неохота.

Двое здоровенных красноармейцев удерживали его, прижимая к полу, третий, похоже, готовил веревку. Андрей напряг мышцы, рванулся и, скинув с себя бойцов, ринулся в дверь.

— Держите его, мать вашу! — заорал Клепачев.

Красноармейцы выскочили на улицу.

Андрей неторопливо встряхнул руками, набрал побольше воздуху в легкие и нырнул с головой в пухлый белый снег...

24. В ГОД 1920...

Во сне он услышал, как ключ нащупывает замочную скважину. Тюремные запоры имели свойство, присущее разве что сундукам, но если замки на сундуках издавали приятный звон, то эти, едва ключ входил в скважину, начинали скрипуче кричать, словно ночные птицы. Наслаждаясь сонным теплом, Андрей не хотел просыпаться и с серьезной обидой думал, что это уж слишком даже и для камеры смертников — ходить и будить человека через каждые пять минут. Нет, пусть его расстреливают, но не пытают таким бесчеловечным образом!..

Он слышал, как отворилась дверь; затем раздался негромкий щелчок и все стихло. Андрей облегченно вздохнул: отстали. Видно, по ошибке надзиратель открыл не ту дверь. Так и не проснувшись до конца, он вновь погрузился в глубокий сон...

— Товарищ Березин? — тотчас же кто-то потянул с него одеяло.— Вставайте, пора.

Он оторвал голову от подушки и приподнялся на локтях.

Все сразу стало ясно, как божий день.

Он ждал какую-то иную казнь, более почетную, что ли... Пусть без барабанного боя, без зрителей, но хоть бы вывели и поставили к стене. Его же пристрелили на тюремной кровати, прибили как собаку. Впрочем, нет, возможно, поступили даже благородно, застрелив сонного. Теперь можно считать, что умер он хорошо, в собственной постели, поскольку тюремная постель за последние месяцы стала ему собственной.

Он думал так, потому что перед ним стоял... Шиловский, похороненный Андреем на Урале.

— Доброе утро, — сказал Шиловский, приспосабливая пенсне на носу. — Дайте-ка на вас взглянуть, дорогой вы мой могильщик!

Он был все такой же, каким Андрей положил его в придорожную

яму: сухое желтоватое лицо, большие, чуть навыкате глаза; и френч, кажется, тот же...

— Да-а, — протянул он со значением.— Укатали сивку крутые горки... Но ничего, вы молодой и у нас здесь быстро поправитесь.

«Значит, я все-таки попал в ад, — подумал Андрей. — Иначе бы пришел отец или дед... Значит, Шиловского прислали водить меня по кругам ада...»

Он прикрыл глаза и снова опустил голову на подушку. И вдруг его озарило: да это же сон! Он глубоко вздохнул, переждал, когда схлынет колковатый озноб. Надо же, приснился... К чему бы это? Наверное, к дождю, ведь говорят, что покойники снятся к ненастью...

— Андрей Николаевич, да проснитесь же, наконец! Четыре месяца в тюрьмах — вполне достаточно, чтобы выспаться!..

Голос принадлежал Шиловскому — можно было не сомневаться. Он звучал точно так же, как и на митингах, в боях, в «эшелоне смерти»... И тут Березин со всей четкостью вдруг осознал, что это не потусторонний мир и не сон, а самая что ни на есть реальная явь. Он открыл глаза: Шиловский стоял, чуть склонившись к нему, и вертел в пальцах пенсне...

25. В ГОД 1918...

Долгих девять суток отряд самообороны, который Андрею не без труда удалось создать в городе, защищал Есаульск от банд, во множестве появившихся в Сибири после того, как в семнадцатом перед уголовниками открылись двери тюрем и централов. Малочисленные банды, в десять-двадцать человек, были разбиты в первые же дни, однако их остатки стихийным образом переформировывались, соединялись и снова шли на Есаульск. И дело было уже не в том, что банды жаждали грабежей, насилия и наживы в полуопустошенном городе. Окажись в Есаульске какая-нибудь законная власть, они бы давно отступились, ушли в леса, в глухие деревеньки и выходили бы на разбой на большие и малые дороги, соблюдая меру и осторожность. Но в бандах знали, что город защищает самооборона — собранные с бору по сосенке люди, — и эта самооборона, по разумению лиходеев, является такой же бандой, как и они сами. И тут уже срабатывало великое искушение верховодить в округе, держать в руках козыри. Если бы на месте Андрея оказался авторитетный уголовник «в законе», то от него бы давно отстали, а возможно, и пошли бы под его начало. Бандитов раздражало, что какой-то офицеришка без всякого приказа от властей не пускает в город, в свою, можно сказать, вотчину, причем действует умело и с отчаянной храбростью.

Колчаковская власть уже утвердилась по всем населенным районам вдоль железной дороги, везде стояли войска, и банды вынуждены были отходить все дальше и дальше, приживаясь возле маленьких купеческих городков, таких, как Есаульск. Вожаки понимали, что скоро и тут «лавочки прикроются», поэтому использовали вольготное безвластие перед неизбежным «осадным» положением. И Андрей знал, что банды, готовые перегрызть друг дружке горло, могут объединиться перед общим врагом, и тогда его отряд в полсотни плохо вооруженных людей не устоял бы. Пока банды устраивали налеты поодиночке, спасал точный расчет: когда и откуда можно ждать врага. Если не удавалось встретить налетчиков на подступах к Есаульску, то их пускали в город, а потом перекрывали улицы. Жителям было наказано при начале стрельбы ложиться на пол и не двигаться. После двух таких рейдов бандиты уже больше не насмеливались прорываться в город, а бродили вокруг, искали удобного места и случая, чтобы «прижать» самооборонщиков. Однако несколько удачных засад отбили и эту охоту. На девятые сутки за всю ночь ни в Есаульске, ни в окрестностях не прозвучало ни единого выстрела.

В городе вновь открылись магазины и лавки, на главных улицах починили фонари и стали зажигать их с началом сумерек. Кроме того, выпал и уже не сходил снег, и теперь даже одинокую фигуру было видно за полверсты. Но все это приносило мало радости. Андрей ждал — и слухи такие уже были, — что банды объединяются под предводительством Соломатина, родом из местных и еще до революции промышлявшего лихим делом. Правда, тогда он, как и полагается хищнику, возле дома не грабил, а ходил в тайгу, в районы золотых приисков.

Андрей искал хотя бы один пулемет, чуть ли не подворно обошел всех купцов, бывших городовых, солдат-инвалидов, мастеров-оружейников, однако кроме десятка винтовок, полмешка патронов к ним да трех полицейских «селедок» ничего не нашел. Все божились, что оружие было сдано по приказу Советской власти, и чтобы «выжать» из населения эти несчастные винтовки, ему приходилось буквально обыскивать усадьбы.

А победы самооборонщиков вдохновляли население, и люди все чаще приходили записываться в отряд. В основном шли гимназисты-старшеклассники и старые солдаты. Создавалось ощущение легкости такой войны: за девять дней лишь двоих «царапнуло» пулями, и они потом ходили героями. Зато за кладбищенской оградой почти каждое утро копали одну большую могилу и свозили туда убитых бандитов.

На десятые сутки безвестный мужик из соседней деревни привез Андрею ультиматум от Соломатина. Тот предлагал ему разоружить свой отряд, распустить его по домам, чтоб не было кровопролития, оружие сложить на тракте возле города, а самому Андрею сдаться в руки Соломатина. Иначе, грозил бандит, «партизанский отряд пострадавших от царского самодержавия» в количестве пятисот человек ворвется в Есаульск и полностью уничтожит всех буржуев, у кого в доме больше пяти окон. Дальше шли подробности, как он будет жечь и вешать. Количество своих людей Соломатин преувеличил по крайней мере в три раза, но и с теми силами, что были у него, он мог запросто прорваться в город. Однако главное, что насторожило Андрея, было не в этом. Таких ультиматумов в Есаульске оказалось много. Ночью они были расклеены по заплотам и столбам с единственной целью — запугать горожан.

Андрею оставался один путь — принять условия банды, но он знал, что свои гарантии Соломатин никогда не выполнит и при любых обстоятельствах напоследок разорит Есаульск. Березин уже не чаял, когда же наконец установится власть Сибирского правительства и в городе появятся хоть какие-нибудь войска. Но колчаковская администрация не особенно-то спешила в глубинку, чувствуя неуверенность, еще боялась далеко отрываться от железной дороги.

После ультиматума караулы из гимназистов не снимались даже днем. Весь отряд находился в «штабе» — в доме вырезанной бандитами семьи скорняка. Наготове стояли запряженные сани, неразнузданные кони жевали сено: Соломатин мог появиться близ города с любой стороны, а то и сразу с нескольких. Полагали, что банда пойдет все-таки ночью; и ночи этой ждали, как страшного суда. Жители еще засветло позакрывались в домах, и над городом нависла тишина.

В тот же день в «штаб» пришел купец Белояров. Родом он был из Березина — один из тех, кому удалось выбиться в люди и кто начал свое дело. Белояров поклонился Андрею в пояс, однако сказал сдержанно, с достоинством:

— Купечество меня послало. К тебе, Андрей Николаевич, обращаемся: ты уж не пусти Соломатина, не дай нас загубить. Мои родители с твоими родителями всегда в дружбе жили, а отца твоего, покойного Николая Ивановича, я уважал и любил.

Они и в самом деле дружили; возможно, Белояров любил отца, но последнее заявление покоробило Андрея.

— Что ж так любил, если сам жив, а отца моего нет?

Белояров, кряжистый, краснощекий мужчина, опустил голову. Взлохмаченная его борода покрыла широкую грудь.

— Так уж вышло, Андрей Николаевич. Всех тем часом грабили, и заступиться некому было. Слава ему небесная... А мы между собой так сговорились: ежели ты Соломатина в город не пустишь, каждому твоему человеку по десяти рублей золотом единовременно и по пяти — как власть установится.

— Откуда же у вас золото, если город бандиты грабили? — не сдержался Андрей.

— Дак сберегли. Умные люди надоумили еще до переворота денежки наличными взять да держать, — поделился секретом Белояров.— А ежели кого, не дай бог, убьет, то семье дадим по сто рублей. Ранит — дак по пятидесяти... Ну, а уж тебе, Андрей Николаевич, договорено пятьсот. Задаток велено нынче же дать, двести рублей.

Андрей усмехнулся, покрутил головой:

— Вы что же, нанимаете меня? Вроде в работники берете?

— Не обижайся, Андрей Николаевич, — потупившись, сказал купец. — У меня сомнение было, когда к тебе послали... Думаю, если ты в батюшку родимого, дак не возьмешь. И дед бы твой, Иван Алексеевич, не взял. Да мы беду-то твою знаем, порушили ваше имение. Власть установится — пригодятся денежки. Дом подымать, хозяйство. Не брезгуй, возьми уж, от чистого сердца даем на такое дело, — он положил на стол кожаный мешочек.

— Не проторгуешься? — уже не скрывая раздражения, спросил Андрей. — Война — дело убыточное.

— С умом, дак не проторгуюсь, — заверил Белояров. — Мы всяко мараковали, а лучше тебя в Есаульске не найти. Экий ты вон разворотливый! Пока наши чесались, ты людей собрал, дело организовал. С тобой-то мы как у Христа за пазухой. Мы думали, кому деньги давать.

— Все-таки нанимаете меня?

— Раз так желаешь — нанимаем, — согласился купец. — Ты же наше добро бережешь. Соломатин-то из-за нас в город рвется, чует, сволочь, поживу. Голытьба ему что? Он голытьбу не грабит.

— Так, значит, я ва́с обороняю? — спросил Андрей.

— Кого же еще? Знамо, нас. Потому и заплатить хотим. Поглядели — дело идет у тебя. А ежели ты деньги получишь, еще постараешься.

— Ну, а не возьму, так что? Родители-то мои не взяли бы!

— У родителей твоих своя жизнь была, — степенно рассудил Белояров. — Они возле земли кормились, возле своего дела. А ты человек военный, офицер, у тебя свое дело. Когда царь тебе жалованье платил — брал ты его? Брал. И нынче тебе зарабатывать надо. Пятьсот-то золотом — деньги, Андрей Николаевич. И потом мы тебя в обиде не оставим, свое жалованье положим. Допустим, сто рублей.

— А знаешь ли ты, что я не военный человек? — возмутился Андрей. — Я учитель гимназии. Но мне не дают! Не дают заниматься своим делом! Я хочу учить детей, а не воевать! И денег мне за войну не надо! Не хочу я такого заработка! Ты меня лучше учителем найми! Гувернером! Я твоих детей учить буду и сам жалованья попрошу! Сам! — он схватил кошель и бросил Белоярову. — Такие деньги мне не нужны! И убирайся отсюда!

Белояров побагровел, взбугрилась шея, набрякли на руках синие вены.

— Вон ты как!.. Ладно, Андрей Николаевич, значит, побрезговал нашими деньгами? Ладно... Только учителем бы я тебя не нанял! Чтоб ты моих ребятишек учил? Да ни в жизнь! На себя-то глянь. Тебе ведь

человека убить — раз плюнуть! В зеркало поглядись! Злодей злодеем, не зря рожу-то завязал!

Андрей выхватил револьвер, наставил его на Белоярова:

— Раз плюнуть, говоришь? На, смотри!

Белояров не напугался, махнул рукой, однако попятился:

— Вот, поглядите на него. Ребятишек учить собрался, учитель...

Когда за купцом закрылась дверь, Андрей несколько минут лежал на кровати, закусив уголок подушки. Первой мыслью было бросить все и уйти из города, хотя бы к себе в Березино, в пустой разоренный дом, и сидеть там, ни во что не вмешиваясь. Он уже представил себе, как ходит по пустым комнатам, как топит камин и греется у огня. Окна можно застеклить, вымести мусор, и снова будет тепло, уютно. Хотя нет, одному там жить нельзя, и вообще нельзя больше жить одному! Брат ушел служить богу... А ему, Андрею, надо жениться! Альбинка Мамухина, говорят, еще незамужняя. Взять ее, привести в дом... «Но ведь я же ее не люблю! — вдруг подумал он. — Как же жить, если не люблю? Опять парадокс... Одни парадоксы: учитель воюет, а офицер что, должен учить детей?!»

Потом он сел, уставившись в пол, и разом отступила злость на купца и тревожные думы о нашествии Соломатина сделались далекими, малозначащими. «Я ведь никого не люблю! — подумал он, и мысль эта пронеслась в мозгу, как озарение. — Вот почему так все складывается: я никого не люблю!..»

Он огляделся, словно кто-то мог подслушать его мысли. Конечно! Нет любви! Есть сожаление, жалость, желание помочь людям, есть презрение к страху, есть, наконец, ненависть, как была только что к купцу Белоярову. Все есть, кроме любви. Почему не болит сердце, почему не бунтует душа за сестру? Сознание вины есть, но сознание того, что Олю расстреляли, уже стало привычным, и привычной становится вина. А отец?! А судьба матери?! Да ведь от любви к ним он должен был все Березино на голову поставить! С каждого спросить!

«Но это же опять не от любви, — подумал он, — а все от той же мести, от ненависти... Что же такое любовь? Наверное, и меня не любят...»

Потом он думал о сестре, вспоминал ее маленькой, особенно тогда, когда она плакала; вспоминал отца, и тоже чаще в минуты его переживаний; думал о матери, о Саше, но ничего, кроме жгучей жалости к ним, не испытывал. Состояние было такое, словно он что-то давно потерял, что-то дорогое, близкое сердцу, но без чего жить можно.

И он живет.

Ночь прошла в ожидании. Самооборонщики, рассевшись в купеческие сани, ездили по окраинным улицам и прилегающим к городу дорогам, останавливаясь, слушали тишину, вглядывались в чернеющие на фоне снега кусты. Андрей тоже слушал, не загремят ли где выстрелы, чтобы немедленно бросить туда все силы, но и к утру ни один подозрительный звук не нарушил покоя. Караульные-гимназисты, выставленные на дорогах, замерзшие до посинения, на рассвете самовольно покинули посты и, докладывая, не могли закрыть ртов, словно на лицах не хватало стянутой холодом кожи...

Утром Андрей выслал разведку на паре рысаков из бывшей отцовской конюшни. Разведчики объехали все близлежащие деревни и, вернувшись к обеду, сообщили, что объединенную банду Соломатина видели в лесу, недалеко от Красноярского тракта, верстах в десяти от города. И, судя по следам, она не выходила на тракт, а скрывается где-то в избушках на кедровых промыслах. Установленный Соломатиным срок нападения на город прошел этой ночью, значит, бандиты что-то выгадывали, либо хитрили, усыпляя бдительность. Все-таки Соломатин не был военным человеком, умел действовать лишь воровскими налетами и опасался открытого, фронтального боя. Да и «архаровцы» его никогда бы не пошли на отрытые у дорог окопы; каждый из них хотел не просто быть живым, а еще и состоятельным. В первые дни защиты города, после двух-трех залпов самооборонщиков из засад, банды попросту разбегались без единого выстрела либо палили кто куда.

Вдохновленные спокойной ночью, самооборонщики не расходились по домам. В «штабе» спали, варили пищу, чистили оружие, и скоро Андрей уловил в доме скорняка уже полузабытый казарменный дух. У ворот почти весь день колготились люди, и порой можно было услышать веселый смех. Только есаульские купцы отчего-то примолкли, нигде не показывались и не посылали приказчиков с продуктами, как было раньше.

С вечера Андрей перекрыл Красноярский тракт и выслал вперед караульных. Самооборонщики засели в окопы, завернувшись в тулупы и собачьи дохи, тихонько балагурили, ели вареные яйца, соленые огурцы, хлебали из бутылок согретое на груди молоко. Все это навевало Андрею странные, тоскливо-щемящие мысли. Казалось, в мире произошло какое-то непоправимое недоразумение, и теперь вся жизнь, внешне оставаясь неизменной, сдвинулась внутренне со своего места и качается, как хромоногий стол, за которым сидят люди. И посуда, что стоит на этом столе, тоже качается, а все, что в ней, — плещется от малейшего движения, проливается на скатерть, на одежду; сладкое смешивается с горьким, суп с киселем, смех со слезами. Да разве думал Андрей, надевая офицерские погоны, что придется ему командовать таким войском у порога родного дома? Война не походила на войну, солдаты — на солдат, командиры — на командиров. Но ведь в этом что-то было! Где-то здесь пряталась истина, причем глубокая и многоликая. И ее невозможно было рассмотреть сразу, объять единым взором, как невозможно увидеть, что скрыто внутри деревянной матрешки, не разъединив каждую. Каждую!

Андрей умышленно все время носил шинель и фуражку, хотя давно мог переодеться в тулуп. Ему казалось, что его внешний вид будет дисциплинировать самооборонщиков, приводить их к подчинению, вызывать уважение к командиру, однако сейчас весь этот маскарад ему показался нелепым и совершенно не нужным. Форма хороша, когда ее имеют все, а командуя отрядом в тулупах и дохах, нельзя чем-то выделяться, ибо за этим следует отчуждение. И наоборот, он бы стал ближе и родней самооборонщикам, если бы топал в пимах, заворачивался в тулуп и ел вареные яйца в окопе. Гражданская война требовала к себе гражданского отношения, и ей были чужды иные правила и законы.

Думалось в этот тихий, одиннадцатый по счету вечер обороны города очень хорошо, мысли текли свободно, может, оттого, что тишина в тот час была спокойная и, по всем признакам, ничем не грозила.

Но в половине девятого на тракте появилась одинокая мальчишеская фигурка в гимназической шинели (гимназисты, подражая Андрею, щеголяли в шинелях и фуражках). Караульный летел, не касаясь земли. Самооборонщики позатыкали бутылки, попрятали за пазухи и, вытянув шеи, глядели через бруствер. Кто-то уже выставлял винтовку с примкнутым штыком.

— Идут! — выдохнул караульный. — В деревне остановились. Лошадей поят.

До деревни по тракту было верст пять, напрямую — четыре. Она стояла за лесом, и зимой в хорошую погоду из Есаульска были видны ее огни. Близость давно ожидаемых бандитов настолько поразила самооборонщиков, что в первый момент в окопах возникла паника. Как же так?! Они сидят, ужинают, а враг — вот он, под носом!

— Тулупы снять! — приказал Андрей. — Приготовиться!

Самооборонщики вдруг стали послушными и исполнительными, словно хорошо обученные строевики. Они разом посбрасывали тулупы,

и многие, кому бруствер был высоковат, догадливо подложили их под ноги. Андрей перебежал на другую сторону тракта, но и там все было в порядке. Прикрытые кустиками и сухой травой, окопы щетинились черными стволами на белом снегу. Андрей в который уже раз пожалел, что нет пулемета. Его бы поставить сейчас в стороне от тракта и, когда самооборонщики дадут три-четыре залпа по бандитам, ударить им во фланг. И победа обеспечена!

Сначала в морозном воздухе услышали скрип многих саней и только тогда разглядели на тракте плотную, длинную колонну. Она словно вырастала из снега, постепенно взбираясь на пологий подъем. Кто-то нервный щелкнул затвором, и за ним, словно по команде, самооборонщики задергали шишки затворов, потянули скобки винчестеров. Андрей, стоя на коленях прямо на снегу, мысленно отсчитывал расстояние до бандитов и не переставал удивляться той наглой самоуверенности, с какой Соломатин шел к городу. Перед тем как скомандовать — огонь! — он успел подумать, что вновь совершается какая-то непоправимая ошибка, но рука уже была неотвратимо поднята — и открытый для единственной команды рот выкрикнул короткое и жгучее слово.

От первого залпа в колонне рухнуло много коней. Бандиты смешались, стали съезжать с тракта, но последовал второй залп, потом третий. Самооборонщики стреляли, плохо целясь или не целясь вообще, но на расстоянии тридцати сажен трудно было промахнуться и не попасть в черное тело колонны. И только после четвертого залпа с тракта отозвались беспорядочной торопливой стрельбой. В окопах ее не слышали, не замечали вспышек, увлеченные боем. Громыхнул пятый залп, и потом, перезаряжая винтовки, самооборонщики стали палить вразнобой. Оставляя черную рябь тел на тракте и бьющихся в агонии лошадей, бандиты спешно разворачивали сани и устремлялись назад; фигуры людей метались по снегу, как обезумевшие зайцы; те повозки, что успели развернуться, уносились от города и пропадали во тьме.

— В атаку! За мной! — Андрей с револьвером в руке побежал по тракту.

Самооборонщики выкарабкивались из окопов, табунились, трусили следом. Кричали «ура!», но больше смеялись взахлеб и орали, потрясая оружием:

— А-а! Драпанули-и!

— Держи! Лови!

— Купцов-то! Купцов-то потрясем нонче!

— Раскошелим!..

Кто-то пробовал еще стрелять на бегу, но, слава богу, ни в кого не попал. Андрей первым добежал до черных проталин на тракте, миновал перевернутые сани, бьющихся в сломанных оглоблях коней и чуть не споткнулся о человеческий труп. Перепрыгнув через него, он увидел в передке саней еще одного убитого, откинутого навзничь, и сразу знакомо блеснуло в глазах.

Погоны! Золотые, светящиеся в темноте офицерские погоны.

Он заскочил в сани, дернул на себя мертвого, и тот приткнулся к ногам Андрея, словно показывая ему свой чин — высокий чин полковника...

Слух о том, что самооборонщики разгромили на тракте отряд новой власти Сибирского правительства, в ту же ночь облетел весь город. В Есаульске не спали, прислушиваясь к стрельбе.

А наутро, вместе с рассветом, слух этот, воспарив над городом темной зловещей птицей, полетел по округе, затем все дальше и дальше, обрастая новыми пугающими подробностями. И до Красноярска донеслась весть совсем уж непредсказуемая: будто против Колчака восстал город Есаульск!

И оттуда слух вернулся эхом, гремящим и убийственным, как молния.

Усмирять восставший город вышел карательный батальон под командованием князя Нарокова. Бог весть откуда появилась молва, что он — известный вешатель и погромщик, под стать Соломатину. Будто он еще до переворота умело разгонял бунты и стачки по Сибири и расстреливал рабочих Ленских приисков. Через сутки распространилось еще одно известие о князе, еще страшнее: якобы он лично вышибает табуретки из-под обреченных, да еще и подтягивает их за ноги, чтобы туже затягивалась петля. А с Есаульском Нароков решил сделать вот что: повесить всех, кто взбунтовался, и тех, кто помогал им, а именитых купцов и уважаемых людей города раздеть догола и, привязав к скамейкам на площади, выпороть и выпоротых возить потом по улицам для показа; всех же честных граждан, если таковые могут быть или останутся в Есаульске, князь разделит на две половины: одни станут заложниками, чтобы восстаний в уезде больше не повторялось, а другие, обрядясь в мантии палачей, своими руками будут вешать бунтарей и пороть купцов.

Слухи были неправдоподобны, противоречили здравому смыслу, но город, охваченный паникой, мог поверить сейчас во что угодно. Скорее всего, они кем-то умышленно распускались, чтобы горожане сами поднялись и расправились с восставшими, а карателей встретили бы хлебом-солью. Достоверно было известно два обстоятельства: батальон Нарокова больше чем на половину состоял из калмыков, оказачённых еще при Екатерине Второй, и чем-то напоминал Андрею «Дикую дивизию»; а еще сам князь очень любил театр, считался интеллигентом, хотя и носил черную форму.

Сразу же после разгрома колчаковского отряда самооборонщики разбежались, и в «штаб» вернулись всего двадцать три человека — в основном гимназисты и старые солдаты. Зато оставшиеся теснее сплотились вокруг Андрея и заявили, что пойдут за ним в огонь и воду. Затем пришли приказчики и забрали коней с санями. Через день явился дальний родственник убитого скорняка и потребовал освободить дом. Андрей попросил самооборонщиков разойтись по семьям и ждать команды. И едва они ушли, как он ощутил бессилие и упадок духа; хотелось куда-нибудь спрятаться, забиться в щель...

Андрей пришел к дому владыки, проник через конюшню во двор и нашел Никодима.

— Ну, доигрался? — спросил кучер.

Ответить ему было нечего.

— Где каратели? — поинтересовался Андрей.

— Говорят, у Больших Камней... Верст сто двадцать... Ждешь?

— Что же мне делать? Выйду и сдамся,— сказал Андрей.

Кучер сел на краешек яслей, потрогал колючие объедья, выбрал ветку шиповника, понюхал.

— Так вот пойдешь и сдашься? Мол, берите меня, я бунт поднял?.. Нет, ребята, худое вы дело затеяли. Вместе с братом своим единоутробным.

— А что — Саша? — насторожился Андрей.

— Из монастыря сегодня пришел, у владыки сидит,— конюх вздохнул.— Навстречу Нарокову собрался. С иконой, говорит, пойду, не тронет... Да ведь нынче на икону помолятся и идут на грешное дело. А про князя и вовсе эвон что говорят... Владыка держит племянника, да где же вас удержишь? Смотрю я на вас, с самого детства смотрю,— вы словно по две жизни прожить собираетесь. Одна комом, дак я за другую. Уж там-то все ладно сделаю, все благополучно... Худо, ребята, худо.

Он поершил шипы на сухой ветке, занозил ладонь. Долго выку-

сывал занозу, но так и не достав ее, заслюнил, затер в кожу — ладно, не первая и не последняя.

— Ты послушай меня, старика, послушай,— вновь заговорил он.— Вот сдашься ты карателям, они тебя скорее всего повесят. Нынче, говорят, на столбах вешают, даже виселиц делать некогда. Оно и понятно: столь народу перевешать надо! Повисишь на ветру, снимут тебя и закопают. За кладбищенской оградой. И забудут. А ты ведь не так хотел? Не так! Ты хотел, чтоб тебя мучили долго и чтоб народ смотрел на твои мучения. Смотрел и душою гневился на мучителей. И чтоб к тебе, повешенному, народ шел и плакал бы у столба, как у распятия. Может, умом-то ты до такого не додумывался, но нутром так хотел. Иначе-то зачем сдаваться? И когда вокруг твоей смерти страсти поднимутся, когда ты и мертвый за собой народ поведешь да еще пуще дух его укрепишь,— слава тебе будет и любовь. И людям польза великая.— Никодим бросил шиповник, отряхнул руки.— Да не будет так, Андрей. И брат твой беды не остановит. Раз Есаульск выбрали карать — карать и станут. Чтоб другим неповадно было супротив власти идти. Нароков — он тоже человек подневольный. Легче с Соломатиным было договориться, он хоть сам себе голова. Купчишки вон что, примолкли сразу? А-а! Они уже списочки составляют, кого на столбы поднимать, и золотишко готовят, что вам сулили. У них свой подход. На тебя плевать станут, а купчишек добром поминать. Вот как, парень...

— Не может быть. Нет! — Андрей откашлялся.— Не верю... Ты все врешь, Никодим! Народ от испуга робеет, слова сказать боится, а в душе он не такой. Я же помню, как было на кладбище, когда семью скорняка хоронили и я обратился к народу. Врешь! Людей только страха лишить — они на великие дела способны!

Никодим ссутулился, уронив руки между колен, и Андрей увидел его морщинистую, в клетку, шею.

— Барин ты, Андрей, и замашки все твои барские,— обидчиво сказал Никодим.— Не стыдно так старому человеку говорить?

— Прости, я сгоряча,— поправился Андрей.

— Да я не обижаюсь. Мое дело, конешно, лошадьми править, не людями. Откуда ж мне знать-то...

— Ну, прости, Никодим!

Кучер встал и вдруг погрозил ему пальцем, бросил в сердцах:

— Все вы так! Бывало, везу твоего дядю с кем-нибудь из губернии или еще повыше, а они сидят сзади меня и говорят, и говорят! И все ведь за народ, за православных пекутся, все за него страдают. Как ему жить, да что он думает, да что хочет. Послушать, дак батюшки мои, все как на ладони! Слушай их да живи... А меня с ними ровно и нету! Хоть бы раз кто спросил: Никодим, ты как жить-то хочешь? Никто... Чего кучера спрашивать. Мне же всегда чудно делается. Как так, думаю. Сидят, за народ страдают, а в толк не возьмут: нужно ли народу-то ихнее страдание? Эх, да что там...

Он умолк, но Андрей подтолкнул, попросил тихо:

— Говори, говори, Никодим.

— Говори не говори...— отмахнулся кучер.— Были тут в Есаульске ссыльные. Тоже страдальцы за народ, ежели послушать их. Уж так хорошо говорят, так хорошо — поначалу уши развесишь и слушаешь. Одно слово — мученики! А когда подумаешь умом-то да глазами поглядишь — кто они есть-то? Они же ведь никакого дела не знают, никакой работы в руках не держали! Ходят токо да царя ругают. Вот уж ругают! Тут и подумаешь: а чего не ругать-то? Я бы тоже ходил да лаял. Главное: ничего не делай, пальцем не пошевели, а к тебе уважение! Тебя в страдальцы записывают! Конешно, у нас в Сибири попривыкали: ежели ссыльный, знамо — мученик. Их вон тыщами пригоняют. Да кабы из них хоть половина от всей души за народ пострадала, была бы нынче эдакая смута? Христос один был, а гляди — все народы к свету вывел. Потому что праведником был. Ты вот тоже в народные заступники вышел, пострадать собрался, но в чем твоя праведность содержится? Мучили тебя, конешно, много, намытарился — что говорить... Когда я почту в Красноярск возил, на станции какой, бывало, заложат неровных лошадей — и вот уж мука-то начиналась. Не тянет одна кобылешка — и хоть ты лопни! По хорошей дороге еще ничего, а чуть снег убродный — не тянет. И так, бедная, намучается, аж падает. А другая — прет! За себя прет и за нее. Да кто же из них мученик-то? Кто праведник?

Андрей вдруг обнял старика, уткнулся лбом в его дряблую шею, спросил глухо:

— Что же мне остается, Никодим?

— Теперь что, дорожка тебе одна,— голос кучера посуровел.— Собирай людей, которые с тобой были, да уводи. Ежели, конешно, пойдут за тобой... Только вот пойдут ли? Как сам-то чувствуешь?

— Не знаю,— проронил Андрей.— Позови брата, а?

Никодим кивнул и, помедлив, побрел в дом...

Через несколько минут на крыльцо дома выбежал Саша.

Монашеская длиннополая ряса никак не изменила его, хотя Андрей с щемящей тревогой ждал совсем чужого человека — так было при встрече с матерью в монастыре. Глядя на идущего через двор брата, Андрей вдруг вспомнил, что ни разу не видел его в военном мундире. Будто Саша никогда и не носил его, сразу же из гимназической формы обрядившись в рясу; словно не было в жизни ни офицерского училища, ни фронта, ни отравляющего газа... «Если судьбой ему было завещано иночество, неужели круг жизни, пройденный им, напрасен?!»

Саша вбежал в конюшню. Они обнялись и долго стояли, сдерживая дыхание.

— Андрей... Уходи,— проговорил брат.— Иди, я остановлю Нарокова. Ничего не думай, иди. И города не тронет.

— Как же, Саша? — горько спросил Андрей.— Сдашься вместо меня? Глупо... Детство...

— А я рассеку лицо! — горячо заверил брат.

— Прекрати! — оборвал Андрей.— Это ребячество! Начитался книжек! Ты же взрослый человек! Ты — офицер!

— Погоди, Андрей,— не захотел слушать его Саша.— Я все продумал. Природа не зря создала нас близнецами. Ничего случайного. Один уйдет — другой будет... В мире ничего не изменится, понимаешь?!

— Как жить потом мне — подумал? — взъярился Андрей.— На моей совести Оля!.. Я вас двоих не выдержу!

— Я на твоей совести не буду! — заявил брат.— У меня своя дорога... Своя! Или я не имею на это права? Не волен?

— Волен,— согласился Андрей.— Но я за свое — сам отвечу. Жертвы не принимаю, прости.

— При чем здесь ты? — изумился Саша.— Нароков идет карать город!

— Все равно — дай слово. Мы уже менялись судьбами.

— Не понимаешь...— простонал Саша.— Судьбами поменяться нельзя! Господи, как все перепутано в этом мире! Судьба — она как свобода, Андрей. Ее нельзя ни дать, ни взять. И отобрать нельзя...

— Дай слово! — перебил Андрей.— Иначе возьму сейчас коня и поеду навстречу Нарокову!

Саша мгновение глядел в глаза. Размашисто перекрестился.

— Возьми... А жаль, что мы перестали понимать друг друга. Близнецы, а будто на разных языках говорим... Впрочем, было уже... Когда строили Вавилонскую башню.

Андрей передернул затвор винтовки.

— Мне пора, Саша.

— Куда пойдешь-то? Где искать?

— Не знаю...

Саша перекрестил его, коротко коснулся щеки своей щекой:

— Иди с богом. И не оглядывайся!

Андрей подбросил винтовку на плече и полез в дыру на сеновал, откуда был ход на улицу.

Саша выждал, когда стихнет шорох сена, и опустился на край изглоданной конями пустой колоды.

— Суть уреченья твоего до конца мне не открылась,— он рукавом рясы смахнул набежавшие на глаза слезы.— Зрак заслоняет сень луны... Суть уреченья твоего — принять страдания и муки за землю Русскую!..

26. В ГОД 1185...

Дышала зноем степь.

Копыта лошадей вздымали вместе с пылью тучи воронья, а из земель окрест сбегались и сбивались в стаю волки, глотая пыль, тянулись следом, ждали пира...

Устали кони, обуянные жаждой. Дружина в раскаленных кольчугах притомилась, уста потрескались, как трескается земля от жара. Сухая степь скрипела на зубах.

Князь Игорь с тиунами скакал напереди под хоругвью, сухие очи прорыскивали даль — за нею где-то лежал Донец. Сторóж примчался — отрок, крикнул:

— В трех поприщах — вода!

Возпряли тиуны, сдирая с лиц разводья белой соли.

— Коней горячих не поить! — велел им Игорь.— Вежи ставить! Ночь обождем...

И воля княжья в тот же миг дружину облетела.

А лошади рвались к воде, вставали на дыбы, ржали, с губ роняя пену. Дружинники повисли на поводьях, полки смешались — гудящая молва пронзила степь. Донец же, мутный и веселый от обилия воды, искрился в свете солнца и манил к себе.

И вдруг смирились кони. Замерев, они вострили уши и вздрагивали кожей, словно сгоняя гнус. А витязи, минуту улучив и на ходу снимая шеломы, пошли в Донец. Брели по грудь в воде, хватали ее жадными устами, смывали грязь и пот. И ликовали!

Тем временем над степью повисла тишина. Унялся ветер, гладь воды застыла зеркалом, умолкли птицы по кустам прибрежным. Природа затаилась, помертвела. И только люди все смеялись и кричали, восторг глушил чутье и слух, а брызги ослепляли.

Но вдруг тревожно и тоскливо заржали лошади, сойдясь в табун, гремя мечами, притороченными к седлам, рванулись в степь — вон от воды! И вмиг остановились, окутанные пылью. Завыли волки; черной пеленой опала на землю стая воронья...

Олег пил воду из шелома. Круг солнца колебался и, ломаясь, сверкал пред взором. Отраженный, он не слепил глаза, а лишь ласкал омытое лицо. Олег залюбовался, уняв в шеломе воду. И вдруг узрел, как чернота, подобная дурной гнилой болезни, сжирает свет. Она невидимо ползет, и язвит, и гасит солнце.

— Отец, позри! — воскликнул княжич.

Дрогнули руки, шелом опрокинулся, и солнце вылилось на землю.

— Позри, отец! — со страхом крикнул он, десницей в небо указуя.

Край солнца черным был, и свет уже померк. В степи рождались сумерки средь бела дня. И вместе с темнотой небесный холод опускался на земную твердь. Оцепенели кони, и люди каменели — кровь в жилах стыла...

Князь Игорь, заслонившись дланью, взирал на небо. От солнца оставался узкий серп, но вот и он исчез, накрытый мраком. И звезды проступили...

Тьма...

— Суть уреченья твоего до конца мне не открылась, — услышал шепот Ярославны князь. — Зрак заслоняет сень луны... Сень луны...

Знамение! Знак послан небом!

Князь опустился наземь, припал к ней ухом. Стучало сердце, и стук тот бился между небом и землей. Раскаты грома пронеслись, прошелестела буря, затем огонь палящий заполнил поднебесье, но, отметенный потоками воды, угас, и водопады, прогрохотав в теснине, смолкли.

И зазвенел родник, забивший из земли. Князь вновь услышал биенье сердца. И голос Ярославны, рожденный родником, достиг ушей его:

— Не надобно искать ни чести, ни славы ратной, ни смерти на поле бранном. Ищи страдания. Возжаждай мук! Судьба твоя предрешена, иди путем, указанным тебе. Дерзай, трудись и покорись судьбе. Суть уреченья твоего — принять страдания и муки за землю Русскую!..

Князь встал. Исчезли звезды. Предутренний туман лежал в степи, прикрыв дружину. Роса блестела на траве. Где было солнце — черная дыра глядела на землю. Но вот из плена тьмы освободился первый луч и золотой стрелой метнулся в небо. И за ним, пробившим брешь во мраке, ручьем полился свет. Ожили люди. И кони, всхрапывая, копытами забили землю.

— Знамение! — возреял над дружиной шорох слов. — Знамение!.. Нам нет пути на Дон!

Владимир прискакал и осадил коня. На бледном лике огнем сверкали очи.

— Отец! Воротимся назад! Сей знак сулит погибель!

Подъехал Святослав, племянник Игоря, и, спешившись, угрюмо молвил:

— Недобрый знак... Но поступлю, как ты велишь. — Он наклонился к уху Игоря, добавил страстно: — Измена! Ковуи Ольстина коней горячих напоили. И пали кони.

— Отдайте подводных, — нашелся Игорь и, зубы стиснув, вскочил в седло.

Дружина обступала князя, и ропот становился громче: тревога сеялась и тут же прорастала страхом. Опомнившись от света, орало воронье над головами; поднялся ветер, и волной взыграл Донец. По балкам взвыли волки...

— Знамение — вы молвите?! — воскликнул князь и вскинул длань. — Сие знамение творить способно каждому! Прикройте дланью солнце — и нет его!

Поднявши руки, витязи прикрыли солнце, и пала тень на очи.

— Се ночь была — и миновала! Занялся новый день. Поскачем же, коль Время благосклонно!

Князь Игорь поднял на дыбы коня, послал его навстречу солнцу, восходящему из тьмы.

И пала ночь на земли половецкие...

В степи седой ковыль ходил под ветром, вздувались вежи, всхрапывали кони, заслышав волчий вой.

Воительница Ночь единым взмахом одолела Игорево войско, ее сестра, Истома, довершила сечу, постлав постель из трав. Над спящими, как вечность, звезда горела в небе и хранила сон. И лишь полон, стеснившись у повозок под надзором стражей, не спал и в горе бдил: в молву степную голосом сурны вплетался долгий тоскливый плач. Седели молодые половчанки, золою осыпая главы, и зов их поднимался над шатрами, улетая к звездам.

Средь веж, плащом опахивая лики спящих, немою, призрачною сенью бродил князь Игорь. Он вслушивался в ночь и тщился различить в молве голос княгини, но степь и поднебесье заполнились дыханьем витязей и плачем полонянок. И сердце билось билом колокольным. Он звал ее, просил откликнуться, припав к земле, лежал и слушал, однако и земля тем часом стонала и кричала горьким горем.

В шатре, перед иконой, на коленях стоял Владимир и молил пощады. Божья матерь, озаренная лампадкой, взирала скорбно и с любовью, ланитами умильно прикасаясь к сыну-богу. Попоною укрывшись, спал племянник Святослав и, сонный, водил устами, сладко чмокал, будто дитя у перси матери. А за столом походным, пред свечою, Олег сидел и буйный брат.

Князь Игорь во главу стола прошел — огонь свечи мигнул и поклонился. Заколебалась сень князей на стенах...

Взывал Владимир, руки простирая:

— Боже святый, боже правый, боже бессмертный, помилуй нас!

— Поведай, Игорь, знал ли ты, се станет с нами ныне? — храня спокойствие, спросил Буй-Тур.

Князь снял нагар со свечи, перстами уголек растер.

— Знал, брат. И в западню, расставленную мне, пошел, и вас повел.

— На гибель? — взъярился Всеволод и власы откинул, упавшие на лоб.— На смерть повел?!

— Не будет гибели, мой брат, — промолвил Игорь. — Смерть на бранном поле — честь. Нарочито принять ее — искус сей вельми велик. Аще есть время повернуть назад, полки оставив на поживу супостату.

— Се есть позор! — отрезал брат. — Я с поля бранного не бегал!

— И добро, князь. Не побежим. Назад нам путь заказан. И грех великий, коль дружину бросим. В полон пойдем и плакать будем, аки ныне полонянки плачут. И жемчугом осыплем Русь.

— Полягу здесь, нежели в полон пойду! Кощеем мне не быть!

— Скажи мне, сын, — к Олегу обратился князь, — где велико страдание: в полоне или смерти?

— В полоне, — молвил княжич. — Страсть кощея выше, нежели чем смерти страсть. Ибо кощей — живой мертвец, все зрит и слышит.

Буй-Тур вскочил, расправил грудь, и треснула кольчуга. Владимир плакал пред иконой:

— Господи, помилуй... господи, помилуй... господи, помилуй...

— Довольно, братья! — прикрикнул князь. — Пришла пора поведать правду. Погибели не будет и смерти в сече не ищите! Я поведу искать позора. Бесславья поведу искать! В чести и славе мы купались. В крови купались братской! А половцы тем часом зорили Русь! Довольно! Я привел вас в степь, дабы принять муки пораженья! Великий Святослав не в силах был собрать полки для летнего похода. Крамолами растерзанная Русь единой ратью не встанет под киевские стяги! Обида гложет братию, сердца съедает, души точит и перстью по ветру разносит. Так

пусть же Русь познает пораженье, о коем и вовеки не слыхала! Пусть пораженье и позор затмят обиду братьев, как сень луны затмила солнце! Затмение обиды помирит братию, ибо над Русью воспылает свет любви!

Буй-Тур осел, главу на длани уронив. Власы упали, заслонили очи.

— Не вразумел,— промолвил он.— На поле бранном довлеть мечом и язвить супостата — мне понятно. Аки ж понять умом слова твои? В позоре славы поискать? Чудно! Ты сказывал, затмить обиду? Но затмение несет на землю мрак!

— Мрак обиде — свет Руси, — воскликнул княжич. — Так уж повелось в народе нашем: печаль нас мирит...

Буй-Тур воззрился на него, повел очами к брату. Владимир встал с колен, к столу оборотился.

— Затмить обиду? — очнулся Всеволод. — Ты, отрок, мудр, да больно молод. Веками на Руси куют крамолы. Мы той обиды токмо ветви. А ствол и корни — там, лежат с костями наших предков.

— Се древо глубоко засело, — согласился Игорь. — Но вырвать его нам под силу. И вырвать надобно, поскольку Русская земля изнемогла поить его своими соками.

— А боги?! — Владимир поднял перст. — Угодно им сие?

— Угодно, — бросил Игорь. — Сие деяние — нож острый супостату! Он токмо ждет, он токмо жаждет, абы поссорить нас. В кузне той, где мы куем крамолу, ворог наш мехи качает. А мы его благодарим и злато дарим за труды!.. Но ежели богам и неугодно, ежели они другие тешат мысли — Руси сие угодно! Ибо вера есть всякая, а Русь одна!

— Так с зарею начнется путь позора? — задумался Буй-Тур. — Полки полягут наши... Аки мне жаль дружины, брат! Но коли помыслы твои и думы прахом обернутся? Полков не воскресить!

— Помыслы мои — принять мученья, — молвил Игорь. — Такие, дабы застонала Русь от боли, в великую печаль поверглись бы и братия, бояре и холопы. Я жажду мук, возжаждайте и вы! И вкупе мы с зарею ступим на путь вечности. И Время одолеем.

— Скажи мне, брат! — вдруг встрепенулся Всеволод.— Аки ж ты решился? Кто научил тебя? Кто волею сией наполнил душу? Помысли же: никто позора не искал! Никто доныне на Руси не жаждал пораженья! И коли рок нам — путь страданий и бесславья, ответь мне: почему он выпал нам?

— Мы внуки Ольговы, Буй-Тур, — вздохнул князь Игорь. — А внукам суждено страдать за грехи дедов! Так мир устроен, брат, что семя зла, посеянное нами, взойдет и принесет плоды лишь третьему колену. То, что посеял Гориславич на Руси, нам ныне пожинать, а что посеем мы с тобою — оставим внукам. Добродетель, грех ли — все утроится, и урожай обильным будет...

— Но коли божьим промыслом мы завтра одолеем супостата? — с надеждою спросил Владимир. — Коль богородица святая, узрев желания твои, побьет лихую силу? Се уже творилось на Руси, егда молитвами святыми супостат побежден был!

— Оставь надежды, сын, — промолвил князь. — Обольстившись на помощь божию и не вкусив ее, ты веру потеряешь. А лучше верь и на себя надейся. Ты — муж и воин. А богородица — святая дева. Ей чадо нянчить надобно, пускай растет.

Олег же взял свечу и озарил икону. Князья очами к свету потянулись.

— Егда он вырастет — страданья примет, — поведал княжич. — И муки на кресте от супостата.

Умолкла братия, шатер обвис, покинутый ветрами. И в тишине почивший под попоной Святослав улыбкою уста раздвинул и тихо молвил:

— Мать...

Ночь обласкала братию. Истома груз на веки возложила и повергла в сон. Лишь Игорь, сидя за столом, смотрел, как тает воск и убывает свечка, повинуясь нещадному огню.

Так убывало Время, рождая свет и разгоняя тьму.

А над отпущенной ветрами степью все еще бился, улетая к звездам, плач полонянок. И тоска, обливши душу, владела думами.

— Ты разлюбил меня, — послышалось ему сквозь горестное пенье в небе. — И в помыслах своих другую держишь деву...

— Я звал тебя! — воскликнул Игорь.— Ярославна! Что ж ты молчала?..

— Меня ты не зовешь, — печальный звучал голос. — Срамишь меня, позоришь, аки беспутную прелюбу. Чем заслужила гнев твой, Игорь?

Шатра завеса поднялась, и перед князем предстала дева. Он признал ее, прелестную и гордую. Но что же стало с ней? Какими же путями бежала дева в степь, коль обносилась вся и тело светится сквозь одежду? Лик исхудал, и очи провалились, власы скатались, ноги в струпьях...

— Почто же разлюбил меня, мой искуситель? — стонала дева, опускаясь на колени перед князем. — Без тебя, мой повелитель, худо мне...

— Пошла прочь! Я погублю тебя!

— Иль я тебя! — вдруг рассмеялась дева. — Коли уйду к другому!.. Опомнись, Игорь! Аки славно было нам, егда в любви мы жили и согласьи! Когда ты мог, беды не зная, дружить со степью! А теперь ты против встал! Зачем? К чему твои потуги? Поймут? Нет, любый мой, ославят! Престол отнимут и с корзиной пустят по Руси. Кому ты нужен будешь, за других страдая? И было б за кого страдать! Всяк под себя гребет... Уймись, утешься мной и возвращайся,— дева потянулась сладко.— Все спят, и нам пора... Возьми меня, смотри, аки прелестна...

Она простерла длани и закатила очи в истоме ожиданья. Князь на мгновенье обмер перед нею: прелестна все-таки и страстна в прелести своей! И, волею стряхнув оцепененье, отпрянул.

— Изыди вон! Я иссеку тебя! — он меч схватил и выдернул из ножен.

— Ах, вот ты как? — взметнулись брови девы. — Смотри не пожалей! Сейчас вот смою пыль, сменю саван и к брату твоему вползу. Он спит, а спящий муж так мягок сердцем... Любви его добьюсь, и, вместо битвы с Кончаком, с ним на заре сразишься, с братом!

— Не быть тому! — отрезал Игорь. — Аще ты и искусишь Буй-Тура, сраженья с ним не будет... И — скатертью дорога из Руси!

— Уйду, уйду, — заторопилась дева. — И убери свой меч. Ты воин, и негоже деву воевать. Где твоя честь — наперсница моя? Где слава — ангел мой?.. Уйду. Но я вернусь опять. Переоденусь, брови подведу и насурьмлюсь. И в новом образе к тебе явлюсь. Полюбишь — не узнаешь.

— Узнаю... Отныне презираю всякий образ твой! Ты вся в крови! Позри же, вот зерцало!

Князь зеркало пред ней открыл, и дева задрожала, лик пряча свой.

— Спрячь! Спрячь зерцало! Нельзя мне видеть отраженье!

— Позри! Должна ты видеть облик свой!

— Жесток ты, Игорь, — прикрываясь, говорила дева. — Зрю я: кто за дело трудное ни возьмется — моя сестра Жестокость тут как тут! Но я возлюбленным своим могу и поделиться с нею. Не убудет!

Князь Игорь спрятал зеркало и сел в тяжелых думах. Обида и Жестокость — две неразлучные сестры хозяйками живут на Русских землях. Затравленная ими Добродетель, как нищенка, сбирает подаянье, чтоб голод утолить. Но было ведь иначе...

Иначе было на Руси, пока Обида и Жестокость, в личины обрядившись, не явились к братии. Шептали в уши каждому, ласкались.

— Я — честь твоя,— одна сказала.

— Я — слава, — вторила другая.

— Не верь сим девам! — говорила Добродетель. — Сорви с них личину и позришь Обиду и Жестокость!

Не слушали князья, поддавшись чарам прелестей. И гнали Добродетель от себя. По наущенью дев в темницу посадили. Томиться б ей поныне, да не держат Добродетель ни замки, ни двери, ни железа. Вездесуща, она как воздух, и пока жива и дышит Русь, Добродетель не исчезнет.

— Послушай, дева, — обратился князь. — Могла бы ты единожды хоть послужить добру?

— Проси об этом Добродетель, — засмеялась дева. — Она еще жива и где-то бродит, аки тень...

— Но Добродетель не в силах сотворить то, о чем просить хочу, — вздохнул князь Игорь. — Способна ль ты обиду поселить по всей Руси за пораженье и позор? И дабы от обиды той сплотилась вся земля в един кулак? В едину рать сплотилась?

— Могу, — прищурилась она. — Но что за это дашь?

— А я прощу тебя, — открылся Игорь. — За все грехи прощу.

— Обиду не проща-ют! — засмеялась дева и взбила крылами.— В прощении — смерть моя!

— Коль смерть тебе в прощении — прощаю! — воскликнул Игорь. — Прощаю все тебе! Умри же!

Лик девы исказился; взмахнув крылами, она взлетела и, пробив шатер, умчалась прочь.

Туман ярился в Половецких землях. На востоке зарождался свет.

Спала дружина, прильнув к земле ушами, слушала. И тысячи сердец стучали между небом и землей. И каждый витязь слышал зов своей судьбы. Един для всех был зов...

Князь Игорь лег, раскинув руки, и в тот же миг услышал плач.

Земля была напитана слезами, словно водой весенней. Солона была земля...

Однако он в том громогласном хоре смог различить глас Ярославны. Она оплакивала рано. Еще все было впереди: и кровь в битве, и позор в полоне, страдания и муки!

Но ранний плач княгини, первая слеза ее, на землю павшая, открыли исток реки Каялы...

27. В ГОД 1918...

У Андрея было такое ощущение, словно его выгнали из дома. Точнее — сделали это давно, а сейчас он, крадучись, пробрался в него, подышал родным воздухом, с тоской посмотрел на милую с детства обстановку, погрелся у камина — и вот снова оказался бесприютным! Куда пойти? Где его ждут?!

В тот час, пожалуй, не ждали его в Есаульске ни в одном доме; хуже того, попросись он на ночлег, как просятся нищие, — не пустили бы.

Андрей разыскал двух самооборонщиков и велел собрать всех, кто был согласен остаться с ним. Часа через два к воротам дома скорняка из двадцати трех человек пришло лишь одиннадцать. Говорили, будто остальные куда-то исчезли из города. Андрей построил собравшихся в колонну по два, сам встал во главе и повел через Есаульск. Улицы были пусты, но он чувствовал спиной пристальные взгляды и часто оборачивался...

Нароков шел к Есаульску не спеша, по опыту зная, что карать в восставшем городе к его приходу все равно будет некого: бунтари уйдут в леса, а обыватели «покарают» сами себя, наслушавшись небылиц о злодействе князя. Ко всему прочему, он не любил заносчивые купеческие города в Сибири, от которых пахло ладаном и разбоем, добродетелью и скупердяйством, а над всем этим, словно дым в курной избе, плавал густой дух глубокой провинции. Он заранее предвидел, как его будут встречать хлебом-солью, как станут бить челом, пихая тайком списки подлежащих экзекуции, как потом начнут тягать из дома в дом, поить водкой, кормить медвежатиной и осетриной, подсовывать девок, а то не дай бог — дочерей, и делать еще много всякой гнусности, свято заблуждаясь, что делают добро. Он не осуждал купцов и промышленников за их невежество, наоборот, всегда гордился, что Россия держалась и держится на людях предприимчивых и по-крестьянски хозяйственных, но при этом терпеть не мог, когда они, гордые и кичливые со своими, готовы были по-лакейски унижаться перед начальством и властью. Князь считал, что деятельных людей крестьянского корня следует просвещать, будить в них чувство чести и достоинства. Этим бы и должен заняться в свое время царь-император, если хотел видеть свою империю цветущей. Однако последний российский царь, вместо государственных забот, пустился либеральничать с революционерами, распахнул двери своего дома перед бесом Гришкой Распутиным и не сберег светлую голову Петра Аркадьевича Столыпина.

И больше всего Нароков страдал от обиды и какой-то обозленной растерянности перед событиями на фронте в конце шестнадцатого года. Исход войны был предрешен, Германия оказалась на грани катастрофы, но вдруг неведомо откуда появилась незаметная, как тифозная вошь, но мощная и неотвратимая сила, в короткий срок разложившая армию. Она, эта сила, тихой сапой проникала в здоровый организм и грызла его изнутри, и природа такой болезни чем-то напоминала массовое сумасшествие. Нет бы единым духом пресечь распространение заразы и выжечь ее каленым железом там, где она прижилась, так нет, Николай Второй волей или неволей сам способствовал заражению даже таких глухих уголков государства, как Сибирь. Сосланные сюда революционеры сеяли смуту в умах и сердцах доверчивого народа и исподволь готовили то, что сейчас происходило на глазах Нарокова. Если бы бунтари даже очень захотели провести такую широкую пропаганду своих идей, то без помощи царя у них вряд ли бы что вышло: ведь одно дело, когда говорит пришлый, чужой человек, и совсем другое — пострадавший от царской воли. Надо бы учитывать, что в Сибири жалели всякого страдальца, ибо здесь их было полно во все времена.

По пути к Есаульску Нароков узнал, как на самом деле произошло восстание в городе. По сути, никакого восстания не было, и отряд, посланный установить власть Сибирского правительства, в темноте наткнулся на самооборону и почти весь погиб. Нарокова такое обстоятельство заинтересовало больше, чем если бы в Есаульске взбунтовались жители. Коли город смог организоваться и противостоять бандам, то население там, видно, стоящее. Князь имел приказ очистить Есаульск и притрактовые села от большевиков и сочувствующих им, но все-таки волен был поступать по собственному усмотрению. А пока, двигаясь к городу, он останавливался в больших селах и чинил экзекуции. Казаки-инородцы пороли ретиво, так что иной раз приходилось сдерживать их пыл. Мерзлыми розгами можно забить человека насмерть, и забивали, а Нарокову важно было не само избиение — это дело нехитрое и особого ума не требовало, — он стремился выколотить поркой страсть к унижению, как выбивают пыль из ковра. Его встречали хлебом-солью, как и полагается, для чего община посылала самых уважаемых людей села. Нароков слезал с седла, принимал хлеб-соль и разглядывал послов. И если бегали глаза, если мужики угодливо и подобострастно кланялись — спина, мол, не переломится, — его охватывала злость. Казаки знали норов князя, сгоняли на площадь сельчан, несли скамейки, рубили шашками черемуху или прибрежный тальник. Затем тут же, на площади, начинался допрос, чтобы выявить, кто помогал или сочувствовал красным. Обычно такие находились, их тут же выволакивали из толпы, снимали с них штаны и привязывали к скамейкам. Нароков подзывал уважаемых людей села и каждому лично вручал розги:

— Пори!

Если мужики брали розги и пороли и если еще стервенели при этом, он прекращал экзекуцию и велел снимать штаны и укладываться на скамейки «палачам», после чего предлагал кому-либо из толпы продолжить порку. Люди обычно стояли не шелохнувшись, никто глаз не смел поднять, дабы не обратить на себя внимание. Тогда за розги брались казаки и уже пороли от души.

— Чтобы никому не обидно было! — объяснял народу каратель Нароков. — А то я уйду, а поротые захотят отомстить вашим уважаемым мужикам. И пойдет у вас вражда в обществе.

На самом деле он рассуждал иначе. «Что это за уважаемые люди, — думал он, — если сами себя не уважают? За что же их уважать народу? Человек, исполненный чувства чести и достоинства, не возьмет розги на глазах у сельчан и не станет пороть!» Нарокову такие не единожды встречались, и он отпускал их с миром, хотя они уходили, ожидая выстрела в спину. Он верил, что человек чести не пойдет на поводу у красных и никогда не примет чуждых ему идей, проповедуемых разномастными революционерами и проходимцами. Короче говоря, если общество уважает такого человека, значит, и люди в этом обществе здоровые духом...

Нароков остановился в селе Усть-Повой — до Есаульска оставалось день ходу. Ему вскоре сообщили, что из города явились купцы и просят принять их.

Купцов было трое, приехали они в кошевах с медвежьими полостями, сами были тоже в медвежьих шубах, сдержанные и несколько угрюмые.

— Слушаю вас, господа купцы. С чем пожаловали? — спросил Нароков.

— Хотим, батюшка, просить тебя, чтоб город наш не трогал, — выступил вперед Белояров. — Народ у нас смирный, от красной власти натерпелся, дак мы вашу власть ждем не дождемся. А на тракте нашалил известный нам человек, большевик он, по фамилии Березин.

— Большевик? — удивился Нароков. — Я слышал, что он офицер.

— Был офицером, да к красным давно перекинулся, — отвечал купец. — Ныне он собрал кой-какой народ и в тайгу подался. Сдается нам, в свою деревню отправился, в Березино. Там поместье ихнее было. А вот список тех, кто с ним на тракте шалил, — пофамильно всех отметили.

Белояров оглянулся на своего товарища. Тот с готовностью достал бумагу и передал Нарокову.

— Дядя его, владыка наш, отец Даниил, после этого будто бы умом повредился, — продолжал Белояров. — Железо на себя надел и у храма сидит в одной рубахе. И велит, чтобы плевали на него. Наши-то плачут, глядя на эдакое. И все из-за него, большевика...

— Стало быть, вас город ко мне послал? — спросил Нароков, читая фамилии самооборонщиков.

— Город, город, — закивали, замахали бородами купцы. — Посоветовались да послали. Чтоб лишней крови не пролить и невинных не карать.

— Ладно, разберемся, — сказал Нароков. — Значит, вы пришли ко мне как послы?

— Как послы, батюшка, — согласились купцы.

— Ну, а пострадать за своих сограждан готовы? — князь спрятал список в карман и встал, поигрывая плетью.

— Воля твоя, — развел руками Белояров. — Как скажешь.

И все настороженно замерли и моргать перестали.

— А скажу я так, — начал каратель Нароков. — Сначала тебя, — он показал плетью на Белоярова, — выпорют твои товарищи. А потом твоих товарищей — мои казаки. Они инородцы, русский плохо понимают и секут больно. Но можно и наоборот. Ты, — он снова указал на Белоярова, — своих товарищей, а тебя уж казачки. Ну?

Купцы запереглядывались, испуганно затоптались на месте.

— Нас пороть-то нельзя, — придав голосу степенность, сказал Белояров. — Мы купеческого сословья. И бумаги имеются.

— Ничего, я и столбовых дворян порол, — заверил Нароков. — Из-за сословия не смущайтесь. Если согласны, то так тому и быть. В городе никого не трону. И список ваш выброшу.

— Несправедливо получается, батюшка, — Белояров снял шапку. — Они виноваты, а пороть нас?

— Я считаю — вы виноваты! — отрезал Нароков. — Вы допустили, чтобы большевик вами управлял!

— Он так-то не управлял, — замялся Белояров. — Он народ собрал, чтоб в город банду не пущать. Соломатин там у нас шкодил...

— Так вы еще и врете? — Нароков махнул рукой казакам. — Березин вас оборонял, а вы его оговорили! Может, он и не большевик?

— Как не большевик? Большевик, — заверил Белояров. — Узнали... Ты уж нас пожалей, не мучь. Нас и так красные эвон как мучили, а потом и Соломатин. У нас с собой пятьсот рублей золотом имеется. Дак мы тебе, батюшка, хотели преподнести.

— Золото? — удивленно засмеялся Нароков. — Вы что же, купчишки, откупиться захотели? Нет, взяток я не беру! Эй, чего вы там копаетесь? — прикрикнул он на казаков. — Быстрее!

Казаки выносили скамейки на площадь возле церкви, со всех сторон жидкими цепочками тянулся народ.

— Когда выпорют, золото к рубцам прикладывать будете, — сквозь зубы бросил Нароков. — Говорят, помогает.

И, круто развернувшись, пошел к скамейкам. Казаки подхватили купцов под руки, повели...

Нароков поманил раскосого, в большой лисьей шапке, есаула, показал на купцов:

— Этих пороть. Но золота у них не брать!.. И руби розги. Завтра в городе не нарубишь...

За спиной, перекрывая тихий говор толпы, слышалось яростное сопение сопротивлявшихся купцов. Малорослый толстоватый казак, по-утиному переваливаясь, нес охапку мерзлых черемуховых прутьев...

Нароков не любил жары в избе, а хозяева, как всегда, старались так натопить для высокого постояльца, да еще и нагреть перину на печи, чтоб, не дай бог, не замерзли княжеские косточки. Отругав денщика, он распахнул дверь настежь и, набросив на плечи шинель, встал в клубах густого пара. На повети хозяин с кем-то шушукался и часто повторял:

— Не велено. Не велено, не пущу.

Нарокову стало интересно: он не давал хозяину никаких распоряжений и еще никак не выразил своей воли.

— Кто там? — спросил он громко. — Впусти!

На повети стихли, затем хозяин подал голос:

— Лицо духовного звания, вашбродь. Просится...

— Поп, что ли?

— Вроде этого, монах. То купцы, то монахи...

— Так проси! — рассердился Нароков.

На пороге оказался высокий молодой инок в черной рясе и нагольном полушубке. Он прикрыл за собою дверь, сдержанно перекрестился на туманные образа в углу.

Нароков добавил света в семилинейной лампе, пригласил вошедшего сесть. Монах снял полушубок, суконную скуфейку и, пригладив волосы, присел на лавку.

— Чем могу служить?

— Вы не можете мне служить, — инок поднял голову и посмотрел Нарокову в лицо. — Поскольку вы служите дьяволу.

— Весьма любопытное заявление, — не сразу нашелся князь и, ногой пододвинув табурет, сел напротив. — И вы пришли спасать мою душу?

— Вашу душу, князь, — если она еще есть! — спасать будете сами, — четко выговаривая слова, сказал монах. — А пришел я с другой целью — уничтожить вас!

Нароков рассмеялся и встал, словно подставляя себя под выстрел.

— Вы меня развеселили! Ей-богу!.. Должно быть, под рясой у вас спрятан револьвер?

— Нет, под рясой у меня только крест, — спокойно проговорил монах. — И вы напрасно смеетесь. Я — брат того самого Березина Андрея Николаевича.

— Вот как! — неподдельно удивился Нароков и подсел к гостю еще ближе. — Дайте-ка на вас посмотреть...

— Мы близнецы, — пояснил монах. — Вначале у меня была мысль прийти к вам и выдать себя за брата. Местные жители, кто нас помнит, подтвердили бы. Но потом я передумал и решил вас уничтожить.

— Но позвольте спросить — за что? Я исполняю свой долг, я защищаю отечество!

— Вы уверены в этом?

— Безусловно!

— Жаль, — сказал монах. — У меня все-таки была надежда... Защита отечества, князь, это защита народа. А вы несете ему горе, вы сеете страх, вы унижаете его...

— Народ унижается сам! — неожиданно для себя закричал Нароков: монах зацепил больное. — Он готов унижаться перед кем угодно, лишь бы его не тронули, лишь бы выгода была! Я презираю всякое рабство!

Он замолк, спохватившись. В избе показалось душно: прокаленная

русская печь источала жар. Он сбросил шинель на лавку и приоткрыл дверь.

Откуда-то выскочил мохнатый сибирский кот и запрыгнул монаху на колени. Тот спокойно погладил его спину, почесал за ушами. Кот улегся, замурлыкал и от удовольствия стал легонько царапать коготками рясу.

— Вы совсем не знаете русского народа, — проговорил монах. — И это ваша беда. И вы ничем не отличаетесь от инородцев, которых ведете за собой. Их-то еще можно понять: они на чужой земле и все для них тут чужое, постылое. Ну а вы-то, вы? Что вы скажете своим внукам?! Ваши предки, князь, совершали подвиги во имя России, во имя отечества. А вы палачом обрядились и пошли гулять по тому самому отечеству. Вы когда-нибудь думали о себе как о палаче, князь? Вы хотите, чтобы люди не унижались, чтобы хранили честь и достоинство, но сами-то? Попробуйте посмотреть на себя как на палача!

— Довольно! — оборвал его Нароков и захлопнул дверь. — Хватит проповедей! И агитации! Научили вас красные говорить, вся Россия только и митингует. А я фронтовой офицер, и краснобайству меня не учили!

Он застегнул все пуговицы на френче, прошелся по избе, скрипя сапогами. Затем неожиданно подсел к монаху, сказал, сощурясь:

— Сейчас позову казачков... Да, тех самых инородцев, и прикажу выпороть вас. И потом стану говорить! Интересно, что тогда вы скажете?

— Сделайте милость, — согласился монах. — Зовите казачков.

— Вам не страшно? И шкура не дорога?

— Мне будет больно, — признался монах, — но я вытерплю. Так сделайте милость.

Нароков улыбнулся и встал.

— А вы хитрый человек. Хитрый! Я вас понял, как вы собрались меня уничтожить. Но, увы! Такого удовольствия вам предоставить не могу. Я с женщинами и попами не воюю... Как вы ловко придумали! — восхитился он. — Просто замечательно! Да я теперь скорее руку себе отсеку, чем вас пальцем трону!

— Вы бы так поклялись народ не трогать, — сказал монах, лаская кота.— И отсекли бы руку. Возможно, тогда люди перестали бы унижаться перед вами, и вы увидели бы совсем другой народ, гордый и бесстрашный. Но вас все равно бы принимали, как принимают сейчас. Вам кажется, из угодничества хлеб-соль выносят. Да нет, вас встречают как власть, как гостя, наконец — высокого гостя. Вы вот избу выстужаете, жарко. А вам ее натопили, чтоб было тепло.

— Что же мне прикажете — тоже в монастырь? Рясу надеть? — усмехнулся Нароков. — Я офицер и состою на службе. И я не виноват, что Россию терзают всякие авантюристы и проходимцы! Не я развел эту красную заразу! Я был на фронте и воевал с немцами, я защищал отечество, а вся эта мерзость тем временем жрала Россию изнутри. Теперь кто-то должен очистить ее! Но скажите мне, есть ли другой путь? Такой, чтоб я не возился в дерьме? Думаете, приятно быть палачом?

— Есть другой путь, — не сразу ответил монах. — Но вы не захотели идти по нему. Он трудный и для вас, князь, непроходимый. Вы выбрали легкий, прямой — вешать, пороть, наводить страх. Но ведь народ нельзя долго держать в страхе!

— Я считаю, что только так можно сегодня спасти Россию, — отрезал Нароков. — Да, спасти свое отечество! Мы создадим Сибирское государство и отсюда освободим Россию.

— Вы не спасете Россию, — покачал головой монах. — Потому что вы сейчас не защитник, а наемник. Наемник в своем отечестве. Сегодня вы нанялись к Колчаку, завтра у вас будет другой хозяин. Да и сам Колчак, по сути, тоже наемник и тоже не имеет представления о народе, который пытается защитить, или, как вы сказали, очистить от красной заразы. Вы обязательно потерпите неудачу, поскольку ваш путь порочен в своем изначалии.

— Пророчествовать можно! — рассердился князь. — Все пророки!.. А в чем он, другой путь? Где?! Вразумлять красных? Уговаривать народ? Или молиться? Мы дали крестьянам свободную торговлю хлебом! Они здесь об этом и мечтать не могли!

Монах осторожно спустил кота на пол и, подойдя к печи, потрогал ее горячие бока, погрел руки.

— Вы опоздали, князь... Вернее, вы первыми сделали выбор, и не самый удачный. По другому пути теперь пошли большевики. Вы их сами направили на этот путь. Да, князь, вы лично, своими руками теперь помогаете им! А надо было всего-то — знать свой народ.

— Попрошу объяснить толком, — сурово сказал Нароков.

— Боюсь, не поймете, — вздохнул монах. — Впрочем, я и сам недавно понял... Сейчас в глазах народа вы — палачи. Согласитесь, это так. А другая сторона — мученики. Вы толкнули большевиков на путь мученичества, и они идут по нему. Народ будет не с вами, а с ними. Потому что во все века если русский человек стоял перед выбором, то всегда выбирал мученика и шел за ним. А палач, да еще и наемник... — Монах помотал головой. — Нет, народ за таким не пойдет. И свободной торговлей его не купишь. Хуже того, потерпит, потерпит и против поднимется. Наемник ведь тот же чужеземец. А у вас вон и японцы, и англичане, и американцы... Вы обречены, князь. И чем больше вы станете вешать и пороть, тем ближе ваш конец.

Нароков некоторое время сидел за столом, подперев голову. Кот терся о его сапоги и мурлыкал, просился на колени. Спас на божничке глядел на князя с суровым покоем. Чадил в лампе и коптил стекло сильно вывернутый фитиль.

— Кто вы? — спросил наконец Нароков, подняв отяжелевшую голову.

— Монах, — сказал гость. — Позавчера был пострижен. И брат Березина...

— Я это слышал!.. С кем вы? За кого?

— С богом, — смиренно ответил монах. — А значит, со своим народом.

— Хватит слов! — закричал князь. — Чьи идеи вам ближе?

— Ничьи, — вздохнул монах. — Я никогда не смогу принять идей красных. В них много от ума, а от сердца слишком мало. Красные тоже плохо знают народ, они пытаются за него и думать и решать. Им это еще откликнется, да это уже другой разговор... Ну, а с палачами я... Когда в мире происходит смута, когда идея на идею, надо оставаться с народом. И с верой.

— Хорошо быть святошей! — не сдержался Нароков и, сжав кулаки, хрустнул суставами. Хотел еще что-то сказать, но так и замер, положив перед собой руки. — Послушайте! — он вдруг оживился, подошел к монаху. — Останьтесь со мной, а? Я давно не причащался. Исповедаться хочу...

— Я не приму у вас исповеди, — покачал головой монах. — И причастить не могу. Я просто еще не умею... Ступайте в церковь...

— Нет! Не хочу... Останьтесь! Я не трону вашего города!

— Я пойду, — упрямо сказал монах, греясь у печи.

— Вы не можете отказать мне, не имеете права! — Нароков пытался заглянуть ему в глаза.

— Я пришел не грехи вам отпускать. У меня другая цель, — и, взяв скуфейку, полушубок, неторопливо оделся. — Хочу с вашим воинством поговорить.

— Вы не уйдете! — Нароков встал возле двери.

— Оставляете меня заложником?

— Да поймите же! — загорячился князь. — С ними нельзя гово-

рить! Они не поймут! Они и русского-то не знают! Это же инородцы!

— Но ведь православные, — не согласился монах. — Поймут.

Преодолевая желание не отпускать гостя, схватить его за руки, силой заставить остаться, Нароков отступил от порога. Монах открыл дверь и тут же пропал в клубах пара.

Князь подошел к окну; откинув занавеску, долго вглядывался в темноту, но так ничего и не увидел...

Сон не пришел к нему в эту ночь. И вместе с ним маялся за дверью хозяин избы. Время от времени он заглядывал, спрашивал, не нужно ли чего, но, так и не дождавшись ответа, исчезал. Нароков попробовал раздеться и лечь в постель, но, не пролежав и десяти минут, вскочил, забегал по избе. Перина казалась бездонной, обволакивающей жаром, стеганое одеяло давило грудь и мешало дышать.

Потом он догадался, отчего мечется и отчего наваливается суетливое беспокойство: он проявил слабость в разговоре с монахом. И тот слабость его увидел! На исповеди можно быть слабым, но это была не исповедь, не отпущение грехов. А что было? Кто он: болтливый попик или пророк? Если просто болтун, то отчего же он, князь, вдруг ослаб перед ним и ощутил беспомощность? Отчего поверил его словам? Зачем отпустил его?!

28. В ГОД 1185...

Мыслилось ему позреть ие сиий Дои, испить воды донской шеломом. Но выпала другая доля...

Перед его очами текла река Каяла.

И вода ее не утоляла жажды, а, напротив, огнем гортань палила и тоскою обливала сердце.

Быстра была река, горька, кровава. И не имела брода половецкая река.

Пораженье и позор. Позор и пораженье.

Отца и сына повязали одной ужицей — спина к спине. И усадипи так в одно седло кощеево.

Затем связали и Владимира, придавленного павшей лошадью.

А Святослав, хранимый чудом, сквозь половецкий строй прорвался и кииулся прочь от реки Каялы, но брошенный аркан в последний миг схватил его за горло и опрокинул наземь.

И лишь Буй-Тур, забывшись в сече, метался по степи, рубил налево и направо, и полк его железный стоял стеной, упершись в землю. Но вот ковуи побежали и смяли строй, а в бреши с визгом устремились половцы. Буй-Тур все ждал смерти, сражался в одиночку, но смерти ему не было: стрела не тронула, копье не взяло, на достала сабля. Да повенчал аркан, надев кольцо на выю. И павши наземь, он сумел стрелою заколоть кого-то.

Позор. По-зор!

Болела рана. Кровь стекала по шуйце отца и по деснице сына — повязаны рука к руке...

А витязей, захваченных в полон, опутали веревкой. Они стояли рядом, потупя очи, и боли не было мучительнее зреть сию нелепую дружину.

Он зреп. Зрел и боялся одного — лишь бы не ослепнуть! Лишь бы до коица вкусить позор, напившись из реки Каялы.

Он зрел поле брани. В степи, до черноты изглоданной копытами, политой русской кровью, лежали воины. Куда ни пал бы его взор — повсюду, руки распластав, к земле приникнув ухом, спала его дружина мертвым сном. Что слышали они? И души их, паря под небом, о чем просили?

Две девы на легких крыльях облетали поле. Кричала Карна голосом высоким, оплакивала мертвых, снимала боль, застывшую на ликах, и очи закрывала, крылами опахнув. А Желя с рогом в дланях над павшими летала и собирала кровь по капле. Переполненный, рог вспыхнул, загорелся и, расплескивая огненную жалость, помчалась Желя в Русь.

Он зрел, как на печальном этом поле веселились половцы, собирая с мертвых дань. Ломая мертвым руки, они срывали кровавые кольчуги, а Игорю чудилось — с него сдирают кожу. Телеги заскрипели по степи, железные колеса колесовали павших — и это он позрел. Позрел, как копьями бьют раненых, как отрубают головы, друг перед другом похваляясь.

Позрел, как половчанин вытирает русскою рубахой сапоги, забрызганные русскою же кровью...

По-зор...

Не поделив добычи, средь мертвых тел схватились победители. Заскрежетали сабли по щитам, запели стрелы, и от крови возрадовалась дева по имени Обида. А половцы, втоптав ногами злато — причину свары, бились насмерть, как недавно бились с русичами. И князь, позрев на эту битву, вкушал не радость, а страданье! Заразная болезнь — к р а м о л а — разила все народы. Она, как оспа, ветром разносясь, охватывала земли и лики метила своею черной метой.

Едва лишь обобрали мертвых люди — на поле брани пала стая воронья. И вмиг земля зашевелилась от черного пера. И волки, пира ожидавшие по балкам и яругам, лавиною пошли со всех сторон. В тот день в степи незнаемой довольно было пищи всем. Всех прокормить могло бы поле брани. Но на пиру том не настало мира. На трупах дрались птицы, и звери меж собою лютовали.

Позор...

Седло кощеево — волшебное седло: все зримо из него, что раньше не видали очи, что ум не брал, к чему и сердце было слепо. Сын, приторочениый к спине отца, прирос к нему, и, словно став единой плотью, они смотрели в две пары глаз.

Было что зреть. Было чем зреть...

И вдруг над полем промчался шорох, словно ветер-низовик: Кончак примчался, ходивший с ратью добивать дружину.

Смеялся он, сверкая золотым шеломом, куражился над пленными, со свитою шутил. Подъехал к Игорю, уставился, прищуря глаз раскосый. Затем позвал Чилбука, хозяина кощея-князя.

— Верни ему доспехи,— повелел Кончак.— И меч верни. И содержи, как подобает князя содержать. Он друг мне старый.

— Я не приму свой меч из рук твоих,— промолвил Игорь.

— Послушай, князь! Неужто ты забыл, как мы единой ратью ходили к Киеву?

Горячий конь под Кончаком копытил землю.

— Я помню Чарторыя. И лодию, в коей мы плыли, помню.

— Что ж на меня пошел ты, князь? Я бы земель твоих не тронул.

— Ты враг не токмо мне,— князь Игорь вскинул очи.— Ты враг Руси!

— С каких же пор ты стал тревожиться за Русь? — Кончак дивился.— Иль сел на Киевский престол? Иль молодость взыграла? Чести и славы жаждал?

— Искал с тобой сраженья,— мрачно бросил Игорь.

Кончак, переклонившись через луку, засмеялся, смахнул слезу.

— Нашел?.. Седло кощеево нашел! А лучше б заключили мир. Если перед братией неловко со мной дружить, могли бы тайный сотворить союз, как с твоим стрыем Ярославом. Твоих земель бы я не тронул, а ты бы не мешал мне за добычею на Русь ходить.

— Уж лучше я кощеем буду, нежели союзником твоим!

Кончак развеселился, и свита засмеялась.

— А мы с тобою, князь, давно в союзе! Повязал нас Чарторый, как ныне с сыном ты повязан!.. Но хочешь — отпущу? Оружие верну, людей, какие есть? И провожу к Донцу?

— Нет, не приму я милости твоей.

Оставив свиту, Кончак приблизился вплотную и глянул, щуря глаз:

— Ты что замыслил, князь? Какую думу тешишь в голове? Неужто ныне на Руси князья взгордились так, что милость не приемлют?.. Признайся же, кощей! Иль я избавлю тебя от тайных дум. Вкупе с головой!

— Тебя сгубить замыслил! — признался князь.— Ты привел меня на брег Каялы, но сам в ней и истопнешь.

Кончак смеялся долго, и воины его смеялись, качаясь в седлах, ровно в зыбках. Веселье разлилось на поле бранном.

— Ты, князь, летами молод, да стар умом! — сквозь смех кричал Кончак.— Из ума уж выжил! Возьми — что же сидишь ты? Возьми и утопи! — И вдруг, веселье оборвавши, промолвил холодно и зло:— Союз наш жив. Ты мне открыл ворота! На Русь пойду!

— Иди, — едва промолвил Игорь.

Полая вода Каялы бурлила, мыла берега. Сквозь муть и соль воды на дне белели кости...

Позор...

Глубока река Каяла, и брода нет.

Что ныне на Руси? Есть ли кому печаловать о поражении? Содрогнулась ли братия, услышав о позоре?

Кончак ушел на Русь и зорит города...

Раздумьями терзаемый, князь обращался к небу, но в землях Половецких оно казалось мертвым, и глас его тонул. Он слушал землю, но на брегу Каялы молчала и земля. Лишь струи тихо жалились, скорбили омуты глубокие да горе грохотало на камнях. А сердце билось в лоне, как в колоколе, но его молва едва касалась слуха...

Сомнения одолевали князя. С покорностью склоняясь пред судьбою, повинуясь року, хотел он Веры! Что труд твой не напрасен! Что политая кровью степь родит плоды, и муки помогут отчине единство обрести!

Если нет, то зерна, брошенные в землю, мертвы останутся и прорастут грехом великим в собственной душе. Грехом пред братией и Русью!

В кощеевом шатре средь половецких веж лежал он вниз лицом, как мертвый. Гнила нетронутая пища, вода в пиале высыхала. Грызла руку зачервивевшая рана, но боль ее тонула в боли сердца и казалась сладкой.

Намедни он позрел, как продают рабов. Бояр его, дружинников плененных, повязанных за выи, поставили купцам, как ставят на продажу скот. Позванивая златом, заморские купцы товар смотрели: считали зубы, раны и лета. И цену назначали малую...

Потом их уводили на чужбину. Но прежде витязи прощались с князем. Им бы плевать в него, палить презренным взглядом и проклинать — они же кланялись ему по-русски, до земли. Тяжелая камча гуляла по их спинам, сквозь белые рубахи рубцы кровавые вспухали — они же кланялись! И, связанные, оставались верными ему. И Игорь кланялся, и мысленно просил прощения, прощался навсегда.

О небо! Если все напрасно — позор тебе!

В час раздумий тяжких в шатер вошел Олег, присел у изголовья.

— Худые вести, отче,— промолвил он.— Владимир, брат мой, Кончаковну посватал. Кончак ее отдаст.

— А худо ли сие?

— Худо... Тебя сомненья одолели, отче. Гони их от себя!.. А Владимир... Для Руси сия женитьба не послужит и мир не принесет. Со змеем лучше не родниться.

— Ты прав, сын мой,— помедлил Игорь и спросил:— Она красна ли?

— Красна...

— Дай бог, пускай живет!.. Что есть еще на белом свете?

— Гусляр пришел и, русичей собрав, поет,— поведал княжич.— Позвать его?

— Не время тешить слух. И душу баловать не время.

— Не бальства ради я хотел позвать,— признался сын.— Поведай гусляру о нашем пораженье. Позор, егда его позрят. Отай же нет позора!.. Поведай о страданиях своих, о муках горьких, о реке Каяле!.. И пусть же сей гусляр пойдет на Русь!

— Ты осмомысленный, сын мой!— князь оживился.— Я узнаю в тебе глас вещей матери твоей, моей жены... Зови! Зови же!

Гусляр был молод и красен ликом: седина едва виски посеребрила. Но, истощенный, статью сдал, и рубище висело на плечах.

— Откуда ты, певец, каких земель? И далеко ли путь свой держишь?— князь Игорь усадил его в шатре, подал кумыс.

— Я, князь, гусляр опальный, — и чашу осушил. — Меня изгнали.

— Опальный?— Игорь взволновался.— Ты интересен мне. Гусляр опальный ныне на Руси — сказитель правды. Скажи, за что изгнали и откуда?

— В Тмутаракани был я, да не по нраву попам пришелся, — певец тряхнул гуслями — серебряные колокольцы зазвенели.— Еретиком окликали и, науськав народ, камнями забросали. А сам я родом Греческой земли, но гречанином не был. Родители мои привезены были бог весть откуда и в рабство проданы. Когда подрос — обучен был игре на арфе. Но прослышал, на Руси нет рабства, а песни слушать больно любят. И гуслярам житье — раздолье. Сел на корабль и приплыл... Теперь же я изгнанник. Иду сквозь половцев на Русь, ищу хозяина, который бы пригрел несчастного изгоя.

— Добро, гусляр, — растрогался князь Игорь. — Какие песни ты поешь? Какие сказы знаешь?

— Я сказы о народе своем сказывал, — признался он. — О муках, кои терпит он то в рабстве, то в изгнании. О вере чистой пел. Русь слушала; разинув рты, жалели... Попы анафемой грозились. И вот изгнали,— взгрустнул певец и снова вдохновился: — Отныне славы я пою. Походы славлю и победы. А то сложу сказ величальный. Веселый, грустный ли — слушают с охотой...

— А мог бы ты поведать на Руси повесть о походе трудном? — князь Игорь встал, расправил плечи и, слабость переждав, продолжил: — Чтоб песнь твоя набатом по земле звенела. Чтоб долетела к каждому и, слух открыв, сердца бы озарила и поострила умы. Чтоб Русь, единым духом окрылившись, соединилась бы, аки персты на длани!

— Слова твои прелестны, князь! — воскликнул песнетворец. — Какой певец не тешится мечтой сложить такую песнь и овладеть сердцами всей Руси? Но скажи, о чем же будет повесть та? О войне и славе?

— О войне. И о позоре, — поведал Игорь. — Смог бы ты, позор восславив, призвать князей к единству? Наполнив их сердца обидою за пораженье, снять поволоку красную с очей и пробудить любовь? Чтоб к песне сей душою приложившись, аки устами прикасаются к кресту, давая клятву, никто из братии не смел нарушить заповедей слов святых?

— Чудно мне слышать, князь, такие просьбы, — расстроился гусляр. — В Руси, мне ведомо, в цене другие песни. Ушам князей приятна слава, дружине надобно веселье после ратных дел. Коль я же о позоре заиграю — меня опять забьют камнями! Никто не даст и на прокорм... Не слыхивал я, чтоб пораженье воспевали! Да ты здоров ли, князь?

— Я болен, — Игорь застонал. — Но ум пока что светел. Помысли же, гусляр. О славе песнь живет, пока есть слава. А жизнь ее короче вздоха! Но повесть о

походе трудном, о позоре пробудит Совесть. Она же — дыхание всей жизни! И песнь о ней неподвластна Времени!

— Ты мудр, как Соломон, — гусляр вздохнул печально. — Беда лишь в чем твоя? За мыслями о вечности ты, князь, упустил тот самый вздох, который жизнь прервет. Есть надо каждый день. — Он возложил персты на струны, и по шатру поплыл веселый звон. — Послушай лучше, князь, о чудесах заморских! И вмиг забудешь про печали.

Князь Игорь дланью струны погасил и молвил тихо:

— Ты раб... Но ты же волен! Неужто распрей нет в твоей душе?

— Я же певец, не воин, — подивился тот. — И распри, князь, не мой удел.

— Ну, так ступай, — позволил князь. — Возьми, се хлеб тебе. Певцов и нищих на Руси и в самом деле любят.

Гусляр взял хлеб и, поклонившись, вышел.

По новой вере, помнил Игорь, давая подаянье — богу подаешь.

Той же ночью, забывшись на мгновенье, в шатре услышал Игорь дыхание чужое. Очнулся, сел. Знакомый смрад сырой земли почудился ему.

— Ты, дед? Зачем пришел?

— Не дед я, — прошептал гость. — Я половчанин, именем Овлур.

— Ты мертвый?

— Нет, князь, я живой.

— Почто же чую я могильный дух?

— Ты сам, князь, на краю могилы, — сказал Овлур. — Гнилая рана тебя погубит скоро. Я снадобье принес. Хочу лечить тебя.

— Я не просил... Кем послан ты?

— Пришел я сам, — признался половчанин и, разорвав рукав рубахи, оголил шуйцу. — Коль ты умрешь так скоро, замыслы твои умрут с тобою. Кто ж повесть трудную поведает Руси?

— Откуда тебе ведомо о сем? — насторожился Игорь. — Ты кем подослан? Кончаком?

— Уймись же, князь... Я сторожил тебя и слышал все, — утешил тот. — Коль ты доверился гусляру нищему — доверься мне.

Овлур взял мазь и стал втирать ее. От рук его затихла боль, и жгучий жар опал.

— А нашу речь откуда знаешь? — спросил князь Игорь.

— В Руси я жил... Твоя печаль близка мне, князь. Я зрел усобицы у вас, но в наших землях вострей куют крамолы. Благо бы, еже роды сходились в честной сече на бранном поле,— глубокою тоской дышал Овлур.— Обиду затаив, укрывшись ночью, род вырезает род! Всех, поголовно, и даже корешка не остается... Чтоб мести кровной не было потом. Но я остался и живу, а значит, и род мой жив еще... Скажи мне, русин, каким богам молиться, дабы сие остановить?!

— Неведомо мне, половчанин,— промолвил Игорь.— Сам бы жаждал знать...

— А ведомо тебе, где обитает богиня ваша — Совесть? Где приют ее: на небе? На земле?

— Совесть? — помедлил князь. — На Руси ее отринули. Она в темницу, в сруб, посажена и дремлет там в тяжелом сне. И чуть жива.

— Богиня Совесть вне человека жить не может! — воскликнул княжич. — Она мертва, коли исторгнута из сердца. И брат ее, близнец, Стыд именем, в тот час же умирает.

— Но где же? Где они?! Я бы хотел им помолиться!

— Они в тебе, — сказал Олег. — Прислушайся.

— Да я же половчанин! Сии же боги из Руси!

— Из Руси... Но Стыд и Совесть доступны людям всех народов, кто им возжаждет поклониться. Молись же им, Овлур! И ты, отец, молись. Они к тебе вернулись.

Князь Игорь посветлел очами. И очи осветили лик.

— Неужто токмо на реке Каяле возвращаются утраченные боги? Неужто путь к ним — есмь страдания и муки за отчину свою, и мне открылась тропа Трояна?!

Полон пригнали из Руси...

Сбежались половчанки посмотреть: не диво, но прибыток, коли продать. Богат товар был — красны девки и отроки двенадцати годов.

Лучше бы не зреть сие! Иль выколоть бы очи!

В рваных сарафанах, босы, и вместо ожерелий выи лебединые охватывает вервь. Но краса их разрывала путы! Синь очей плескалась со слезами и наполняла синью небо над половецкой степью. А белы косы, спускаясь с плеч, белили землю.

Отроки стояли, сбившись в тесную дружину, и собою прикрывали красных дев. Князь, протолкавшись сквозь толпу, встал на колени, голову склонил.

— В горе вашем повинен я. Я открыл ворота Полю! Кляните же меня, казните...

В ответ молчание и горькая печаль.

Да жемчуг синий землю покрывает!

Былинкой тонкою под ветром качнулся отрок, выступил вперед:

— Мы из Посемья. Твои люди, князь.

Игорь поднял голову и слез не удержал.

— Что там, на Руси? — спросил он тихо.

— На Руси — печаль, — промолвил отрок. — Да половцы лютуют.

— А Святослав? Великий князь? Собрал ли он полки?

— Нет, не собрал. Одни не захотели, другие, посулив пойти, не шли. В тоске великий князь. А Русь в печали горькой.

Игорь проглотил слезу.

— Осмомысленный ты... Мог бы в дружину, а ныне в рабство путь тебе.

— Я рабом не буду! Я в Русь уйду! Дорогу я запомнил!

— Дай бог тебе удачи, — князь встал и обнял отрока. — Не забывай дорогу. А Русь очнется, встанет... Встанет!

Он побежал на половецкий торг и разыскал Чилбука, своего хозяина. Взмолился:

— Продай меня! Продай! Вкупе с людьми моими! — И бросился к купцам, затормошил камзолы: — Купи меня! Иль ты — купи?! Я князь! Я русский князь!

Купцы заговорили меж собой на непонятном языке и засмеялись. Чилбук отдернул за руку кощея и, гнев сменив на милость, проворчал:

— Ты князь в Руси. А в Палестинах свои князья. Им надобны рабы.

— Продай меня рабом!

— Тебя не купят, — хозяин усмехнулся. — Разве для забавы... Да цену малую дадут. Заморские купцы за товар с Руси ныне много не дают. Плохи рабы, хозяев бьют, бегут... Барышней за тебя, князь, выкуп получить, коль род твой пожелает. А нет — так я тебя порву конями. Или себе заставлю послужить. Забавиться хотят не токмо в Палестинах...

Князь под десницею своею ощутил плечо, услышал голос сына:

— Идем же, отче. Тебе — твой путь.

Он пошел. Перед очами качались вежи, зыбилась земля, давило небо.

— Жить со Стыдом и Совестью невыносимо! — князь задыхался. — Они терзают сердце сильнее всякого полона! Я их кощей отныне... И будет ли пощада?!

И вдруг услышал голос, от сердца и от неба исходящий:

— Се боги не щадят. И путь страданий токмо начинается...

— Ярославна?! — встрепенулся князь. — Освободи от власти неба! Я измучился... Не в силах уж очей поднять.

— Избавила б тебя я, лада! И волосы отрезала бы, ветру отдала! Но мои чары не спасут от власти обрященных тобой богов! Стыд и Совесть сильнее чар моих. Они сильнее Неба!

— Доколе ж продлятся мои страсти, Ярославна? — взмолился князь. — И будет ли конец?!

— Сие неведомо мне, лада... А чар моих осталось лишь тебя любить, — княгини голос задрожал. — Ответь мне, князь, живы ли мои дети?

— Они со мною рок мой разделили.

Вздох облегчения, сорвавшийся с небес, облегчил душу князя. Но в тот же миг ударил ветер, пахнуло падалью и гнилью. Чужой, скрипучий голос спросил:

— Ну что, добился своего?

— Ты кто? — напрягся Игорь.

— Не признаешь опять, — могилою дохнуло от земли. — Но ты не тешься, внук. Те боги, коим в жертву ты принес Обиду, тебя своею жертвой изберут и предадут закланью! Стыд и Совесть благородные владыки, но служить им предначертано простому люду. Помысли, зачем тебе холопьи боги? Захочешь править ты — не сможешь. А воевать поднимется рука? Нет, мой внуче. Князю не пристало сиим богам служить!

— Тебе они неведомы, — промолвил князь. — Мне худо с ними... Но благодать единожды вкусив, уж больше не отринешь веры в Совесть!

— Вкушай, вкушай, внучок, — прошамкал Гориславич. — Попомнишь старика... — И. закричал: — Опомнись же, безмудрый! Коль править миром все князья начнут по совести — какая ж скука и тоска над миром воцарится! Не будет ни обид, ни слез, ни поражений. И славы ведь не будет, и побед! Да скука вас изгложет! Ослепнут очи, на ржавые доспехи глядючи. В чем станете искать утехи?! Мне жаль тебя, внучок. Ты своей братией же проклят будешь, коль веру в сих богов рассеешь по Руси. Они же ненасытны! Чем больше воздаешь Стыду и Совести, тем больших жертв потребуют они. Да ты последнюю рубаху снимешь и голому отдашь. И все одно — всем мил не будешь.

— Послушай, дед, — прервал его князь Игорь. — Мне далеко так не узреть. Ты где сидишь-то ныне?

— Да я нигде, — бросил Гориславич.

— А я же на земле. И зримы мне дела земные. Се красных дев уводят в рабство! Там города пылают! — князь Игорь погрозил. — Ты, дед, ковал крамолы и распри разжигал! Ты! Тебе была утеха, а горе мне досталось! Меня огонь палит! И сердце гложет не скука, а печаль. А очи с горя слепнут!.. Дед, послушай. Где б ты ни был, молю тебя и заклинаю — иди на Русь! Тебя там помнят! И признают. А ты покайся. И, покаявшись, поведай о моем походе! И закричи! Ты мертвый грешник. И когда о горе даже мертвые кричат — живые внемлют! Ну, иди. Иди же!

— Боюсь, — тихим гулом простонало из земли. — Мне хода нет на Русь. Меня пути лишили...

Метался князь. Каменной тесниной чудился шатер, и степь ему была мала, как детская рубашка. Ему б гонца сейчас, глашатая, певца... или еще кого-нибудь, чтоб в Русь послать! Печали, в коих ныне лежала Русская земля, могли возжечь лишь скорбь, а не сердца.

И тут из Киевских земель явился поп. Князь Игорь воодушевился и, радость не скрывая, бросился к его руке. Но поп отдернул руку и, воззрившись гневно, проговорил:

— Изыди, диавол! Эко корчит бес!..

— Святый отче! — взмолился Игорь. — Гневись, ногами топай! Я грешен, казни меня. Покаюсь я во всем. Но прежде слово мое выслушай!

— Слышать не желаю мерзких слов твоих и покаянья не приму! — застрожился служитель. — Пытать тебя пришел.

— Пытай, за все отвечу.

— С какими думами затеял ты поход свой?

— Руси беда грозила! А Святослав бы рати не собрал, чтоб Полю затворить ворота.

— Откуда тебе ведомо сие? Княгиня волхвовала? Иль богомерзких сих кудесников послушал?

— Волхвовала, — признался Игорь. — Но и без чар чудесных было ведомо — похода не собрать.

Поп усмехнулся, оглядел кощея.

— Откуда тебе знать все промыслы господни?

— Се не от господа, святый отец, а от обид меж братьями...

— Довольно! — перебил поп князя. — В ереси своей гораздый стал. Известно мне, с какою целью ты в степь пошел! Знамения господнего не убоялся! Ты — человек, и ныне — раб. А жаждал уподобиться сыну божьему? Ты мучеником возомнил себя? И православных искушаешь на грешный путь? Апостолов сбираешь?!

Поп ударил посохом, и закачался на вые тяжелый крест.

— Я не уподоблялся богу, — промолвил Игорь. — Но страданий жаждал. Абы за позор свой обиду заронить в сердцах князей. И коли искушал на грех, то токмо самого себя!

— А гусляра? Коего ты просил восславить твои муки? Евангелистом сделать захотел?

— Гусляр тот нищий духом. Какой же он апостол?

— Ты ныне куешь крамолу против церкви! — объявил священник. — Мыслил ты, приняв мучения в полоне, явиться в Русь святым? И абы братия бо поклонялась и чтила богом? Не быть тому! По Русским землям тебя встретят батогами! Ты тешишься наполнить сердце гневом за пораженье русичей? А гнев тот супротив тебя оборотится! И первым бросит камень Святослав!.. Да полно! Останешься в полоне. Открывшему ворота в Русь выкупа не будет!

— Ты сказывал мне, что промыслы господни неизвестны человеку, — князь Игорь распрямился и вровень встал с попом. — Откуда ж ведомо тебе, как встретят меня в Русских землях? Кто первый камень бросит? Откуда знать молву, что по Руси пойдет?.. Нет, поп! Коль сие тебе известно — значит, исходит не от бога! А от тебя! И с кем ты вкупе!

— От меня, — признался поп. — Я служитель, посему ереси противу веры не позволю! Егда свеча горит и светит — благо. Но, опрокинувшись, грозит пожаром и бедствием великим. Не стану ожидать, покуда кров мой загорится!

— Свечу потушишь?.. Но придет ведь тьма!

— Абы Русь от тьмы сберечь, довольно света божьего!

— Нет, поп! Свет божий токмо днем! А кто же в сумерках посветит? Кто средь глубокой ночи воспылает, еже бы путь озарить? Человек! Че-ло-век!.. Днем, напитавшись божьим светом, светить ему во тьме!

Поп замахал руками:

— Светоносен токмо всевышний! А человека же он создал мелкой тварью. Червем не земле!

— Червя он создал червем, — не согласился Игорь. — Человека же — по своему образу и подобию! Ты сам клевещешь!

— Анафеме тебя предам! — закричал поп. — Тебя забудут на Руси! И еже ты воротишься когда — потомки знать не будут, где твоя могила! Я лишу тебя пути!

— Лишишь меня пути?

— Покусившийся на образ божий — да быть ему изгнанником! Изгоем!

— Благодарю, — промолвил Игорь. — И сей венец приму покорно. Ибо он Руси послужит!

И вдруг увидел Игорь очи сына, горящие от слез.

— Отец святый! — взмолился княжич. — Возьми с собою в Русь! Возьми!

— Сын?! — и князь осел, сломился. — Ты меня бросаешь?

— Прости, отец...

— Се божья кара! — возрадовался поп. — Не токмо братия, но чада тебя покинут. Все отвернутся от тебя!.. А ты, сын мой, — он погладил княжичу власы, — и впрямь на Русь собрался?

— Да, святый отче, возьми с собой!

— Зачем? Чтоб выкупить отца?

Княжич замолчал, потупил очи. Поп усмехнулся.

— Я смогу взять тебя, раб божий, еже ты согласен постриг принять. И в монастырь уйти.

— Приму постриг, — промолвил княжич.

— Что творишь ты — ведаешь ли? — князь в очи сыну заглянул и позрел такую тоску, как если бы его в рабство уводили на чужбину.

— Ведаю, отец мой...
Поп крест достал и княжичу поднес:
— Клянись, что не станешь выкупать отца от половцев. И крест целуй!
— Се долг святой, сыновний! — воскликнул Игорь.— Не лишай же долга!
— Прости меня, отец, — княжич приложился ко кресту. — Клянусь, не стану выкупать отца.
— Добро, — поп спрятал крест, оправил рясу. — Ночь бдеть в молитвах будешь, в поутру обряд свершим. И тронемся в дорогу.
Князь Игорь, стоя на коленях, гнул выю; голова к земле клонилась. А поп торжествовал победу! Он поверг его! И над поверженным вдруг милость проявил.
— Отрекись от замыслов своих! Пред братией покайся и пред богом. И на кресте клянись!
— Не отрекусь, — промолвил князь и встал. И, руки к небу вздев, воскликнул: — Не отрекусь!

Всю ночь Олег стоял пред образами, а Игорь — за его спиной — прощался...
Лишь на рассвете, уставший от молитв и дум, Олег к отцу оборотился и в очи ему глянул.
— Аще есть время, — напомнил князь. — Аще не поздно отказаться. Потом пути назад не будет.
— Служа богам, — мне старец сказывал, — ты служишь людям. Да будет так. Аминь.
— Ну что ж, ступай, — позволил Игорь. — И пой, коль голос будет! Пой, кем бы ты ни был — чернецом, боярином иль волхвом — пой! И Русь услышит...
Едва над степью встало солнце — шатер наполнился багровым светом и стены запылали. С молитвой на устах, поп ножницы достал...
Князь Игорь смежил веки, отвернулся. Но сын вдруг крикнул:
— Позри, отец!
И он позрел. Пряди волос светились в солнце, но, тронутые лезвиями ножниц, мертвели на глазах и осыпались наземь. Змеей шипело безжалостное, неумолимое железо...
Все кончено! Пред князем стоял монах с котомкой за плечами. Чужое платье, лик чужой...
Они друг другу поклонились и встретились на миг очами. И ничего друг другу не сказали.
«Пой, и Русь услышит», — пожелал отец.
«Я голоса не пожалею!» — поклялся сын...
Потом он волосы собрал сыновьи, все до единого. Дышал на них, и в дланях грел, и к лону прижимал — не оживали.
И, выйдя из шатра под небо в низких тучах, взмахнул рукой, как сеятель, и распустил власы по ветру. Их понесло, взметнуло к небу, затем к земле склонило и — рассеяло по следу.
Когда поземка улеглась, забившись в травы, пронзило молнией ум и сердце застонало. Гонимый страстью и себя не помня, он побежал за сыном, но сторожа схватили, заломили руки, повергнув на траву.
— Как ныне твое имя? — кричал он в степь.— Имя как твое?!
А лик обласкивал седой ковыль, и волны на Каяле рокотали...

29. В ГОД 1918...

На утро была назначена экзекуция. Вчера выпороли купцов, показали остальным, что и в этом деле на первом месте — справедливость и равноправие, за которые ратуют красные. Сегодня мужики сами должны, спустив штаны, укладываться под розги... Нароков нервничал: что же теперь делать? Отменять нельзя, сразу станет ясно, о чем толковал с ним монах. И хозяин избы наверняка слышал, под дверью стоял... Где сейчас монах? Найти его!

Нароков позвал денщика, велел разыскать и привести монаха. И пока денщик бегал, князь метался по избе. Он уже готов был силой заставить того принять исповедь, готов был выплеснуть всю боль, весь страх, что накопились в душе. Сказать, как он заставляет себя не думать, что творит, не вспоминать, как дергается и вытягивается потом человек на виселице, а он, князь, внутренне тоже дергается и вытягивается, словно вешают его. И рот открывается точно так же, и язык вываливается наружу... Такое нельзя забыть! Вот почему ночью он, князь, может спать только с женщиной, да и то недолго — пока сон после любви уносит его куда-то прочь от земного. А затем все

возвращается, и он, сонный, опять дергается, и хрипит, и открывает рот. Женщины боятся и убегают, и он не просит их остаться, потому что это можно посчитать за проявление слабости...

Исповедаться только ему! Иначе ни перед кем больше не повернется язык! Исповедаться — и тайно пустить в расход. Иначе монах ведь и в самом деле уничтожит его, если будет жив.

Вошел денщик, замялся у порога, растирая замерзшие руки.

— Что?!

— Зарубили его, ваше сиятельство. Инородцы обозлились... ну и...

Несколько минут князь стоял, сжав голову руками и едва сдерживая мышечную судорогу, коробящую тело. Затем спросил тихо:

— Кто зарубил?

— Сказывают, Андропов, со второй сотни.

— Ладно, иди, — бросил Нароков...

Рано утром, едва дымы над Усть-Повоем взбуравили морозное небо, он вышел на улицу и направился к церкви. Во дворах уже суетились казаки, запрягали и седлали коней. С рассветом всему населению велено было снова сойтись на площади. Скамейки не уносили, разве что по-хозяйски составили их у церковной ограды. Несмотря на ранний час, возле них толклись несколько стариков, а один и вовсе пришел с маленькой скамеечкой, которыми пользуются хозяйки, когда доят коров. Нароков вначале прошел мимо, затем вернулся к старикам. Те притихли, разглядывая его по деревенской привычке неприкрыто и откровенно.

— Что собрались? — спросил он. — Поглядеть захотели?

— Вчерась-то мы уж посмотрели, — откликнулся старик на скамеечке. — А нынче сами пришли. Давеча есаул сказывал, всех пороть будут, подушно.

— Ты кто будешь-то, батюшка? — спросил другой старик — с тяжелой клюкой. — Лицом вроде русский... Ежели ты начальник над басурманами, то уж сделай милость — прикажи нас потемну выпороть. Днем-то нам не с руки, молодые увидят, стыдно.

— Нас и привязывать-то нужды нет, — добавил тот, что сидел на скамеечке.— Сами ляжем. И кричать не станем, стерпим уж.

Нароков стиснул зубы и ушел в темноту.

Ему хотелось, чтобы вообще не рассветало сегодня. Он боялся, что при свете увидят его лицо и всем станет ясно, что он — слабый, беспомощный человек, как и эти выживающие из ума старики.

Он почти столкнулся с маленьким, толстым казаком, несшим охапку розог, остановил его, вспомнил фамилию.

— Ты за что монаха зарубил? — спросил тихо.

Андропов поставил вязанку на снег.

— Тебя ругал, Колчак ругал — большевик.

— Покажи мне, — попросил Нароков, — где ты его?

— Пойдем, пойдем, — закивал казак и по-утиному покатился вперед. — Просил на площадь руби. Я за деревья повел. Большевик! На коленка стать не хотел. А мне бог роста не дал. Как голова рубить? Высоко!

Он шел, оглядывался и смеялся.

За поскотиной, на не загрубевшем еще снегу, лежал монах, раскинув руки, словно на распятии. Нароков опустился на колени возле его головы. Лицо запорошило морозной иглой, отчего небольшая курчавая борода его и волосы казались седыми. Он поднял скатившуюся с головы скуфейку, обмел порошу со лба и поцеловал. И пожалел, что не спросил даже имени монаха. Затем прикрыл лицо той же скуфейкой и встал.

— Зарой его снегом, что ли, — сказал Андропову.

Тот стал пимами нагребать снег, забурчал что-то по-своему.

Нароков зашел к нему сзади, достал револьвер и трижды выстрелил в спину...

О том, что Нароков не тронул Есаульск, Андрей узнал на третий день. Никодим разыскал его в курной избе на ореховых промыслах, где Андрей со своим отрядом в десять человек пережидал нашествие карателей. Кроме этой вести, конюх привез и другую — погиб брат Александр, а дядя, владыка Даниил, сильно простудился, сидя на холоде, и увезен в монастырь, где наверняка помрет.

— Как? Как Саша погиб?! — Андрей затряс Никодима. — Где?!

— Говорят, в Усть-Повое. За поскотиной нашли. Он лежит, а рядом — казак застреленный, из этих, из калмыков.

— Не может быть!..

— Ныне все может быть, — покачал головой Никодим. — Старики его тоже в монастырь отвезли. Сказывали, кто-то видал, как дело было: басурманин его палашом в грудь, а монах из нагана. И легли рядом.

— Нет! Не верю! — закричал Андрей. — У Саши оружия не было. Не было!

Он отошел к дереву, обнял его и замер.

— Верь не верь — Александра не воротишь, — вздохнул Никодим. — Хоронить в монастыре будут... Я ведь тоже не верю. С наганом где же Нарокова остановишь? Его так не возьмешь, наганов он не боится...

Андрей предчувствовал, что жертвы будут, и затронут они именно его, и лягут на душу виной, и потребуют нового отмщения. Размышляя ранее о судьбе брата, он представлял, как все сложится, и почти не сомневался, что конец будет примерно таким. Сейчас, слушая Никодима, он разве что сделал поправку к своим размышлениям: Андрею казалось, что брат пойдет от города к городу, от гарнизона к гарнизону со своими проповедями и сгинет безвестно, а его убили сразу же, после первой же попытки уничтожить зло добром...

Итак, Нароков не тронул города. Он вошел в Есаульск спокойно, расквартировался в закрытой гимназии, велел поротым купцам доставить дров, водки и прокорм для казаков, после чего запил горькую, не показываясь на людях и не впуская к себе никого. Жители, посидев сутки взаперти, начали выходить на улицу, затем, еще через день, открылись магазины и лавки, зашевелился и заскрипел санями базар: Есаульск оживал, еще не веря глазам своим. Раскосые казаки с русскими именами расхаживали и разъезжали по городу, щурились на девок, покупали товар и никого не задирали. В это самое время пришла в гимназию вдова офицера, убитого еще в германскую, и стала требовать, чтобы Нароков ее принял. Караульные казаки сначала обошлись с ней мягко, сказали, что князь занят и принять не может. Однако вдова стала требовать еще настойчивей и хотела самовольно прорваться к Нарокову. Казаки схватили ее и затащили в класс, превращенный в казарму. Поняв, что̀ сейчас произойдет, вдова выхватила у кого-то револьвер и успела выстрелить пять раз, пока ее не скрутили и не бросили на пол. Пулей задело одного из казаков. Попробовали доложить об этом Нарокову, но тот оказался пьян до невменяемости. Тогда казаки наскоро соорудили виселицу и самовольно повесили вдову на площади. Проспавшийся князь узнал о казни и, вновь напившись, застрелился у себя в комнате. В городе говорили, будто он давно и безнадежно любил вдову, будто когда-то они с покойным ее мужем были дружны, и теперь князь не выдержал этой смерти.

Известие о гибели женщины ошеломило Андрея и будто прорисовало ту мысль, что подспудно и давно зрела в размышлениях: почему-то на гражданской войне больше страдали люди, не причастные к ней и не виновные. Существовала какая-то несправедливая и страш-

ная закономерность, как если бы за грехи родителей умирали дети, и такое проклятие становилось бесконечным.

Недолгая жизнь в курной избе неожиданным образом вдруг высветлила будущее для людей, отважившихся пойти с Андреем. Только-только легла зима; впереди — целых полгода такой бродяжьей, скитальческой жизни, и нет хлеба, нет рядом семей; горький дым, снег и тоска усыпляли ощущение опасности. Узнав, что Нароков даже экзекуции не устраивал в Есаульске, люди начали проситься домой, а некоторые, постарше, попросту молча собирали котомки. Андрей попытался остановить их, вразумить, говорил, что на пощаду карателей надеяться нельзя, однако люди прятали винтовки, прощались, глядя в пол, и уходили.

Когда Андрей остался вдвоем с Никодимом, тот поднялся, напялил шубу, взял рукавицы:

— И нам пора, Андрей.

На похороны брата он не успел. Лишь постоял у холмика мерзлой земли, потрогал рукой белый крест и, стиснув зубы, пошел в келью, где лежал при смерти дядя. Пожилой монах-сиделец сердито покосился на Андрея и не впустил.

— Завтра приходи. Заснул вроде мученик...

Недружелюбие, с каким встретили в монастыре, отбило всякую охоту оставаться. Никодим же обещал, что с дядей договорено спрятать Андрея здесь, пока еще в надежном месте. Сразу за каменной стеной начинался лес, и с холма в любую погоду была видна окраина города...

Утром дяде полегчало. Его обложили горячими подушками и позволили войти Андрею.

— А я ничего не обрел в этой грешной жизни, — вдруг признался владыка, с трудом раздвигая обметанные в лихорадке губы. — Думал, если богу буду служить, значит, и народу своему. Обольстился... Я на коленах возле храма стоял, просил, чтоб плевали, чтоб били меня палками да камнями. Криком кричал... Не слышат, мимо идут, боятся... Я думал: если владыка в веригах будет — всколыхнется народ, укрепится в вере. А он боится, народ-то! Всего боится. Изверились люди, поскудели духом...

Он долго отпыхивался, собираясь с силами, в груди свистело, обильный пот стекал на подушку.

— Андрей, ты помни, — продолжил он. — И не ищи Бога на небесах. Там пусто и холодно. Лети, лети, и все пусто... Есть человек на земле. И бог в человеке.

— Прости меня, дядя...

— Бог простит... Жалко мне тебя. Все уже пристроены, все при деле. Скоро вот и я пристроюсь. Один ты бродишь неприкаянный. Да если хранит тебя бог, верно, ты для чего-то еще нужен...

— Мстить буду! Мстить! — тупо сказал Андрей.

— Кому, сын мой? — спросил владыка, как спрашивают маленького ребенка. — Брата убили белые, сестру — красные, дом ваш ваши же люди разорили... Некому мстить.

— Тем, от кого страдают невинные, — Андрей сжал кулаки. — Тем, кто мучает.

— Ты судить хочешь? — дядя приподнял голову. — Нет, сынок, человек никогда не сможет стать праведным судьей. Отрекись от этой мысли. Вспомни, как брат твой жил?

— Я не могу, как он. У меня свой путь.

— Тебя люди проклянут...

— Какие, дядя? Какие люди? — Андрей вскочил. — Нынче такая неразбериха! Одни проклинают, другие возносят! Третьи просто не замечают, боятся замечать... Владыку в веригах не увидели!

— Так будет не вечно, — дядя стал смотреть в потолок, руки щупали грубое суконное одеяло. — Кончится смута, и опамятуются

люди, и вновь соединятся. И соединит их храм божий. Вера сплотит. Нельзя человеку без веры. Любовь человека множит, вера соединяет. Атеисты говорят: живите без веры и бога. Но во что же верить тогда? Или жить в безверии? Они говорят: пусть человек верит в себя. Это же абсурд! Человек может верить в себя, пока борется с настоящей верой. Да, он кажется себе сильным, коли вступил в единоборство с богом. А потом-то — что? Одолел атеист, отнял веру в бога у людей, но что взамен дал? Или так и оставил в безверии?.. Запомни, Андрей, если поднимется рука у тебя судить, то сможешь судить только человека с верой. В безверии люди неподсудны. Разве можно судить быка, который забодал человека? Или укусившую собаку? Они же не ведают, что творят. Вот осудишь ты веру, а безверие лишь прирастет.

— Неужели зло безнаказанно? — Андрей потряс руками. — Как же так, дядя?!

— Брат твой пошел и ценою смерти своей остановил зло, — спокойно сказал владыка. — Город не тронули... А еще, говорят, вдову повесили, женщину безвинную. Так ее замученная душа для начальника карателей смертью обернулась. Не выдержал бес в этом человеке, не совладал с праведной душой. Их бы, мучеников, к лику святых причислить. Наше время богато будет и на святых, и на великих грешников. Только об этом не скоро узнается. Уляжется смута, отстоится жизнь, как вода после ледохода, и тогда каждый увидит и пальцем укажет: то есть зло, а то — добро.

Андрей постоял у маленького, зарешеченного окошка кельи. На улице шел снег, хотя и светило солнце. В тесном монастырском дворе закручивалась метелица. На миг он подумал о Саше. Как он прожил здесь свои дни? Как смотрел через это окно (дядя лежал в его келье), о чем думал? Наверное, он здесь и решился идти...

— Я не стану ждать, когда жизнь отстоится, — упрямо сказал Андрей. — Потому что сейчас живу! А потом меня не будет! Просто не будет!

— Не горячись, сынок, — дядя застонал, повернулся на бок. — Ты ведь один от Николая остался, последний корешок на отцовской земле. И об этом надо подумать. Тебе жениться бы, детей родить, много детей... Так-то измолотит тебя смута, и пропадет все. А в детях ты бы жил... Я вот, грешник, помираю уже. А знаешь ли, о чем жалею? Прости меня, господи! Постриг рано принял, без воли отца. И нет детей у меня... А отец знал, знал, для чего человек живет. Потому и держал меня, не пускал... Ведь обманом ушел... И ты куда-то рвешься... Погоди, сынок... Детей сначала... Жить-то кто станет?..

Андрей обернулся к нему, шагнул к постели. Дядя плакал...

Он так и умер в слезах, и последних слов владыки никто, кроме Андрея, не слышал, хотя за дверью дежурили настоятель и есаульские священники. Когда священники зажгли свечи и начали читать заупокойную, настоятель выгнал Андрея из кельи и все не отставал: гнал дальше, в тычки, к воротам... Андрей, оказавшись за стеной монастыря, еще долго чувствовал его твердые, как кость, козонки пальцев...

Никодим посоветовал Андрею покинуть Есаульск.

— Уходить тебе надо, — сказал кучер. — По всему городу ищут. А твоих людей всех уже поарестовали, говорят, и пытают...

— Куда уходить-то?

— Куда, куда... Только на ореховые промыслы не ходи. Они же дознаются, если пытают твоих. И накроют! — Никодим вздохнул. — Домой иди. Там, говорят, властей еще нету. А уж дальше куда... Сам место ищи...

От дома в Березине остались огромные головни да полуразвалившаяся русская печь с приделанным к ней камином. Неизвестно, сам ли он загорелся или чья-то злая рука подожгла его, когда уже нечего было взять, но видно было, что дом никто не тушил, и пожар сожрал его дотла.

Андрей походил по засыпанному снегом пепелищу, постоял у камина. Лепные ангелы, распустив закопченные крылья, парили теперь в открытом небе, и мелкий снег сек им лица.

От ветра он забрался в жерло камина и сел на груду смерзшейся смолы, спрятал руки в рукава и от усталости мгновенно задремал. И тут же очнулся, пронзенный мыслью, что спать на холоде нельзя. Эта мысль не оставляла его всю долгую дорогу домой, и он не спал уже двое суток. Мгновенный сон вычеркнул из памяти, где он находится. Вскинув глаза к небу, Андрей увидел черный, в лохмотьях сажи, свод, и лишь потом, приходя в себя, различил сквозь зимний сумеречный день огарки бревен, торчащих из снега.

Вздрагивая от холода, он выбрался наружу и, отыскав полузанесенный снегом конный след, направился к жилью. Над избами курились легкие дымки: печи уже протопились, и теперь хозяйки наверняка ждали, когда сойдет с углей угар и можно закрыть трубы. Не скрываясь, он подошел к воротам Ульяна Трофимовича, повернул кованое кольцо. Во дворе забрехала собака, но из избы никто не выходил. Тогда он постучал в окно, и скоро на крыльце появилась жена конюха Пелагея — пожилая изработавшаяся женщина.

— Чего тебе? — спросила она. — Ежели хлеба, так нету. Нечего подать, родимый. Выгребли хлебушек...

— Не узнаешь, тетка Пелагея? Я Андрей, сын Николая Ивановича...

Шаль свалилась с ее головы, обнажив седые волосы.

— Господи!.. Барин? Да где же тебя узнать?.. Заходи, заходи, родимый. Откуда же ты такой идешь-то?

— Домой вот пришел, — сказал Андрей.

— Нету же вашего дома более, — запричитала тетка Пелагея. — Не знаем, кто и спалил. Должно, Митька Мамухин, пакостник эдакий...

Он вошел в избу, прилип к горячей печи, прижался, распластав руки. Глинобитная горячая стена обжигала, но тепло не шло глубже кожи.

— Где же Ульян Трофимович?

— Ой, да не спрашивай, барин! — она заплакала.

— Какой же я барин? — тихо усмехнулся он, вжимаясь в печь. — Я теперь никто. Безродный и бездомный.

— Матушку-то видел ли свою? — всхлипывая, спросила тетка Пелагея.

— Видел...

— Святая она у вас, Любушка-голубушка, святая... Что же ты, Андрей Николаевич, с нынешней-то властью не ужился? Эдакий-то идешь?

— Не ужился...

— А с лицом-то что сделал? Обморозил, поди-ка?

— Ранен был... Не заживает. Как проклятие!

Кожа на груди горела, спину встряхивал озноб.

— Вот и мой Ульян раненый, — загоревала и запричитала тетка Пелагея. — В лесу где-то лежит простреленный... Они ведь с Анисимом-то Рыжовым в партизаны ушли. Свободненский кузнец, помнишь ли?.. Как приехали забирать молодежь да коней, они тут и забунтовали, стрелили начальника и в тайгу подались. С ними, говорят, еще пятнадцать мужиков пошло. Наших да свободненских. А не так давно приехали за недоимками... Ульян с Анисимом да с другими мужиками напали по дороге, тут Ульяна и ранило... Вот

горе-то у нас нынче какое, барин... — она вдруг спохватилась: — Ой, а как наши-то твоего отца грабить пошли — стыд и срам! Будто одурели мужики, будто бес вселился... Вот и наказание нам: теперь нас грабят — сил нету. Корову-то я спрятала в лесу, да надолго ли? У многих нашли. Как приедут из Свободного — лютуют. В Свободном-то солдаты стоят. Уже неделю как пришли. Говорят, на всю зиму...

— Я погреюсь, тетка Пелагея, и уйду. Ты не бойся, — сказал Андрей, чувствуя, как сон мутит рассудок.

— Уж погрейся да иди, — согласилась она. — Ко мне каждый раз наезжают, всё про Ульяна выведывают. А я и сама не знаю, где он, родимый, нынче. Может, и в живых нету... Ты полезай на печь, полезай. Я уж толкну тебя, если что...

Он поднялся по ступенькам и рухнул на горячее шубное одеяло...

Тетка Пелагея растрясла его, когда в окнах уже стояла тьма и было не понять, утро или вечер.

— Вставай уж, Андрей Николаевич, да иди. Вот тебе хлебушка на дорогу и картошка. Нету более ничего...

— Утро уже?

— Вечер, батюшка, иди.

— Что же ты меня, тетка Пелагея, на ночь глядя гонишь? — без упрека спросил Андрей.

— Дак по ночам и приезжают, ищут... Я уж и так от окна к окну.

Андрей пропотел, рубаха прилипла к спине. Оказалось, что спал он в кожухе и шапке. Взяв узелок с едой, он поклонился Пелагее и пошел к двери.

— Где стренешь Ульяна моего, так уж не оставляй, — попросила она. — При себе держи. Он мужик незанозистый, работящий. Твой отец любил его... Не знаю, чего он туто-ка взбунтовался?..

На улице шел снег, пуржило. Метель была на руку, можно незаметно пройти по селу, но куда было идти в такую непогодь? По дороге в Березино он уже ночевал в банях и поэтому сейчас первым делом постарался вспомнить, у кого есть баня на отшибе. Он свернул в переулок, чтобы зайти к домам с огородов и не будоражить собак во дворах, однако взгляд сразу наткнулся на родные наличники окон. Вначале он только их увидел: высокие, резные, с нависающими карнизами и кронштейнами в виде замысловатого, со сквозным пропилом, узора. Он обрадовался — сам не зная чему: то ли мысли, что частичка его дома спаслась и живет, то ли памяти родного гнезда. И только потом понял, что они приколочены к чужому дому, причем нелепо торчат на стенах, обрамляя маленькие, перекошенные окна.

— Митя Мамухин, — вслух сказал он, вспомнив, кто срывал наличники. — Альбинка...

Где-то глубоко в душе, словно выпавший из печи уголек, затеплело, засветилось: это же было! Стог на стожарах, горячие руки и дыхание на лице, колкая труха за шиворотом... Было! И никуда не исчезнет, не забудется, хотя Альбинка и не хотела, чтобы он помнил. Какая она теперь?..

Он открыл провисшую калитку и вброд пролез по заметенному двору. Может, уж и не живет никто?.. Дверь в сенцы оказалась открытой. Потом он на ощупь долго искал дверь в избу, и когда нашарил скобку и дернул на себя — в лицо пахнуло теплом.

Топилась русская печь, и кто-то сидел везле нее, глядя в огонь.

— Здравствуйте, — сказал Андрей.

— А! Проходи! — отозвались ему. — Посидим, на огонь поглядим. Здòрово горит.

Он узнал Леньку-Ангела. Кажется, и тулуп все тот же, с отодранными рукавами... Андрей сел к печи. Ленька выкатил ухватом картошину из огня, подал ему:

— Ешь, голодный ведь...

Андрей взял картошину, разломил. Вдруг от Леньки пахнуло чем-то родным, словно он сейчас на пепелище нашел свою детскую и давно забытую любимую игрушку. «Ну да, ведь Ленька **тогда** был **там**! — вспомнил он. — Седой конь... Я же ему подарил коня!»

— Где отец? — спросил он.

— Забрали! — весело сказал Ленька. — В Свободное увезли. Так ему и надо!

— За что?

— Усадьбу вашу грабил? Грабил! Вот и заслужил. Ты ешь, ешь, я еще напеку... За эту усадьбу наши еще наплачутся. Ишь рот разинули!.. А я ее подпалил, чтобы соблазну ни у кого не было, — вдруг признался он. — Там еще узоров-то всяких оставалось —ой-ёй! Издаля красиво смотреть. Еще бы кто пожелал... А я соломы натаскал с конного, обложил и зажег. Горело-то!

— Так это ты? — Андрей откусил обугленный край картошины.

— А то кто же?.. Слушай, у тебя случайно ружья лишнего нету? — вдруг спросил Ангел. — Должок-то помнишь?

— Помню, да нет ничего лишнего.

— Жалко... — тяжело вздохнул Ленька. — Нынче все с ружьями ходят, а я один с голыми руками. Никто не дает. И у бога просил — не дает. А ты все ходишь, ходишь?

— Хожу...

— Ну ходи пока, — разрешил Ангел. — А надоест, так скажи, я тебя сведу.

— Ладно, — согласился Андрей. — Обязательно скажу... Где же ваша Альбинка?

— А к Понокотиным пошла,— махнул рукой Ленька.— Каши они наварили и едят. А мне картошка достается. Да ничего, я-то ангел, мне и так хорошо. Мне всяко хорошо. Нынче кого захочу, того и сведу.

— Многих березинских-то свел? — осторожно спросил Андрей, чувствуя озноб возле огня.

— Порядочно, — доставая картошку, сказал Ангел. — С бати твоего начал. Теперь уж пятого хочу прибрать. Кое-каких ребятишечек поприбирал, болеют... Мне бы вот ружье... Слушай-ка, а где твоя сестрица? Бе-еленькая такая была...

— Ты же ее свел.

— Не-е, ее я не трогал! — Ленька выпучил глаза и вытянул губы трубочкой.— Чего это я ее-то? Я на ней жениться хочу. Ты бы вот на Альбинке нашей, а я на ей. И были бы мы родня. Тогда бы ты до-олго жил, сколь захотел. А ребятишек бы у нас было!.. Ни один бы не помер. И ружьёв бы купили штук двести...

Андрей почувствовал, что еще мгновение — и он начнет верить всему сказанному Ленькой; и станет с ним разговаривать нормально, без всякой скидки: сидят два старых товарища и мирно беседуют...

— Мне пора, — сказал он и встал.

— Возьми картошки-то на дорогу...

— Спасибо. Возьму... Передай Альбинке поклон.

— Дак если что — приходи, — посоветовал Ангел. — А сестрицу твою я не водил, не путай меня. Нынче я и без тебя путаюсь...

Несколько дней Андрей не мог отойти далеко от села, словно опасался, что, уйдя в тайгу, уже совсем оторвется от людей и жилья; а в той, таежной жизни угадывалось нечто дикое и звериное. Он бродил кругами по-за околицей, пересекая волчьи следы, добирался до чьего-нибудь гумна или бани, ночевал и снова уходил в лес. Всегда хотелось есть; картошка, что дал Ангел, кончилась, а идти к тетке Пелагее было стыдно; к другим же он не заходил. Неизвестно, сколько бы ему еще мотаться у села, не наткнись он на спрятанных в лес-

ном шалаше коров. Чьи они, определить было невозможно, и Андрей, побродив вокруг, присел под сосной ждать. Авось придет кто знакомый, и можно попросить молока...

Прошло часа два, — а дело было утром, уже начинало светать, — когда он услышал шаги на тропке. В сумерках он различил две женские фигуры с вязанками сена на спинах и, чтобы не пугать, спрятался за сосну. Женщины приближались. Сердце вдруг забилось у горла...

Прежде он узнал ее голос, хотя говорила она испуганно и коротко. И лишь потом различил лицо. Альбинка с Машей Понокотиной стояли саженях в четырех, у его следа, пересекающего тропку.

— Это Андрей Березин! — говорила Альбинка. — Ты слыхала, тут он! Объявился. Бродит кругом и по баням ночует.

— Ой, господи, — ахнула Маша Понокотина. — Да неужто?

— Он! Кому еще! Его же ищут!

— Слыхала, — боязливо озираясь, выдохнула Маша.

— Так пошли, скажем, что здесь! — вдруг позвала Альбинка. — Или выследим его.

Андрей не поверил ушам своим, решил, что не разобрал толком, что упустил какое-то слово...

— С ума сошла! — испугалась Маша. — Зачем? Его же убьют!

— А ну пойдут искать и коров найдут? — спросила Альбинка. — Побежали! Сами скажем, так и коров не тронут.

Вспышка ярости и боли отяжелила голову. Он перетерпел ее, достал револьвер и отвел курок. Рука поднялась только на уровень ее валенок...

— Я не пойду, — заявила Маша Понокотина. — Как в глаза-то потом смотреть? Пропади она пропадом, корова... И ты не ходи, Алька! Сбесилась, что ли?

— А надо бы его проучить, — выдавила Альбинка. — Ненавижу!..

— Дура, ты что?

Заревели некормленые коровы. Девушки заторопились. Андрей опустил револьвер и хрипло, на одном дыхании выкрикнул:

— Чем перед тобой-то я виноват? Чем?!

И, не скрываясь, прошел мимо девушек, по-звериному уходя в глухой лес. Они завизжали, бросили сено и помчались в сторону села.

Ошеломленный услышанным, Андрей целый день шел, не понимая, куда идет. Хотелось лишь идти дальше, дальше, чтобы заглохли в ушах испуганные голоса девушек и не грезились больше горячие, в занозах, руки, жаркое дыхание, колкая труха за шиворотом. И чтобы наконец отпустила щемящая до слез, далекая обида, замешенная на какой-то ребячьей беспомощности и взрослой ревности.

Очнулся он лишь в сумерках, когда стал натыкаться на деревья и припорошенные снегом камни. Согревая в рукавах заледеневшие руки, он огляделся и не узнал места. Какой-то чужой, незнакомый лес, по-зимнему недвижный, мертвый, был вокруг; от тишины звенело в ушах. Он понимал, что стоять на морозе нельзя, и потому пошел дальше, хватаясь в потемках за деревья. Скоро он потерял счет времени, осознавая единственное — надо двигаться, идти, чтобы не замерзнуть. И Андрей шагал, щупая руками пространство впереди себя, но все казалось, что он стоит на месте. Выбившись из сил, он решил развести костер и начал искать березу. Руки уже не чувствовали, не различали кору деревьев. Потом он споткнулся о колодину, упал и лишь по шороху определил, что под ногами зашелестела берестяная трубка.

Он надрал бересты, наломал сучьев, и когда среди ночи возник светлый огонь, обнял его, а оторвался, лишь увидев на вытаявшей земле горку тлеющих угольков...

Утром, с восходом солнца, почудилось, будто Альбинка приснилась ему. Приснилась в коротком, нездоровом сне над костром, а на

самом деле ничего не было! Он тут же всему нашел объяснение, и непонятным оставалось одно — почему он ушел от села и оказался в незнакомом лесу? Потом и вовсе от долгой и равномерной ходьбы призрачная боль укачалась, как дитя в зыбке, и никто бы в мире не смог его убедить, что та Альбинка, на руках которой он помнил каждую занозу, хоть на один миг была способна предать его или забыть тот стог на стожарах и ту метельную ночь...

30. В ГОД 1920...

Своими руками похоронить человека, а потом, спустя два года, встретить его — здорового и невредимого?!

Шиловский стоял рядом — живой, осязаемый, теплый...

— Ну, довольно эмоций! Вы же красный командир, а не красная барышня!

Андрей надел сапоги и встал, привычно заложив руки за спину.

— Все равно красавец! — похвалил Шиловский. — Помнится, тогда в степи я вами любовался, Андрей Николаевич. Особенно когда вы скакали на лошади по фронту. Да... Только когда вы пытались остановить столкновение с противником, мне показалось, вы предадите. К счастью, этого не случилось, и мы пошли на смертный бой. — Он похлопал Андрея по плечу — рука была легкая и твердая. Ею же указал на дверь: — Прошу, Андрей Николаевич.

Путь по тюремным коридорам Бутырки вновь петлял и петлял, и, выбравшись наконец на свет, за ворота, Андрей ощутил, как кружится голова. Они сели в автомобиль, где уже находились шофер и человек в кожанке, вероятно, охранник.

— Чтобы не было лишних вопросов,— сказал Шиловский,— сообщаю вам сразу: из Красноярской тюрьмы вытащил вас я. Узнал о вашей судьбе... Вам плохо?

— Голова кружится,— признался Андрей. Он выпрямился, откинулся на спинку сиденья.— Мне показалось... Чудится... Или сон...

— Да, понимаю,— засмеялся Шиловский.— Видите — воскрее!..— Он помолчал.— А вам все равно необходимо пройти врачебный осмотр...

— Зачем? Я здоров.

— Так, для формы. К сожалению, в нашей республике уже существует мощный бюрократический аппарат.

«Чего он от меня хочет? — подумал Андрей.— Зачем я вообще понадобился ему? К чему все эти спектакли? Переодевание в чистое, подготовка к казни... Какие-то намеки, писанина...»

— Вы не смогли бы сказать,— он посмотрел в глаза Шиловскому,— зачем я понадобился? Я осознал свое преступление, признаю его... Можно было расстрелять в Красноярске. Зачем вы меня тащите через полстраны? Чтобы нервы мне помотать?

— Андрей Николаевич, успокойтесь,— благодушно сказал Шиловский.— Расстрелять человека очень просто, вы понимаете. Мы сейчас одерживаем победу на всех фронтах, скоро закончится война, и пора думать о будущем.

— О моем будущем? — усмехнулся Андрей.

— Нет, не о вашем,— поправил Шиловский.— О будущем России, ее народа. А в частности, о будущем науки юриспруденции. Расстрелять человека просто, а вот изучить преступление, сделать правильные выводы и вынести справедливый приговор — это наука. Наша советская юстиция еще только развивается, нет опыта... Да что говорить! Нет даже анализа действий чека и ревтрибуналов. Каждый раз приходится изобретать, вместо того чтобы поступить по аналогу.

— Я вас понял,— кивнул Андрей, успокаиваясь.— Мое преступление войдет в хрестоматию, в учебники... Печально.

— Вы всегда были прозорливым человеком,— засмеялся Шилов-

ский.— Все, что происходит сейчас, станет хрестоматийным. Когда-нибудь...

Автомобиль катил по Москве среди извозчичьих пролеток и пешеходов, трясся на булыжных мостовых, и Андрей замечал, как люди провожают его взглядами.

— Печально! — повторил он.— Вот как мне доведется остаться в истории...

— Каждый оставляет свой след,— многозначительно продолжил Шиловский, улыбнулся, но тут же стал серьезным и решительным.— Закончится война, и то, что делают сегодня бойцы на фронтах, придется делать органам юстиции и чека. Борьба с внутренней контрреволюцией будет ничуть не слабее, чем сегодня. Враги наши не успокоятся, и поражение их ничему не научит.

— Хорошо, что у меня не осталось родных,— сказал Андрей.— И детей...

— Вы ошибаетесь,— заметил Шиловский.— А ваш дядюшка Всеволод?

— Он еще до революции уехал за границу,— пояснил Андрей.— И учебники по юриспруденции до него наверняка не дойдут...

— Мы, кажется, приехали! — сообщил Шиловский через некоторое время.— Как вам прогулка по Москве?

— Замечательно,— буркнул Андрей.

Они вышли из машины, и Березин тут же попал в объятия Тараса Бутенина.

— Андрей Николаич? Ну, как ты? А?

— Слушайте, товарищ,— строго сказал Шиловский.— Оставьте Андрея Николаевича в покое.

Бутенин отступил, виновато козырнул и с тоской стал глядеть вслед. Когда они вошли в здание Реввоенсовета, Шиловский удовлетворенно заметил:

— А вас любит народ, Андрей Николаевич.

— Любит? — поразился Березин.— Откуда вы взяли?

— Да вот хотя бы ваш сопровождающий,— Шиловский кивнул на дверь.— Пороги обил, вашей судьбой интересуясь.

Андрей усмехнулся:

— Я знаю, отчего он любит...

Они вошли в кабинет, Шиловский усадил его к приставному столику и попросил секретаршу принести чаю. Сам сел напротив и неожиданно стал строгим и официальным. Андрей усмехнулся: стоило ли ехать за ним в тюрьму, благодушествовать по дороге, чтобы здесь, в кабинете, банально допросить и... А почему бы и не стоило?!

Шиловский достал из нагрудного кармана часы, и Андрей моментально вспомнил его другие часы, с дарственной надписью, из-за которых повесили другого человека. Под его именем! Андрей вспомнил даже фамилию повешенного — Крайнов. Он кричал, когда его тащили...

Нет, за этим что-то определенно кроется! Если спросит сейчас об «эшелоне смерти», значит, он угадал... Между тем Шиловский достал из сейфа толстую папку, открыл и начал листать, вглядываясь в страницы сквозь сползающее пенсне. Андрей узнал свои исписанные в тюрьме листы.

— Вы очень кратко ответили на вопрос,— начал Шиловский, занятый бумагами.— Возможно ли построение совершенного общества в России. Бесконфликтного и бесклассового соответственно... Допустим, в течение двадцати лет... Верите ли вы в это?

Он поднял глаза на Андрея. Прямой, немигающий взгляд его напоминал об «эшелоне смерти»...

— Я не могу привыкнуть еще,— помялся Андрей.— Привыкнуть к вам живому...

— Привыкайте,— мгновенно ответил тот.— Привыкайте. Мы же работаем. Итак?

— Скажите, кто я сейчас? — спросил Андрей.— Обвиняемый? Приговоренный? Или просто арестованный?

Шиловский откинулся на спинку жесткого деревянного кресла, снял пенсне и, кажется, улыбнулся, но только одними подглазьями.

— Понимаю... Обреченному легче. Всегда хочется сказать правду. Отвечайте с точки зрения того, кем вы себя считаете.

— Я не верю в такое общество,— сказал Андрей.— Его невозможно построить и за сто лет.

— В таком случае коротко обоснуйте ваше неверие.

— Пока несовершенен сам человек, невозможно построить и совершенное общество.

— Хорошо, а если мы усовершенствуем человека: воспитаем его честным, справедливым и работящим? — спросил Шиловский.

— На это уйдет сто, может, двести лет,— проговорил Андрей.— А скорее всего, усовершенствовать человека невозможно.

— Понятно,— бесцветно сказал Шиловский.— Но если у народа есть вожди, обладающие качествами, близкими к совершенству? И если вожди поведут за собой, зная путь к совершенству?

— Вы хотите сказать — пророки?

— Да, в какой-то степени.

— Невозможно,— качнул головой Андрей.— Не верю.

— Почему?

— Пророков в своем отечестве, как мне кажется, не бывает,— усмехнулся Андрей.— Особенно в России. А чужие пророки не знают народа. И погубят его. Потом — народ ведь не стадо. Тем более русский народ, привыкший к общинной жизни и народоправству. Да, вначале, может, он и пойдет, даже побежит, даже и вождей обгонит... А почувствует неладное, что-то не по нутру ему придется... Одумается, и тогда никаким вождям с ним не сладить. В нашем народе сильны традиции. Причем люди даже сами не подозревают о них, а поступают традиционно.

— Знакомое суждение,— сказал Шиловский так, что было не понять, как он к этому относится.— Неверующий вы человек... Ну, а в социализм вы хоть верите? В построение социалистического общества?

— Верю,— подумав, ответил Андрей.— Но при условии, если строить его по форме общинности и народоправства.

Шиловский нахмурился:

— Большевики должны верить без всяких условий!

— Без всяких условий я присягал на верность царю и отечеству,— сказал Андрей.— Когда мне стукнул двадцать один год и когда я был вчерашним студентом... И не подозревал, что по земле могут ходить «эшелоны смерти»!

— Да, это школа,— согласился Шиловский.— Вы всё помните его?

— И никогда не забуду. А вы?

— Помню... Вы, Андрей Николаевич, сильно изменились после него,— заметил Шиловский.— Стали... мудрым, что ли.

— Там из меня сделали большевика,— признался Андрей.— Только я не думал тогда об этом.

— «Эшелон», «эшелон»...— тихо проговорил Шиловский.

Андрею показалось, что сейчас он думал о своих часах. Может быть, о том парне по фамилии Крайнов...

— Но вернемся к нашим делам,— встрепенулся Шиловский.— А во что вы сейчас верите без всяких условий? Вопрос, разумеется, риторический. Но мне бы хотелось знать ваши фантазии о будущем.

— В детей,— сказал Березин.

— Любопытная вера... Конечно, придут нам на смену наши дети, и у них все-все будет по-другому... Да. Они будут мудрее нас и пойдут дальше... У вас есть дети?

— Вы же знаете, что нет. И хорошо, что нет.

— А у меня есть! — счастливо улыбнулся Шиловский.— Два мальчика и девочка. Уже довольно взрослые... Ну, хорошо,— он снова посмотрел на часы и перехватил взгляд Андрея. Медленно спрятал часы в карман, снял пенсне. Глаза стали задумчивыми, однако пытливость и настороженность не потухли, а как бы потеряли остроту.— А помните человека по фамилии Крайнов? — неожиданно спросил Шиловский.— Там, в «эшелоне»?

— Помню,— твердо сказал Андрей.— Я все очень хорошо помню.

— Глупо погиб человек. За чужие часы.

— Не совсем глупо,— поправил Андрей.— Глупостью он спас вас.

— Да,— вздохнул Шиловский.— Я вспоминаю о нем, как только достаю часы. Не хочу, а вспоминаю...— Он выдержал паузу, затем надел пенсне.— Пора. Нас ждет товарищ Троцкий.

— Что?! — поднялся Андрей.

— Нас ждет товарищ Троцкий, — сухо повторил Шиловский и встал.— Прошу вас отвечать коротко и по существу. Он не любит лишних слов. Он очень занят.

— Зачем... Зачем это нужно?! — закричал Андрей.— Что вы меня таскаете?

— В этом здании не принято много спрашивать,— жестко произнес Шиловский.— В этом здании принято больше слушать.

И пошел к двери, стуча каблуками блестящих офицерских сапог...

Троцкий стоял у карты и что-то быстро писал. Он повернул голову к вошедшим и снова уткнулся в карту.

— Товарищ Троцкий...— начал было Шиловский, но тот отрезал:

— Вижу.

Шиловский сел на стул у двери. Андрей продолжал стоять, автоматически приняв стойку «смирно».

— Что вы должны были сделать с пленными? — спросил Троцкий, не отрываясь от записей.

— Найти подводы или лыжи. И вывести из тайги,— размеренно сказал Андрей и расслабился.

— Где? — Троцкий впервые глянул на него.— Где бы вы нашли подводы и лыжи? Заняли у бандитов?

— Нужно было искать,— ответил Андрей.— Или срубить полозья с нарт...

— Нужно было расстрелять немедленно! — крикнул Троцкий и бросил на стол блокнот.— А не ждать сутки, когда бандиты по всем законам войны стали пленными! Это вы их сделали пленными! — Он поднял телефонную трубку, подержал, затем бросил на рычаг.— Идите! — приказал он.— Шиловский, на одну минуту...

Шиловский махнул рукой Андрею. Андрей вышел из кабинета. Встал посреди коридора, тряхнул головой: голос председателя Реввоенсовета звучал в ушах металлическим звоном.

Он прошел по коридору и вновь остановился, прислонившись плечом к стене. Нужно было расстрелять немедленно. Это вы их с д е л а л и пленными... Значит, не нужно было брать в плен? Но как стрелять в безоружных? Когда поднимают руки?..

Андрей оторвался от стены, оглянулся. Мимо взад-вперед проходили краскомы, скрипели офицерские сапоги и вышарканный паркет. Андрея никто не замечал. Тогда он вновь пошел по коридору, лишь бы не стоять на месте. Спустился по лестнице и отыскал кабинет Шиловского. Притворив за собой дверь, он схватил стакан остывшего чая, выпил залпом и сел у стены, зажал уши...

— Нужно было расстрелять немедленно!

31. В ГОД 1918...

На пятые сутки,— а считал их Андрей по спичкам, убывающим из коробка: в день по одной,— он неожиданно вышел на след, пробитый камусными лыжами. Ел он за все это время лишь дважды: первый раз насобирал мороженой калины и страдал после этого резями в желудке; второй раз, когда застрелил рябчика.

Встав на лыжню, он уже не сходил с нее и к концу шестого дня вышел к избушке в истоке ручья. Он сделал круг, принюхиваясь к жилью, но в зимовье, похоже, никого не было.

Андрей сразу же набрал дров из поленницы и вошел в избушку. Пока растапливал печь, огляделся: ничего особенного, обыкновенное промысловое зимовье. Топчан с перовой подушкой, полки, бочка с продуктами, на пялах под матицей сушились шкурки. Несколько винтовочных гильз валялись на столе, и когда Андрей ходил по половицам, гильзы позванивали, словно колокольчики. Жестяная печурка уже гудела, а он, нависая над ней, все еще осматривался и никак не мог понять, что же в избушке не так, что мешает ему наконец успокоиться и перевести дух. И лишь когда он согрелся и, сняв кожух, хотел повесить его у двери, понял: на гвоздях, вбитых в стену, висели два полушубка, шинель и крестьянский ватник — не слишком ли для одного человека? Ложка одна, кружка одна, а одежды — на четверых...

Он заглянул под нары: пара подшитых валенок, три пары поношенных яловых сапог и одна пара — совсем новых...

Окончательно встревоженный, он выскочил на улицу, прислушался — тишина. Лес только чуть постанывает под кухтами снега, пощелкивают сухие сучки. Было еще светло, день догорал за горой, словно брошенная туда головня. Тревога и голод сосали под ложечкой; от предчувствия неприятного набегали слезы — ослабли глаза...

Потом он никак не мог объяснить себе, что толкнуло его, голодного и холодного, уже в который раз сделать большой круг возле зимовья по убродному, по щиколотку, снегу. Он даже не пытался искать каких-либо следов или примет, способных объяснить неясную тревогу, исходящую от обилия одежды и обуви в избушке. Припорошенный недавним снегом волок он заметил сразу и пошел по нему за ручей.

В глубине души он все-таки надеялся увидеть тушу лося, припрятанную от зверя, или лабаз с провиантом, но не то, что уже рисовалось в воображении.

В двухстах саженях от избушки, в наскоро откопанной яме, лежали стылые человеческие трупы, присыпанные снегом. Андрей смел рукавом порошу с верхнего — бородатый, незнакомый мужик, убитый выстрелом в лицо. Другой был совсем молодой, лет семнадцати, в исподнем, пристывшем к телу. Остальных Андрей не стал смотреть, выбрался из ямы и с той секунды уже не мог идти не озираясь.

Он вернулся своим следом к избушке и первым делом потушил печь. Но тут же понял, что скрыть свое присутствие не удастся — слишком много наследил вокруг. Оставалось одно — лезть под крышу и оттуда встретить хозяина. Он зажег самодельный жирник, ближе поставил к окошку и, покинув зимовье, забрался под низкий скат крыши. Боясь заснуть, он прикладывал холодный револьвер ко лбу, давил барабаном на глаза и с ужасом представлял, что будет, если хозяин вернется ночью или не вернется сегодня вообще. Однако примерно через час ожидания он услышал тихий шорох лыж с частыми остановками. Хозяин появился неожиданно, причем шел целиной и в темноте виделся лишь черным пятном на снегу. Он оставил лыжи и осторожно стал подходить к двери зимовья, на ходу снимая винтовку с плеча. Постоял, прислушиваясь, потом заглянул за угол, проверяя, светится ли окошко, и лишь затем громко закашлял, затопал ногами.

— Хозяин нет — гость дома. Гость нет — хозяин дома.

Когда он поставил винтовку, чтобы отряхнуть снег с лыж, Андрей

спокойно скомандовал не шевелиться. Хозяин бросил лыжи, рука дернулась к винтовке.

— Стоять! — крикнул Андрей и выстрелил ему под ноги.— Отходи назад!

Тот попятился. Андрей спрыгнул на снег, перехватил винтовку и приказал снять пояс с ножом. Хозяин выполнил его требование, однако завертел головой, что-то отыскивая.

— Не дергайся! — предупредил Андрей.— Кто такой?

— Охотник я. Ты кто такой?

— Охотник, говоришь...— Андрей подошел к нему на сажень.— На людей охотишься?

— Каких людей? Не знаю людей... Соболь добываю.

— Сейчас я тебе покажу! — закричал Андрей.— А в яме — там! — соболя́ лежат?!

— Это не люди! — хозяин замахал руками.— Партизан это! Какой люди?

— Партизаны?!

— Партизаны, партизаны,— заторопился он.— Пришел, сказал — у тебя жить буду. Зачем мне партизаны? Зверь пугают, кормить давай.

— Они же люди! Люди! — захрипел Андрей.

— Какой люди? Партизан! Люди деревня живут, люди соболь бьют, а партизан тайга пугает. Зверь уйдет — партизан останется.

— Ну, сволочь! — Андрей потряс револьвером.— В какого бога веришь? Молись!

— Какой бог? Татарин я! Зачем молись? — забормотал тот. — Молись — рано. Зачем молись?

— Судить тебя буду!

— Зачем судить? Винтовка отдай! Партизан — плохой чалавик. Ты — хороший чалавик. Отдай винтовка!

— К стене становись! — Андрей плохо владел собой. — К стене!

Хозяин по-волчьи прыгнул в сторону, вильнул в лес. Андрей выстрелил...

И сам сел на снег, прижав револьвер ко лбу.

Потом подошел к убитому, перевернул его, заглянул в лицо — обветренные скулы, реденькая бородка, приплюснутый нос... Человек же обликом!

Он снова растопил печь, затем отыскал лопату и пошел хоронить убитых партизан. Земля уже замерзла, бралась плохо, и пришлось заваливать могилу камнями. Вернувшись к избушке, он оттащил в лес и засыпал снегом охотника за соболем и за людьми. И вдруг ощутил приступ ненависти ко всему, что было в зимовье. Казалось, здесь все пропитано желанием убить. Причем не врага, не ненавистного супостата, а просто человека, случайно забредшего в эти стены. Он представлял, как охотник расстреливает ночью в упор не знакомых ему и ни в чем не повинных перед ним людей, и крушил все подряд — нары, стол, печь; разметывал постель, расшвыривал и бил о стену все, что попадало под руку.

И устав, наконец, от ярости, выбежал на улицу и долго лежал на снегу, словно убитый. Можно было дальше и не жить, можно было звать Леньку-Ангела и отправиться с ним, куда он поведет, если тебя могут просто так, как лося или медведя, завалить в тайге, бросить в яму или растаскать на приваду зверям, если у человека поднимается рука иа людей только за то, что их называют партизанами, за то, что они, безродные и бездомные, вынуждены скитаться по лесам, имея за плечами только горькое прошлое и не ведая о будущем... Как жить? Во имя чего?..

Он сел, отер с лица тающий снег...

Дети...

Но как все это далеко отсюда и потому почти нереально. Кругом тайга, холод, смерть. И все-таки на белом свете существует такое чудо — дети. Их еще нет, но они уже и есть, если есть дума в сердце. Неужели дети — это последняя и самая сильная вера в человеке? Когда уже ничего нет, и никто, ничто тебя не может спасти в этом мире, приходят дети и ведут тебя за руки к свету. Неужели все так и есть?..

Неужели природой так замыслен человек, чтобы даже на пороге апокалипсиса человечество продолжалось и история его не пресеклась бы даже тогда, когда жизнь, казалось бы, теряет всякий смысл? Если так, то дети — вера великая...

Андрей встал и увидел огонь. Избушка горела ярко, с треском, осыпая на снег тугие потоки искр. Потолок уже обвалился, и из сруба вырывалось багровое, скрученное с черным дымом пламя.

Он так и просидел до утра возле огня, придремывая и вздрагивая, когда в пожаре начинали рваться патроны и пачки пороха. Дождавшись рассвета, он надел уцелевшие лыжи охотника, подобрал его винтовку, пояс с подсумком и ножом и пошел торить новый след от черного круга вытаявшей земли.

Андрей надеялся выйти к Повою. Снега заглубели, и если бы не лыжи, он давно бы выбился из сил и скорее всего, соорудив шалаш из валежника, остался бы где-нибудь ждать весны. Спичек не было, зато в подсумке с патронами оказались кресало и трут, завернутые в тряпочку. Ночевал он возле костров, на прогретой огнем земле, а утром, от боли во всем теле едва поднявшись, снова шел, стараясь держать направление строго на юг. По льду Повоя каждый год набивали зимник, и в мирное время по нему чуть ли не ежедневно проходили купеческие и крестьянские обозы. Андрей решил, что если есть партизаны в местных лесах, то они должны обитать где-то возле зимника, ибо только по нему белые могут попасть в южные и восточные районы. И где, как не там, вести сейчас партизанскую войну?

Он уже втянулся в бесконечную дорогу, привыкая к частым голодовкам, и только не мог привыкнуть к ране на лице: поджившая в Есаульске, она снова начала гнить, менять повязки было нечем. На какой-то день — он давно сбился со счета — Андрей остановился ночевать на высокой кедровой гриве среди марей, и наутро, когда отодрал от земли пристывший кожух, увидел в сажени от костра отдушину берлоги. Пар в морозном воздухе курился над снегом, и обросшая куржаком кедровая хвоя напоминала раннюю седину. Стараясь не шуметь, он разгреб снег вокруг отдушины, проверил хворостиной, как расположен лаз в берлогу, и наугад выстрелил трижды в черную дыру. Раненый зверь забился, полетела кверху земля, и через некоторое время медведь выполз наполовину, царапая лапами снег. Андрей зашел сбоку и уложил его выстрелом в ухо.

Трое суток потом он отъедался медвежатиной, мазал рану салом и отсыпался в берлоге. Однако просторная берлога быстро выстыла, начала замерзать земля на стенках и потолке — человеческое тело не могло обогреть пространство, так легко обогреваемое зверем. В высушенной у огня шкуре он прорезал две дыры, сделав что-то наподобие длиннополой безрукавки, надел ее поверх кожуха мехом внутрь, настрогал мяса и нутряного сала сколько мог унести и пошел дальше.

И всю эту долгую дорогу, единожды подумав о детях, он мысленно разговаривал с ними, как бы рассказывал и отчитывался за все то, что с ним происходило. Иногда он обращался к ним вслух; хриплый, простуженный голос звучал незнакомо и слышался будто со стороны.

— Погодите, ребята, что-то я устал,— говорил он, укладываясь на снег.— Я полежу, а вы поиграйте пока. Скоро солнышко закатится.

Или начинал жаловаться, что стоящая колом и гремящая, как фанера, медвежья шкура натирает подмышки и бьет по коленям. И за день так набивает, что к ночи болят коленные чашечки.

Несколько раз ему чудились детские следы на снегу...

Однажды утром он услышал собачий лай впереди и, спрятавшись за дерево, долго стоял, вслушиваясь и рассматривая каждый темный предмет. И вдруг подумал, что он — зверь, что все его действия сейчас присущи зверю. Причем зверь этот будто бы находится в чужой ему, непривычной обстановке, как если бы медведь, поднятый из берлоги, стал шатуном на всю долгую зиму. Почему-то раньше не думалось, откуда берется в нем осторожность, желание пройти незамеченным или совсем уж незнакомая способность: видеть не предмет — движение. Стоило упасть снегу с ветки, как он замирал мгновенно и живыми оставались только стремительные и все схватывающие глаза.

— Я человек,— вслух подумал он и вышел из-за дерева.

Собаки лаяли звонко и весело. Видимо, хозяин вынес им пищу...

— Я человек! — крикнул он и пошел на собачий лай.

Большая изба с рубленым двором стояла на краю леса у широкого поля. Из-под снега торчали свежие комья земли, а на залоге виднелись припорошенные суслоны льняных снопов.

Над трубой ветер шевелил голубоватый дым.

Не снимая винтовки, он сунул руку в карман, к револьверу, и подошел к воротам. Собаки, вдруг вырвавшись из подворотни, набросились на него, свирепо ощерясь и норовя схватить за полы медвежьей шкуры. Они обступали его со всех сторон, прыгали на пружинистых ногах, и одна, уцепившись сзади, все-таки начала трепать шкуру так, что Андрей едва держался на ногах. Он отмахивался; сорвав винтовку, отбивался прикладом, но озверевшие псы лишь больше стервенели и захлебывались в лае.

— Цыть, варначье! — закричал хозяин, выскочив на улицу в одной рубахе.— Цыть, пшел!.. Ой, да с ними сладу не будет! Проскакивай в калитку-то!

Андрей забежал во двор, а хозяин захлопнул калитку и загородил ногами дыру в воротах.

— В избу! В избу беги!

В сенцах Андрей снял лыжи; не выпуская винтовки из рук, вошел в избу. Встал у порога, поджидая хозяина.

— Ой, собачки-то у меня какие духарные! — засмеялся тот, входя следом.— Не покусали?

— Нет,— проронил Андрей, разглядывая его.— Как на зверя бросились...

— Так ты в звериной шкуре и пришел! — хохотал хозяин.— Они на шкуру-то и навалились. Свеженькая, не выветрилась еще...

Он был глубоким стариком, но очень живым, смешливым и веселым. Русая курчавая и ничуть не выседевшая борода молодила его, и если бы не широкая лысина да не старческие глаза, он бы тянул лет на пятьдесят. От старика веяло здоровьем и той самой старческой чистотой, когда выветривается все плотское. Расшитая на груди и по подолу холщовая рубаха, подпоясанная длинным кушаком, топорщилась на нем, как на бедовом парнишке.

— Здравствуйте,— сказал наконец Андрей.

— Здравствуй, разлюбезный,— похохатывал хозяин.— Снимай шкуру-то — да к печи. Сейчас и чай пить будем!

— Кто ты? — спросил Андрей, сдирая одежду.

— Кто-кто — человек! — чему-то радовался старик.— Хуторок вот держу. А зовут Галактион. Имечко мне дали — господи! И не скажешь сразу. Ты зови меня, разлюбезный, Галя. Оно и ласково, и коротко.

— Где я? — Андрей посмотрел на свои черные, в медвежьем сале, руки.

— Да на хуторок вышел, разлюбезный,— заворковал старик.— Давай полью, умойся. Эк умазался-то!

Андрей прошел к медному тазу в углу, подставил ладони. Старик достал с полки горшок и наклонил. Однако вместо воды в горшке оказалось маленькое белое яичко.

— Чтоб его! — весело ругнулся Галя.— Найдет же место нестись!

— Кто? — машинально спросил Андрей, глядя на яичко в своих ладонях.

— Зимородок, кто ж еще! — засмеялся старик.— Воду мою выпьет, а яичко оставит.

Он зачерпнул горшком воды из кадки, полной до краев. Убрал яичко, насыпал золы в руки Андрею, стал поливать.

— Три-три, хорошенько три,— приговаривал он.— Вечерком-то баньку истопим. От уж попаримся!

Умывшись, Андрей сел за стол, а Галя принес из сенцев корзинку с крупными и краснобокими яблоками, поставил на стол.

— С яблочками попьем,— радовался он.— Нынче уродились яблочки-то. Зимородок три короба притащил. Сказывал, еще надо, так и еще принесет. Ешь на здоровьечко!

— Какой зимородок? — Андрей не успевал осмысливать все, что говорил словоохотливый старик.

— А птичка такая! Уж до чего вредная, и не скажешь. Все супротив сделать норовит. Под воду ныряет и сидит на яйцах зимой...

Андрей взял яблоко, откусил рассыпчатую сладость, но тут же сморщился: зубы шатались и болели.

— Ты ножичком, ножичком порежь — да в чай,— посоветовал Галя.— Они распарятся и мягонькие будут.

— Давно хожу,— вдруг признался Андрей.— Отвык, чуть не озверел...

— Да ничего, скоро привыкнешь,— старик метнулся к окошку, склонился, что-то высматривая, и, схватив душегрейку, бросился к двери.— Пей, пей чаек-то! А я сейчас! Заблудились, окаянные, опять не туда летят. Да, поди, последние. Ишь, припозднились-то как!

Едва старик скрылся, Андрей тоже глянул в окошко, но возле хутора никого не было. Ощущение тревоги обожгло голову. Он схватил винтовку и осторожно вышел в сени, приоткрыл дверь: старик стоял среди поля, задрав голову к небу. Самые разные предположения искрами проскакивали в сознании Андрея, пока он не увидел тяжело летящую стаю журавлей. Клин шел неровно, колыхался, и переклик птиц походил на человеческую речь.

А старик неожиданно поднял руку с растопыренными пальцами и медленно опустил к земле. И вслед за его рукой журавли застопорили полет, забили крыльями морозный воздух и, кружась, а то и падая, опустились на землю.

Озноб непонятной жути сковал спину и затылок. Цепенея, Андрей чувствовал, как слезы застят глаза, и потому очертания птиц на поле двоились и троились. Галя махнул еще раз, крикнул что-то. Журавли поплыли к залогу, к суслонам, а старик потрусил к избе.

Андрей поспешно вернулся к столу, сунул винтовку в угол.

— Молодые, ленивые,— весело заругался Галя с порога.— Это же надо до такой поры сидеть? Далеко, так что? Сиди не сиди — ближе не станет... Ладно, давай, разлюбезный, чаек пить!

Он схватил сапожок, раскочегарил самовар и сел за стол. Благоговейно налил кипятку, сдобрил его заваркой и, распустив в блюдце, с удовольствием отхлебнул.

Андрей вновь встал к окну. Журавли, окружив суслон, общипывали льняное семя.

— Пасутся? — спросил Галя.— Ну и пускай. Пощиплют — да полетят. Нечего волынку тянуть.

— Чудо,— выдохнул Андрей и диковато посмотрел на старика.— Это же чудо...

— Ну, разлюбезный! — радостно захохотал тот.— Какое же чудо? Чуда ты еще не видал. Оно вон у меня под печкой стоит. Вот уж чудо так чудо! Я его лет двадцать назад на ярмарке купил... Да ты пей, а я сказывать буду, пей!

Андрей послушно сел и взял чашку. В голове все смешалось — явь и сон одновременно.

— Так вот, привожу домой, народ собрался, глядят: чего такое Галя купил? И ну меж собой судачить! Чудо, говорю, купил! Кто смелей — выходи чудо руками пощупать! Вот один человек идет ко мне, а у самого руки трясутся — дай-ко пощупаю! Ну, дал я ему, а сам эдак-то колесо ка-ак поверну!..

На улице послышался пронзительный крик. Журавли взметнулись вверх; заложив большой круг, выстроились и потекли по чистому небу. Галя отвернулся от окна чем-то обеспокоенный и забыл, о чем рассказывал.

— Спугнул кто-то,— пожалел он.— Недоемши полетели... Да ничего, поди, жиру-то нагуляли, дотянут... Вроде не сулился никто?

Андрей покосился на печь, где чернел темный, как берлога, лаз.

— А-а! — вдруг догадливо протянул Галя.— Вон кто пожаловал. Ишь как летят, варначье...

— Кто там опять?

— Да казаки скачут,— бросил старик.— Кто ж еще нынче по дорогам-то летает? По небу — птицы, по дорогам — казаки...

Андрей не поверил, но все-таки сунулся к окну: казачий разъезд в шесть человек уже привязал лошадей у ворот и под лай собак шел к избе. Урядник с обветренным лицом что-то кричал, показывая на улетающих журавлей. Андрей схватил кожух, метнулся к винтовке, но Галя остановил его, взял за руки:

— Ой, да погоди! Пускай заходят. Глаза-то узкие, поди, и не заметят.

— Ты что, старик?

— А садись-ка вот сюда, в уголок,— он подтолкнул его к дальнему краю стола.— Я тебя яблочками-то прикрою, и вовсе не заметят.

Бежать было поздно: в сенцах скрипели половицы. Андрей сел в угол и положил револьвер на колени, прикрыл его скатертью. Корзина с яблоками стояла перед лицом, но прикрыть, конечно, не могла...

— Заходите, заходите, гости дорогие,— запел Галя.— Гляжу — едут, родимые. А то все один да один, поговорить не с кем, чайку попить не с кем. Вот хорошо, что навестили старика...

— Никто не заезжал к тебе? — спросил урядник.

— Рад был бы, да не едут,— загоревал Галя.— Вареньев летом наварю, грибов насолю, а угостить некого. Вы уж садитесь к столу-то, самовар вот ставлю. Мигом поспеет.

Казаки сняли кожухи, составили карабины в угол, выпутались из ремней и сели к столу. Вполголоса заговорили не по-русски, тыча пальцами в корзину с яблоками.

— Ешьте, ешьте! — подбодрил старик.— Что на столе — все ешьте.

Казаки расхватали яблоки, стали есть с удовольствием и жадностью.

— Соскучились по фруктам,— объяснил урядник.— У нас на родине слаще растут. Да и крупнее.

— На родине оно все слаще да вкусней,— согласился Галя.— Нам вот эти за милу душу.

Старик расставил глиняные кружки и стал разливать чай.

— Это правда, будто ты чудеса показываешь? — вдруг спросил урядник.— Будто глаза отводить умеешь?

— Могу! — обрадовался Галя.— Что могу, то могу. Насчет глаз не скажу, а чудеса умею.

— Так покажи.

Старик с готовностью встал на четвереньки, залез под печь и достал оттуда какой-то прибор на деревянной доске. Андрей сидел не шелохнувшись, рассматривал казаков, изучал лица. Каждого можно было достать рукой...

— Глядите сюда,— сказал Галя.— Ну-ко, подержись за проволоку-то.

Урядник взялся за проводки, а старик резко повернул колесо. Раздался щелчок, урядник отдернул руку и засмеялся. Казаки тоже захотели попробовать, по очереди держались за провода; Галя крутил и хохотал. Потом он подключил лампочку, и она засветилась. Казаки возбужденно заговорили по-своему, смеялись и дурачились как дети.

— Такой чудо я видел,— сказал урядник.— Динамо-машина. Я думал, правда чудо.

— Кто не знает да не понимает, так ведь чудо! — не согласился Галя.— Когда не знаешь, откуда берется свет?

Он спрятал прибор под печь, отряхнул руки. Успокоенные казаки зашвыркали горячим чаем.

— Надолго в наши края-то? — спросил Галя.

— Мы люди невольные. Как прикажут,— вздохнул урядник.

— Так воюете все?

— Воюем...

— А супротив кого нынче воюете? — прищурился старик.

— Не спрашивай, дед, сами толком не знаем,— отмахнулся урядник.— Велят людей пороть.

— Кто велит-то?

— Русские велят. И русских же пороть! — урядник поцокал языком, покачал головой.— Ничего не понимаем. В нашем народе такой обычай нет, не понимаем. Россию защищать — понимаем. Пороть — не понимаем.

— Так не пороли бы,— предложил Галя.— Жалко, поди, людей?

— Жалко,— согласился урядник.— Как не жалко? Народ — большой, красивый; бог — большой, красивый; земля — большой, красивый. Начальник был большой, красивый. Князь... Себя убил. Русский есаул повесил русский большой, красивый баба... Не понимаем. Все большевики. А большевики — плохо. Не понимаем.

Он встал, буркнул что-то по-калмыцки. Казаки вскочили, засобирались. Галя засуетился:

— Посидели бы еще-то. Куда вам лететь?

— Партизан ходит, большевик,— сказал урядник.— Поймать надо. Зачем вешать?

— И не ловили бы, и не вешали,— посоветовал старик.— Дома-то яблочки слаще...

— Колчак сказал — Россия защищать,— развел руками урядник.— Большевик говорит — Россия защищать. Бестолковый народ. Большой, красивый, а бестолковый. Ай!

Казаки вывалили во двор, загомонили, отвязывая лошадей. Андрей стоял у окна, сжимая в руке ненужный револьвер.

— Хорошие люди,— сказал Галя.— Ведь испортятся так-то, на чужбине.

Казаки ускакали под сорочий треск с забора.

— Как ты делаешь чудо? — спросил Андрей.— Как?!

— Показать? — старик сунулся под печь.— Сей же час!

— Не это,— остановил его Андрей.— Настоящее чудо!

— Настоящего теперь не бывает,— загоревал Галя.— Нету его, все вышло...— Он вдруг отобрал у Березина револьвер, покрутил его в руках, заглянул в ствол.— Настоящее-то чудо вот в эту машинку посадили и держат теперь. И до-олго еще держать будут... Придумают же! — он покачал головой.— Баба мучается, рожает, кровью-то обливается. А потом и нянчит, и ночей не спит, и плачет-страдает, горемышная. А нажал на курочек — и нету человека! Чудо!..

— У нас в Березине живет один...— проговорил Андрей.— Чудеса показывает... Ленька-Ангел. Меня однажды через овраг перенес. И потом...

— Ну-ко, ну-ко! — заинтересовался Галя.— Где проживает? На заметку возьму.

— В Березине, слыхал? Есаульского уезда, Свободненской волости.

— Слыхал... Чего еще умеет-то?

— А еще людей на тот свет провожает.

— Но?! — подскочил и сразу осел Галя.— Тогда чего молчишь? Такой человек! Я вот только птиц провожаю, и то когда зимовать летят, на время. А он — эвон! — на тот свет! Ишь ты! А просит что, нет?

— Просит,— подтвердил Андрей.— Я ему за чудо-то коня отдал... А потом он ружье просил...

— Ружье? Неужто ружье просил? — огорчился Галя.— Эх, чудак-человек. Людей провожает, а туда же... Возьмет ружье — пропал человек. И дела его чудесные — пух! — и вылетели. В деревенские дурачки потом запишут — и все... Эх!..

Они в молчании попили чаю, пожевали размоченные яблоки, после чего старик начал убирать со стола.

— Гостей до вечера не будет,— скучно сказал он.— Полезай на печь. Зимородок прилегит, так разбужу... Да ты не печалься эдак-то, спи. Зимородок, может, в Леса тебя сведет... Может, там чудо осталось...

— В лесах только холод и смерть,— вздохнул Андрей, забираясь на печь.— По всей земле нынче холод и смерть...

— Есть ведь другие Леса у нас,— откуда-то издали послышался голос старца.— Раньше-то ходили туда люди. Возьмут грамотку у брата моего Прокопия и по той грамотке, как по солнышку, и придут. Нынче-то Прокопия в темницу заточили, в монастырскую, и некому грамотки носить. У меня своя забота — птиц туда-сюда провожать, да и не ходок я, больно старый...

Андрей проснулся от тихого говора. Оттянул холщовую занавеску, но увидел лишь стену, оклеенную «Нивой» за 1916 год: царь Николай Второй в солдатской шинели приехал на позиции...

Он спустился с печи и выглянул за перегородку.

За самоваром сидел Галя, а с ним — хмурый, словно невыспавшийся, мужик в дождевике, надетом поверх полушубка, и валенках с галошами.

— Вот он, гостенек мой разлюбезный! — засмеялся старик.— Возьми уж, своди его. Крюк-то небольшой...

— Небольшой,— проворчал мужик.— Так нынче воды по колено! Куда я в пимах?

— Да уж своди,— попросил Галя.— Человеку чуда хочется, а ты... — Он повернулся к Андрею: — Вот он, Зимородок. Говорю же: вредный — спасу нет.

«Леса,— думал Андрей.— Леса... Что-то было, что-то слышал ведь... Люди пропадали...»

— Собирайся,— нехотя бросил Зимородок и допил чай.— Да пошевеливайся! Темнеет вон...

Андрей оделся, поискал глазами винтовку и не нашел. Револьвер же торчал из горшка на полке.

— Ружья свои оставь,— недовольно пробурчал Зимородок.— Не хватало еще с ружьями туда... И так уж боязно с вами ходить.

— Эх, жалко, больше не увидимся,— сказал Галя.— Люблю, которые хоть в чудо верят... По ребятишкам-то, видно, сильно соскучился? — вдруг спросил он.

— Что?

— Да по ребятишкам, говорю, тоскуешь, видно,— объяснил старик.— Сонный-то все звал, все кричал...

— Хватит байки-то болтать! — прикрикнул Зимородок и заторопил Андрея: — Пошли, раз собрался!..

Они вышли на мороз, сразу защипало лицо и стиснуло дыхание. Зимородок зашагал в сторону леса и даже не оглянулся. Андрей едва поспевал за ним, и когда хутор скрылся, Зимородок словно подобрел, пошел тише, вразвалку, и будто сразу потеплело.

— Заморочил тебе голову Галактион-то? — спросил он.— Набрехал, поди, с три короба? И как только охота, пожилой человек...

Андрей не ответил. Ему показалось, что они идут по кругу, причем все время под гору. «Леса... Что же я о них слышал? — думал он сосредоточенно и никак не мог оторваться от размышлений.— Кажется, что-то из детства... Грамотки... Бумаги...»

И тут он вспомнил, как лазил с Сашей в дядин запертый шкаф. В деле о сектантах тоже говорилось о Лесах. И Леса те — что-то вроде места, где живут счастливые люди и не знают ни горя, ни забот. И что у них будто бы какая-то особая связь с природой, с землей.

— Погоди, Зимородок! — окликнул он.— Я знаю, что такое Леса! Я читал!

— Ну и что? — спросил тот недовольно.

— Но это же все выдумки... Сказка о хорошей жизни... Мечты о гармонии человека с окружающим миром...

— А я что всегда говорю? — поддержал возмущенно Зимородок.— Конешно, сказки! Напридумывали, наврали!.. Леса, Леса! Болтовня одна! Говорю им, нету никакой другой жизни. Есть одна-разъединственная, и у всех она одинаковая. Родился, подрос и ишачить пошел. Так до смерти. Правда, ребятишек еще нарожаешь, и всё тебе удовольствие. Хоть тут ишачь, хоть в Лесах ишачь — везде шея болит...

Кажется, Андрей зацепил его за живое, Зимородок разговорился, а сам тянул и тянул куда-то под гору.

— Чего ты сказал? Гармония? Да видал я ее, ихнюю гармонию! У меня вон баба: как зима — так рожать приспичит. И каждый год — по девке. Какая гармония? Хоть бы одного мужика! Голимые девки! Восемнадцать штук! А еще сколько принесет? Гармония... Где я женихов столь возьму, когда мужиков вон днем и ночью колотят? До самой смерти, что ли, кормить девок? Или с дубиной выходить да партизан ловить в мужья им? Нету гармонии... Это тебе Галька напел?

— Я читал,— сказал Андрей...

Ночь никак не кончалась и становилась все темнее. Уже нельзя было различить деревьев, и Андрей шел с вытянутыми руками, опасаясь, что вот-вот какая-нибудь невидимая ветка выстегнет глаза. Зимородок ломился, как лось, трещал валежником и все что-то бурчал себе под нос. И вдруг Андрей понял, почему стало темно: вокруг не было снега — под ногами мягко шелестел мох и шуршали опавшие листья. Потом и вовсе захлюпало, и Зимородок начал ругать всех подряд, шлепая галошами по грязи. Катанки у Андрея промокли, но сырые ноги не мерзли. И усталости он почему-то не чувствовал...

Наконец начало светать, и упарившийся Зимородок присел на сухое место у ручья.

— Конешно, чего у них тут не жить,— проворчал он.— Вода горячая течет. Вон мужик еще зябь пашет.

— Где? — покрутил головой Андрей, присаживаясь рядом.

— Да вон упирается...— Зимородок напился из ручья.— Тьфу, зараза, как помои... А я свою не успел поднять. Застыло все к чертовой матери! Опять хлеба шиш будет!

Андрей увидел в сумерках полувспаханный клин и мужика за плугом в рубахе навыпуск. Несмотря на такую рань, пахарь, видно, уже наработался и тяжело ходил за плугом, погоняя лошадь.

— Конешно, чего тут не жить? — повторил Зимородок.— Январь чуть прихватит снежком, а потом теплынь... Гармония... Да не будь здесь теплыни, была бы у них гармония?! В Африке какой-нибудь тоже

гармония. Там и штанов не надо носить. Ходи и проветривай задницу круглый год.

— Что же ты здесь не живешь? — спросил Андрей.— Перебрался бы да и жил.

— Поживешь тут,— заворчал Зимородок.— Держи карман шире!

— Но почему? — удивился Андрей.— Смотри, земли сколько! Селись и паши!

— Почему, почему...— Зимородок вдруг заорал: — Родом я отсюда, из Лесов! И жил тут! И Галька тут жил! Да выслали нас к чертовой матери! За границу снегов! И живем теперь, маемся... Земля есть, да как собаки на сене!

— За что? — Андрей вскочил.— За что вас из Лесов выслали?

— За то, что я не верил ни во что и работал как проклятый! — Зимородок потряс кулаком.— День и ночь воротил, сколь земли припахал... А что делать-то? Семьища у меня! Жрать все просят. Вишь ли, у меня, сказали, веры в гармонию мало, а земли много. Дак чего, я украл ту землю?.. Иван,— вдруг окликнул он пахаря.— Скажи, я хоть клиньшек у кого земли оттяпал?

— Да ты что, Зимородок,— отозвался Иван.— Не бывало такого...

Но отозвался он как-то несмело, с оглядкой, и потащил свой плуг на другой край поля.

— Вот, не украл,— удовлетворенно сказал Зимородок.— Я ведь даже и рассчитывал так, чтоб баба зимой рожала. Чтоб летом работать! А иначе на кой ляд жить-то тогда? Какой интерес?.. Гармония... Работать надо!

Он похлебал рукой воды, сплюнул и отвернулся. Андрей мотнул головой, соображая, и вспомнил, спросил:

— А за что же Галактиона выслали?

— Этого-то? — невесело усмехнулся Зимородок.— А шибко верил во что попало и работать не хотел. Вот нас крайних взяли да и выслали за границу снегов, на край света.

— Выходит, мы уже пришли? — спросил Андрей.

— Нет еще,— отмахнулся Зимородок.— Это Подлески. А до Лесов-то еще шлепать да шлепать... Пошли, чего сидеть? Мне до солнца обернуться бы.

Они пересекли поле. Мужик, понукая коня, тянул борозду им навстречу.

— Иван! — крикнул Зимородок.— Пропустишь в Леса?

— Иди, да бегом! — отозвался пахарь.— Увидит кто, беды не оберешься.

— Пашешь?

— Да пашу маленько...

— Ну, бог в помощь,— буркнул Зимородок и тяжело побежал через вспаханную полосу. Андрей едва поспевал за ним, ноги тонули в земле. Иван торопливо запахивал их следы...

В березняке стояла изба, точно такая же, как и у Галактиона. Дым уже курился над трубой, какая-то женщина выгоняла корову.

— Кто же в Подлесках живет? — спросил Андрей.

— А такие дураки, как ты! — брякнул Зимородок.— Кому Галька со своим братцем Проиькой голову заморочили чудесами.

— Переселенцы, что ли?

— Навроде,— отмахнулся Зимородок.— По грамоткам пришли в Леса, а им в Подлесках иаделы сунули, как бы в аренду. Да еще испытательный срок установили — семьсот лет.

— Сколько?! — поразился Андрей.

— Ну, не семьсот, дак семьдесят,— поморщился недовольно Зимородок.— А просидят тут все семьсот. И служба собачья...

Из березняка начиналась проселочная дорога с набитыми колеями, залитыми водой. С обочин то и дело взлетали тетерева и глухари. Андрей машинально замирал и тянулся рукой за винтовкой, но тут же

вспоминал, что идет безоружным впервые за столько лет. А непуганая дичь рассаживалась вдоль дороги и провожала людей, поворачивая за ними головы. Потом на дорогу вышел лось и, пригнув рога, уставился на путников печальными, ленивыми глазами.

— Пшел! — закричал на него Зимородок и пихнул руками в круп. — У-у, скотиняка, выставился. Обходи еще тебя...

Они прошли обочиной, лось даже не шелохнулся. Через версту они увидели медведя-годовичка, который, лежа под сосной, ел белые грибы. «Неужели гармония? — думал Андрей, уже ничему не удивляясь.— Неужели есть в мире место, где не только люди с людьми, но и со зверями могут мирно уживаться? Если это так, то настоящее чудо — вот оно, перед глазами...»

Проселок повернул и уткнулся в баню возле ручья. Полянка была красивая, зеленая трава едва только начинала никнуть к земле, и кое-где голубели анютины глазки.

— Пришли,— сказал Зимородок.— Вот тебе баня, вот дрова, а вон вода. Топи, мойся и входи в Леса. Немытых не пускают. Не успеешь сам войти, так за тобой придут. Ну, будь здоров!

— Погоди, Зимородок! — вдруг заволновался Андрей.— А если назад, то в какую хоть сторону?

— Назад отсюда сами не ходят! — сказал тот.— Не обессудь уж...

И пропал в ольховом мелколесье, еще не сронившем листву.

Андрей посидел иа крылечке предбанника, снял кожух, скинул размокшие катаики, скрючил белые от воды ноги. Откуда-то вывернулся серый горностай, обнюхал брошенный кожух, забрался в него и, угнездившись, задремал. «Гармония,— подумал опять Андрей и посмотрел на ольховник.— Врешь ты все, ворчун! Есть гармония! Разве это чу́дное место не благодать для человека и зверя? Врешь!.. Привести бы сюда жену, построить дом и жить. Вот и дед мой Иван Алексеевич пришел из России в Сибирь и увидел гармонию...» Он заметил на колу деревянное ведро, снял его и стал таскать воду из ручья. В бане было все выскоблено до белизны, вода в шайках казалась невидимой, и лишь легкое сотрясение давало чистую светлую рябь. Он набрал аккуратно наколотых березовых дров, затопил баню и, вдохнув сладкого дыма, окончательно расслабился. Есть ведь на земле такие нетронутые благодатные места! И все здесь чудесно: воздух, ручьи, трава. И звери ручные, и солнце теплое... Ничего больше не хочется, только бы жить да жить! Здесь можно любить, можно рожать детей и не бояться за их будущее. Наверное, именно здесь, откуда гражданская война кажется такой далекой и нереальной, у человека возрождается душа...

Баня истопилась быстро, сухой, пахнущий березовым листом жар приятно обволакивал усталое и грязное тело. Андрей напарился до умопомрачения, едва живым выбрался на улицу и искупался в ручье. Кожа скрипела от чистоты, рана на лбу подсохла и больше не исходила сукровицей и гноем. Он перевязал ее, оторвав край чистого холщового полотенца, и, открыв настежь дверь, чтобы отошел ненужный теперь жар, прилег иа полке́.

«Как мало человеку нужно,— думал он.— Мир, любовь и чистота. Чистота тела и духа. Зачем люди воюют? За что они воюют, если ничего уже на свете не придумать, кроме мира, любви и чистоты?..»

Он так и заснул под эти тихие мысли, спокойно и умиротворенно, как не спал уже много лет.

«И дети», — словно кто-то добавил за него к тем трем словам.

«И дети,— согласился он.— Много детей...»

Андрей проснулся, услышав мягкий голос:

— Мир и Любовь тебе, человек!

Он открыл глаза и увидел молодого еще мужчину с добрым сухим лицом. Длинные волосы были опоясаны красным ремешком, а одет он был в посконную рубаху до колен и грубые штаны. На иогах — лапти с белыми онучами.

— Чистоту и детей,— добавил Андрей.— И ничего больше в этой жизни человеку не нужно.

— И Труд,— мягко заметил мужчина.— Мир, Труд и все остальное. И больше ничего не нужно человеку.

— Да,— согласился Андрей.— И труд.

Мужчина принес из предбанника рубаху, штаны и лапти — все точно такое же, что и на нем. Андрей начал одеваться.

— Именем я Наставник,— представился мужчина.— Наставник Лесов и Подлесков.

— А меня зовут Андрей... И я — никто...

— Ты — человек,— ласково поправил Наставник.— И имя тебе будет отныне — Человек. Отныне и на веки веков.

— Приятно, когда тебя называют просто Человеком и никак больше,— согласился Андрей.— Как меня только не называли...

— Что ты умеешь делать, Человек? — спросил Наставник, выводя Андрея из бани за руку.

— Воевать... Последние четыре года я воевал.

— Ты должен забыть об этом,— строго сказал Наставник.

— Хорошо,— согласился Андрей.— Я с радостью забуду!

— Ты был ранен? — мужчина кивнул на повязку.

— Да, еще весной... Не заживает.

— Здесь у тебя заживут все раны,— сказал Наставник.— А пока отвечай, если спросят: тебя повредил камень. Мертвый камень.

Они стояли на поляне. Андрей щурился от яркого солнца и подставлял ветерку жаркую грудь. Легко было в посконной одежде, ноги не чувствовали лаптей; казалось, мгновение — и он взлетит над землей.

— Есть ли у тебя братья, сестры, Человек? — продолжал расспросы Наставник, глядя мягко и не по возрасту смиренно.

— Были,— вспомнил Андрей и враз потяжелел.— Сестру убили красные, брата убили белые...

— Забудь о них. А на вопросы отвечай так: их убили мертвые камни,— наставительно изрек мужчина.

— Я не смогу забыть,— проговорил Андрей.— Это случилось недавно.

— Забудешь, Человек,— твердо сказал Наставник.— Иначе не будет тебе Мира, Труда и Любви.

— Попробую,— неопределенно согласился Андрей.

— Где твои родители?

— Отец умер от сердечного приступа. Мать... ушла в монастырь.

— И о них забудь,— предупредил Наставник.— Когда я введу тебя под Сень Лесов — назначу новых родителей. А братьями и сестрами тебе будут все обитатели Лесной Общины... Сейчас, Человек,— продолжал Наставник,— ты пойдешь один и осмотришь все наши Леса. И обо всем, что почувствуешь на душе, поведаешь мне. И выберешь себе место, где бы ты хотел трудиться.

— Я учитель гимназии! — вспомнил Андрей.— Я закончил университет. Могу учить детей!

— Ты не можешь здесь никого учить,— ласково сказал Наставник.— Учить братьев и сестер могу только я.

— Но я знаю историю, словесность...

— Историю и словесность знаю только я,— заметил Наставник.— И больше никто ее знать не может.

— Да, конечно,— согласился Андрей.— Я забываюсь...

— Ступай,— послал Наставник.— И никогда не забывайся.

Андрей пошел куда было указано и скоро среди леса увидел деревню дворов на тридцать. Она чем-то походила на Березино; избы стояли маленькие, тщедушные, словно срубленные на скорую руку. Многие держались на подпорках, латаные-перелатаные крыши провисали, словно ребра у худых кляч, перекошенные окошки врастали в землю. И даже церковь на площади напоминала березинскую, только у этой не

было креста на куполе. Сначала Андрей прошел по единственной улице через всю деревню, затем вернулся и остановился у церкви. Чего-то не хватало во дворах, что было в Березине. И вдруг Андрей понял — огородов нет! И куры не бродят по улицам, и свиньи не лежат в грязи. Он вошел в церковь, но вместо икон и алтаря увидел длинные столы вдоль стен, а на стенах, над столами, были развешаны и убраны полотенцами деревянные миски. Возле каждой миски висела деревянная ложка. И ни души...

Тогда он еще раз прошел эту убогонькую деревню до конца и заметил у леса узкие клинышки полей. Жаворонок, кружась в небе, пел совсем по-весеннему, зеленели молодые березки, легкое марево поднималось над землей. Андрею вновь стало спокойно; мирные виды укачивали его и навевали приятные размышления. Еще издали он увидел мужика, пахавшего на тощей лошаденке, и направился к нему. Мужик неторопливо ходил за сохой, едва ковырявшей землю, и глядел по сторонам.

— Мир и Труд,— сказал Андрей.— Тебя как кличут?

— Человек,— сказал мужик и улыбнулся. Затем бросил соху, сел в борозду и вытряхнул землю из драного лаптя, после чего побежал догонять лошадь.

— А где остальные? — крикнул Андрей.

Человек махнул рукой в сторону березняка, взялся за соху и сунул ее в землю. Андрей ступил в лес и чуть не упал, запнувшись о спящих на траве людей. Какая-то женщина сонно поглядела на него, смела сор со щеки и перевернулась на другой бок. Андрей прошел вдоль спящих, посмотрел на каждого, но никто больше не проснулся. От тепла и пения жаворонка самому хотелось лечь и подремать в траве так же беззаботно, как эти люди. Он поискал глазами свободное место и тут заметил какое-то движение среди кустов. Сладко потянувшись, он заглянул туда и остолбенел: парень и девушка занимались любовью...

Андрей отскочил за деревья, и сон слетел в один миг.

— Мир и Любовь! — шепотом крикнул он, но ему не ответили.

Он огляделся, чтобы не наступить в траве еще на кого-нибудь, и различил в березовой кроне фигуру человека. Он хотел и ему что-нибудь пожелать, но вовремя спохватился — человек спал, скрючившись на сучке, и будить его было опасно, вдруг сорвется. И никого больше у поля не нашел. Однако, пройдя березняк насквозь, он очутился в саду. Мужик в таком же одеянии, как и Андрей, ходил под деревьями и околачивал палкой груши. Они сыпались на землю, а шустрые кабаны тут же хватали их и, громко чавкая, поедали. Тягучий сок стекал с их рыл и клыков.

— Мир и Труд,— поприветствовал Андрей садовода.— Где же еще люди есть?

— Мир, Мир,— бросил мужик.— Вона, по яблоням сидят.

И, не пожелав больше говорить, подался околачивать дальше. Андрей подошел к яблоням и неожиданно услышал томный голос:

— Мир и Любовь... Съешь яблочко, на, возьми...

Он поднял голову. Девушка с распущенными волосами, свешиваясь с дерева, подавала ему плод. Он машинально взял его, откусил: зубы еще побаливали...

А девушка вдруг спрыгнула ему на плечи и повалила на землю.

— Вы что? — неловко ворочаясь в траве, забормотал он.— Вы что делаете?!

— Ты кто? — испугалась она.

— Человек,— опомнился Андрей.— Но вы так неожиданно...

— Я тоже Человек,— сказала она.— Чего тогда, как Наставник-то?.. Мир и Любовь?

— Мир и Любовь...— растерялся он.— Да погоди... Люди кругом! Ты что?!

Он вскочил и, пригнувшись, побежал прочь. Вслед несся веселый

смех, летели яблоки и груши. В одном месте он споткнулся о секача, кувыркнулся в траве, снова очутился на ногах.

— Мир и Любовь! — крикнули ему сверху.

Андрей попятился, стараясь рассмотреть, кто говорит, и в это время в деревне застучали обухом по лемеху. С деревьев и из травы вдруг посыпались горохом мужики, бабы, старики и старухи, ребятишки; прыгая, все помчались в деревню на звон, будто на пожар. Через мгновение сад опустел, и только кабаны похрюкивали, чавкая и чавкая сочными, перезревшими плодами. Делать было нечего. Андрей огляделся еще раз и подался вслед за людьми.

Однако, пока он шел к деревне, народ уже повалил обратно в поле. Андрей заспешил, но тут опять вывернулась девушка с распущенными волосами и бросилась на шею.

— Мир и Любовь,— горячо зашептала она.— Ты — мой, мой, мой... Скажи Наставнику, пусть избу даст. Да пусть выберет получше, пустые же стоят...

Девушка, смеясь, отскочила и смешалась с другими. Андрей качнулся, как пьяный, и почувствовал блаженство, словно от обволакивающего банного жара. «Мир и любовь,— повторил он про себя,— мир, любовь, чистота...»

И уже дома в Лесах не казались такими убогими, и пустынность улицы была просто покойной тишиной. Он вошел в церковь, где румяная, с ямочками на щеках, женщина мыла деревянные миски и благоговейно развешивала их по стенам. Наставник сидел там, где должен быть престол, и хлебал что-то деревянной ложкой.

— Посмотрел? — спросил он.

— Посмотрел,— радуясь чему-то, ответил Андрей.— Хорошо... Есть хочу!

— Ну-ка, Женщина, дай ему Пищи,— сказал Наставник, и та проворно принесла миску.

Андрей зачерпнул ложкой, в мутной воде плавали крупинки и капустный лист. Попробовал на вкус и сразу будто бы отрезвел.

— Что это? — он побулькал ложкой.

— Суп,— Наставник дохлебал свое и отодвинул миску.— Это Пища!

— Нас в империалистическую войну так не кормили,— сказал Андрей.— И в «эшелоне смерти»...

— Ты обязался забыть все на веки веков,— терпеливо напомнил Наставник.

— Забыть-то забыть, но суп от этого лучше не станет,— не сдавался Андрей.— Есть же нельзя...

— Ты еще не трудился, чтобы есть,— заметил Наставник.— Жена тебя выбрала. А ты выбрал себе труд?

— Какая жена? — не понял Андрей.

— Та, что подала тебе яблоко с древа... Так где же ты намерен трудиться, Человек?

— Куда пошлете,— пожал плечами Андрей.— Я всякую работу знаю... Но так работать, как они?..

— В общине каждый человек работает сколько может,— объяснил Наставник.— Главное, чтобы каждый день проходил в Труде.

— Да они спят! — возмутился Андрей.— Кабаны груши жрут!

— Ты должен забыть о жадности!

— Какая же это жадность? — Андрей вскочил, заходил вдоль столов.— Работать надо! Ты погляди, в какой вы нищете живете! Дома у нас скотину держат лучше. А что едят? Хоть бы огороды завели!..

— Все, что есть, принадлежит общине,— спокойно вразумлял Наставник.— Мы заботимся о Мире и Труде, о Любви и Чистоте. Мы заботимся о Гармонии. Помни: Гармония Человека и Природы превыше всего!

Андрей опустился на лавку, и вдруг ему стало невыносимо тоскливо, будто его насильно постригли в монахи. Наставник взял его за руку и повел на улицу. Андрей не сопротивлялся, хотя протест в душе не слабел, а, наоборот, рос.

Наставник привел его к избенке в два окошка, открыл дверь и впустил вовнутрь.

— Это твое жилище, Человек! — торжественно провозгласил он.— Отныне ты под Сенью Лесов. Благословляю тебя на Гармонию!

Он вышел и уже с улицы объявил, что завтра Андрею предстоит трудиться пахарем на зяби, однако тот больше не внимал его словам. Присев на край топчана, прикрытого рядном, он сжал голову руками и стал покачиваться из стороны в сторону, будто больной.

Леса, Леса! Сон или Явь?

Сон или Явь?

Сон...

Явь...

Девушка с распущенными волосами — отныне его жена — так и застала Андрея сидящим на нарах, согбенного и горестного.

— Милый Человек, ты привыкнешь,— сказала она.— Мир и Любовь.

Он только отрицательно помотал головой, не отнимая рук.

— Что же мы будем делать с тобой, Человек?

— Я уйду отсюда,— сквозь зубы выдавил он.— Уйду!

И поднял глаза. Она смотрела на него с любовью и состраданием. Казалось, вот-вот расплачется.

— Пойдем вместе? — предложил он.— Зачем тебе такая жизнь? Есть другая, интересная!.. Правда, там война. Но все равно лучше!

Она не поверила, улыбнулась несмело.

— Кругом Мертвые Камни... Другой жизни нет!

— Есть! Там нет такой Гармонии, но жизнь есть! Вот кончится война...

— Ты не обманываешь, Человек?

— Нет, это правда!

Смятение промелькнуло на ее лице. Потом она спохватилась и высыпала из передника яблоки на топчан.

— Вот, ешь, Человек! Ты не успел поесть в Храме. Брать яблоки в саду нельзя, но я нарушила запрет, нарушила Гармонию — ведь ты же голодный!

Он отмел яблоки, спросил настойчиво:

— Ну, пойдешь со мной?

— Из Лесов нельзя уйти,— сказала она безнадежно.— В Подлесках живут люди, которые не выпускают никого. Ловят и возвращают... Нужна Печатка на кленовом листе. Тогда пустят.

— Достань!

— Листьев много, но Печатка у Наставника.

— Выкради!.. Ты же выкрала яблоки!

Ее глаза заволоклись горем, однако она, сдерживая слезы, покивала головой и убежала. Андрей заметался по крохотной избенке. Эх, нет револьвера! Прорвался бы через все заслоны, через все заставы!

Она вернулась тихая и печальная. Вошла и сразу села на топчан, опустив голову. Волосы рассыпались и закрыли лицо...

— Не достала?..— похолодел он.

Она молча выпростала руку из-под волос и подала ему кленовый лист с круглым оттиском, в котором значилось — свободен.

— А себе?

Она покрутила головой, сказала сдавленным голосом:

— Не пойду... Тебе нет Гармонии здесь, мне не будет там. Я привыкла. Иди. Яблочков возьми на дорогу...

Андрей обнял ее, безвольную и слабую, будто подрубленное дерево.

— Мир и Любовь тебе,— сказала она и сунула ему за пазуху несколько яблок.— Иди.

— Мир и Любовь,— поклонился он и канул во тьму ночи.

Он бежал по темной земле, держа на ладони кленовый лист, и от него, желтого, исходило золотое сияние. Под ногами гремели камни, шуршал мох, хлюпала вода. Потом вновь заскрипел снег...

Он очнулся и понял, что лежит на русской печи, укрытый шубным одеялом, за столом кто-то разговаривал, шумел самовар, хрустели под ножом яблоки. Он оттянул холщовую занавеску, и взгляд упал на стену, оклеенную «Нивой» за 1916 год: царь Николай Второй приехал на позиции...

Андрей перевернулся и отодвинул занавеску с другой стороны.

За столом у самовара сидели бородатые мужики, потели, вытирались полотенцами и хлебали чай из блюдец. Он вгляделся и признал Ульяна Трофимовича. Радость шевельнула слабое тело.

— Ульян,— тихо позвал он незнакомым голосом,— Ульян...

— Никак, очнулся? — приподнялся тот, проливая чай на скатерть. — Очнулся, бродяга!

— Где я? — спросил Андрей.

— Да на хуторе! — веселился Ульян Трофимович.— Ничего, Галька меня выходил и тебя на ноги поставит... Галактион! Очнулся барин-то!

В избу вошел молодой еще мужик с красным ремешком на длинных волосах, прогудел:

— Ну и добро... Да недельку еще пролежит.

Андрей увидел яблоки на столе, попросил:

— Ульян, дай яблока.

— Да у тебя ж зубы выпадают,— застонал тот.— Какие тебе яблоки, барин?

— Размочи в чае и дай,— предложил Галактион.— Ему полезно будет.

Андрей рукой подозвал Ульяна, спросил шепотом:

— Где меня нашли?

— Да в берлоге же! — засмеялся Ульян.— Помирал...

— А яблоки... Яблоки откуда?

— Не знаю,— Ульян пожал плечами.— Должно быть, Галька откуда принес.

Андрей перевернулся на спину и некоторое время лежал, напрягая память и глядя в беленый потолок. Затем спохватился, вновь подозвал Ульяна:

— Скажи... Только правду. Ты слышал о Лесах?

— Как же не слышал? — удивился Ульян.— В лесах живем дак...

— Не-ет, о Лесах, где Гармония...

— Оставь его,— снова прогудел Галактион.— Ишь бредит...

Но он не бредил. Он лежал и старался вспомнить: Леса — сон или явь?

Сон или явь?

Сон...

Явь...

32. В ГОД 1919...

К январю в отряде Анисима Рыжова набралось уже до сотни человек. Морозная зима и глубокий снег держали партизан в зимовьях, в наспех срубленных бараках с дымными глинобитными печами, а народ все прибывал, прибивался разными путями, поодиночке и семьями, мужики, бабы, старики, ребятишки. Однако больше, чем мороз, донимал голод. Дичь в округе выбили еще с осени, и теперь пробавлялись случайно подстреленным лосем, рыбой да тем, что могли добыть, нападая на колчаковские обозы, редко проходящие зимником по Повою. А взять на зимнике можно было немного: с севера везли в основном пушнину, мед и орех. А нужен был хлеб, самый простой ржаной хлеб, который в былые времена не переводился, а ныне — днем с огнем не найдешь...

Анисим Рыжов понимал, что таким образом к весне не только не собрать сил, но можно и растерять то, что есть, ибо станет еще голоднее и люди начнут уходить, разбредаться кто куда. После выздоровления Андрей все время находился в отряде и был при Рыжове вроде начальника штаба. Горячий по натуре, Анисим, подгоняемый бездействием и голодом, рвался воевать, грозился сняться с обжитых мест и уйти ближе к Есаульску, на тракт, и Андрею едва удавалось сдерживать его. Дело доходило до ругани, до обид, когда они, и без того надоев друг другу в тесном таежном житье, не разговаривали по нескольку дней, и Ульяну Трофимовичу каждый раз приходилось мирить их. Андрей был категорически против поспешных боевых действий; отряд, убеждал он, должен тихо сидеть в тайге и незаметно копить силы, добывать оружие и проводить учения. А весной — неожиданно ударить по Есаульску, взять его, очистить уезд от колчаковцев и держаться, пополняя отряд новыми силами. В те времена еще не было никаких связей с другими соединениями, отсутствовало всякое руководство партизанской войной, и путь, выбранный Андреем, казался ему самым верным...

Доводы начальника штаба несколько отрезвляли Рыжова; захватив огромными своими ручищами красную бороду, Анисим горбился, впадал в глубокую задумчивость и походил на обиженного ребенка. Но такая задумчивость ни к какому решению не приводила. Андрей замечал, как глаза его медленно становились непроницаемыми, а лицо словно бы переплавлялось в деревянную, бесчувственную маску. Рыжов тяжело вставал на ноги, разворачивая свою двухметровую фигуру, стучал кулаком по гулкой груди:

— Мой отряд! Мой! Ты где был, когда я его по человеку собирал?! Ишь! Пришел на готовенькое! Все вы, березинские, такие! Не да-ам!

— Ну и иди со своим отрядом! — тоже взрывался Андрей.— Губи его! Клади возле каждой деревни!.. А если еще регулярные колчаковские части встретим?!

— Так мы и здесь покладемся! — орал Анисим.— От голода!.. Знаю, что ты задумал, знаю. Отряд хочешь к рукам прибрать! Раз офицер, дак в командиры? Не-ет, война гражданская идет! Значит, и командиры гражданские!

Однажды Рыжов в порыве ярости и подозрений начал прогонять его из отряда. Андрей молча взял котомку, винтовку и пошел со стана. Анисим догнал его уже в лесу, схватил за плечо, потряс:

— Ладно, Андрюха, ну чего ты? Не уходи... Чего я один-то? Без штабу? Командир — голова, а штаб — шея. Куда шея повернет, туда и голова смотреть будет. Я так понимаю. Не обижайся, я же мужик. Бывает, грубость допущу. Дак откуда мне мягкости-то брать, когда всю жизнь с железом да в железе был? Не обижайся, Андрей! Мы с тобой весной весь уезд возьмем и новую жизнь построим. Не как этот собирался!

И погрозил куда-то кулаком.

Пергаменщикова он вспоминал чуть ли не каждый день. Андрей подозревал, что Рыжов еще потому рвется в бой, что хочет разыскать бывшего ссыльного и лично его казнить. При одном упоминании о нем Анисим багровел так, что кожа на лице сливалась с бородой, сжимал кулаки и выдавливал из себя всего лишь два слова, будто только что вынутых из горна:

— Казнить буду.

Андрей вернулся в отряд, и все началось сначала.

В ту же голодную и холодную зиму Андрей часто, словно сон, вспоминал призрачные Леса. Он боялся много думать о них, поскольку воспоминания эти походили на сумасшествие либо больной бред. Он лишь мечтал, даже от себя тайно, как было бы кстати увести сейчас отряд туда, в тепло, где дикие звери бродят по проселку, будто коровы по деревенской улице. И там бы пережить зиму, скопить силы и весной, оставив семьи партизан дожидаться воинов, выйти снова за границу снегов. Разумом он верил, что не был ни в каких Лесах, все это привиделось ему во время болезни, но в его кармане лежал кленовый лист. Андрей боялся даже доставать его, лишь щупал сквозь ткань одежды, проверяя, на месте ли он, и каждый раз, прикасаясь к карману, вспоминал приветствие — Мир и Любовь! Вспоминал девушку со светлыми распущенными волосами, и душа наполнялась какой-то печальной радостью.

Андрей знал, что клен не растет в сибирской тайге, тогда как же попал к нему этот лист? И если Леса — плод воображения, то где же он был?!

Он осторожно расспрашивал партизан о Лесах, многие о них слышали, однако имели в виду не сами Леса, а грамотки, которые будто бы разносил по деревням Прокопий-дурачок. Одни предполагали, что все это — выдумки самого Прокопия, другие кивали на раскольников, которые якобы кочуют от скита к скиту по всему краю в поисках заветного Беловодья — последнего осколка земного рая...

Той же зимой в отряде появился Лобытов.

Он пришел с двумя молодыми парнями; все трое были тепло одеты, вооружены, имели запас продуктов, хорошие лыжи, и с первого же взгляда стало понятно, что эти люди не просто прибились к отряду, как прибивались другие, а пришли специально и знали, к кому идут. Они сказали, что ищут партизан, и Рыжов, порадовавшись, что парни явились без семей, оставил их в отряде. Но поздно вечером в избушку ворвался Дося, потряс кулаками:

— Ты кого пригрел, Анисим?! Мать твою!.. Я ж признал одного!

— Что такое? — насторожился Рыжов.

— А помнишь, продразверстка была? Еще при красных?

— Ну?

— Дак один из них хлеб из мужиков вытрясал! Вота! — Дося повращал глазами.— Глядеть надо, раз командир! Он мне наганом в морду тыкал! А ты в отряд его!..

— Давай их сюда! — приказал Рыжов.— Поглядим.

Дося, а с ним еще человек десять свободненских притащили парней, уже связанных и обезоруженных, поставили перед командиром. Дося поднес кулак к лицу одного из них, интеллигентного вида, сплющил ему нос.

— Вота тебе! Вота! Нагана нету, а то бы и я тыкнул!

Анисим отослал партизан, закрыл дверь на засов, потом развязал руки парням.

— Мы думали у тебя, Рыжов, партизанский отряд,— недовольно сказал Лобытов.— А у тебя банда.

— Ты полегше, паренек,— заметил Анисим и пристукнул ребром ладони по столешнице.— Кто такой, чтоб судить: отряд или банда? Кто такой?

— Мы из Центросибири... Я — Лобытов. Ищем партизанские отряды, чтобы объединять и направлять действия.

— Ишь ты, правильщик,— огрызнулся Рыжов.— А чего ж тогда втихомолку пришли?

— Посмотреть хотели,— подал голос интеллигент.— Настроение и прочее...

— А ты помалкивай пока! — отрезал Анисим.— С тебя спрос особый. Дак чего дальше? Ну, пришли, поглядели, чего?

Рыжов, наверное, вообразил, что сейчас начнут ущемлять его власть в отряде. Лицо медленно багровело, борода скрипела в кулаке. Андрей знал, какая вспышка может последовать затем.

— Ничего,— просто сказал Лобытов.— Оставим вам нашего представителя товарища Коркина.— Он показал на интеллигента.— А сами пойдем дальше.

— А зачем? — набычился Рыжов.— Хлеб вытрясать? Так нету хлеба! Сами голодные сидим! Он подобрал,— Анисим ткнул пальцем в Коркина.— Потом Колчак недоимки стребовал! Шиш у нас!

— Успокойся, товарищ Рыжов...— миролюбиво сказал Лобытов, однако Анисим прервал его, ахнув кулаком по столу:

— Командовать?! Мной командовать?!

— Никто тобой командовать не будет! — потерял наконец выдержку Лобытов.— Командуй сам сколько влезет! Говорю тебе — товарищ Коркин будет за представителя. Для связи с общим руководством партизанского движения Сибири!

Рыжов молча поворошил могучую бороду, соображая что к чему, потом показал на Андрея:

— Вон у меня есть! Начальник штаба!

— Это еще лучше,— успокаиваясь, сказал Лобытов.— Вместе будут работать.

Анисим на мгновение расслабился. Подумал с минуту. Затем вдруг выбросил руку в сторону Коркина, потряс пальцем:

— Этого? Этого мне не надо! И даром не возьму!

— Пойми, Анисим Петрович, выбирать не приходится,— попытался образумить его Лобытов.— Каждый человек на счету.

— Чтобы он ходил и людям моим глаза мозолил? Да ни в жизнь! — отрубил Рыжов.— Наганом пугать, хлеб грабить — а потом навроде как начальник оттуда? — он показал на потолок. — Во! — свел пальцы в фигу.— Если хошь, оставайся сам. А твой Коркин пускай еще куда идет, где его на морду не знают. И весь сказ!..

Видя, что упрямого Рыжова не переспоришь, Лобытов махнул рукой и... остался в отряде.

Андрей как-то сразу сошелся с ним, и начались длинные, на несколько вечеров и ночей беседы. Поскольку спали в одной избушке, Рыжову быстро надоели эти беспредметные разговоры, он ворчал, ругался, заявлял, что не терпит болтунов, что сейчас надо говорить и думать не о политике, а о том, как накормить и сохранить отряд...

— А ты тоже слушай и вникай,— предложил как-то Лобытов.— Тебе, Анисим Петрович, пора вступать в партию большевиков.

— Я уже вступил в одну партию, хватит! — отрезал Рыжов.

— В какую? — удивился Лобытов.

— В каторжную. Меня с ней железом обвенчали. Крепкая партия. Покрепше большевиков будет.

И все-таки не спал ночами — лежал, слушал, думал. И нередко, прервав на полуслове разговор Андрея и Лобытова, высказывал какую-нибудь новую мысль: как достать хлеба, мяса, соли...

А решение пришло внезапно, вернее — родилось вместе с известием, что в Березино приехал полковник Михаил Березин с небольшим отрядом охраны и намерен устроить экзекуцию и пожечь избы тех, кто грабил дом его отца и брата. Рыжов в тот же час отобрал полсотни человек из отряда и заявил, что пойдет выручать березинских.

Андрей ничего не знал о дяде с начала семнадцатого года. Именно тогда пришло на фронт последнее письмо от Михаила.

Заметив, что партизаны стали смотреть на него как-то пытливо и будто все время хотят спросить о чем-то, почувствовав недомолвку и в разговоре с Рыжовым, Андрей твердо решил, что пойдет вместе с

ним. Анисим вроде бы даже и не обрадовался этому решению, но тут против встал Ульян Трофимович.

— Не ходи, Андрей,— мягко посоветовал он.— Зачем пытать себя? Зачем душу-то свою рвать? Не гожее это дело — воевать с родным дядей. Хоть он трижды враг, а дядя. А ты ему племянник. Одна злоба от такой войны будет.

Его поддержал Лобытов. Вдвоем они кое-как уговорили Рыжова. С Анисимом пошел Ульян Трофимович. Но прежде, отозвав Андрея в сторону, спросил:

— Что сказать-то ему, коли встретимся? Мало ли как бывает...

— Скажи, что зла у меня к нему нет,— ответил Андрей.— Скажи, что доля уж нам такая выпала...

— Вот и хорошо,— закивал Ульян Трофимович.— Ежели мы из такой войны с душой выйдем — людьми останемся. А нет, так чего же в новой жизни хорошего будет? Что мы ребятишкам-то своим покажем?..

Рыжов ушел... Через три дня настороженного ожидания пришла весть, что полковник Березин успел выпороть чуть ли не поголовно все село, прежде чем был захвачен партизанами, а его охрана в двадцать человек перебита. Анисим также сообщал, что полковник расстрелян им лично, как «злобный враг революции и новой свободной жизни». Он все-таки осмыслил ночные разговоры Андрея с Лобытовым, поскольку раньше от него таких слов было не добиться.

Весь тот день Андрей бродил на лыжах вокруг партизанского стана и думал почему-то о том, что жизнь обязательно когда-нибудь столкнет его с детьми дяди Михаила. И они, дети, возможно, никогда не узнают, как погиб их отец. А он, Андрей, сможет ли рассказать им правду? А если и сможет, то поймут ли дети? Или осудят! Или он станет оправдываться перед ними, ссылаясь на гражданскую войну, на страшное время братоубийства? И будет чувствовать себя перед ними преступником? Сможет ли он донести до них состояние своей души, когда узнал о зверствах Михаила?! Андрей терялся в думах. Или лучше молчать перед его детьми, как будто он ничего не знает?.. А может, рассказать, как пороли людей в Березине, и женщин в том числе?.. Нет, тогда придется поведать и о том, как разграбили поместье их деда, Ивана Алексеевича. Хотя и тут не совсем правда. Сначала надо определить роль некоего Пергаменщикова, что науськал этих людей забрать у барина его имение, поскольку оно-де нажито чужим трудом... Стоп! И опять неправда: Иван Алексеевич всегда хотел, чтобы люди жили хорошо и не знали нужды. Он и в Сибирь-то из-за этого приехал и привез с собой их — на вольные земли и житье... Андрей мучился думами: неужели невозможно будет сказать потомкам всю правду? Да чего там: сейчас-то невозможно понять и осмыслить ее до конца!..

А он уже предчувствовал — судьба сведет...

Анисим Рыжов после освобождения Березина в тайгу не вернулся. Спустя еще трое суток он сообщил, что решил выбить колчаковцев из своего родного Свободного и осесть до весны там. Дескать, большинство партизан разойдутся по своим избам и уж в семьях-то как-нибудь прокормятся и дотянут до весны. А остальные полсотни человек тоже полегче перезимуют в тайге, да и будет место, куда расселить людей, прибывающих в отряд. В этой же записке в конце следовал и первый в его жизни приказ: назначить Андрея «временным командиром роты».

Андрей с Лобытовым заволновались. За полковника Березина колчаковцы наверняка станут мстить и пошлют карателей, хотя дядя Михаил приехал откуда-то с Дальнего Востока. К Рыжову послали нарочного с советом вернуться в тайгу, чтобы не вступать в бой с карателями и не выказывать белым того, что на востоке от Есаульска собирается значительный отряд партизан. Анисим неделю молчал, а потом вернул нарочного с подробным письмом:

«Начальнику штаба Андрею Березину от командира партизанского отряда товарища Рыжова. Приказываю сидеть на месте и помаленьку ждать весну. А также приказываю послать в Свободное всех баб и ребятишек. Пускай до весны тут сидят. Я Свободное освободил, пришли каратели, я их победил, разгромив у Кровавого оврага так, что клочья полетели. Одних убитых только тридцать шесть, а ушло душ семь-восемь. Еще я тут буду ковать пушки к весне и сабли. Еще приказываю: всех, которые приходят, допрашивать хорошенько. Говорят, Колчак шпионов распускает по тайге. Всех шпионов казнить немедленно. Допрашивает пускай Лобытов, он мужик бойкий. А ты, Андрей, больно жалостливый стал. Дядьку своего не жалей. Глянул бы, как он людей тут исполосовал, дак тошно стало. А добро ваше он по избам собрал, склал в кучу на усадьбе и зажег. Чтоб никому не досталось. Вот какой он. Слыхал я еще, что Пергаменщиков где-то в Есаульске околачивается. Хоть бы до весны никуда не делся. Остаюсь — ваш командир партизанов Есаульского уезда Анисим Рыжов».

С тех пор с Рыжовым началась переписка. Андрей докладывал ему, сколько человек прибыло, кто такие и откуда. Получал новые указания. И даже посылки — то мешочек муки, то кусок сала, или каравай мороженого хлеба.

В начале весны Андрею приходилось посылать нарочного чуть ли не каждую неделю. Если зимой к отряду прибивались самые разные люди из всяких мест — больше всего поротые мужики, охотники, ограбленные бандитами, безлошадные ямщики и извозчики,— то весной вдруг пошли домовитые, богатые крестьяне. Они приходили со своим оружием, с запасом хлеба и сала, хорошо одетые, да еще и с сапогами в запасе — на лето расчет был. Шли с сыновьями, с братьями и зятьями, располагались степенно, жили без суеты, даже не ленились рубить избушки на будущее. С их появлением жизнь в партизанском стане вдруг стала меняться. Андрей почувствовал, как в полуголодном, уставшем от зимы отряде начала пробуждаться какая-то основательность и спокойная уверенность. Лобытов беседовал с каждым прибывшим мужиком, расспрашивал его, выпытывал подноготную и поначалу только разводил руками. Однажды ночью он разбудил Андрея и спросил:

— Ты знаешь, на что все это походит?

— На что? — усмехнулся Андрей.— Потеплело, вот и пошли. Зимой они не дураки в тайге мерзнуть.

— Идут-то не поротые, зажиточные. Им бы у Колчака самое место. А они — к нам.

— Видно, ваши агитаторы работают,— предположил Андрей.

— Сагитируешь таких, как же,— вздохнул Лобытов.— Они к себе и не подпустят никого... Я вот что надумал: все это похоже на кулачную драку; у вас дрались в деревне?

— Дрались — не то слово,— сказал Андрей.— Насмерть со свободненскими сходились. Откуда, думаешь, название — Кровавый овраг?

— А у нас не так было, до смерти сроду никого не били. Наоборот, заповедь такая существовала — помоги слабому. Понимаешь, в чем дело? Мужики эти за слабых идут! Видят, кто больше страдает, за того и идут! — Лобытов возбужденно пометался по избушке.— Это ж надо, а? Понимаешь?

— Ты рассуждаешь примерно, как мой брат,— серьезно заметил Андрей.— Он тоже считал, что народ всегда заступится за мученика.

— А кто был твой брат?

— Монах.

— В самом деле?

— Да, и умер монахом,— сказал Андрей.— Он город спас от карателей. Слышал о князе Нарокове?

— Погоди, я что-то слышал о монахе,— начал было Лобытов, но Андрей перебил:

— Ничего ты не слышал! И слышать не мог! Его тихо привезли и похоронили в монастыре...— Он сел, свесив ноги на холодный пол.— Я пока ничего не понимаю, что делается. Не знаю даже, что и со мной происходит! Я ведь тоже должен быть с Колчаком, а не с вами! Да, с Александром Васильевичем. Или со своим дядей!.. Ну, подумай: я — офицер, дворянин, помещик. Вон мое поместье, рядышком. Редкость в Сибири... Дядя — полковник, другой — владыка, архиерей. Отец — конезаводчик! А умер, когда поместье грабили. Мать в монастырь ушла. Сестру, Оленьку, наши, красные, расстреляли как заложницу. За меня! Понял ты или нет?! А меня — под залог в Красную Армию!.. Мог ведь давно уйти, а я все тут! С тобой! И запомни: не приблудился, не случайно прибился к вам. Сначала — под залог, а потом — сам пошел, сам! Почему? Пойми, Лобытов, я не взвешиваю: от кого зло, от кого добро... Не это! Я понять хочу — почему я здесь, а не там? Между мной и Колчаком — «эшелон смерти»! Но не в нем только дело! Не в нем...

— Андрей, тебе в партию надо,— сказал Лобытов.— Ты потому и понять ничего не можешь, что у тебя нет классового подхода к вопросам.

— Если у тебя классовый подход, так ты сразу все понял? — огрызнулся Андрей.— Чего же тогда голову ломаешь — почему крепкий мужик в партизаны идет? А?.. Нет, Лобытов, тут еще есть какой-то подход. Глубокий — дна не достанешь. Саша туда и пошел...

— Кто? — спросил Лобытов.

— Брат мой, Саша... И Ульян Трофимович, кажется, туда же идет. Он-то с германской большевик. А когда барина грабить кинулись — не пускал! Господи, а Рыжов? Командир наш?! За революционера на каторгу пошел, а теперь — за новую власть воюет. А где тот революционер?.. Ну как тут понять? Как?!

— Когда-нибудь поймем,— не сразу ответил Лобытов.

Андрей лег, укрылся с головой полушубком, отвернулся к стенке.

— Когда-нибудь мне не надо,— глухо проговорил он.— Сейчас хочу. Потому что я — человек...

К концу апреля посинел Повой, заголубели другие таежные реки, на солнцепеках согретые корни трав дали молодую поросль. Но в тайге еще лежал глубокий и тяжелый, как намокшая перина, снег. Ночной морозец сковывал на несколько часов сугробы, наст держал человека и лошадь, но едва солнце поднималось и набирало жар — люди и животные вновь становились беспомощными в зыбкой белой трясине.

В отряде насчитывалось уже до полутора сотен штыков, так что Андрей имел в руках силу, втрое большую, чем его командир в Свободном.

Рыжов в своих приказах хвалил его, а потом и вовсе удумал — назначил Андрея на новую должность — «заместителем командира по сбору народа в красные партизаны и начальником штаба войска Анисима Рыжова». Андрей писал ему, что он в общем-то ничего не делает, что народ собирается сам, однако Рыжов в благодарность прислал ему саморучно выкованную, тяжелую и широкую, как мясницкий топор, саблю. Андрей прикинул ее в руке: кузнец ковал оружие по своим силам и такой саблей можно было разрубить человека от головы до пят. Ходить с нею было невозможно, и Андрей сдал ее в обоз. Вместе с саблей была короткая записка: ждать команды к выступлению.

Андрей ждал неделю, но поток приказов и распоряжений из Свободного вдруг прекратился. Тревожась, Андрей послал нарочного, однако тот не вернулся в назначенный срок. Отряд был готов к выходу из тайги, партизаны ждали последней команды, обоз из десятка саней с увязанным тыловым имуществом примерзал каждую ночь к земле, и утром приходилось отрывать его стяжками. Выждав еще сутки, Андрей решил выйти самостоятельно — в ночь, как только снег схватится настом.

С вечера никто не спал, и Андрей, заглядывая в избушки и бараки, видел, что в углах, перед иконами, горят свечи и многие мужики молятся. В этом ничего не было удивительного, но вид вооруженных, обряженных на войну мужиков перед образами навевал какие-то глубокие, древние воспоминания, и в душе рождалось предощущение величия грядущего дела.

До Свободного, по расчетам, было три дня хода с обозом. Это расстояние скорые на ногу лыжники из крепких мужиков-охотников одолевали за сутки. Тронувшись с места, Андрей выслал еще одного нарочного, уже чувствуя, что у Рыжова что-то случилось. За ночь и утро прошли верст двадцать, и когда наст начал проламываться под санями, но еще держал человека, Андрей приказал отряду двигаться дальше без обоза, сняв с него запас продуктов и патроны.

Шли почти до полудня, пока не увязли в снегах. Слетал с лыж исполосованный в клочья камус, а голицы, изодранные настом, лопались и просвечивали насквозь. И едва развели костры, как увидели впереди двух ползущих по топкому снегу людей. Досю Андрей узнал с трудом: черный, с окровавленными руками и лицом, он походил на вытаявший из-под снега труп. Другой, обгорелый, был замотан тряпьем, из которого проступал один рот. Лишь после того как Дося пришел в себя и начал говорить, выяснилось, что другой с ним — Ульян Трофимович.

Рыжов, благополучно прозимовав в Свободном, к весне потерял всякую осторожность. Он выставлял караулы на дорогах, но партизаны, привыкшие к вольной, семейной жизни, сбегали домой либо спали по избушкам на пашнях. Колчаковский отряд, состоявший больше из итальянцев, вошел вечером в Березино и, не задерживаясь, двинулся на Свободное. Полусотня Рыжова даже не смогла оказать сопротивления. Партизан вытащили из домов в исподнем, согнали и заперли в амбар. Самого Рыжова взяли в кузне.

Дорвавшись наконец до наковальни и горна, изготовив новый инструмент, он взял в подмогу двух молотобойцев и работал день и ночь. Ковали пушки, сабли и копья, чинили плуги и телеги. Когда итальянцы вошли на стук молота, Рыжов пил из ведра воду. Молотобойцы спохватились сразу, взялись за сабли, что оказались под рукой, и успели зарубить троих. И лишь когда загремели выстрелы, Рыжов оторвался от ведра.

Его застрелили в упор. Он поставил ведро на верстак, потянулся рукой за кувалдой и упал животом на наковальню.

Замерзшие на ночном холоде итальянцы сгрудились возле горна и стали греться.

В ту же ночь партизан связали веревками и, босых, в исподнем, повели в Березино. По дороге четверым удалось бежать. Изрезавшись о наст, они с горем пополам добрели до охотничьего зимовья, давно не топленного и стылого, разожгли печь, нашли кое-какую одежонку и завалились спать. Ночью избушка загорелась. Дося успел выскочить почти невредимым и вытащил Ульяна Трофимовича. Двое других сгорели заживо, так и не проснувшись.

Спустя двое суток стала известна судьба остальных партизан. Их привели на берег Кровавого оврага, поставили на оттаявшем и уже зазеленевшем берегу и порубили шашками.

А наутро березинский пастух выгнал уцелевший от грабежей и поборов скот — в ту весну от бескормицы пасти начали рано. Отощавшие коровы выбрели к Кровавому оврагу и, почуяв свежую кровь, обезумели. С диким ревом, будто обложенные волчьей стаей, они повернули назад, затоптали растерявшегося пастуха и ринулись к селу.

Итальянские солдаты выбежали на шум из домов, но, увидев ста-

до, тут же и успокоились. Коровы неслись по Березину, сворачивая палисады и сбивая с ног людей. От рева и безумства скота взбуитовались верховые лошади колчаковцев, закрытые в леваде. Сломав жердяной забор, они вырвались на волю и помчались навстречу стаду...

Неизвестно, что случилось бы в центре Березина, если бы русский поручик не приказал открыть огонь по скоту. Итальянцы били из-за заплотов, сваливая тощих животных на грязный лед. Через минуту улица покрылась вздыбленными ребристыми коровьими боками, словно опрокинутыми долбленками, и по ним, как по барабанам, галопом проскакал табун одуревших лошадей...

Березино брали с ходу, развернувшись за околицей в густую цепь. Колчаковцы знали, что часть отряда находится далеко в тайге, и не ожидали скорого нападения. Отрезанные от Есаульской дороги, они, отстреливаясь, стали беспорядочно отступать. Сначала их били прямо на улицах, уже очищенных жителями от мертвого скота, вытаскивали из подполов и сараев, доставали с крыш, потом погнали в Свободное. Лобытов задержался со взводом прочесать окрестности, Андрей же продолжал с остальными преследование.

Когда Березино полностью освободили, Лобытов заспешил вслед за Андреем. Но прежде нужно было распорядиться насчет восьмерых пленных итальянцев, которые, став вдруг какими-то вялыми, будто заморенные телята, конечно же, помешали бы боевому маневру.

Народ уже выбирался из погребов и бань, заполняя улицу, таращил глаза на разгоряченных перестрелкой партизан.

— Кто отведет пленных в Свободное? — крикнул Лобытов, оглядывая жителей.

Люди молчали, жались друг к другу — старики, старухи, ребятишки.

И вдруг вывериулся кто-то в длинном тулупе без рукавов.

— Я! — закричал он.— Дай ружье! Я отведу!

Лобытов глянул на добровольца; отметив в его зрачках какой-то блеск, вынул затвор из трофейной винтовки, подал в руки:

— Веди!

А сам пошел со взводом на Свободное.

Ленька-Ангел выстроил итальянцев в затылок друг другу, сам занял место сзади и повел. Березинские провожали его немигающими, будто иконописными глазами.

А Ленька привел пленных на берег Кровавого оврага, откуда совсем недавно развезли и схоронили порубленных партизан, поставил на самый край обрыва и торжественно объявил:

— Привел я вас. А уж далее-то сами полетите. Я ангел! Ангел!

И переколол всех штыком.

33. В ГОД 1920...

То, что он теперь свободен и будет жить, Андрей понял лишь в тот момент, когда в кабинет ворвался Тарас Бутенин и стал обнимать его, дурачась и покряхтывая от радости.

— Я же верил! Верил! Вот она — революционная справедливость! А то как же так: героя войны, заслуженного краскома — и к стенке?! Кто ж тогда воевать будет? Контру добивать на всех фронтах?! Я верил! Верил!

«Неужели опять жить? — думал Андрей с каким-то непривычным разуму чувством.— Жить, жить...»

Снова — жить! В который раз? И опять он — никто! Как после «эшелона смерти», как потом, после ухода из Есаульска в восемнадцатом. Значит, опять надо подниматься из небытия, куда-то идти, что-то делать? А куда? Впрочем, известно — куда. Идти надо до к о н ц а... А где он, этот конец, где и в чем его суть, если не в смерти?!

Дурашливый смех Бутенина, его медвежьей силы руки мешали Андрею.

— Слышь, Николанч! А представляешь, лет эдак через полсотни как мы будем вспоминать, а? — хохотал Тарас.— Как я тебя под конвоем, а? Как ты от меня деру дал! Как мы с тобой по степи-то, по костям. Ужас!.. Вот умора будет, Николанч!..

Пришел наконец Шиловский. Озабоченно порылся в сейфе, затем сел за стол и надел пенсне. Бутенин вытянулся, и остатки веселости медленно сходили с его лица.

— Прошу выйти,— строго сказал Шиловский.

— Товарищ комиссар, я хотел...— начал Бутенин и развел руками.

— Прошу! — Шиловский указал на дверь.— Вы мешаете работать.

Бутенин козырнул и поплелся к выходу.

Шиловский поворошил бумаги и взялся накручивать телефон. Говорил с кем-то коротко и односложно, больше слушал и записывал. Несколько раз Андрей чувствовал на себе его взгляд и поднимал голову.

Наконец Шиловский положил трубку и улыбнулся.

— Чем же вы опечалены так, Андрей Николаевич? Вас хорошо принял товарищ Троцкий. И вообще все складывается для вас неплохо.

— Неплохо? — переспросил Андрей.

— Думаю, да,— Шиловский написал что-то на листке, протянул Андрею: — Сейчас ступайте в Ревтрибунал. Там получите все необходимые бумаги, мандат... Да и переоденут вас там же. Возможно, и переобуют, если у них сапоги есть. Недавно еще были. Там же получите охрану. Берите же, ну?

Он протягивал сложенный вдвое листок.

— Зачем?.. Сапоги, охрана... Зачем? — спросил Андрей.

— Затем, что вы утверждены председателем ревтрибунала по освобожденным районам Восточной Сибири, — улыбнулся Шиловский. — Ну, берите же! У меня рука отсохнет!

— Я? — Андрей встал.— Мне судить? Меня назначили судить?!

— И не только судить, — уточнил Шиловский. — В трибунале получите все инструкции. У них свое ведомство, так что отдаю вас...

Он подошел к Андрею и засунул бумагу в нагрудный карман, прихлопнул клапан.

— Судить... А кого? За что?..

КОНЕЦ ПЕРВОЙ КНИГИ

Владимир ЛЬВОВ



ДОЛЯ ~ ЛЕС ДА ПОЛЕ...

Я оттуда...

Воля, воля —
Лес да поле,
Речка чистая до дна —
Каждой капелькой видна.
И пастух наш дядя Коля
Средь буренок и овец.
Дядя Коля молодец:
Делал нам свистки и дудки
Из малины, из ольхи.
Наизусть читал стихи.
Анекдоты, байки, шутки
Мог рассказывать он сутки...

Я оттуда, я оттуда:
Я от матери-отца,
Где крапива у крыльца,
Где зеленого мальца
Не учили делать худа,
А учили хорошо.
Я оттуда и пошел
По тропинке, по дороге,
По обочине — бегом,
Мну крапиву сапогом...
А когда устанут ноги,
Я опять вернусь туда,
Где прозрачная вода...

Наша доля —
Лес да поле,
Сев да жатва, бабки льна,
Да горбатая спина,
На рубахах блестки соли,
Да мозоли на руках,
И во всех мирских делах
Соучастье: часть я, часть я...
С пасхи и до покрова
Солнцу — добрые слова,
И недобрые — ненастью.
Наше счастье —
тоже счастье...

Я оттуда, я оттуда —
Из деревни той глухой,
Зарастающей ольхой.
Я дитя судьбы лихой:
Где река и где запруда?
Русло, омут, брод — беда!
Утекает та вода,
Что векамн нас поила.
Жи́ла, жи́ла,
Где ты, жила? —
Раз могила, два могила:

Бабка...
Дед...
Отец...
И мать...
Приезжаю поминать.

Жили-были, ехали...

Снег скрипел, похрустывал,
Будто накрахмаленный,
Был колюч по-мартовски,
По-апрельски сиз.
Конь морозец чувствовал,
Обегал проталины,
Фыркал и шарахался
От зверей и птиц.

То впадал в апатию:
Спотыкался, вздрагивал,
Пятился — и холкою
Доставал дуги,
Будто вместе с батею
Лакомился брагою,
Будто вместе с батею
Пил «на ход ноги».

Ели придорожные
Задевали ветками.
Перед каждой елкою
Я орал: «Ложись!»
Ехали порожними
Мы от бабки с дедкою.
Батя пел «Коробочку»,
Толковал «про жисть»:

«Я, сынок, хоть выпимши,
Даже, может, пьяненький,
Языком, однако же,
Не люблю чесать —
Завтра денег выпишу,
И куплю вам пряников,
Мамке боты новые,
А коню овса».

Жили-были, ехали...
Батя врал по-всякому,
Будто в нашем озере
Кит живет давно:
«Тут, сынок, до смеха ли —
Вот у дяди Якова
Кит сорвался с удочки
Толстый, как бревно!»

Завтра мы обедали.
От кустов акации
Батя шел невесело
На слона похож.
Денег в кассе не дали,
Дали облигации:
«Хошь — езжай за ботами,
Хошь тебе, что хошь».

Вот такие пряники:
Хорошо ли, плохо ли —
Только что поделаешь —
Был голодный год.
Жили мы без паники,
Ели квас с картохою
И амбарной крышею
Мы кормили скот.

Помню май. В черемуху
Солнышко вплетается,
Все кусты накинули
Летний свой наряд.
Лошадь в поле вывели,
А она шатается:
«Кушай травку, милая,
Все пойдет на лад!»

«Ё-моё, шухры-мухры! —
Лошадь стала клячею,
За нее на ярманке
Не дадут пятак». —
Батя матом крышу крыл,
Матом приколачивал:
«Ё-моё, шухры-мухры!
Так твою, растак!»

Стихи, написанные сегодня

Паслись стада:
Одно большое —
За редким лиственным леском,
Другое — рядом, где низком
Туман стелился от реки.
Косили сено мужики.
И на полях до горизонта
Шумели желтые овсы.
И шли минуты, шли часы,
И так смеркалось незаметно...
Люблю деревню беззаветно!
Я вырос в ней. Я понял здесь,
Что в гору с воза надо слезть,
Что сладок плод, когда — запретный,
Что без труда не проживешь,
Что на наземе гуще рожь
И тяжелей, и туже колос
И что пора... иметь свой голос.

Прошли года.
В деревне нашей
Осталось пять жильцов всего.
В соседней — вовсе никого.
Закрыли клуб, потом ларек,
И школу тоже — на замок.
Есть, слава богу, телевизор
(А кроме нету ничего),
«Играй, гармонь» гляжу в него.
Своя гармонь лежит в чулане,
Сосед частушки не горланит,
А я без музыки пою
О том, что в перспективном плане
Деревню не найдешь мою;
О том, что русские цыгане
Поразбрелись по городам,
И дети их по их следам;
Что по реке от удобрений
Плывут вверх пузом пескари;
И что, хоть пламенем гори,
Но до моих стихотворений
Уже нет дела никому...
Лишь только ветру одному.

Степка

Вы не поняли нашу жизнь —
Говорите: светает, кажись,
Зря поэт, мол, деревню хает...
Где светает-то, где светает?!

Это Степка приехал, сосед,
Это Степка, от пыли сед
И от жизни. Какой он старый?!
«Тары-бары да тары-бары...»
— Степ, да выключи, к черту, фары!
И ложись на здоровье спать.

Полночь.
— Завтра во сколько?..
— В пять...





Ярослав ШИПОВ

ТАК И ЖИВЕМ

РАССКАЗЫ

Проголосовали, утвердили...

Городишко этот знаменит лишь своим прошлым: лет сто назад некая предпринимательница, скупив в округе леса, основала здесь бумажную фабричонку, которая вскорости начала поставлять бумагу двору его императорского величества и королевским дворам Европы.

Дело велось с размахом, но осмотрительно: из сотни деревьев ежегодно вырубалось только одно и на его место непременно высаживалось малое деревце хвойной породы.

Фабрикантша облагодетельствовала город железнодорожной веткой, школой, больницей, церковью, магазинами, народным домом — театральным зданием с механизированной сценой и, наконец — «рейнскими погребами», в которых к стакану деликатнейшего вина бесплатно прилагалась телячья котлета. Монопольку же изгнали в сельцо верст за десять, это вызвало гнев губернских властей: полицмейстер срочно выехал наводить порядок, да в тот же день ни с чем и вернулся — своенравная барыня даже не соизволила явиться на станцию, и встречала полицмейстера лесная стража — дюжина мужиков как на подбор: все могучие, с бородами, все в одинаковых кафтанах, у каждого за плечом ружье. Высокий гость плюнул в сердцах на перрон и тем совершенно исчерпал содержание своего визита.

Потом, правда, в каком-то собрании губернатор сумел уговорить фабрикантшу, и вертеп был приближен к городу на три версты.

В двадцатых годах эта одинокая женщина скончалась от голода.

Фабрика и доныне стоит: она сильно выросла и производит гофрированный картон. Служит и железнодорожное полотно, не ремонтировавшееся, впрочем, со времени дровяных паровозов, служат и больница, и школа, и народный дом, и магазины. Церковь вот только снесли да лес повырубили.

По всему видно, что хвалиться сегодня нечем. Но разве может провинция без хвастовства? Нет, конечно. Даже при самой бледной выразительности бытия хоть какой-нибудь повод да найдется: на безрыбье, известное дело, и рак — рыба, а на безлюдье и Фома — дворянин. Однако ругать за это провинцию не следует, так как происходит упомянутое хвастовство не столько от самомнения граждан, ее населяющих, сколько от их неукротимой любви к родной земле.

Наш городишко тоже повод похвалиться нашел: «Про Степакова слышали?.. Не слышали? Ну как же!.. Как кто такой? Герой! Всамделишный! И всяких прочих орденов и медалей — прорва: жена его десять лет только тем и занимается, что атласные подушечки шьет. Шьет, шьет — и все мало. Да как же вы не слышали?.. Удивительно... Ведь Степаков, он... он...»

Степаков, он — достопримечательность местного масштаба и ничего более. Был некогда депутатом, выступал на собраниях, призывал в районной газете к повышению урожайности и надоев, потом начисто отошел от общественных мероприятий,

купил в пустующей деревеньке избу и уединился для охоты и пчел, которых в иные годы держал семей до шестидесяти.

Говорили про него, что он браконьер, балуется пушниной,— не ведаю. Может, оно и так, даже скорее всего — так. Но, решительно отвергая всякое нарушение всякой законности, замечу, что пушное дело у нас слажено крайне несовершенно и потому лишь малая часть вольной — то есть добытой охотниками — пушнины попадает в руки фабричных меховщиков. Несоизмеримо большая часть, минуя эти руки, сразу оказывается на плечах и головах морозонеустойчивых граждан.

Говорили еще, что жена Степакова погуливает. Я и про это совершенно ничего не знаю, однако знаю, что она лет на двадцать моложе его, как будто бы весьма недурна собою, что детей у них нет и что супруг с весны по ноябрь — далеко в лесу. Конечно, о семейной гармонии говорить в данном случае затруднительно.

По всей вероятности, Степаков приметил девушку в ту пору, когда находился возле самой вершины районного «Эвереста». А потом он что-то гору оставил, да и сил, наверное, поубавилось... Эти обстоятельства едва ли могли притягательным образом подействовать на молодую красавицу.

Родом он был вологодский — из Тарноги, кажется, или из Тотьмы — не помню, боюсь соврать.

Однажды мне довелось провести у Степакова в гостях целый день, и то, что он рассказал мне, заслуживает куда большего внимания, нежели свойства его семейного жития, которые, сколь ни были бы они грустны, вряд ли обнаружат в себе хоть гран неожиданного.

Произошло это на весенней охоте. Я искал дорогу к труднодоступному мху, славившемуся обилием глухарей, не нашел и коротал вечер на тяге. Место казалось мне вполне подходящим, однако ни одного выстрела сделать не довелось. Между тем совсем неподалеку стреляли, и весьма часто. Я поднялся — по моим расчетам, вокруг широко расстилалась ненаселенная глухомань, болота, и вдруг... Переночевав у костра, отправился в направлении вчерашней канонады, вышел на заросшее мелким березняком поле — посреди поля стояла изба. Вот так, вполне нечаянно я и оказался у Степакова в гостях.

Мы, понятное дело, представились. Звали Степакова редкостно — Досифеем Анастасьевичем,— и разговор естественным образом склонился к обсуждению прежних имен.

— У нас там,— начал Степаков про Тарногу или про Тотьму,— что ни старик, то по нынешним временам какая-нибудь диковинка. На грамотных батюшек, видно, везло — грамотные священники обычно по-гречески увлекаются. Вот, скажем, дядька мой — Феогност Философьевич или сосед — Калинник Евстратиевич... Старшую мою сестру Хионией зовут, младшую — Аскитреей...

Он перечислил еще десятка полтора родственников и знакомых, и это все были Нифонты, Ианикиты, Полиевкты, Менандры, Пантелеймоны и даже один не то Лавр Флорович, не то Флор Лаврович — неукоснительный, конечно же, латинянин.

— В двадцать восьмом батюшка отбыл на Соловки, и начали чудить кто как умеет: появились Исланд, Электрофик, Флюенца, Гоэлра... А теперь везде одинаково: Вовки да Сашки, Таньки да Наташки — имена ничего, неплохие, но зачем же такое оскудение?

Я согласился, что это никуда не годится.

Степаков угостил меня чаем с лепешками, которые пек вместо хлеба — весьма, кстати говоря, приятными на вкус,— и вызвался проводить до глухариного тока.

Шли мы по узкоколейке, проложенной в довоенные времена и брошенной в начале шестидесятых. Местами ивняк и лещина подступали уже к самому полотну, однако между рельсами оставалась еще тропинка — твердая и сухая, по которой можно было идти гуськом — так мы и шли: впереди Степаков, я — следом. И разговаривали.

— А как вы сюда попали? — спросил я его.

— После войны-то?.. Приехал знакомые места посмотреть — и остался. Я ведь воевал здесь. Об этом, правда, мало кто знает. Воевал, понимаете ли, так, что ни одного выстрела и не сделал — из окружения выходил. Аккурат по этому узкоколу. Вообще-то мы южнее стояли... Под Москвой наступление давно идет, а мы ждем-пождем. Ну, в феврале — марте командование стало примериваться: то деревеньку жалкую возьмем, то высотку. Немцы вышибут — мы по новой. Вот так с пушчонкой

однажды и влипли: сунулись удирать — сзади танки, мы в лес — там болото, обогнули болото — немецкая часть стоит, мы дальше на север. Вдоль линии фронта и перлись. Километров сорок, наверно. И все с пушечкой, а боеприпасу — один снаряд, подорвать в случае надобности... Сейчас к речке выйдем — посмотрите...

Подошли к речке. Деревянный мост, некогда переброшенный через нее, давно разрушился, однако в нагромождении балок Степаков знал надежный ход, и мы, карабкаясь с бревна на бревно, медленно, но вполне благополучно переправились.

Мне доводилось слышать множество военных историй, однако я впервые находился с фронтовиком в местах его боевых действий, в местах, что немаловажно, почти не изменившихся за сорок лет, да еще и время года совпало...

— Мы чего шли к северу? Знали, что здесь, в болотах, сплошной линии фронта нет, и надеялись проскочить где-нибудь. Вот до этого места ползли трое суток — по десять верст в день. Хорошо еще, что снега не было. Огня не разводили: лапнику наломаем, уляжемся потеснее — вот те и вся ночлежка, околеваем, но спим. Харч давно кончился... Ну а сюда вот, к реке, вышли и поняли: не видали мы еще настоящего лиха... По мосту не перебраться — охрана, а река разлилась так, что... ну как сейчас!..

Сейчас лес был затоплен. Из темной, почти черной воды торчали кое-где верхушки цветущей вербы. Я спросил Степакова: что же тут охраняли немцы? Оказалось, узкоколейка использовалась для снабжения войск.

— Танки по ней, конечно, не перебросишь, но живую силу, продовольствие, боеприпасы, да и орудия, если небольшого калибра,— можно. Тут вагончики были, платформы, паровозики «кукушки» — движение круглые сутки шло. Специальные бригады путь ремонтировали, словом, жизнь кипела. Ну и охранялось все по высшей немецкой категории... Решили переплавляться. Отошли от дороги подальше, связали из валежин небольшой плот — нескладный, помню: все бревна разной длины — топорами-то не постучишь, так что — где длинное, где короткое... Ну вот: закрепили пушечку и — сначала пеше, потом вплавь, потом опять пеше — выбрались кое-как. Целый день потеряли! Прошли маленько, а дело к ночи уже; сбегал один на разведку, говорит: так и так, впереди поле, на поле — деревня, у опушки — сарай. И мы из последних сил как рванули в этот сарай... Затолкали пушку, попадали на гнилую солому, и — как не было нас... И вот ведь, брат: знали, что немцы кругом, но... какое там! Помню, последняя мысль была: пусть хоть убьют, только бы не разбудили. Проснулись к полудню. Выглядываем — рядом с сараем этим... ну, метрах в пятнадцати — проселочная дорога и следов на ней немецких полным-полно, да все свежие, прямо на глазах жижей затягиваются. То-то, думаю, немцы мне снились — а они несколько раз снились: смеялись, кричали что-то, но я все равно не просыпался — сил не оставалось, так что наплевать мне на немцев было... А тут гляжу: не сон это — шли они вот здесь, совсем рядом, и смеялись, и разговаривали... Ну ладно. Просидели до темноты, а жрать охота!.. Направили одного в деревню. Возвращается: вареной картошки принес и рассказывает, что с утра мимо нашего сарая прошло четыре немецких взвода, вот так-то... Чудо нас сберегло, не иначе — надо же: никто не заглянул в ворота! Сидим мы, значит, голодные, продрогшие, и не знаем, куда дальше двигать. Ночью подваливают разведчики — наши, стало быть: тоже по деревне шастали, деревенские их и навели. Пушку заставили бросить: мы ее, понимаешь, волокли, волокли, столько мук из-за нее перетерпели, и — на тебе. Но пришлось, с нею бы нам не выбраться. Вывели нас разведчики, сдали куда положено, тут само собою допросы и проч. и проч... Не люблю я про это распространяться — невеселые были времена... Ну вот, вы и пришли.

Подошли к стрелке — они и раньше попадались, ответвления от основного пути,— однако нужный мне поворот был именно у этой стрелки. Здесь нам предстояло расстаться, Степаков объяснил дальнейшие ориентиры, я поблагодарил и на прощание поинтересовался: с чего это он оставил шумную деятельность?

— А, это... Да никакой тут загадки нет: удушения не выдержал... Как бы вам это растолковать?.. Ну, к примеру, стал раз вопрос: сносить церквуху или реставрировать? Она в упадок пришла — луковицы с нее упали... Проголосовали, утвердили, снесли. Потом насчет очистных сооружений: проголосовали, утвердили, новый цех пустили без них, рыба в реке передохла. Вокзал сто лет не ремонтировался, в больнице пол сгнил, в школе потолок осыпается: проголосовали, утвердили, банк построили двухэтажный. Хотя на кой он надобен, этот банк, если весь городской бюджет в кармане

штанов унести можно? Да что там банк—восемь памятников отгрохали, из них пять — одинаковые, но главное не в этом, главное — большие и не дешевше столичных!.. В общем, разваливали, разваливали город, наконец и до деревни добрались: как сессия — так новый список. Проголосуем, утвердим — и радио, электричество отрезаются, школы и магазины закрываются, почта обслуживать перестает, люди уходят... Вот так однажды прозевал я свою деревню — ну, ту, в которой мы дрыхли-то... Списком голосовали, а в списке — деревень двадцать было. Когда спохватился — поздно. Вот тут-то угнетенность мою как ветром сдуло: доколе, думаю, буду я совесть душить?.. Ну, бросил все, купил последний домишко и держусь теперь. Что ж, брат? Эта деревня нам жизнь спасла. И дело не только в том, что немцы нас спящих миновали: мы ведь, кто пушку тащил, с войны-то все до единого возвратились, кумекаешь?

Я признался, что не понимаю.

— Это, действительно, трудно понять... Но мы тогда научились, можно сказать, самому главному: мы усвоили, что война — это прежде всего жуткий труд... Жуткий, не-че-ло-ве-чес-кий!.. А уж стрельба, взрывы, ранения, смерть — так, десерт. В общем, заматерели мы за те дни и дальше уж воевать нам было полегче — полегче, чем до того, и полегче, чем многим другим, хотя, конечно, и нас подырявило... А пушечку все равно жалко... Ну ладно, бывай здоров...

Спустя год я узнал, что Степаков срубил баню, еще через год там построило избу местное охотничье общество, а нынче осенью, говорят, колхоз спалил мелколесье и вспахал поле — глядишь, весной что-нибудь и посеют.

Уездный чудотворец

ЖИВУ я в «академическом» доме. Сосед слева — физик, справа — биолог. По вечерам они бегают «от инфаркта». Бывало, встретимся, спросишь: что нового? «Еще одну частицу открыли»,— кричит, убегая, физик. «Еще один вид вымер»,— не останавливаясь, отвечает биолог.

Мой дед — Иван Ильич Вáкуров — родился сто лет назад в кромешной глуши. Детство и юность его скрылись за непроглядною мглою времен, и никто никогда уже не расскажет ни о его отце, ни о матери, ни о той школе, где он изучал «аз, буки, веди, глаголь, добро»,— памяти об этом на земле не осталось.

Потом наступил двадцатый век, завязалась русско-японская, и дедушку мобилизовали. Первое дело, в котором ему довелось участвовать, случилось не под Мукденом и не под Ляояном, а в значительном от них отдалении — на перегоне Галич — Шарья. Здесь был обнаружен труп офицера, выпавшего из предыдущего эшелона, и новобранцу Вакурову приказали охранять этот труп до прибытия судебно-медицинских экспертов. Господин полковник самолично предупредил: «Дело это — государственной важности». И поинтересовался насчет дедушки:

— Он часом не япономан?

— Никак нет, ваше превосходительство, он — паровозофоб,— ответил штабс-капитан.

(Любовь к словотворчеству «на заграничный манер» впоследствии дорого обошлась господину полковнику: он был разжалован за то, что назвал генерала Куропаткина «простофилом».)

Остался Иван караулить — начальство обещало, что утром приедут доктор и военный прокурор. «А может, сам господин генерал пожалует»,— обронил между прочим полковник.

Было полнолуние, глаза мертвеца и начищенные сапоги его жутко блестели, но Иван не отходил ни на шаг — исполнял приказ. И пролетали паровозы, осыпая что живого, что мертвого искрами, обдавая паром, дымом и кислым запахом перекалившегося угля. Как еще дедушку бутылкой не укокошили — прямо над головой просвистела.

Потом вдруг — поздно ночью уже — послышался вдалеке разговор. Иван насторожился. Глядит — человек идет.

— Стой!

— Это я,— говорит,— Нюра.

Баба, стало быть.

— А кто еще с тобой?

— Никого, одна я.

Подошла, увидела труп, заверещала, да к солдату на грудь: «Ой, боюсь! Ой, умираю! Ой, не могу!»

— А с кем это ты разговаривала?

— Ах, это вам приблазнилось.

— Дак вроде разговаривала.

— Ну, может, если только сама с собой, чтобы не так боязно было. Ну проводите же, а то я в омморок упаду или совсем умру.

И падает.

Испугался Иван, подхватил бабу:

— Так и быть, провожу, но недалеко: мне никак нельзя отлучаться — дело государственной важности...

— Ну хоть сколько-нибудь, а то — такой интересант и такой бессердечный: я ведь совершенно умереть могу.

Повел он ее, а самому все чудится: шебуршит за спиной кто-то... Но только обернется, Нюра сразу: «Ах, умираю!» — хвать его за рукав и виснет. Сколько-то протащились, бабешечка поуспокоилась, поутихла.

— Благодарствую,— говорит.— Дальше я и сама дойду. Извиняйте, что оторвала вас от военного дела.

Возвращается Иван, а «подшефный» его — без сапог. Вот те и Нюра! Стало быть, не одна она шла, в компании... Сапоги же, надо сказать, стоили в ту пору бо-ольших денег. Ну, понятное дело, Ивана тут охватило отчаянье. Такое отчаянье, что другой кто не выдержал бы и на себя руки наложил. Однако дедушка воспитан был в сильной строгости, он полагал самоубийство тягчайшим грехом, да и приказ выполнять следовало.

Прибывшие утром эксперты обнаружили Ивана босым, а офицера — в обмотках. Посмеялись, а потом старший из офицеров спросил:

— Грамотен?

— Так точно. Читать и писать умею.

— Будешь учиться на фельдшера... Здоров, грамотен, честен, с трупом обходишься по-свойски — что еще надо?

Так Иван оказался при госпитале. Тут как раз начались сражения, и учеба пошла донельзя споро: круглые сутки везли раненых, хирурги махали ножами с виртуозностью кавалерийских рубак: ампутированные руки и ноги отскакивали, кровь лилась со столов на земляной пол, гнила в земле и смердила.

С войны Иван Ильич возвратился фельдшером. Военным фельдшером. То есть умеющим оказывать милосердную помощь пострадавшим от пуль, штыков, сабель, огня и осколков. Для мирного времени этого не хватало. Поэтому пришлось съездить в губернию на акушерские курсы, потом — на курсы дантистов, и, наконец, на ветеринарные.

Родной городишко его располагался в такой труднодоступности, что доктора сюда почти не попадали. А если и попадали, то уж не задерживались. И дедушке приходилось одному лечить и народ, и скотину. И он лечил... Но дело, строго говоря, не в этом — не в общественной полезности его лекарской деятельности — полезность тут очевидна, бесспорна, и более к сему ничего не добавить. Дело в том, что жизнь свою Иван Ильич воспринимал до невероятности однозначно: как служение. Он полагал, что в этом служении его человеческий долг на земле, и нисколько не роптал на неудобства: в любое время, в любую погоду за фельдшером можно было прийти, и он, без единого вздоха, смиренно отправлялся к больному.

Денег Иван Ильич не брал. Между тем семья у него была немаленькая — шестеро детей. То есть всего — девятеро, но трое умерли во младенчестве. Вся эта семья жила на фельдшерское жалованье, ну и, само собой, огород выручал. Можно предположить, что бабушку стойкость его по отношению к материальным соблазнам не приводила в восторг, однако сознание этой деревенской женщины не было омрачено туманом эмансипации: она имела ясное представление о своем месте и потому никаких претензий к Ивану Ильичу никогда не высказывала. Возможно, именно это об-

стоятельство и придавало их семейной жизни необыкновенную покойность и прочность.

А еще Иван Ильич сроду ничего не копил, да и домашним не позволял. Он говорил так: если у тебя копится, значит, у кого-то недостает...

Пристрастие к изучению медицины передалось от Ивана Ильича детям, внукам и даже правнукам. Впрочем, это не повлекло за собой наследования иных его одаренностей.

Женился дедушка романтически — невесту взял из Трескова, самой волчьей деревни во всем уезде. Надлежит указать, что в местности той и сейчас волков тьма-тьмущая, а тогда — попросту сознанием не охватишь. Иван Ильич держал на крыльце заряженное ружье и неоднократно бивал зверей прямо в своем дворе, огороженном, как и все прочие дворы этого города, полуторасаженным глухим забором.

Зимой дело было, ехали в санях,— а от Трескова езды верст десять,— волки и налетели. Передал Иван вожжи невесте, сам — отстреливаться. И все бы благополучно, да один пустяк: с невесты платок сорвало. Потом, когда уже спаслись от волков, разыскали, чем повязать невесту,— все ж не с пустыми руками она ехала, кое-какое приданое везла. Вскоре, однако,— дня через два-три,— открылась у нее простуда, стали побаливать уши. Иван Ильич перепробовал известные ему средства, свозил супругу к губернским врачам, но слух ее все слабел. Через несколько лет она оглохла.

Впрочем, и это обстоятельство не нарушило их взаимной привязанности; каждый из них хранил ее до последних дней: Иван Ильич ненадолго пережил бабушку, умер он на ее могиле.

Печальному сему событию суждено было произойти в тысяча девятьсот сорок шестом году, женился же дедушка в тысяча девятьсот шестом — то есть впереди еще оставалось сорок лет жизни.

Три года из сорока ушли на очередную войну — империалистическую, которую Иван Ильич добросовестно отработал в полевых лазаретах двух фронтов: сначала — отступавшего Северо-Западного, затем — блистательно наступавшего Юго-Западного. Домой попал в самом конце семнадцатого. Не успела бабушка высушить слезы радости, как в дверь постучали и на пороге возник мужик:

— Спаситель! Приехал! Иван Ильич! Дите помирает!..

— Иду, голубчик, иду. Сейчас... Только вот саквояжик возьму...

С саквояжем этим Иван Ильич в мирной жизни не расставался. На ярмарку ли идет, на рыбалку — всегда в руке саквояж. Даже на охоту таскал; бродит, бродит по лесу, выйдет к какой-нибудь деревеньке — погреться, чайку попить, заодно и с народишком пообщается: того послушает, тому порошочков даст, тому ранку полечит. А хозяевам, которые его угощали, обязательно дичину оставит — рябчиков, тетерочку: даже пустячной прибыли не мог перенести.

Бывало, спешит со своим саквояжиком по узенькому дощатому тротуару — они сохранились в городе и поныне,— навстречу священник. Остановится Иван Ильич:

— Эх, батюшка, грешен я, грешен — сколь времени уже в храм не хожу!

Тот ему:

— Да что ты, отче?! Если и есть душе твоей сокрушение, так в этом мой грех — мало, значит, молюсь за тебя. Что ты?! Ты уж беги, беги. Не останавливайся.— Благословит фельдшера да еще и вслед не единожды перекрестит.

Когда я родился, Ивана Ильича уже не было. Рассказывали мне о нем крайне немного. И, вероятно, причину этому следовало бы искать в охватывающей нас спесивости: слово «гордость», которое от веку обозначало собой наиболее низменное человеческое свойство, незаметно оборотилось в символ вполне добродетельный. Приличным становилось гордиться званиями, накоплениями, кичиться наградами, успехами, должностями. Понятие престижности завоевывало признание общества и начинало собирать душегубительную свою дань.

Естественно, провинциальный фельдшер оказывался в этих условиях фигурою малопривлекательною, предком, что называется, незавидным. Однако, начав ездить на его родину, я обнаружил, что фельдшера помнят, хотя к той поре со времени его кончины прошло уже лет двадцать пять. Более того, почтительность и благодарственность, окружавшие его имя, были столь велики, что перепадало и мне —

совсем, конечно же, незаслуженно. Но пока неграмотная душа моя робко поворачивалась к Ивану Ильичу, люди, знавшие его, уходили и уходили. В конце концов остались мне одни крохи: разрозненные картинки его бытия.

Во всяком незначительном городишке — так уж заведено — существует шальной краевед, тщащийся доказать, будто все великое на земле произросло из его местности. Вот и здесь нашелся такой. Он быстренько объяснил мне, что половина российских гениев и героев так или иначе причастны к этой отчаянной глухомани, скорее даже не половина, а поголовно все, правда, у него пока не хватает свидетельств, но это — дело времени...

Потом в ворохе знаний своих краевед отыскал кое-что, представлявшее интерес и для меня.

Жил некогда в уезде до чрезвычайности богатый помещик. Прославился он тем, что в годы подготовки Реформы сам попросил у государя вольную для своих крестьян. Государь, надо полагать, увлекся возможностью произвести пробу и высочайшим рескриптом пожаловал всем его крепостным вольную.

Освобождение свое крестьяне восприняли как знак барского неудовольствия: начались обиды, народом овладело уныние, и барину большого труда стоило вернуть в свои земли уверенность и покой. Ни один человек дома родного не оставил.

Об обстоятельствах опыта и о поистине идиллическом его завершении было, разумеется, доложено государю. Что думал он по этому поводу, мы уже не узнаем, но известно, что помещик, о котором идет речь, был экземпляром не самым типичным и потому едва ли много стоил опыт с его крепостными. Дело в том, что экземпляр этот являл собою пример охотничьей безграничности — то есть, с одной стороны, он и страсти своей предавался безгранично, а с другой — охотничья его известность не признавала ни уездных, ни губернских, ни даже государственных границ.

Крестьяне, ему принадлежавшие, ничего не сеяли, но занимались прасольством. А когда из Москвы приезжал барин... нет, не так... Когда барин, скакавший словно на сечь, влетал наконец в свои угодья, крестьяне отбрасывали всякое полезное дело и, надрывая глотки, вопили «ур-ра!» Начиналась охота: гончие, борзые — праздник! Интересно, что угодья его резко отличались от других: просторнейшие луга с оврагами и островками леса — чистая полустепь, тогда как на много верст окрест — буреломы, и все предремучие.

Отохотившись, он убывал в Москву, и снова по деревням — тишь да спокойствие. Чего ж оставлять такого барина?..

Как-то гоняли лису — не складывалась охота, долго гоняли. И вот, когда собаки должны были уже взять зверя, баба-дура возникла: как получилось — никто не ведал. Подскакал барин к лесу: баба орет, борзые рядом стоят, а лисы нет. В сердцах стегану́л бабу арапником, развернулся — да и назад. Вечером сказали ему, что баба преставилась — по горлу он ей попал...

Барин положил пенсион сиротам, вышел в отставку, осел в Москве, ходил каждодневно в церковь, подавал нищим и через несколько лет умер со словами: «Нет мне прощения и не будет».

Сын его совершенно не имел черт, сделавших известность отцу. Да это и понятно: воспитывался он в то время, когда отец безуспешно усердствовал на ниве искупления тяжкой вины. Молодой барин вырос человеком необычайно сдержанным — и в движениях, и в словах. Получив значительное образование, он начал серьезно заниматься экономическою наукой и попал в число тех, кто волею обстоятельств был подвигнут на поиски выхода из смятения, в котором после японской войны пребывала Россия.

Люди эти, известно, взялись за дело резво, и Европа вскорости поняла, что, если не втянуть Россию в войну, ее, быть может, уже и не остановишь...

Ивану Ильичу пришлось раз принимать роды у жены молодого барина, однажды он выдергивал зуб самому помещику, но более всего семья эта подружилась с фельдшером, когда он вылечил старика-кучера. Старик этот был мужем несчастной бабы, некогда убитой арапником, и молодой барин, взваливший на себя бремя отцовского долга, умолял спасти старика. Фельдшер и сам проникся чужой виной, но — чахотка... Разве ее одолеешь?

Отступил, однако. Как? Кто ж знает. И фельдшер не знал — лекарств у него не было. Он, сдается мне, лечил более всего разговорами.

Если барин был молчалив, то уж кучер — напротив: и кашляет, а все бормочет. От него фельдшер узнал, что у молодого барина много врагов.

— Как же так? — не понял Иван Ильич.— Он ведь вроде за мужика, за Россию...

— В точности,— согласился старик.— За Россию, за мужика, оттого и враги.

— Да кто же они?

— Книжники и фарисеи,— удивляясь фельдшерову недоумению, объяснял больной,— кто же еще?

Примерно через полгода после возвращения Ивана Ильича с империалистической войны молодой помещик оказался в уезде: он направлялся в свое имение, чтобы взять некоторые, должно быть, весьма необходимые ему бумаги. Зайдя в избу к фельдшеру, сказал:

— Иван Ильич, дорогой, собирайтесь. Едем в Париж. Все, все вместе: с супругой вашей, с детьми. Едемте. Я назначу вам хорошее жалованье... Мы так привыкли к вам, вы — совсем не то, что эти бездушные городские доктора...

Дедушка выслушал, за доверие поблагодарил, а потом и говорит:

— Это — немыслимое дело.

— Вы же нищий здесь, а там я устрою рекламу — озолотитесь!

Иван Ильич даже растерялся, услышав такую, по его мнению, глупость от образованного человека.

— Желанный, да как же вы?.. Да за право жить здесь и заплатить можно...

— Если б жить! А то страдать, мучиться, терпеть издевательства... А потом погибнуть какой-нибудь нелепой и пустой смертью.

— Дак за право умереть здесь и тем более заплатить следовает...

— Интересно... интересно...

Интереснее всего, что помещик этот не покинул России. Жизнь его оборвалась в 1920 году. При каких обстоятельствах — неизвестно, где он похоронен — тоже неведомо.

Узнал я и еще одну историю, совсем коротенькую. Будто в ноябре сорок первого дедушка сумел предсказать дату контрнаступления под Москвой.

Дело было в больнице. Хворый народ рядил, гадал, и все упирались в двадцать первое декабря — в день рождения вождя нашего.

— Устрашительно,— согласился дедушка.— Очень даже. Но сподручнее все-таки шестого — в день Александра Невского. Единственный святой, который бил немца, так что подходяще шестого начать.

Но вскоре, понятное дело, дедушку разлучили с бабушкой и, по слухам, пригрозили легонько: мол, держись теперь, мракобес, доберутся до тебя... Но тут как раз подоспела сводка о начале контрнаступления, и фельдшер оказался в совершенных героях — одни стали приписывать ему дар прорицания, другие поговаривали о его тайных — через посредничество воюющего на фронте сына — связях со Ставкой. А он лишь недоумевал: когда же как не на Александра Невского начинать подобное дело? Чего же тут непонятного?

В конце сорок четвертого он предсказал еще, что окончится война «на Егория», потому как и «главный полководец у нас Егорий», да и вообще — «так сподручнее». То ли он староват стал, то ли ход его рассуждений был на сей раз недостаточно точен, только уж просчитался фельдшер. Чуть-чуть, в три денька, а просчитался. Случись такое в сорок первом году — несдобровать бы ему, а тут — простили.

Когда умерла бабушка, Иван Ильич стал пропадать на погосте. Народ захаживал за ним и сюда. И фельдшер, по обыкновению безропотно, отправлялся куда звали. Здесь, на погосте, он и упокоился: саквояжик в этот миг был при нем.

Сосед слева — физик, справа — биолог. По вечерам они бегают «от инфаркта». Бывало, встретимся, спросишь: что нового? «Еще одну частицу открыли»,— кричит, убегая, физик. «Еще один вид вымер»,— не останавливаясь, отвечает биолог.

Так и живем.

За тенью

БАБА ГАША из деревни Рысцово Новгородской области рассказывала мне, как вскоре после войны, году, кажется, в сорок шестом, а может, и в сорок пятом, проходили через ее деревню немцы. Несколько раз. Когда парами, а когда и поодиночке.

Она не могла точно вспомнить причину, вынуждавшую их возвращаться из плена пешим путем: не то обворованные, не то проигравшиеся, не то отставшие от эшелона — ну да речь о другом.

Рысцово было в ту пору обыкновенной, разоренной мором и голодом деревенькой дворов до тридцати — малолюдной и почти без мужиков. Прежде здесь насчитывалось более сотни изб, но это давно, до коллективизации. Я же застал Рысцово о семи дворах и одиннадцати жителях, застал в самом начале того времени, когда наши отчины стали делить на перспективные и неперспективные, так что ныне — вполне может статься — деревни и вовсе нет и мало кто помнит о ее существовании.

Самым дорогим достоянием послевоенных рысцовских хором были скорбные фотографии погибших родственников. У бабы Гаши погиб на войне муж Николай. Строгий и ясный лик его осенял из фотографической потусторонности все оставшиеся этому дому дни и ночи.

И вот в такую деревню, в такой дом приходили немцы. За скудный харч, за ночлег в сарае они выполняли посильный труд по двору и шли дальше. Никто их не обижал, разве только несмышленый народ — ребятишки: то освистают, то «немец-перец-колбаса», а то и камнем залепят. Взрослые же относились к ходокам бесстрастно. По молодости я недоумевал: как так? Баба Гаша в ответ начинала смеяться, беззвучно вздрагивая плечами, у нее был всего один зуб, и рта она не раскрывала — стеснялась. Я же еще более горячился, мол, как же так: может, именно они и убили вашего Николая, а вы?.. В мгновение баба Гаша становилась серьезной и тихо соглашалась: да, может. Потом, жалостливо поглядев на меня, спрашивала:

— А что же, по-твоему?.. Смотреть, как они сгинут с голоду? Подкармливали, да... Мужики вон наши — все калеками повозвертались: у кого ноги нет, у кого руки, кто контуженный, в ком дырок, как в решете, а и те — в работенке не отказывали, подкармливали...

Как-то двое немцев подрядились поправить ей загородку. Сделали. Потом, стало быть, сидят в избе за столом и лопают постные щи с ржаным хлебом. Тут заявляется бригадир — он с костылем шастал, и костыль этот самодельный сильно по полу громыхал. «О-о,— говорит,— а у тебя гости! Кто ж такие?»

Агафья — а тогда она была не бабой Гашей, а колхозницей Агафьей Орловой — отзываться на этот пустой вопрос не стала. «Не помню, косили мы в тот день или лен теребили: еще до рассвета из дому ушла, а вернулась аж к вечеру — сил никаких нет, а он с глупостями, будто не видит, кто они».

А бригадир гнет свое: «Форма вроде германского образца, а сами что-то на немцев и не похожи».

Агафья отвечает ему: мол, немцы, документы показывали, из плена идут. Те достают документы, протягивают бригадиру, а он лишь отмахивается: не верю, дескать, подделка.

Тогда один заявляет: «Я — Вебер, он — Браун»,— интересно, что фамилии эти баба Гаша запомнила, но произносила на свой лад: «Вебирь и Бряун».

Бригадир им снова напоперек: «Бывают такие Вебер и Браун, что и не германцы вовсе». Они разобиделись и стоят на своем: мы не другие какие-нибудь. А он опять: «Что я, германцев не видывал? Не знаю, как они робят? У них,— говорит,— души в безнадежной трезвости пребывают, потому робят они справно. А вы понаделали кое-как: столбы неровно стоят, жердины приколочены криво, а грязи, грязи понатоптали».

«Ну, значит,— рассказывала баба Гаша,— они аж исть перестали, вынают из карманов нарочные тряпочки — ложки завертывать. Сперва, конечно, вытерли ложки этими тряпочками — чисто-начисто, потом завернули, попрятали, поднялись,— ну, как тебе по команде! — и ушли. Да: «спасибо» сказали... Ну мне и ладно: ушли так ушли, мне и до изгороди дела не было, лишь бы крепко, чтобы скотина не забредала.

Дал бригадир наряд на завтра, вышла я за ним на крыльцо, глядь: немцы работу свою нарушают. Что ж ты, говорю, ирод хромой, натворил? Из-за тебя они теперь разорят все, бросят да и уйдут. Не бросят, говорит. И пошкандыбал себе. Ну, утром собирает он нас на работу, гляжу — все порушено: ох и посмеялись бабы-то надо мной! Зашла, правда, в сарайку — спят работнички... Что делать? Оставила на крыльце чугунок с остатками щей, сковородкой прикрыла, а на сковородку еще утюг сверху — чтобы, значит, кошки с собаками не залезли. А когда воротилась, все уже было переделано: столбушок к столбушку, жердинка к жердинке, где понакопано было — дерн, дорожка песочком посыпана... Такие они, немцы-то».

Приходили и еще, но тех баба Гаша перезабыла, а этот случай запомнился ей. Вероятно, из-за вмешательства бригадира, вмешательства, придавшего событию неожиданный поворот. Бригадир, кстати говоря, последнее свое ранение получил на одной из центральных площадей Берлина.

Конечно, ходоки эти появлялись нечасто, тем не менее встречи с ними были достаточно заурядны: в селе, где стояла церковь и где погост, на котором покоятся теперь смиренные косточки Агафьи Орловой, немцы даже захаживали на службу — помолиться, и никто их не выгонял, никто не трогал, хотя знали, что веры они — иной.

Понятно, что пешком пробирались только те, у которых другого выбора не было. Однако сдается мне, что путешественники, ни разу в жизни не полагавшиеся на авось, имели весьма точное представление о характерах и обычаях народв, через землю которого им — отвоевавшимся — предстояло проходить без оружия и без всякой еды.

Они не могли не знать, что русские после драки кулаками не машут, они должны были догадываться, что злопамятство здесь не в чести, им дано было увидеть — и в дни опьяняющего триумфа, и в дни бесславия своего,— как милосерден этот народ к убогим, нищим, попавшим в беду,— и к поверженному врагу тоже.

— Вы с ними вроде бы как с цыганами? — уточнил я у бабы Гаши.

— Нет,— возражала она,— цыган опасаешься, как бы чего не скрали, а эти — ничего не возьмут.

— Ну, значит, как со странниками?

— Что ты, желанный! Странников в хоромине спать укладывали, а этих — нет: в баньке там или в сарае каком, а в доме — в доме нет... Встанут утречком, выйдут на дорогу и бредут за своей тенью: куда тень — туда и они. Так за тенью и шли, так и шли...

———◆◆———



Галина КИСЕЛЕВА

БЫЛИННЫЕ СЛОВА

Интервью

«Бают, Петровна,
Смерти ты ждешь с тоской на рассвете?
А ты, Николаевна, с кем
Перемогаешь беду?
Ивановна, Марковна, Ниловна, где ваши дети?»

«Наши, корреспондентка, детки живут в городу.
И нечего те расспрашивать, сама вон какая гладкая,
Руки, глянь-ка, холеные и на ресницах тень.
Зарплата, поди, немалая и пища, наверное, сладкая,
А мы всласть погнули спинушки за пустой трудодень.
А ты едала лепешки из картошки мороженой?
От голода ночью плакала? А утречком вновь пахать!»

Дышали тяжко старухи от памяти растревоженной,
И каждая торопилась боль свою прокричать.

«Я думала: это навечно, — Петровна потом сказала, —
И чтоб не хватила дочка горюшка через край,
Ее проводила я с торбою до вокзала,
Сказала — цепляйся за город, обратно не приезжай.
Теперь у меня телевизор заместо внуков лопочет,
Деревня в деньгах, почете, но муторно на душе:
Избаловались люди, работать никто не хочет,
А Клавдия не приедет — городская уже.
Какого только в деревню не нанесло народу!
И все, говорят, ото́рвы из больших городов.
Получку ждут не дождутся. И водку хлещут, как воду.
А если стыдить начинаешь, не понимают слов.
Вот оттого-то ольхою позарастали пашни,
Какая была б деревня, если б не пьянь да лень!..
Поэтому, девка, без радости день вспоминаем вчерашний,
Поэтому, без упований новый встречаем день.
Да ты не жалей нас, милая, у нас и зятья и внуки,
Хошь, запоем старинную песню тебе для души?
Ты запиши в блокнотик, живут, мол, такие старухи,
Трехжильные, несдавучие, ты запиши, запиши!»

Такой день...

Беспомощное, хриплое мычание
(Как не прийти от этого
в отчаянье!),
Коровья шерсть в проплешинах
мороза,
Куда от них сегодня убегу?
Приехала я только из колхоза,
Голодная, обедать не могу.
Обсосанные набело кормушки,
В поилках леденящая вода.

Доярки — безотказные старушки:
«Опять не подвезли кормов
— беда».
Пред канул в город «пробивать»
резину,
А зоотехник сызнова вдрезину,
Душа его похмельна и легка,
Спокойна, словно зимняя природа...
А в детский сад кирпичного завода
Не привезут сегодня молока.

Бабаня

Сыта, обута и одета,
Сноха не злится, ласков сын.
Но тонет городское лето
В бессменном грохоте машин.

Бабаня вспоминает снова
Речушку в лоскутах полей
И за окошком свет медовый
Июльских, ласковых дождей.

Покой в своей избушке вдовьей
Да за чайком беседы нить.

А здесь ей на ковры сыновьи
И жаль, и боязно ступить.

И внучка, девка озорная,
Включает свой ревущий «маг».
Бабаня — яблоня лесная,
Не приживается никак.

Ночами долго ей не спится,
Свет фонарей в окне дрожит.
А старой кажется: зарница
Опять запуталась во ржи.

Названия

Реченьки:
Порусье, Переходà,
Редья, Кунья, Пола, Холовà,—
Звонами прозрачными у брода
Веселят былинные слова.

Озерца:
Валдайское, Великое,
Светлое, Песочное, Вельё, —
Солнечными, ласковыми бликами
Сердце наполняется мое.

Деревеньки:
Ледины, Сосновицы,
Волок, Пожня, Хлебники, Холмец,—
Хоть одна умрет,
в бурьяне скроется —
На́ сердце останется рубец.

Городки:
Осташков, Бологое,
Ржев, Зубцов, Максатиха, Торжок,—
Словно рукоделье дорогое,
На парче серебряный стежок.





Юрий ЛОЩИЦ

ИЗБЫТОК ПРИРОДЫ

РАССКАЗ

Чем ЕЩЕ хороша удочка: дает возможность познакомиться с интересными людьми. Вроде бы пожираешь глазами свой поплавок, в голове — щуки да окуни, а боковым зрением замечаешь: ага, вон хороший человек подплывает ко мне посуху, сейчас его поймаю на незримую уду разговора; да и он, по глазам вижу, жаждет меня поймать на такую же снасть.

Так сблизились мы с милиционером Иваном.

В родовое свое избяное жилье, к старенькой маме, он — и сам уже предпенсионного возраста — приезжает в летнюю пору, недели на три, а то и на месяц. Тут, возле реки, думаю, даже матерый пинкертон ни за что не догадается, что Иван имеет отношение к милиции. Скорее заподозрит замкнутого, сосредоточенного в себе Ивана в том, что тот от кого-нибудь или от чего-нибудь в нашей глухомани скрывается. Впрочем, что же загадочного в таком его поведении: устал человек от службы, и все тут. Даже в глазах читается порой это тоскливое предупреждение: о чем желаешь поговорю, только не о службе.

Вот и хочу предупредить заранее: не ждите об Иване ничего детективного — ни выстрелов, ни визга тормозных колодок, ни звона вышибаемых сапогом стекол. Ничего, кроме тонкого пения лесы в воздухе, комариного писка над ухом да всплеска чайки, подцепившей из воды верхоплавку. Случается, сам Иван заговорит, что-нибудь скажет, и то не во время уженья. Когда он удит, я к нему близко не подойду — зачем отвлекать человека.

Иван обычно удит недалеко от деревни: у него всего три-четыре постоянных места. Но зато какие это места!.. У него привычка такая: ловит не стоя, не на корточках, а сидит, как на стуле, на ведре, в котором плещется пойманная рыбешка. Оттиснутые в песке круги от ведерного дна — верная примета Иванова ловища. Да еще в прибрежной траве увидишь две-три скомканные конфетные обертки с его отпечатками пальцев. Уходя из дому почти на день, никакой другой еды не берет — так, наверное, и схлопотал себе язву.

Закинешь тут для пробы удочку — вода мертва, полное бесклевье. Иван же постоянно удачлив: чем-то, видать, умеет возбудить к себе рыбье любопытство. Когда проходишь мимо, его удилище за кустами то и дело плавно взмывает вверх, клонится к воде, опять взмывает. В ином месте из-за высоких ив не разглядеть и удочки, но о присутствии Ивана догадываешься по какой-то сосредоточенной тишине, прерываемой тугим посвистом удилища или ошалелым бултыханьем рыбки, только что кинутой в ведро.

Иногда вечером на закате издали залюбуюсь Иваном. Какое славное приглядел себе местечко: на песчаном островке, поросшем ивняком, напротив глубокой быстрой проточки, которую только что навестило стадо колягинских коров, облепленных слепнями. Целые пригоршни слепней барахтаются теперь в воде. Хитрый! Вот где, должно быть, вовсю шныряют жадные, хваткие голавли; вот где долгожданная пятиминутка бешеного клева.

В старом соломенном капелюхе, в выцветшем от солнца, потрепанном пиджачке, сутулый, тощий, длинноносый, подобный древесному корню, вытащенному сюда по весне половодьем, Иван видится мне частью пейзажа, написанного каким-нибудь старинным художником из деревенской школы Венецианова.

И вот благодаря Ивану ощущаешь какую-то особую наполненность этих вечерних минут, будто само время теперь сгустилось, щедро облитое закатным золотом, забродило воспоминаниями о тех умиротворенных вечерах, которыми любовались на земле люди сто и более лет назад, вдыхая, как и мы, благорастворенный воздух, пахнущий речными валунами, коровьей жвачкой, последним дневным теплом.

Однажды, после захода солнца, когда я сидел на лавочке под окнами избы и, отмахиваясь от комаров ольховой веткой, наблюдал, как гряды тумана от реки медленно выползают на луг, он подошел, присел рядом и вдруг озадачил:

— Вон, говорят, рыбы не стало... Вранье! Полно ее в реке, рыбы-то. Сижу целый день и не нарадуюсь. То тут плеснет, то тут пырснет, то в осоке заколотится... А ночами, а на зорьке? Прямо музыка!.. Уж так разбалуется, так распрыгается, только круги по воде и ходят, друг с дружкой схлестываются. И щука, и голавль, и язи с налимами, сорога, окунь и конь — все наверх вылазят. Как начнут кувыркаться, колотить хвостами, мелюзгу гонять — будто пароходишко какой лопастями по воде шлепает. Эка прорва!.. Ну, нет, слава богу, не убавляется рыбки.

Под конец я вполне поддался его мальчишескому ликованию, такому неожиданному на этом сухом, костистом лице. А ведь поначалу чуть было его не прервал, настолько вызывающе звучали — в наше-то время! — хвалы речному изобилию. А что, подумал я, если он прав, а не наше большинство, постоянно ноющее по поводу всеобщего оскудения?

В другой раз он наведался к нам с утра. Погода была для рыбалки самая безнадежная: сыпала сверху мелкая унылая морось. Мы затопили подтопок, стало тепло в избе; молодой наш кот развалился поперек кровати в картинной позе: как зевал, потягиваясь на спине, так и заснул, будто в диком прыжке.

— Это что же такое? — воззрился на него Иван и покачал головой, то ли в восхищении, то ли осуждающе. — Да это у вас прямо-таки избыток... природы.

Случайно у него вырвалось или нет, но определение показалось настолько удачным, что мы с тех пор то и дело одергивали кота, когда он, к примеру, клал лапы на стол и начинал принюхиваться к тарелкам:

— Эй, ты, избыток природы, а ну, марш!..

Но как раз через это определение и сам Иван лучше для меня открылся. В природе его, похоже, больше всего и радовало именно неукротимое ее стремление к избытку, к вечной игре нерастраченных сил: крушим ее, ломаем, совсем в угол загнали, а она — шасть! — и вывернулась. Да еще так напоследок хвостом по воде саданула, что «победители», глядишь, с ног повалились... Тут-то и звенела в его голосе нотка злорадного мальчишеского восторга.

Заговорил как-то о ночной охоте на жереха с самодельной плотинки-изгороди, — по-местному зовут ее *сержа* (такими сержами крестьяне в старину перегораживали реку в лесных малохоженых местах):

— С сенокоса вечером придешь — я тогда еще в подросточках числился, — руки-ноги отваливаются, хоть бычьей жилой к туловищу пришивай, а сна все равно ни в одном глазу. Только молока с хлебом похлебал, фырть из-за стола и топаешь в тумане лугами. Пятками так бьешь — земля под тобой ухает. Чуть не визжишь от нетерпения... Ты видал ли сержу-то?.. Во-во, на эту самую лежанку плетеную проберешься от берега, растянешься на ней в сырых-то портках — и замрешь! Комара тьма-тьмущая, в шею так и шпарят, а ты не шелохнешься. Вот-вот должны подойти. Тс-с! Подошли. Жабры топырят, плавниками шевелят, до чего здоровы! Прямо чурки какие-то чугунные, а не рыбины. Подались вперед, под лежанку, ну, думаешь, сидят в мотне, пора загородку наверх дергать. Не успел подумать, а они ка-ак развернутся, ка-ак деранут! Только сердце ухает, даже в глотке болью отдает... А, скажешь, не беда. Пускай еще денек пожируют. Пойду теперь на гулянку в чужое село — девок выглядывать. Прибежал — пусто. Говорят, к соседям с гармошкой подались, еще за пять верст. Дую и я туда, штаны до колен в росе, а на душе весело: что мне темен лес, когда такие девки уродились крепкие.

А то вспомнил о службе в Средней Азии.

— У-у-у, сколько же у них там змей было... Прорвища! Да какие красивые, гибкие, а каких фигур на них понаписано, каких колеров!.. Прямо ярмарка. Вот это, думаешь, постаралась природа!

Иван плавно поводит сухой жилистой шеей, и мне вдруг чудится: он и сам похож в эту минуту на бывалого мудрого змия.

— ...а то был в зоопарке у вас — на Красной Пресне, больше не пойду. Сунулся в змеиный зал, а та-ам — вонища, темень, и змеи все какие-то... не змеи — гв[illegible]еныши обделанные, все серые. Ни тебе поползать, ни попрыгать, переваливаются с боку на бок, как кишки. Тьфу!.. А в Туркмении глядишь на них — это же украшение жизни, радость!..

Здесь наши радости были, конечно, потише. Особенно мы с Иваном приутихли и даже приуныли, когда на высокий край берега над излукой реки подкатили однажды три разноцветных «Жигуля» и из салонов вывалилась вместе с возбужденной распаленной публикой какая-то блатная забубенная хрипота. Нет, это был не Высоцкий. Это были какие-то из следующего поколения, ушедшие много вперед по пути раскрепощения голосовых связок и осквернения всего, что объединяет людей узами пристойности. Под хмурной гитарный перебряк новейшая музыкальная обслуга отечественных пошляков отчубучивала такое, что и хозяева автомобильного кассетника не стали мудрствовать лукаво: раз в «искусстве» можно, значит, и у нас тут, в натуре, нужно держать марку. Вали, ребя, во весь нутряк!..

Трещал костер на солнцепеке, звучали полные стаканы, летели в овражную крапиву объедки-банки, пришло время пулять на меткость пустые бутылки об ствол старой березы. Очень быстро подоспели перебранки. Кто-то хлопал дверцами, порывался покинуть компанию, газовал на месте, кто-то удерживал беглецов за бампер, кто-то под колеса падал геройски: «Митька, гад, через мой труп!». А хрипота все переползала с куплета на куплет, никак не хотела сполна вывалиться. Уже и чья-то рубашка затрещала, женщины принялись разнимать.

Нам бы сразу уйти, как они объявились. Но обидно было: а почему мы должны уходить, да еще под этот издевательский припевчик «Не поймал я ничего», всякий раз сопровождаемый наверху приступом общего гогота, как будто над нами потешаются.

Мы понадеялись, что переждем их. Но после мужских ссор и женских усмиряющих визгов там у них наметилось, должно быть, замирение, судя по звуку новой «сдвижки» стаканов. Потом кого-то волокли к реке освежаться. Под вечер стало ясно: тут у них и ночевка состоится.

На другой день понурые, разрозненными кучками ходили они по деревне, в одном и другом месте показывали на заросшие крапивой и лебедой места бывших изб, спрашивали, нет ли у кого молока и картошки и где теперь ближайший магазин. Я-то по вчерашним голосам полагал, что народ прибыл молодой, малоопытный в битвах с «зеленым змием», а это, оказывается, были в большинстве люди степенные — не моложе сорока, что мужчины, что женщины. Похоже, они недоумевали: в то ли место прибыли или ошиблись? Но к обеду, видимо, разжились припасами, недоумений как не бывало, сражение возобновилось.

Лишь на третий день кавалькада «Жигулей», важно переваливаясь с ухаба на ухаб, подалась от нас в лучшие края.

Вскоре взмелькнуло под моими окнами белое, необыкновенно гнуткое и длинное Иваново березовое удилище.

— Под обрыв? — спросил я.

— Ну уж нет, — ответил Иван. — Они там все сетями исшарили, разогнали рыбу. Пойду подале.

И пошел было, да остановился тут же, резко шагнул в тень от дома. Вижу, губы у него побелели и переносица тоже.

— Ух-х, не люблю... Ненавижу этих... межедомков. Особенно баб. Винища насосалась, вся рожа опухла, будто свеклой ее намазали, а сидит в машине барыней: гляньте, мол, на меня, это я, Манька, тутошняя, я теперь в городе квартиру имею, с раздельным туалетом, на лоджии белье вешаю, мой мужик меня на «Жигулях» возит, куда захочу; мы теперь культурные, из хрусталя пьем, икрой заедаем... И к городу толком не прибились, и в своем селе —

как свиньи. Ты зайди к ней в городе — как в хлеву живут, все подъезды загажены, в окурках, в очистках... телефонные будки с выбитыми стеклами, трубки с мясом оборваны. Самые из них хапуги, самая продувная и хитрая пьянь. Своровать? Пожалуйста! Дело чести, доблести и геройства. Раз начальству можно — и мы не отстанем. Зато теперь каждый день сосиски едим, а вы тут на одном щавелю сидите... А попади такая на должность, к примеру, в профсоюз. Все, гаси свет! Она такой каши наварит — десять прокуроров не вычерпают.

— Вот тебе, Иван, и избыток природы, — почему-то пришло на ум.

— А? — не понял он.— Не избыток, а перекати-песок. У-у-у, междомки.

Надвинул капелюх на переносицу и сердито зашагал по тропе. Представляю, как он будет негодовать, проходя мимо свежего кострища, вокруг которого, наверное, чего только теперь не валяется.

А вечером, вижу, снова радостен Иван:

— Ну, наслушался нынче рыбы, от души... А клевала одна мелочь. — И протягивает ведро. — Вот, разве коту своему скормите.

— Ничего себе мелочь! Тут коту на неделю. Неси домой, уху сваришь.

Но он наотрез отказался:

— Уж я ухой нынче сыт. Вот, уеду завтра. Опять начну по вагонам ходить, шпану учить вежливости... Эх, скорей бы уж на пенсию. А то помотало меня в этих вагонах, по всей стране помотало.

Но ничего детективного он мне и теперь не поведал. Да я и не выведывал. Только спросил он вдруг:

— Помнишь, было после войны землетрясение в Ашхабаде?.. Страшное дело. Нашего брата тогда в срочном порядке в Туркмению бросили — целую рать. Чем только не занимались: и мародеров ловили, и мертвых из-под домов вытаскивали, возили хоронить. Счет не на десятки был, не на сотни... Один раз, помню, едем, командир велит тормозить: еще один, прямо у дороги, на виду лежит. Подобрали и этого. Смотрим, вроде зашевелился. Ха, да он же пьяный! Ну, говорим, повезло тебе, дураку, а то бы и тебя со всеми уложили. А он встал и, как сейчас помню, заявляет: «Все пр-равильно! Это господь нас всех сквозь свое сито просеивает: кого — на тот свет, а кого и милует...». Так у меня до сих пор это господне сито из ума не выходит.

К чему он про то землетрясение рассказал, я не мог сообразить. Да и все ли должно быть «к чему»? Вспомнилось — и рассказал. Мы попрощались. Глядишь, на следующее лето опять увидимся.

Но уже на другой день стало мне как-то не хватать Ивана. Я перебирал в памяти его привычки, его отдельные словечки. К примеру, опять заставил меня задуматься его обычай: когда заходил к нам в избу — усаживался прямо на дверном порожке. Должно быть, это было еще от отца, от дедов с прадедами. Наверное, искал я разгадку, тут какой-то старинный крестьянский способ подчеркнуть разницу между тем, когда тебя заранее приглашают в гости или когда ты приходишь сам, по своей воле.

Однажды, возвращаясь с лова, он возбужденно доложил:

— А река-то б ы р ч е стала.

Как будто радовался, что она завтра нас всех отсюда снесет. Нерль действительно после грозовых ливней вздулась, помутнела. Войдешь в нее — и на ногах устоять трудно, как в горную речку ступил. Иваново «бырче» звучало куда сильнее, чем «быстрей», мы и это его словцо взяли в обиход. Кричишь, бывало, ребятам:

— А ну, бырче домой! Бырче спать!

И они с хохотом проваливаются в спальники.

Словом, скучал я по Ивану. И в то лето, и в другие годы, потому что сколько уж времени минуло, а мы никак не повидаемся. Интересно, какой он теперь? Так же упорно верит в то, что природа все еще сильнее нас, в то, что ее, природы, все еще много, а нас, со всеми нашими замашками, все еще мало? Или разуверился? Мне жаль, если произошло второе. Природе так не хватает сегодня именно Ивана. Не хватает таких людей, как он, верящих всей своей упирающейся сутью, а не умом только, в то, что она неизбывна.

Перестройка: рыбный стол страны

Николай САНЕЕВ

ПЛЕЩУТ ХОЛОДНЫЕ ВОЛНЫ...

О НЕЙ говорят восторженно. Все. Приезжих с ней знакомят как с главной достопримечательностью полуострова. Как с чудом, на создание которого способна одна лишь природа. Память о ней, покидая Камчатку, хранят в сердце. Но писали о ней всегда мало. А если и писали, то больше о ее предназначении, о том, насколько она удобна и полезна. Подходили к ней, как ныне принято говорить, с потребительской стороны. И потому публикации были сдержанно-деловиты. Без эмоций. Как в лоциях. Или как в энциклопедических словарях.

Странно, почему так? Может, ей выпала доля, какая выпадает женщинам редчайшей красоты. С ними тоже что-то подобное происходит. Все ими любуются. Но каждый, считая их для себя недоступными, пасует перед ними. А в итоге они остаются обделенными. И чахнут...

Вот и в судьбе Авачинской бухты лучшее время, светлое и безмятежное, все-таки, наверное, прошло. Пока все, увидя ее впервые, ахают. И замирают в молчаливом восторге. Но хвори века делают свое разрушительное дело. Кто знает, чем может смениться былая восторженность... Вернее, не станет ли эта восторженность в скором времени... былой?..

А немногим более века назад единственный писатель, родившийся за весь долгий-долгий XIX век на камчатской земле, — Федоров-Омулевский в романе «Шаг за шагом» передавал нам, как завещание, память о ней.

«И вот видит он опять, как у себя на ладони, этот прекраснейший и просторнейший в мире залив, именуемый Авачинской губой, вдали устье и при нем одиноко торчащие из воды, точно сторожа, Три брата — большие, колоннообразные скалы. А ближе перерезывает залив, отделяя большую губу от малой, К о ш к а — песчаная отмель, словно мост, перекинутая с одного берега на другой и оставившая направо только узкий, но глубокий проход, как раз для ввода судов на зимнюю стоянку».

К этой стоянке мы вернемся. А пока — еще немного о дорогом автору романа уголке Авачинской бухты, на берегу которой он родился. Родился в тот год, когда не стало Пушкина.

«Вдоль всей К о ш к и тянутся деревянные сваи, а на сваях выстроены такие же деревянные амбары для просушки ю к о л ы — вяленой рыбы, составляющей постоянную пищу камчатских собак. В жаркий летний день она так и горит рубинами на солнце, так и сквозится, точно гроздья крупной красной смородины. Немного далее К о ш к и круто выступает из воды С и г н а л ь н ы й   м ы с, с мачтой на вершине и с русским, несколько раз перекрашенным флагом на мачте. Ближе виден П е р е ш е е к с убогим, доморощенным памятником в честь Лаперуза, а еще ближе, по берегу малой губы, тянутся далеко в гору беспорядочно разбросанные здесь и там приземистые деревянные домики с соломенными крышами. Это и есть, собственно, порт».

Уже в наше, советское время, в тридцатые годы, журнал «СССР на стройке» целиком был посвящен Камчатке. И в этом целевом номере делового характера мне удалось словно изумрудинку откопать строки, в которых опоэтизирована бухта:

«Красива Авачинская бухта, по берегу которой амфитеатром расположился у подножия Петровской сопки город Петропавловск, она как гигантская ваза с высокими неровными стенами блистающего фарфора бесчисленных сопок, три великана конусообразной формы глядят в бухту и далеко в Океан через головы высоких сопок, окружающих бухту».

А в самом начале шестидесятых годов и я ошалело застыл на крутом берегу сопки Любви, с которой бухта видна до последнего своего извива. После моего ка-

Окончание. Начало в № 3 за 1989 год.

менистого, прогоркло-полынного, безводного, иссохшего до трещин от горячих степных ветров, зноя и пыли Донбасса распластавшаяся передо мной бухта показалась чем-то нереальным. Ее хотелось потрогать: не полотно ли гениального мастера перед тобой? И бывает ли вообще на свете такое? Волны терлись о подножие сопки, что-то нашептывая, а мне казалось: это со мной говорит сама Сказка.

Влюбленность безудержна и слепа. Она не видит и не хочет видеть никаких изъянов в предмете любви. И я не видел... Я даже не замечал бликующих на изломах волн маслянистых пятен. Не задерживал взгляда на подернутых мазутной пленкой прибрежных камнях, не внюхивался в запах выброшенных водорослей, морских звезд. Я влюбленно вдыхал, вбирал в себя безразборно всю ее, красавицу бухту, со всеми красками и запахами. И если бы хоть чуть насторожился, то уже тогда, четверть века назад, уловил бы: да ведь у этой красавицы гнилые зубы!

Теперь Авачинская бухта стала не только песней, но и болью моей. Как через бюллетени иногда справляются о состоянии здоровья больного, к которому времению нет доступа, — о его самочувствии, температуре, так и я по скупым сообщениям в печати, по отрывочным сведениям из разговоров со знакомыми, имеющими к этому какое-то отношение, узнаю, как живется-можется моей бухте, хуже ей стало или лучше. Бывает, ни с того ни с сего так густо повалят в газеты тревожные информации о сливах судами топливных отходов в бухту, так зачастят сигналы о сбросах в нее предприятиями и бытовыми службами города всякой всячины — неизбежного «продукта» цивилизации, — хоть караул кричи. Думаешь: выдюжит ли? Хватит ли сил очиститься и отмыться? И пытаешься представить, как на эти напасти реагируют ее обитатели. Наверное, как мы на стихийное бедствие. На пожар, на удушающие газы извергающегося вулкана. Спасайся, кто может...

Иногда сам себя начинаешь чувствовать ее обитателем. Рыбой... со склеенными мазутом жабрами. Задыхаешься от нехватки воздуха. Тянешься к спасительной форточке. Мы не рыбы, мы умные, знаем, куда тянуться и как спасаться...

Снова и снова в такие минуты с раздражением, злостью приходят мысли, которые не раз высказывал на собраниях, разных представительных заседаниях. Оттого и с раздражением и злостью, что «не раз», а проку никакого. Ну, хотя бы вот эта мысль. И в газетах, и в радиотелепередачах находим мы материалы о загрязнении бухты. Но материалы-то эти проходные, эпизодичные. Таково же и действие их. А почему бы и в печати, и в радиотелепрограммах не давать постоянно бюллетень о состоянии здоровья Авачинской бухты? Чтобы открыл газету, глянул в привычный угол ее или голос диктора услышал о беде — и сердце чтоб сжалось.

Почему бы нам, живущим на берегу бухты-красавицы, бухты — нашей всеобщей гордости, не завести спецслужбу с телефонным номером, подобным номерам «Скорой помощи», пожарной охраны, милиции. Для чего? Да для того, чтобы по этому номеру каждый гражданин мог сообщить, как о пожаре, как о грабительском нападении или как о прихватившем человека прямо на улице сердечном приступе, о малейшем посягательстве на здоровье бухты, а спецслужба могла бы тут же оперативно реагировать на сообщение. Любить мир вообще, пассивно, и бухту в частности, как часть этого мира, безнравственно. Сигнал по телефону — это действие, поступок, это акт участия, акт сердечного отношения к живой природе, которую постигла беда.

Небось подумали, что предложение мое — плод досужей выдумки или воображения человека, зацикленного на этой теме. А вот и зря подумали. Такие экологические службы и телефонные «срочные» номера уже имеются во многих крупных приморских городах Европы и Америки.

И что, скажете, есть ли от этого какой-то прок? Ну а как же! У них, у капиталистов, деньги зря редко тратятся. Чего хотели добиться таким нововведением, того и добились, не без крупных, понятно, затрат на очистку. Умирающие бухты и акватории портов смогли одолеть недуг, вновь ожили и одарили людей за их заботу радостью общения с живой природой и надеждой на то, что многое может человек и миру несет он не только разрушение...

Когда в столице доводится видеть рыболовов почти в самом центре города, всегда столько мыслей пробуждают во мне эти ставшие ныне привычными картины. Ну что может водиться в стиснутых бетоном и камнем реках? Какая живность? Судам и тем тесно. Тянутся одно за другим, чуть ли не впритык. Без пауз, денно и нощно тянутся. И встречные, кажется, ни за что не разойдутся, шоркнутся бортами.

А рыболовы удочки забрасывают... И сосредоточенность на лицах самая настоящая. Да еще дергают...

Я всякий раз до тех пор не верю, пока кто-то не вытаскивает все ж рыбешку. И то еще всмотрюсь, трепещется ли, живая ли?

Ведь девять миллионов! Да приезжих сколько! По разу плюнуть, по окурку бросить, и... задохнутся реки. А сколько же машин, заводов, фабрик в момент могут обратить реки в тягучие зловонные потоки.

Я вспоминал Туапсе — подернутую пленкой вонючую акваторию порта. Топливные танкеры — как постоянный лейзаж этого рабочего черноморского порта.

И тот же Туапсе несколько лет спустя. И тот же порт, только танкеры намного вместительнее. И еще купающаяся ребятня. И рыболовы с удочками. Мальцы и взрослые.

Значит, можно! И в бухте можно...

Да, но Авачинская?..

Не много ли ей чести? При наших-то камчатских нуждах? И такое приходится слышать. Дыр действительно не счесть. Жилье... Из каркасно-засыпных бараков никак не выбремся. Больницы, школы, детсады, спорткомплексы... картинная галерея — за что ни возьмись, не терпит отсрочки. А тут бухта... Может, в самом деле «много чести»? Может, подождет?

Не может. Не подождет.

Как-то шло собрание областного партийного актива по идеологическим делам. Понятно, все нужды на поверхность всплыли. Кто о клубах, стадионах, спортзалах, а я — о бухте. Она, твержу, — наше главное завещание потомкам. Сознаю, не всеми сказанное с трибуны, как мне хотелось бы, принимается. Живым нужно жить сейчас. Живым нужны садики, спортзалы, стадионы... И пошел бы ты со своей бухтой и со своей историей!

Я чувствовал, что так многие думают, но продолжал гнуть свое. Предложил оперативную сводку, которая ложится утром на стол первого секретаря обкома партии и отражает все чрезвычайные происшествия, происшедшие на Камчатке за минувшие сутки, вплоть до фамилий коммунистов, оказавшихся в медвытрезвителе, дополнить еще одной сверхважной графой. В этой графе должно отмечаться, сколько капель мазута или других таких же убийственных для природы отходов цивилизации и по чьей вине попало в бухту.

И еще я попросил сидящего в президиуме инструктора ЦК КПСС вот о чем. Когда он и его коллеги будут звонить из Центрального Комитета в обком партии секретарям, пусть, прежде чем сказать «Здравствуйте!», сначала осведомятся: «А как здоровье вашей Авачинской бухты?» И это будет как бы напоминанием: для Петропавловска-Камчатского бухта — пока самый главный предмет заботы.

Но когда в мою песню вкрались тревожные ноты? Когда впервые кольнула боль, заставила задуматься? Может быть, тогда?

Как-то Санька, сын, будучи еще пацаном, приволок с бухты камбалешек на целую жареху. Рот до ушей, такой радешенький. Как-никак, первая самостоятельная добыча. Моя супруга именно так, по достоинству, и оценила: «Кормилец ты наш дорогой!»

Саньку выпроводила гулять, даже разрешила прийти чуть позже, а сама засобиралась в магазин. Масла растительного для жарехи не оказалось дома.

И как нарочно, надолго запропастилась. Рядом же магазин! Даже если за чем-то и застряла в очереди, все равно уже пора бы вернуться. Ее же нет и нет. Хоть самому туда иди, узнавай, что там стряслось.

Всякие мысли полезли в голову...

Наконец-то появилась...

— Надо же,— говорит.— Как назло, три гастронома обошла — в них камбалы и на погляденье нет. Куда подевалась? Все есть, а что нужно... Прямо по закону подлости...

— Но зачем еще... когда... есть уже? Не мороженая... Свежая...

— Да ты что, ничего не понял, что ли?— посмотрела на меня с удивлением. А что я в сумке выносила? И сына зачем выпроводила гулять — тоже не понял? На мусорнике твоя... «свежая». Я только на стол ее, а от нее, слышу, мазутом разит... Невозможно... Аж нос сводит. И растерялась: что делать? Такой ведь радешенький ворвался. И похвалила еще... Потом пришло в голову: масло... Саньку на улицу, улов в сумку — и бегом за камбалой.

За ужином Саньку хвалили. Ему — лучшие, аппетитно поджаренные куски. Но между похвалами супруга ввернула:

— Хорошая у тебя попалась. А вот ребятишки Грызловой и Сенькиной,— назвала она для пущей достоверности фамилии своих банковских сотрудниц,— тоже как-то там же, у рыбного порта, ловили. Такая, говорят, вонючая оказалась. Пришлось выбросить.

Для меня этот случай остался в памяти как забавный эпизод из нашей семейной хроники. И не больше. Как, скажем, и другой, тоже связанный с Санькой.

В то лето нет-нет да и выпадали солнечные деньки. И теплые. На городском пляже, под сопкой Никольской и на Озерновской косе, закучковалась ребятня. Тут и там вдоль берега задымились костерки. С визгом заскочат пацаны в воду, обожгутся в ней, тринадцатиградусной,— и назад. Жмутся к костерку, его теплом пупырышки на теле разглаживают да зубную дрожь унимают.

И наш там же пропадал теплыми днями.

Однажды вернулся домой, жена, как увидела, заахала и завсплескивала руками. Я уж думал, что-то стряслось.

— Да кто же это тебя так разделал-разукрасил? Ты погляди, чё делается,— подталкивала ко мне растерянного Саньку. Он не мог понять, в чем его вина, и, как-то жалко улыбаясь, косился то на меня, то на мать.

— Ой, и тут, оказывается, полно! — жена оттопыривала поочередно Санькины уши, за которыми жирно выделялись неприятные потеки. — Надо же, какая липучая... Прямо во всех ямочках позастыла. И за пальцами тянется. — И ко мне: — Ну, чего стоишь! Топи скорее титан. Отмывать этого... купальщика будем. Холодная вода разве возьмет? Поди, и под одеждой — зебра?

Но и тот случай не заронил во мне тревоги. Где суда, там и мазут... Как без него?

Потом, уже где-то в семидесятых годах, на реке Аваче, в шестидесяти километрах от бухты мой приятель вытащил крупную кумжу. До нее он выловил несколько гольчиков. На уху хватало. Начали разделывать рыбу и тут только поняли: ушицы нам не хлебать. От кумжи разило соляром. Не верилось даже. Чистая река. Быстрая, горная. Вода вкусная, и в летнее время такая холодная, аж зубы ломит. Откуда взяться мазуту? Неужто с бухты рыба пришла? Допустим и так. Стали прикидывать, сколько ей потребовалось времени, чтобы встречь сильного течения пройти такой путь. Это по дороге сюда шестьдесят километров, а река вон какие петли делает, тут и все восемьдесят наберутся. И потом, не неслась же она без роздыху от пункта «А» до пункта «Б»?

По всем нашим прикидкам, получалось — с десяток дней кумжа в чистой речной воде «отмывалась». И выходит, не отмылась.

В этот раз я написал информацию в газету. Показалось, будет многим любопытно. На всякий случай позвонил в гидрохимлабораторию, определяющую степень загрязненности бухты. После некоторого колебания мне все-таки сообщили: загрязненность превышает норму в 21 раз. Вот это показатель! Им я и подкрепил информацию. Рассчитывал ошарашить читателя.

Дудки! Информация вылетела из номера. По цензурным соображениям[1].

Поинтересовался у дежурной цензорши, почему все-таки информацию сняли? Ведь опасный симптом — взялся было ее убеждать. Если не обратить на него вовремя внимание общественности, то это может со временем привести к гибельным последствиям...

— Потому и нельзя давать в газете, что... к гибельным,— прервала меня цензорша.

— Но про Рейн, другие реки пишем, что они умерщвлены промышленными отходами. Почему про бухту нельзя?

— Почему, почему... Да потому что у нас в стране ничего не может гибнуть. Неужели это не ясно? И еще в двадцать один раз... Гм,— покрутила головой.— Такую цифру обнародовать?!

— А если убрать степень загрязненности и оставить только кумжу?— искал я возможность спасти информацию.

— Без... запаха?

— Нет, с ним... Какой же смысл без него?

— С запахом нельзя. Откуда он мог взяться? Любой дурак догадается — побывала в замазученном водоеме.

Логично...

— И что, никак-никак нельзя, чтоб с запахом?— не теряя надежды, искал я хоть какую-то слабину в литовских наставлениях и параграфах. А заодно и в сердце цензорши, женщины милой и, по всему видать, сочувствующей мне.

Задумалась, прошлась отстраненным взглядом по открытой странице инструкции, перелистнула ее, скорее механически. И тут на лице ее, официально-строгом, обозначилось что-то вроде догадки.

— Разве... если вот так только, то тогда можно было бы...— произнесла осторожно, опасаясь выйти за круг своих обязанностей.

— Как?

— Предположить, что она могла добраться до нас, допустим, от Аляски или от японских берегов... Так даже интересней будет выглядеть информация. Понимаете, через океан пробиралась... Всякие там страсти и опасности. Акулы, нерпы... И вот в нашей чистой Аваче. Но от запаха нефти так и не избавилась. Можете направить ее к нам от той же Аляски? И тогда все сохраняется. Почти все, кроме... степени загрязнения бухты.

— Но как можно предположить, что от... Аляски? Кто в это поверит? Основание?

— А метки? Вылавливают же рыб с метками? И там все: откуда, возраст, и даже размер ячеи указан.

Объяснил, что да, метки на рыбах попадаются. Сам их видел. Но это только на лососевых бывают такие. На чавычах, на нерке. Да и кумжа рыба... речная, пресноводная.

— Жаль... Тогда ничем помочь не могу,— сказала цензорша. И даже вздохнула сочувствующе.— Разве только послать в Главлит на подтверждение? Но... но... Параграф есть параграф, его не обойдешь.

И этот случай не так глубоко задел меня.

Впервые обожгло, и не меня одного, вот когда. Со страницы газеты «Камчатская правда» в начале 80-х годов и понеслась, пошла гулять из дома в дом, от сердца к сердцу черная весть. «Красный прилив», «Красный прилив», «Красный прилив»... «Слыхали: «красный прилив» в бухте!», «Читали про красный прилив?», «Надо же, до чего довели бухту, люди травиться начали. Веками ели — и ничего. Теперь токсичность высокая». «Слыхали, пока «красный прилив»— детей к бухте не подпускать. Как их удержишь-то? Привязывать, что ли?»

Да, газета действительно сообщала и о высокой, опасной для жизни токсичности водных обитателей, вызываемой загрязнением (мидия, например, выделяет в летне-осеннее время нервно-паралитический яд сильного действия). И о первых жертвах тоже тревожно сообщалось горожанам.

[1] Речь идет об ограничениях для печати, введенных в свое время Госкомгидрометом.

Город волновался. Люди отыскивали виновных и бранили их на чем свет стоит, придумывали объяснения этой напасти, порой самые невероятные, и настороженно ждали. Выступили в газете специалисты. Многое разъяснили, но не утешили. Все-таки указали на прямую связь «красного прилива» с загрязнением. Да это теперь было видно и на глазок. Вода становилась вишнево-красной и непрозрачной в самых загрязненных местах бухты. Правда, выделение мидиями яда сакситоксина оказалось с «красным приливом» не связано. Зато точно было определено лабораторией биотехнологии, что это явление тоже результат повышенной загрязненности бухты. Легче от такого уточнения не стало...

Но к ежегодным «красным приливам» стали привыкать... И я постепенно свыкся. Как с летне-осенней особой приметой бухты. Зловещей. А вошла она в меня и стала постоянной болью совсем неожиданно.

Мне срочно потребовалось уехать в город с базы отдыха, расположенной вблизи Паратунки, известной большинству побывавших на Камчатке своими открытыми бассейнами с термальной водой. Время близилось к полуночи, машины проносились мимо, и я начинал терять надежду. Тут-то и тормознул «Жигуленок». В дороге разговорились. Хозяином машины оказался рыбак, механик колхозного судна. Узнав, кто я, сразу оживился.

— Ага, вот вы-то мне и нужны, — сказал он и потом уже всю дорогу, до самого города, посвящал меня в такие стороны жизни Авачинской бухты, о которых я и не подозревал.

От него я впервые узнал о том, что бухта недавно «рванула» в ночи. Вернее, не вся бухта, а ковш, где расположен рыбный порт и куда во времена Федорова-Омулевского — помните?— вводились суда на зимнюю стоянку. Я сначала даже не понял, что значит «рванула». Оказывается, выстрелила, взорвалась. Да так — в помещении портофлота стекла из окон повысыпались. Зеркало ковша настолько затянуто было мазутной пленкой, что произошел взрыв с пожаром. Такого никогда еще не было.

Я не зря оговаривался вначале, что к этому уголку, который описан в романе Федорова-Омулевского, мы не раз еще вернемся. И вот первое возвращение. Взрыв от замазученности. Взрыв в центре города...

А ведь этот же ковш, или, как его называли в то время, гавань, помнит совсем другие взрывы. И другие выстрелы. Эту память бережно доносят из поколения в поколение письма, страницы дневников, донесения, воспоминания, книги. На берегах этого живописного когда-то уголка бухты и в гавани лилась кровь защитников самого старинного дальневосточного города Петропавловска-Камчатского от нашествия англо-французской эскадры. На песчаной отмели, оставляющей узкий проход в гавань, на той самой Кошке, где во времена детства Федорова-Омулевского в погожие летние дни юкола «так и горела рубинами на солнце, так и сквозилось, точно гроздья крупной красной смородины», занимала позиции самая крупная вторая батарея. Ею командовал князь Дмитрий Максутов. Ему, храбрейшему офицеру, было поручено доставить в Иркутск, а затем и в Петербург, рапорт о блестящей победе в неудавшейся и очень тяжелой для России Крымской войне. О победе, которую академик Е. В. Тарле назвал «лучом света», прорвавшимся «сквозь мрачные тучи». Это ему, лейтенанту Дмитрию Максутову, доставившему вместе с рапортом и трофейное британское знамя, посвящены строфы оды, написанной в Иркутске на торжествах по случаю радостных событий:

Начальник десанта, погибнувший в схватке[1],
оставил трофеем нам шпагу свою,
и, кроме той шпаги, досталось в бою
британское знамя героям Камчатки.
Князь Дмитрий Максутов, за русскую честь
сам жизнь не щадивши, утративший брата,
в Иркутск о разгроме врага-супостата
привез генерал-губернатору весть.
И вот у подножья портрета царя
в палатах наместника люд православный
на знамя Британии смотрит тщеславной
день целый седьмого числа ноября.

А вот строки, особо дорогие для нас. Они о самом сражении на Кошке. Сражении, увиденном и пережитом участником обороны, девятнадцатилетним мичманом Николаем Алексеевичем Фесуном. Его письмо адресовано начальнику морского корпуса Б. А. Глазенапу. И, конечно же, нам, потомкам. Даже больше — нам. Начальник морского корпуса мог об этом узнать и из многих других источников. Официальных.

«Командир этой батареи лейтенант князь Дмитрий Петрович Максутов был изумительно хладнокровен, — писал Фесун. — Так как неприятель, имея на каждой из сторон своих фрегатов по две 2-пудовые бомбические пушки, стрелял большею частью из них, то его ядра все долетали до батареи и, ударяясь в фашинник, не причиняли слишком большого вреда: у нас же на батарее пушки были 36-фунтовые,

[1] Героическая оборона Петропавловска-Камчатского в 1854 году. Дальневосточное книжное издательство. 1979 год.

а следовательно, стрелять из них можно было только тогда, когда неприятель, увлекаясь, подтягивался, чтобы действовать всеми орудиями батальным огнем. Князь пользовался этим как нельзя лучше, не горячился, не тратил даром пороха, а стрелял только тогда, когда по расстоянию мог судить, что его ядра еще не потеряны.

Прекрасную картину представляла батарея № 2. Долго останется она в памяти у всех бывших в сражении 20 августа. 3 огромных фрегата, построившись в линию с левым бортом, обращенные к Кошке, но таким образом, что из-за Сигнального мыса ядра нашего фрегата не могли вредить им, эти три фрегата производят неумолкаемый огонь. Ядра бороздят бруствер во всех направлениях, бомбы разрываются над батареей, но защитники его холодны и молчаливы, куря спокойно трубки, весело балагуря, они не обращают внимания на сотни смертей, носящихся над их головами, они выжидают своего времени. Но вот раздается звонкий голос командира: «Вторая! Третья!». Взвился дымок, и можно быть уверенным, что ядра не пролетели мимо. Не обходилось и без потерь, от времени до времени появлялись окровавленные носилки, все творили знамение креста, несли храброго воина, верно исполнившего свой долг.

Батарея в продолжение 9 часов выдерживала огонь с лишком 80 орудий! Редкий пример в истории войн прошедших, редкий тем более, что, несмотря на весь этот ураган ядер, батарея устояла и, исправившись в ночь, в следующее утро снова готова была вступить в бой. Командир батареи князь Дмитрий Максутов до того приучил своих людей к хладнокровию, что, когда неприятель действовал только бомбами и нашим из 36-фунтовых нельзя было отвечать, кантонисты-мальчики, от 12 до 14 лет, служившие картузниками, чтобы убить время, пускали кораблики! И это делалось под бомбами, осколками которых было засыпано все прибрежье».

С такой непосредственностью и восторгом может быть увидено сражение, опасность... смерть только глазами юноши...

В рапорте камчатского военного губернатора генерал-майора В. С. Завойко о нападении англо-французской эскадры на Петропавловск и разгроме неприятельского десанта об этом же сказано и короче, и сдержанней:

«Неприятель, принудив умолкнуть батареи № 1 и № 4, направил все орудия 3-х фрегатов и парохода на батарею № 2, которая служила теперь единственным препятствием к нападению на наш фрегат и транспорт. Командир батареи князь Максутов... хладнокровием и геройским мужеством оказал в этот день неоценимую услугу, сберегая людей за бруствером в то время, когда батарею осыпало ядрами, бомбами и гранатами. Он сам подавал пример неустрашимости, ходил по батарее и ободрял команду, выжидая времени, когда фрегат «Президент», бывший к батарее ближе других фрегатов, травил кормовой кабельтов и приближался к батарее, князь Максутов посылал меткие выстрелы, распоряжаясь как на ученье. Батарея стреляла с расстановками, но метко, не тратя даром пороха, которого было очень мало. Все усилия 3-х фрегатов и парохода заставить замолчать батарею остались тщетными.

Во время самого дела командир фрегата «Аврора», зная, что на батарее № 2 ограниченное число картузов, отправил на батарею с фрегата порох, который под неприятельским огнем доставлен благополучно на катере мичманом Фесуном».

Да, тут уже ничего нет от фесуновской по-юношески увлеченно-запальчивой игры в войну. Тут только война...

А что за «Аврора»? Предшественница легендарного крейсера, возвестившего о начале новой эры. Фрегат тоже вписал свою яркую героическую страницу в историю отечества. Вместе с транспортом «Диана» он находился в самой гавани, под прикрытием батареи № 2, и оттуда, через Кошку, поверх голов максутовцев отражал огнем своих орудий нападение целой эскадры, выказывая русскую удаль и чудеса храбрости.

Но почему только о них? О батарее и о фрегате с транспортом? Разве отличились в дни отражения нашествия только они?

Да потому, что речь мы ведем пока только о гавани, а по-нынешнему — о ковше. О гавани, на берегах которой лилась кровь наших героических предков.

С какими глазами и с какой совестью мы станем в канун 250-летия города подводить детей и внуков наших на экскурсию к берегам ковша и рассказывать: «Вот отсюда, из этого... из этой... фрегат «Аврора» вел огонь»... А что вместо многоточий? Какими словами и выражениями их заменить? Помойка? Зловонная лужа? И не стыдно ли? Перед детьми, перед внуками нашими не стыдно? Что мы им передаем? Какое наследство? И чем можно перед ними оправдаться? Временем? Технической революцией? Дефицитом береговой линии? Скученностью флота? Ой ли! Долго за этим прятались и прячемся. А тем временем водолазы ни в ковше, ни в самой бухте не могут до дна добраться. Сапогами, проволокой, концами, банками да бутылками так оно «упрятано» — попробуй к нему, к живому, пробиться.

Не знаю, что в этом рассказе от истины, а что от вымысла, но ходит устойчиво среди рыбаков и судоремонтников завода «Фреза», что издавна обосновался в ковше, молва. Вздумали, будто бы из производственных или из еще каких-то соображений, эту «Фрезу» слегка передвинуть. Подошли буксирные катера, уперлись лбами в ее стальной борт, молотят изо всех сил, так что буруны от винтов весь ковш взбудоражили, а «Фреза» ни с места. Словно какая-то сила снизу удерживает, не отпускает. Ну-у, загадка! За головы взялись: что делать? Вспомнили про

«дедку и репку». Стали все буксиры, какие есть в портфлоте, на «Фрезу» направлять, авось какой-то из них окажется «мышкой».

Сдвинули-таки с места. Осилили! Но с каким непонятным звоном и грохотом стронулась «Фреза» — испугались даже: что бы это значило? Уж не подводный ли вулкан под заводом заработал? Оказалось, «Фреза» в бутылки вросла. Стеклянными многометровыми рифами была зажата намертво...

Понимаю: многое тут — вымысел, преувеличение. А что правда? Да то, что годами летели бутылки за иллюминаторы. Ох и густо летели... Только как теперь вот эти родительские «шалости» детям и внукам нашим объясним? Как? Не поймут ведь. Ни за что не поймут...

Осыпаемый ядрами, бомбами и гранатами, усеянный осколками священный клочок земли... Вода, вскипавшая вокруг «Авроры» и «Двины» от взрывов, и... Взрыв замазученного ковша. «Фреза», вросшая в бутылки... Рыбы, задыхающиеся от зловония...

Простят ли нам дети наши, внуки и правнуки?

Но вернемся к хозяину «Жигуленка», моему ночному спутнику.

— А вы знаете, почему загрязняем бухту — сливаем масла, топливо? — спросил он у меня.

Ночью... в машине, в притемненном салоне я, наверное, просто психологически был не подготовлен для нормального восприятия такого вопроса. И потому как-то безучастно уточнил:

— Кто сливает?

Механик даже скосился на меня подозрительно: не дремлю ли?

— Как кто? Я же говорю: мы сливаем... Понимаете?

Господи, сколько раз приходили в голову мысли насчет чеховского злоумышленника, который гайки на грузила от рельсов откручивал. Прикидывал и так и эдак: не должно вроде быть у нас таких злоумышленников. Слишком дорога для всех бухта, чтобы ни за что ни про что губить ее, сознательно сливать в нее мазут, дизтопливо, судовые отходы. Да и строго с этим в последнее время. Гоняют и свои контролеры, и из разных инспекций. Столько грозных инструкций по этому поводу. И вдруг так просто, как о чем-то обычном: «мы сливаем». Да еще и уточняет, понимаю ли я это? Живой, не литературный злоумышленник сам к тебе в руки идет.

А он как раскаленные на горне гвозди вколачивал в мое сопротивляющееся восприятие:

— Что нам остается делать? Сами посудите. Идешь из рейса, тебя изомбят береговые службы радиограммами о зачистке танков перед ремонтом. Это и ежу понятно, с неподготовленными танками никто в ремонт не поставит. Но почему напоминают? А чтобы ты в океане, еще на переходе, от лишнего топлива, масел, льяльных[2] вод избавился. Иначе в порт придешь и накувыркаешься с этим делом. Попробуй кому-то свои остатки всучить. А с другой стороны, и в океане откатывать за борт лишнее опасно. По двум причинам. Хоть вероятность быть засеченным минимальная, но все же имеется... Я уж не говорю про внутреннего контролера — про совесть, от нее и в открытом океане не спрячешься. И вторая опасность: рассчитать-то все очень трудно. Переусердствуешь с «зачисткой» на переходе, на все непредвиденные погодные и разные другие «взбрыки» прикидку не сделаешь, — глядишь, еще и до порта не дотянешь. Заметьте к тому же колхозные рыбаки— на хозрасчете. За экономию топлива и мазута нам хорошая копейка идет. Мы же, выходит, сами от нее и избавляемся. Вынуждают нас избавляться. Вот и получается: сольешь по пути — плохо, не сольешь — бывает еще хуже.

— Что вы имеете в виду, говоря: бывает? — мучительно продирался я к сути услышанного.

— Это когда так припрет, что деваться некуда. Выбираешь ночку потемней, отходишь от судов в сторонку и тайком, на свой страх и риск, — за борт и излишки топлива, и льяльные воды. И пока откатываешь, про себя чуть ли не молитву творишь. Исповедуешься... Прощения у природы просишь. «Видишь, мол, сама, не враг я тебе, врагом меня делают». Своим молодым механикам и мотористам, да и вахтенному матросу, свидетелю такой «зачистки», потом долго в глаза не смотришь. Гадко на душе после этого, ох и гадко. Знал бы кто только об этом...

— И что, всегда так было? Раньше-то как поступали?

— Что раньше? Тогда судов было мало. Что океану могло статься от наших капель?..

— Но почему только за борт? Сдавать, что ли, некуда? Читаешь: столько техники создано для сбора и переработки всяких отходов, попадающих в воду. А у нас нет ничего, что ли? — входил я, далекий от этой проблемы, в суть дела и от этого еще более недоумевал: как могут происходить в наше время такие страшные вещи, о которых рассказывал механик судна, мой случайный ночной спутник.

Оказывается, и у нас все есть. Вначале были приспособленные для сбора мазута и топлива суда, а потом вместо них появились специально оборудованные для этих целей плавучие производства. И сборщики льяльных вод тоже и за пленкой

[2] Льяльные — загрязненные мазутом.

охотятся в бухте, и от судов, что стоят в порту, все отходы подбирают. Но почему тогда продолжают рыбаки на свой страх и риск сливать остатки?

Но это уже статья другая. Как потом я понял, мой ночной спутник лишь самый кончик от запутанного клубка подал мне. Желание распутать его свело меня с капитаном современного специализированного судна под названием «Чистая». Оно предназначено для пропарки судовых танков. Это к нему суда должны швартоваться, как говорится, в лучшем виде, с уже зачищенными топливными емкостями. И химзачистная станция-судно со знанием дела обрабатывает их в установленные сроки. Обрабатывает надежно, качественно, а самое главное, без риска для жизни. Раньше, когда танки обрабатывали сами команды, люди, бывало, задыхались...

Первое, что меня заинтересовало в этом специализированном судне: а не может ли оно, по совместительству, что ли, взять на себя обязанность принимать остатки топлива и мазута у рыбацких пароходов? Возможно ли это технологически? Под силу ли это людям? Ведь сразу бы решились все вопросы. Не надо было бы механикам думать, как избавиться от излишков в пути, а следовательно, и океану не наносился бы урон, не вступали бы моряки в конфликт с совестью. Для Авачинской бухты и вовсе облегчение. Кто бы стал воровски замазучивать ее, губить ее «легкие»?

— О какой технологии может идти разговор? Ничего нет проще — откатать с подопечного судна остатки топлива и мазута на свое.

Это первое, что я услышал на «Чистой» от специалиста.

— Тогда... Почему же тогда это не делается?

— Делали...

— И... что?

— И всем было хорошо.

— Но почему... было?

— Потому что сейчас этого уже не делаем, что очень плохо не только для портовиков и рыбаков. Для всех. Для города, для страны.

Что кроется за этим диалогом? Почему обработчики танков — так их будем называть — принимали вначале остатки топлива и мазута? Да потому, что это казалось им просто разумным. Разумным, с какой стороны ни подойти. Взять хотя бы экономию топлива. «Чистая» на собственные нужды расходует в год по норме до трех тысяч тонн топлива. Его нужно получать на нефтебазе. Но зачем, когда оно рядом, под бортом, в танках пришвартовавшегося для обработки рыбацкого судна. Откатывай его в свои емкости и самоотапливайся. Задарма бери, еще и спасибо за это говорят рыбаки.

И брали. По двести тонн в месяц дареного топлива расходовали на собственные нужды. А если приходилось больше откатывать, то еще и отдавали котельным города. А потом потихоньку стали люди роптать: а зачем нам все это надо? Лишняя работа... В круг обязанностей экипажа она не входит. Да еще и топливо и мазут какие? Остатки, они и есть остатки. Чего только в них иной раз не попадается: когда нитки, а когда и пакля. Рассчитанные на чистое топливо, форсунки нет-нет да и забиваются... Опять лишняя работа. Навара же никакого. Никому. Пробовали заикнуться о доплате за зачистку танков. Отмахнулись. Делайте, мол, то, что вам положено: занимайтесь пропаркой танков. А за зачистку пусть у других голова болит.

Ну и катись эта зачистка... Что до трех тысяч тонн топлива в год, предусмотренных на отопительные нужды «Чистой»,— отдай их нефтебаза и не греши. Положено...

И снова ломают головы механики судов, разумеется, и капитаны, где им ловчее и безопаснее избавиться от хлопотного груза. И снова переменчивые камчатские ветры сгоняют то в один затишный закоулок бухты маслянистые пятна, то в другой, и, задыхаясь, гибнет живность. Или покидает эти места.

А растущий город у бухты многочисленными котельными неутоленно пожирает все больше и больше привозного дорогостоящего топлива, испытывая постоянное напряжение с его доставкой...

Спустя какое-то время после встречи со специалистом «Чистой» мне позвонил капитан известного всем рыбакам и морякам Камчатки танкера «Максим Горький» Владимир Степанович Савин. Впрочем, танкером это судно называют по привычке: много лет выручало оно рыбаков в экспедициях, доставляя топливо, иногда в самые критические моменты. Состарился «пароход»-трудяга, поизносился, и стали ему противопоказаны «большие моря», не ходок он стал туда. Вот тогда-то и нашли ему новую работу по его старческим возможностям, переоборудовали и приспособили под нефтесборщик. Раньше он доставлял рыбацким судам топливо, а теперь, наоборот, ходит по бухте и подбирает льяльные воды, которые за борт откатывать запрещено. Радеет теперь экипаж «Максима Горького» за чистоту Авачинской бухты. Сам утюжит ее из края в край, отыскивая, в каком закутке нашла себе укромное опасная мазутная пленка, или откликается на сигналы других судов и спешит в опасное загрязненное место. Такая работа у нефтесборщика.

А теперь о том, что заставило капитана, с которым мы никогда не были знакомы, позвонить мне домой. Толкнул его, оказалось, на этот шаг мой интерес к «Чистой», к проблеме, с которой там столкнулись. И с первых же фраз Владимира Степановича стало понятно, что у экипажа нефтесборщика та же болячка. Только перекидывается она еще дальше, в другие организации, за пределы Камчатки.

Очень грустную историю поведал мне капитан. Коротко она выглядит так. Разумное дело затеял экипаж «Максима Горького». Решил собираемые на поверхности бухты мазутные пленки, а с судов — льяльные воды снова в добро превращать. Регенерировать их. Установили оборудование и приступили к делу. Неплохо оно отладилось. За год из 46 тысяч тонн льяльных вод выходило 1246 тонн мазута. Он шел на судовые нужды, а излишки отдавались городу для отопления котельных.

С 1978 года «Максим Горький» не получал мазут, пользовался только тем, что экипаж сам вырабатывал путем регенерации. Десять лет судно не берет у государства ни капли топлива! Из судовых топливных отходов люди производят исходный материал — мазут. На руках бы носить таких людей. Носили. Но не долго. А потом всякий интерес к делу отшибли.

— Собирайте льяльные воды,— сказали экипажу.— А перерабатывать есть кому.

Получал, оказывается, экипаж, в виде премии 15 процентов от общей прибыли за регенерацию. Жалко стало. Чем ему лишнюю копейку платить, пусть и 85 процентов прибыли сгорят. Никому чтоб... Ничего чтоб...

Ну поди разберись в чем-то в нашем родном отечестве! Тут за явную выгоду для всех: для моряков, предприятия, государства, природы (чем больше стремится экипаж переработать отходов, тем старательнее он чистит воды бухты, тем больше гарантии у рыбацких судов сдать льяльные воды, а не сбрасывать их воровски за борт). И вот бьют людей по рукам: как бы с этими пятнадцатипроцентными добавками не разбогатели, а в то же время по всей стране жуликам, пройдохам руки, напротив, развязывают. Ох и золотое времечко для «расторопных». Выходишь из самолета на часовую прогулку под напутствие бортпроводницы: «Не забудьте в аэровокзале перекусить, в полете кормить не будем», а кооператор уже тебя поджидает. Прямо на выходе на привокзальную площадку. Молодой, морда — кровь с молоком. Стоит, веером дым над мангалом разгоняет. Как выходят 150 пассажиров — так в длинный хвост и вытягиваются к мангалу. Где там в незнакомом аэровокзале буфет искать? И есть ли еще что там? Да вдруг очередь. А тут «живое» мясо. Слюну гонит.

Восемь-десять минут помахал мордатый веером — и отлетай партия с вожделенными шампурами. Пять аппетитных кусочков мяса, сто граммов, не больше — и кидай два целковых. Сто счастливчиков успели заморить червячка — и уже на посадку кличут. Как жаль — не все успели кинуть по два целковых во вместительную коробку. А по перрону уже ведут к выходу очередную толпу. Тоже голодную... И снова машет мордатый молодец веером, раздувает жар, дымок вкусный разгоняет. Ему и голову поднять некогда. Только рейсы в уме прикидывает. Один прошел — двести рублей. Второй — четыреста, третий...

А вслух или печатно об этом сказать — пинков не оберешься. Не модно ныне, предосудительно заработки кооператора подсчитывать. Он последнее мясо из общественного магазина уволок, да еще наверняка за мзду, и без того пустые витрины оголил, так что людям хоть и не заходи сюда, а дуй прямиком на рынок, а ты его дневную тысячную выручку не смей вслух подсчитывать. В десять раз дороже пропускает через мангал государственное мясо, и говори ему спасибо, будто из этого мяса я сам себе шашлык не сделал бы. А иначе не только голодным останешься, если к нему с двумя целковыми в очередь не втиснешься, но и в отсталых окажешься, не понимающих новый курс.

На что Камчатка у черта на куличках — и тут уже в кооперативных кафе рыбаков обдирают как хотят. Два червонца с носа берут за вход. Вкусно готовят? Ха-ха. А позавчерашние резиновые бифштексы, словно старые подметки, с растворимым кофе и видеофильмом в придачу не хотели? И гуляй дальше. Не нравится — не ходи.

И чебуреки на улицах. И опять же мясо и тесто магазинные. Рупь штучка. Чебуреки появились — мясо в магазинах исчезло. Да разве только мясо! Не знаешь даже, что осталось. Как в том анекдоте, где китаец про нас рассказывает: «Чего там только у них нету. Мяса нету, колбасы нету...»

И далее любой может продолжить, чего нету.

Знаю, явление это куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. Я бы и рад на него по-другому посмотреть, так, как и предусматривалось в правительственных документах, но что сделаешь, если пока только такое на виду. Нахально демонстрирует жулье свою расторопность и какую-то безнадежную запущенность нашего общепита и сферы бытового обслуживания.

Раньше хоть милиции боялись. Теперь же и с милиционера дерут рупь за чебурек и два за шашлык. Куда он денется, милиционер, возьме-от. Разве так уж сложно в кооперативном начинании, важном и нужном деле, оправдывающем себя во многих странах, отделить полезное от вредного? Разве такая уж неразрешимая проблема — различать людей: кто из них трудяга, которого надо раскрепостить (помочь реализовать свои задатки не только на производстве, но и вне его, если у него есть на то желание и силы), а кто пройдоха, который и раньше нигде не перетрудился и сейчас норовит создать себе сладкую жизнь за счет других.

Но читаешь газеты и видишь: те, что с совестью да с мозолями, больше всего и мыкают горя с этими кооперативами. Бычков вздумают откармливать — то телят не могут приобрести, мордуют их совхозы, то с кормами маются, то стройматериал

для помещений не достанут. То же самое у откормщиков свиней и другой живности. Зато кафе — пожалуйста. Шашлыки тоже — и справа и слева. Фальшивые этикетки «под фирму», имитированные под загранку шмотки. Сколько же всякой нечисти ожило и всосалось клещами в здоровое народное тело, отданное государством на откуп ловчилам...

На «Максиме Горьком» из грязи делали мазут. 15 процентов прибыли шло за честный мозольный труд экипажу, а 85 процентов государству. И за это людям — по рукам...

А вот какое продолжение получила эта история с мазутом. На нефтесборщике утратили интерес к сбору загрязненных вод с поверхности бухты и к приему их от судов. «Ага, выперла их инициативность и добросовестность. Лишили добавки, и...» Не станем спешить с таким обвинением, хотя в получении экипажем пятнадцатипроцентного «навара» нет ничего предосудительного. Это тебе и не шашлычный навар, и не чебуречный. В грязи надо покопаться. А интерес пропал у людей главным образом по другой причине. Раз нефтесборщик сам не генерирует замазученные воды, значит, он должен их куда-то девать. А куда? На танкеры. Те доставляют на Камчатку топливо, а отсюда должны загружаться льяльными водами и везти их в Находку, где переработка таковых поставлена на промышленную основу.

Что ж, в этом есть здравый смысл. Зачем вся эта кустарщина, заведенная на «Максиме Горьком», когда имеется специальное предприятие и отлажен конвейер доставки. Не последнее дело в нем — танкеры идут в Находку загруженными. И опять вроде логично. Но...

Скорые поезда и экспрессы и те перестали у нас ходить по графику. А танкерам в Тихом океане и сам бог велел перемещаться по погоде да по обстоятельствам. Нет «порожнего» танкера в бухте, а как быть нефтесборщику? Он уже и все емкости, какие были в порту, заполнил льяльными водами, у самого их по горло, а танкера все нет и нет. И что делать? А ничего. Ждать... В это время суда, которым надо срочно зачищать танки перед постановкой в ремонт, вынуждены отравлять бухту. При таком раскладе выходит: чем нефтесборщик меньше соберет, тем лучше. Спокойнее. И капитану, и команде. Если у них совести нет.

Ну а если танкеры постоянно оказываются в бухте? Тогда как? Никаких проблем? Как бы не так: они не всегда берут льяльные воды нефтесборщиков. Почему? «Жирность» наших вод не та бывает. Замазученность их достигает иногда тридцати процентов, а танкеру надо, чтобы были «пожиже», содержали лишь один процент нефтеостатков. Что это еще за нормативы? Чем они вызваны? Технологией переработки в Находке. Такие вроде бы там разборчивые сепараторы, подавай им не абы какую замазученность.

Круг чеховских «злоумышленников» расширяется и расширяется. Что, если разматывать клубок дальше, куда он уведет? Скажем, податься в Находку, на нефтеперерабатывающее предприятие, как там станут объяснять? Кого винить? На кого и на что ссылаться?

Пока найдешь концы, не то что ковш, бухта зачахнет под мазутной пленкой. Или умрет, отравленная испражнениями города.

А это еще, спросите, что такое?

Если коротко, то «продукты» цивилизации во всем их современном многообразии: отходы различных предприятий и нашего с вами быта. Все в нее, в бухту, бежит, катится и валится. Бежит и под землей по трубам, и самотеком — с крутизны карабкающихся на сопки улиц. Все, что мы за долгие зимы, выбрасывая, «прячем» под снег, по весне стекает, сносится талыми водами в бухту. Прячут концы в воду бухты предприятия, организации, учреждения. Она большая, могучая — укроет, перетрет, перечистит. Все грехи наши примет на себя. Ничего, считаем, с ней не станется. Это мы можем позволить себе роскошь — деградировать, но не допускаем мысли, что и она на это способна. Ей просто нельзя. Кто же станет тогда служить нам, если и она деградирует? Ведь бухта — для нас, для людей, а не мы для нее. И потому принимаются во внимание, учитываются интересы каждого предприятия, каждой организации, но только не ее, не Авачинской бухты.

Пока она еще служит нам, пока ни в одном документе в высокой инстанции не обозначена как зона экологического бедствия, город не очень спешит строить очистные сооружения. Это же обойдется в сотни миллионов рублей. Разве нет других, более важных и неотложных дел для применения таких средств? Даже самое денежное объединение «Камчатрыбпром», обсевшее мощными предприятиями берега бухты, не имеет в городе ни одного очистительного сооружения. Рыбный завод и тот напрямую гонит все свои «ароматные» отходы в Авачинскую.

Определена ли опасная черта, за которой наступит экологическая катастрофа и гибель станет необратимой? Где, в каком кабинете, на каком пульте загорится лампочка, извещая о начале катастрофы? Ни на первый, ни на второй вопрос не ищите ответов. Нет их.

Может, чей-то чуткий слух, человеческий, а не электронный, уловит этот момент, услышит сигнал бедствия? В самый последний час?

Да, мы еще не разучились откликаться на крик, на стон, на боль себе подобных. Хотя и сильно поубавили в сострадании. А она, природа, умирает молча... Как бы и последний час бухты не прозевать. Больна она. Опасно больна. Только недуг протекает скрыто. Один мой добрый и давний приятель, доктор Виктор Иванович Авдиенко, исследовал Авачинскую бухту с несколько неожиданной для меня стороны. Он искал в ней... грязь. Когда я впервые от него услышал про это, то чуть не воскликнул: «Да она от грязи задыхается!» Но, оказывается, и такая в ней есть — лечебная. Не только душу способна бухта исцелять — красотой своей, но и физические человеческие недуги. Пока еще способна...

Он, доктор, и подсказал мне точный образ нынешнего состояния бухты. Она сходна с женщиной, больной туберкулезом: щеки у той румяные, а в легких уже идет разрушительная работа...

Так и Авачинская бухта... Со стороны поглядеть — и сами любуемся, и гостям показываем. Но что «внутри»? Главный признак ее здоровья — сколько в ней живности и какой. И если по живности судить, то хоть сейчас караул кричи.

Не будем углубляться слишком далеко во времени, отыскивая примеры для сравнений, откроем страницы книги «Воспоминания о Камчатке и Амуре» Юлии Завойко, жены руководителя Петропавловской обороны генерал-майора В. С. Завойко. И вот что там прочтем:

«В эту весну улов селедки был необыкновенный. Вода в бухточке казалась серебристой от множества рыбы. Закинув невод, наполняли разом лодки две или три. Мелкая рыба, селедка и корюшка — первая камчатская гостья; за ней из породы красной рыбы следует огромная и превосходная на вкус чавыча; потом несколько различных родов красной рыбы, схожей с лососиной и семгой, идут в необыкновенном количестве в продолжение всего лета, вплоть до осени. Началось заготовление ее на зиму, солка в больших размерах».

И это было век с лишним назад.

Не было нужды выходить на лов за ворота бухты и в начале этого века. Сами горожане кормились в избытке и собакам хватало. А их, как пишет та же Юлия Завойко, у самого бедного хозяина было на привязи до двадцати.

Десяток колхозов, что лепились на берегах бухты, тоже благополучие свое строили на лососевых да на треске. Еще и сейчас можно встретить старожилов города или Сероглазки, которые ткнут пальцем на любой мысок и в любой заливчик, мимо которых проносимся на машинах, и вспомнят: а вот там-то мы селедку брали, а там невод стоял бригадира такого-то. Ныне же на всю огромную бухту выставляется один-единственный колхозный невод, и в тот — когда заходит рыба, а когда и обминует его, так мало ее стало. Это о лососевых. Что до селедки, то она давно покинула бухту, многие горожане даже и не знают о том, что она когда-то заходила сюда нереститься.

А какие балыки коптились чуть ли не в каждом дворе еще в предвоенные годы. Когда рассказывают о них, мне всегда почему-то вспоминаются строки из стихотворения «Рыбная лавка» Николая Заболоцкого.

И среди них, как желтый клык,
Сиял на блюде царь-балык.

Конечно, осетровые он имел в виду, но и лососевые чем не царственно глядепись: темно-красные, в черной мантии. И были они в каждом доме.

Крупнейший исследователь морей и путешественник, автор интереснейших книг о жизни подводного мира Жак Ив Кусто с тревогой отмечает, что за последние пятьдесят лет бесследно исчезли более тысячи видов обитателей моря. А сколько из них падает на Авачинскую бухту? Боюсь, что обстоятельно ответить на этот вопрос трудно. Надо ведь точно знать, сколько их было. Правда, сегодняшним исследователям, можно считать, повезло. У них все же есть какая-то «печка», от которой можно вести отсчет. Пусть не за века, но за полстолетие они могут проследить изменения в биологической жизни бухты. Почему только за пятьдесят? Так совпало. В начале тридцатых годов исследованием ее занималась камчатская морская станция. За несколько лет работы она «обросла» такими научными данными, которые ныне представляют особую ценность, дают возможность сравнивать.

И о чем говорит сравнение? На языке ученых оно выражается очень осторожной формулировкой: «Отмечено существенное уменьшение видового обилия». Вот что значит выражать свои мысли по-научному. Вроде что-то сказано, и даже о чем-то важном, но поди догадайся, о чем конкретно? А все равно тревожно: сколько из «видового обилия» выпало, раз оно уменьшилось, да еще существенно? Беднее, значит, стала живность бухты. Зато какой простор для организмов, которым вольготно живется в загрязненной среде. Эти организмы и рождены грязью — стоками сбрасываемых в бухту неочищенных органических остатков. Те же инфузории и одноклеточные водоросли. Их раньше не было.

Но такие явления чаще у исследователей на виду. В большинстве же из нас сидит свой, потребительский, интерес к бухте. Ведь бухта не освобождена еще от своей извечной рыбохозяйственной обязанности — кормить людей. Она и ныне отнесена к водоемам первой категории: через нее идет миграционный путь всех видов лососевых в самые крупные реки юго-востока Камчатки — Авачу и Паратунку. А для чавычи и кижуча бухта считается и местом нагула. Нагуливается здесь и камбала. А корюшка и навага избрали этот водоем для преднерестового и посленерестового обитания. Сюда же скатывается из рек и множества нерестовых речушек малек лососевых. Отсюда же, окрепнув, начинает он свой сложный и долгий путь к океанским пастбищам.

Страшно даже представить такое: наступит какое-то лето и в бухту не войдут чавычи... Что вслед за ними в холодные струи когда-то продуктивных рек Авачи и Паратунки, в их бесчисленные притоки хозяйственно не ворвутся ни нерка, ни

толстобрюхая кета, ни горбуша, ни кижуч. Не наполнят они эти реки и ручьи извечными заботами о создании гнезд для будущего потомства. А что же тогда станет с реками? На что они будут похожи? И что в них останется? Одни гольцы? Но и им, гольцам, уж некого будет встречать по весне у устьев рек. И некого сопровождать до верховий, до струистых холодных ручьев и ключей. И не возбудят, как было всегда, извечно, у них аппетита ярко-красные зерна икринок, до которых гольцы так охочи и ради которых они обрекают себя на ежегодные и длительные путешествия. Нет, не бескорыстно они отправляются в такой путь, сопроводив океанских желанных гостей к месту нереста, неспроста околачиваются поблизости. Знают, перепадет им от лососевых свадеб. Не попадут икринки в гнездо, снесет их течение, а они, гольцы, тут как тут. Струей часть отложенной и зарытой галькой икры вымоет — и опять она не проплывет мимо глазастых охотников.

А потом, позже, не пробудят уж больше в них охотничьего азарта шустрые лососята... Да что же это за жизнь наступит для гольцов? Они сами переведутся в таких реках. И от голода, и от тоски.

А если без лирики, то кто, в самом деле, точно знает, что с ними станется? Какой биологической цепочкой повязаны они с сообществом приходящих на нерест из океана лососей?

Все лососевые — чистюли. Ни малейшего загрязнения воды не терпят, ни посторонних запахов. Рыбаки по-своему отмечают эту рыбью особенность: «Портянки сполоснешь, так она идет встречь течения и за километр хвостом крутит и чихает — так запах улавливает».

Каково же будет ей, такой чистюле, через загаженную, обращенную нами в городскую свалку Авачинскую бухту пробиваться к рекам? Лосось уже и так, говорят, добирается до ворот бухты, а заходить страшится. Но инстинкт зовет... Зажимают рыбины «носы» и, не дыша, бегом через бухту к устьям, к родным чистым рекам...

В прошлом чистым... Теперь и они год от года все больше загаживаются. Реку Авачу засоряют отходами растущий город Елизово, совхозные поселки, а Паратунку — многочисленные базы отдыха, густо жмущиеся к ее берегам. И стекают в реку днем и ночью ручьи агрессивных по своему составу горячих термальных вод из бассейнов, сбрасываются неочищенные бытовые и промышленные отходы. Старожилы города и Елизовского района помнят чистые Николаевские ключи в бассейне реки Паратунки. Сюда на нерест заходило до сорока тысяч штук кижучей.

Одно время была даже задумка построить у этого нерестилища близ села Николаевки смотровые площадки. И на этих площадках проводить со школьниками наглядные уроки по природопользованию. Да и взрослым такие уроки были бы не лишними. Осуществи мы вовремя эту задумку, может, кто-то из взрослых и прозрел бы и тогда не случилось бы трагедии на этом нерестилище.

А произошло вот что. Вблизи нерестовых ключей на больших заболоченных площадях произвели мелиоративные работы. Уровень грунтовых вод понизился, и нарушилось питание нерестовых гнезд. Ключи стали заиливаться и приходить в запустение. Лососи грязи не терпят. И заходят теперь сюда какие-то считанные 300—400 рыбин. В сотню раз меньше. В сто раз!

Думай теперь, весь ли грех за эту трагедию отнести на счет мелиораторов, а может, ныне и в незаиленное нерестилище столько бы рыбы не приходило... Может, и до самой реки столько бы ее не добиралось, не то что до ключей.

Скудеет на живность бухта. Опасным, неодолимым барьером становится она на пути лососевых, идущих на нерест, и гибельным местом для мальков, скатывающихся из рек. И потому все тревожнее и тревожнее звучат голоса рыбаков, работающих на неводе: «Чавыча штучно идет. И так мало ее — не знаешь, то ли сдавать, то ли прямиком в музей, может, последняя», «И вырождается она. По весу скоро от кеты не отличишь. Прекратить надо ловить ее», «Кета, кижуч, нерка еще в сороковые годы так валили — уставали брать. А ныне разов в пять меньше идет. Вот-вот, думаешь, и вовсе оборвется их род в наших реках... Или бухта не пропустит...»

А двухсотпятидесятитысячный город у самой красивой в мире бухты живет своей сложной и тревожной жизнью, диктуемой сумасшедшим веком. Трудится, застраивается, перестраивается. То, ломая иссохшие от времени старые деревянные бараки, отступает от берега, то вновь подступает к нему, нависая над бухтой тяжелой бетонной статью. В часы пик, как и большинство городов мира, Петропавловск-Камчатский со своей бесконечно длинной, выгорбленной сопками улице вдоль бухты задыхается от гари, от скопища машин. Но, в отличие от многих городов мира, наш город вот уже какое десятилетие играет в какую-то странную, труднодоступную для здравого смысла игру. Игру в штрафы за загрязнение бухты. Ставки в этой игре повышаются год от года: чем губительней урон природе, тем выше ставка. И уже не тысячи и не десятки тысяч рублей, как это было в начале игры, а сотни тысяч и миллионы проигрываются проштрафившимися судами, предприятиями, производственными объединениями. Идет перекачка денег с одного счета на другой. И от этой перекачки в неизменном проигрыше остается сама бухта — из-за нее игра, из-за нее крупные ставки, но не для ее оздоровления.

Чем еще живет город у бухты? Предвкушениями перемен. Пророчествами. Он заглядывает в завтрашний день, надеясь отыскать там подтверждение своим предсказаниям. Ворчит по поводу загадочно исчезающих из магазинов в одночасье самых ходовых товаров: мяса, сахара, яиц, зубной пасты. И, вздыхая, вспоминает о

том, что еще в 50-е годы икра лососевая стоила в десять раз дешевле и бесперебойно красовалась во всех магазинах. Старается разобраться, кто же был для страны, для народа Сталин, как с ним теперь обращаться — на «ты» или на «вы», и в последний ли раз мы меняем к нему отношение? Потихоньку, пока в кулак, поругивает социализм, технический прогресс и не упускает ни малейшей возможности урвать от него кусок пожирнее. Ищет ответы на вопросы: с какой медициной дальше протянешь на белом свете — с бесплатной или платной; вырастет ли из нашего кооператора настоящий нэпман или не дадут; какой социализм лучше — дозастойный, застойный или перестройный; научатся ли у нас когда-нибудь делать унитазы лучше японских или никогда; не выльются ли движения молодежных неформальных объединений в хунвейбиновщину, а если нет, то во что все-таки выльются; повысят ли цены на продовольственные товары или не решатся.

Как и все города, и наш город у бухты спешно, не прожевывая из-за недостатка времени, проглатывает массу газетной, журнальной и прочей информации. Спорит город о пользе и вреде цивилизации, о духовности и бездуховности, о засилье массовой культуры, очередях за водкой, о социальной справедливости, попсе и вреде гласности, о движении «зеленых» на Западе.

И еще двухсотпятидесятитысячный город нет-нет да и задумывается с опаской о завтрашнем дне своей жемчужины — Авачинской бухты и, даже не подозревая об этом, дружно испражняется в нее...

Лето 1987 года запомнится многим горожанам событием редкостным и загадочным. В ковш, замазученный, заплеванный, стиснутый разнотипными судами — от громадин плавбаз до юрких катеров,— вошли самые изящные из китов и самые хищные — косатки. Пара косаток. Вошли на глазах удивленного портового и судового рыбацкого люда, на виду, считай, главной улицы города. Показались, явили себя и исчезли. Исчезли, как видения, будто их и никогда не было. А пересуды остались. Разные.

Что их, обитателей океана, заставило войти в обжитую людьми, а потому и опасную для китов бухту? Ладно бы бухту! Но что им понадобилось в тесном и грязном ковше?

Могли погнаться за дельфином, считали одни. Но почему он выбрал такое убежище? — сомневались другие. Потому что здесь люди, и он рассчитывал на их защиту,— аргументировали первые. Но кто видел дельфина? — не сдавались вторые. Что, если они токсикоманы? — и в шутку и всерьез говорили третьи. Зловоние бухты мозги им затуманило, и пошли шарахаться где попадя.

А может, это какое-то... знамение? — задумывались люди. И первые, и вторые, и третьи. Природа о чем-то нам напоминает... Или предупреждает? Зачем-то же они приходили?..

Запальчивая перепалка рыбаков с научными работниками в зале городской гостиницы чем-то напоминала мне когдатошние схватки на межах. Те, что доводилось видеть в фильмах: с кольем мужики сходились и кольем доказывали правоту, отстаивая каждый клочок земли. А эти, в гостинице, даже и не о сегодняшнем дне топкуют. И не о своих пишь интересах пекутся. Они и «межу» вон куда вынесли — в океан. Как большую беду от прибрежных вод отвести, не дать угаснуть жизни на камчатских берегах — вот, оказывается, о чем голова у них болит. И потому так яростно спорят. Спорить-то спорят, да силенок рыбакам не хватает. И руки коротки. Попробуй дотянись до министерства. С ним, выходит, на «меже» стыкнулись. Потому-то и пишут письма в обком партии, в ЦК, там ищут поддержки. Потому и меня в драку за правое дело вовлекают. И на эту встречу пошли с надеждой: вдруг удастся заинтересовать. А я им про последние съезды писателей России и страны. О писательском движении против поворота северных рек. Про битву, которую ведет Валентин Распутин за Байкал. О гибнущем Аральском море, «усохшем» вдвое. О бедственном положении Азовского моря, когда-то самого рыбного в стране, а теперь кишащего медузами, о других экологических бедах.

Вот и сгустились тучи. Атмосфера в гостиной наэлектризовалась так, что, кажется, чиркни спичкой — и взорвется. А на ком пары́ спустить? На рыбоохранниках, что пришли на встречу? Но что с них взять? Армаду, если она действительно двинет к камчатским берегам, они не остановят. И кому быть хозяином в Авачинском и Кроноцком заливах — сероглазкинскому мелкому флоту и сейнерам или оставаться этим заливам «всехными»? Тоже не им, не рыбоохранникам решать. Эти-то районы промысла и стали межой, разделившей интересы колхозных рыбаков и государственного флота.

Конфликтная ситуация создавалась не сегодня и не вчера. Она вызревала долго и исподволь, то обостряясь, то пригасая. Вернее сказать, ее гасили. Всячески. И силой, и угрозой, а то просто насмешками. Дело в том, что Авачинский и Кроноцкий заливы со всеми их бухточками, бухтами и заливчиками сызначалья считали сероглазкинские рыбаки своими, домашними. Да и делить их особо не с кем было. Разве только с траловым флотом. Но и он не посягал на «огороды» колхозных рыбаков, уходил подальше от берега, осваивал новые рыбные районы. Потом появились большие морозильные траулеры. Им тем более нечего было делать на прибрежных «помойках», как называют рыбаки малого флота свои обжитые и за долгие годы порядочно захламленные «банки». Захламленные не только ими самими. Как при подъезде к крупному городу многие дороги в одну сходятся, так и тут все

проложенные до камчатского Питера курсы судов — рыбацких, пассажирских, транспортных и военных — в Авачинском заливе сходятся. И каждое судно что-нибудь да оставит на дне. Чего только сероглазкинским рыбакам не доводится вытаскивать вместе с рыбой. «Музей» бы такой организовать в городе. Назвать его «Человек — Океану» и все «дары», поднятые рыбаками со дна, выставлять в нем. Глядишь, и прошибло бы кого-то.

Так вот, чем могучее становился флот, тем дальше он уходил от камчатских берегов. Это было время рыбохозяйственного освоения Мирового океана. Мощные экспедиции направлялись на промысел окуня в Аляскинский залив и к Алеутской гряде. К берегам Калифорнии тянулись большие морозильные траулеры ловить серебристого хека, который одно время затоварил магазины всей страны. Из района Гавайских островов добиралась до Находки и уже оттуда растекалась по всем городам пристипома. От новозеландского шельфа перегрузчики доставляли скваму. Из Индийского океана везли нототению. Рыбачили камчатцы и у берегов Африки, Перу, Кубы.

Уходили в дальние экспедиции и сероглазкинские крупные суда. А малыши с весны до поздней осени, пока не загоняли их в бухту осенние шторма, таскали и таскали рыбку со своих домашних огородов. С кем им было конфликтовать?

Думалось, так всегда оно и будет. Большому флоту — большие дороги, а мелкому флоту рыбы и у берега на века хватит. Да все как-то быстро по-иному стало оборачиваться. С окунем и пристипомой на удивление скоро управились — оглянуться не успели, а ловить уже и нечего. Переусердствовали. Такая славная рыбка, а ее больше на муку пустили, чем людям на еду. А тут еще к этому времени ввели двухсотмильные экономические зоны. За рыбу у чужих берегов уже платить надо. Где нам оказалось ловить невыгодно, а где и мы не пришлись ко двору. И стал весь крупный флот снова к своим же берегам прижиматься. На минтай навалились. А он, минька голубоглазый, по всему шельфу что сорная трава на поле. Но с сорной травой мы еще как-то научились обходиться, даже переучились, отравляя, правда, кое-где химикатами не только сорняки, но и землю вокруг. В океане же еще драматичнее обстановка сложилась. Трал не такой разборчивый, как прополочная техника. Гребет все подряд. По дну пройдется, так пропашет — не то что рыбу, а всю живность вместе со средой обитания выворачивает. След от траловой доски, как утверждают ученые, двадцать лет держится. Теперь представьте себе картину — в экспедиции сотни таких «пахарей» денно и нощно усердствуют. Что же после них на дне оставаться может?

Помнится, в середине семидесятых годов шел я ночью на большом морозильном траулере через Авачинский залив, а в нем в это время объединенная экспедиция на минтае работала. Зрелище представляла она собой потрясающее. Если со стороны наблюдать. Куда ни глянь: за кормой, справа по борту, слева сгущенная океаном темнота, хоть глаз коли, зато впереди по курсу надвигается на тебя... город. И не ночной, а вечерний: живой, подвижный, светящийся всеми своими огнями. Откуда он такой? Знаешь же, ничего тут не должно быть, и вдруг... город?! Прямо волшебство какое-то.

Чувство гордости шевельнулось во мне при виде этой картины. Какое могущество в руках у наших рыбаков. Работать им не так стало тоскливо, как раньше. Не в одиночку, люди кругом. И разгулы стихии не страшны, в случае чего — выручат. Громадины плавбазы целую флотилию бортами своими могут прикрыть. Они ночью — вместе со снующими вокруг них траулерами и сейнерами — городскими микрорайонами выглядят.

Спустя какое-то время возвращался домой, но уже утром. И та же экспедиция произвела совсем другое впечатление. Гнетущее. Может, потому, что небо дымчато провисло чуть ли не до самой воды. И сочилось холодной и противной мжичкой. Да еще из труб серых громадин плавбаз валили густые жирные клубы дыма. Устойчивыми длинными-длинными шлейфами тянулись они над поверхностью воды, словно какая-то тяжесть не давала подняться им выше и слиться с дымчатыми, такими же тяжелыми облаками. И сами силуэты плавбаз, погруженных в моросящий полумрак, и эти дымы рождали смутные ассоциации из времен минувшей войны... Обретало особый, неожиданный смысл ходовое на большом рыбацком флоте выражение «через крематорий пропустить», что означало: направить уловы на выработку муки судовыми жиро-мучными установками.

Дымы, дымы, дымы. Жирные шлейфы дымов. Авачинский залив со всей его молчаливой живностью на моих глазах в то утро пропускался через всепожирающие крематории...

Перед глазами всплывали ежегодные шумные праздничные рыбацкие слеты. Делегаты от Сероглазки на трибуне. И их неизменные обращения к президиуму. Негромкие, но настойчивые:

— Оставьте для наших малых судов хоть Авачинский залив. Такой огромный флот в нем ныне топчется. Дочиста изведем рыбу. Придется нам свои сейнеры ставить на прикол.

Говорили об этом сероглазкинцы не только с трибуны. Писали, доказывали. Их ставили на место. Напоминали, что залив — не частная лавочка: «Может, еще свой замок собираетесь на него повесить?» Внушали: рыба в заливе — не колхозное, а государственное достояние. Общенациональное богатство.

Бывало и погрубее: «Вы эти куркульские замашки бросьте! Только о себе думаете, о своих карманах. На государственные интересы, выходит, вам наплевать. А мясо, яйца, молоко, сметана, хлеб, наконец, откуда, думаете, для вас же берется? Да из того же Авачинского залива. Из той же рыбьей муки, что идет на корм в животноводство, на удобрение». И гвоздили цифрами: на сколько от этой муки повышается продуктивность коров, как резко подскакивает яйценоскость.

Конечно, на месте сероглазкинцев рот особо не разинешь насчет Авачинского. Таким кляпом, как «государственные интересы», любой рот можно заткнуть. Наглухо. А тут — тем более, какие могут быть у колхоза права на Авачинский залив? Никаких. Ни юридических, ни моральных, ни... Разве только логика за них. Рыбу-то они тоже не для себя ловят. А хотят уберечь залив от разорения для кого? Ну кому хуже от этого станет, если и завтра, и через пять... через сто лет в Авачинском заливе рыба будет водиться? Понятно, тут свой интерес ближе всего. С сердцем прямо рядом. Слышно, как греет. Человек ведь надеждой жив. Но как ее провести, черту, между своими интересами и государственными?

Время шло. И боль постепенно вызревала. Конфликтные ситуации в Авачинском заливе то обострялись, то перекидывались в соседний — Кроноцкий, берега которого за последние два десятилетия обезлюдели. Он всегда считался самым богатым рыбным районом. За обширность ли, за многообразие ли фауны залив еще во времена Крашенинникова назывался Бобровым морем. Это в нем водилась знаменитая жупановская сельдь. По рассказам, такая жирная и крупная — в селедочницу не помещалась и голова свисала. И вся в собственном жиру тонула.

Я уже не застал ее. Говорят: хороша-а-а. Очень хороша. Слюной изойдешь, глядючи на нее. Не пробовал, на слово верю. А что в словах от правды и что от легенды — поди теперь узнай... Не сверишь. Потому как «была».

Богат был залив и окунем, треской, терпугом, палтусом, угольной, камбалой, крабом...

Небось насторожились: что, и эти рыбы тоже... «были»? Пока нет, так еще не скажешь, но к тому идет. Гибельный необратимый процесс начался. Протекает он своеобразно. Запасы в заливе не просто сокращаются, а как бы видоизменяются. Одни породы рыбы уступают место другим. Верх берут, стремительно размножаясь и овладевая кормовой базой, малоценные рыбы и непищевая живность. Идет засорение залива. Теснятся деликатесные — угольная, палтус. Реже и реже попадается окунь. Зато бычок расплодился — отбоя от него рыбакам нет. Где замет ни сделай, везде он попадается. Хозяином чувствует себя головастый. Это и на глазок стало видно. Потучнел и покрупнел заметно. Минтая догоняет.

И еще краб набирает в Кроноцком силу. Будто с бычком состязается, кому стать безраздельным хозяином, хотя экологические ниши у них вроде автономные и можно властвовать в них независимо друг от друга.

Краб — ладно. Краб тоже благо. Если бы он плодился не в ущерб другим рыбам, всегда более доступным для так называемого массового едока. Но вот что совсем страшно: все чаще и чаще вываливают рыбаки на палубы малых сейнерков копошащиеся клубки белых большущих червей. Неприятных, схожих с глистами. Судя по тому, что их становится все больше и больше, они тоже претендуют на захват залива.

А что могло произойти... Человек вмешался, вездесущий покоритель природы. Он-то своим недомыслием и безоглядной вседозволенностью переиначил жизнь огромного, как море, залива. И продолжает переиначивать, порой и сам того не подозревая, к каким последствиям могут привести его действия.

А происходит в заливе вот что — если судить по наблюдениям и выводам самих сероглазкинских рыбаков. С давних пор установлены для каждой породы рыбы обоснованные наукой размеры, которые и определяют, промысловая она или нет. Могут ее ловить рыбаки или не могут. Рыбоохране же дана власть строжайше контролировать, чтобы маломерка не попадала в тралы, снюрреводы и кошельковые невода. Промысловики и сами не станут ее брать. Ведь у них ее могут не принять, хотя при голоде на плавбазе и на это иногда идут — на муку пускают мелочь. Но куда денешься, если все же с добрым уловом попадаются и маломерки? Или угодит в снюрревод часть рыбы, обработкой которой плавбаза не занимается? Что ж, такая возможность тоже предусматривается правилами и инструкциями. Ими допускается процент так называемого прилова. За него и оплата грошовая, и со сдачей его вечная морока. Проще от него избавиться, чтобы места на судне не занимал.

И часто избавляются — от греха подальше. Напетит рыбинспектор, определит процент прилова выше нормы и весь улов может конфисковать. Вместе с долей маломерок и вся крупная рыба — как подарок государству идет. Рыбозавод или плавбаза перерабатывают ее, но бесплатно. Рыбаку — ни полушки за это. Не нарушай!

Вот и в Кроноцком заливе установили очень жесткие допустимые нормы на прилов. Скажем, ловят рыбаки треску, а вместе с ней попадается камбала. Вернее, камбалешка, которую рыбаки называют «осенними листьями». За малый размер ее. Вооружается команда зюзьгами — палками с крючьями на концах для сортировки рыбы,— и эти «листья» снова за борт. По-шустрому, не дай бог, рыбинспектор на каком-нибудь судне нежданно нагрянет. И тогда штрафа не миновать.

Летит за борт камбалешка, в родную свою стихию возвращается. Да вот беда,

не жилица она больше в ней. Ее в кутце мяли и сдавливали, зюзьгами протыкали, выбрасывая за борт,— где ж тут уцелеть? Редко какая оживает. В основном же опускается на дно. Ее-то и поджидают бычки. Сама, можно сказать, пища в рот идет, только раскрывай пасть пошире. И гоняться за добычей не надо. А выбрасывают не только «осенние листья», но и всякую всячину. Все, что только в трал и снюрревод попадается. Крупную и добрую рыбу себе на потребу, а недомерки — бычкам на угощение. Сотнями тонн за путину выбрасывается. Ценная рыба прореживается таким образом, а бычок на доступной и даровой подкормке тучнеет, стремительно размножается и захватывает кормовую базу. А что ему, бычку, не достается, что мимо его рта все ж проходит и опускается на дно, то тоже не пропадает. На дне уже крабы привыкли поджидать обильное угощение от рыбаков. И те самые белые, глистообразные...

Видят сероглазкинские рыбаки, во что превращаются кормильцы — Авачинский и Кроноцкий заливы, болезненно переживают, сопят недовольно, а изменить что-то, уберечь их от разора беспомощны. До времени, до случая какого-то. А потом их как-то разом прорывает. Взорвутся, и, смотришь, пошли письма во все концы строчить да в двери начальства стучаться. Опять же от обидного бессилия стучаться. Задохнуться же можно от обиды: ведь собственными руками, получается, готовят гибель таким богатым в прошлом заливам! Против воли своей. Против желания и интереса. Но только лишь заикнутся насчет интереса — бросьте, мол, лукавить, строите много лет и колхозное и личное благополучие на живности этих заливов да еще насчет какого-то интереса заикаетесь. Никто не насилует, можете не ходить туда, найдется кому там работать.

Будь рыбаки хозяевами, власть имей над заливами, разве довели бы их до такого состояния?

Может, оно так бы еще и долго тянулось. Дулись бы, взрывались, выпускали пары, а потом снова на то же место садились. Куда денешься. Доцедили бы заливы, а там — как жизнь подскажет. И до «межи», может, никогда бы не дошло дело. Да треску кроноцкую не поделили. Из-за нее в основном и за колье взялись.

Почему из-за нее? Ну, во-первых, она считалась как бы фирменной рыбой сероглазкинских промысловиков. С довоенных еще пор, с того времени, как появился у рыбартелей флот, на котором стало возможно высовываться из бухты в Авачинский залив, а потом и в Кроноцкий,— тресочка не выводилась из главных ассортиментных показателей. Неводами лосося брали, а суда специализировались на треске, сельди и камбале. Камбале, сельди да треске. Это уж по промысловой обстановке, когда и на что урожай богаче выпадает. Вся остальная рыба погоды в экономике раньше не делала, пока крупный флот не появился и не вышел на просторы океана. Понятно, на промысле трески так набили руку — что ни рыбак, то сам себе профессор. Знают, как ее ловить, а главное, когда ловить, чтобы и себе в навар и самой треске не в губительный ущерб.

Это одна причина, толкнувшая сероглазкинцев на «межу», когда на их фирменную рыбу стали посягать все — и кому не заказана дорога в заливы юго-востока Камчатки, и кому строжайше заказана. Тут, можно сказать, профессиональная ревность взыграла. Треску — это тебе не миньку давить: кинул-вынул и дуй на сдачу. С ней с умом надо обращаться. А не так, как иные делают. Захватят, смотришь, одним удачным заметом тонн семьдесят и гадают, как же ее на борт поднять. У одних смекалки хватало, поднимали, у других снюрревод обрывался и со всем уловом уходил на дно. И добро гниет, и еще вред от этого гниения другой живности. Каково сероглазкинским рыбакам видеть такую рыбалку? Они еще в начале семидесятых годов шишки себе набили на этом деле, знают что почем. Тоже вот так, по правде говоря, начинали. Полезли за треской на глубины, а ее оттуда не так просто выковыривать. Чуть ли не в полукилометре снюрревод по дну идет. Ваера длиннющие, а значит, тяжеленные для маленького сейнера. И на лебедку предельная нагрузка. Да еще рыба в кутке... Ну-ка, выволоки без опыта такую тяжесть с глубины. Бывало, два десятка тонн прихватят трески и уже ваера не выдерживают... Тут же семьдесят, да без навыка... Тоже еще тресколовы. По рации обматерят их сероглазкинцы, а что больше им сделаешь? Они и сами по снюрреводу утонувшему слезу льют. И потом... Хоть и временщики они в заливе, но жалко их. Свой же брат рыбак.

Вторая причина куда серьезнее и тревожнее. Раньше тресковая колхозная экспедиция создавалась из 6—9 судов. На каждое приходилось по 8—10 тысяч центнеров. Из них по полторы-две тысячи центнеров брали камбалы. Что могло статься сырьевой базе при такой нагрузке? Иное дело теперь. До тридцати судов направляется на треску только в Кроноцкий залив, не говоря о том, что и в Авачинском доцеживают последнюю. Бывает, сбегается и до сотни судов. Это только тех, что имеют лимит на треску. Но туда же еще забираются тайком и большие морозильные траулеры. И своими огромными тралами перепахивают дно. Берут они минтай, но и от другой рыбы не отказываются. Ущерб наносят непоправимый. Мало того что подрывают запасы шельфа, уничтожают среду обитания, так еще и отходы выбрасывают при переработке минтая на балык. Малые сейнеры, что на треске работают, нет-нет да и поднимают вместо рыбы несколько тонн костей и внутренностей минтаевых. Да из такого загаженного залива вся рыба уйдет, и правильно сделает.

Разбойные вторжения большого и среднего флота в прибрежные заливы ста-

новятся постоянным бедствием. На что только не идут команды этих судов. И закрашивают названия на бортах, завешивают их брезентом, чтобы с самолета не опознали, какое судно и кому принадлежит. Собак, любимцев рыбацких экипажей, и то уничтожают, чтобы по ним преследующее рыбнадзоровское судно не смогло разгадать удирающего браконьера. Собака — она же не соображает что к чему. Выскочит на палубу исполнить свое собачье дело, а ее засекут в бинокль рыбнадзорщики, внешние ее приметы зафиксируют. Придет судно сдавать улов на плавбазу, тут рыбаков в оборот: «Это вы изволили маскироваться?» Нет, мол, не я, твердит капитан, и хата не моя. А ему: «А собачка чья?» И сдавайся...

Государственное браконьерство приняло угрожающие масштабы. Оно стало обыденным делом. Идет какая-то страшная игра, направляемая одной и той же ведомственной рукой. Она, эта рука, перегружая рыболовный флот планами, не обеспеченными сырьевыми ресурсами и районами промысла, толкает промысловиков в запретные квадраты. И эта же рука поднимает в воздух зафрахтованные рыбнадзором патрульные самолеты для облета прибрежных вод, направляет патрульные суда для поимок нарушителей правил рыболовства. Происходит чудовищный по своей сути и по масштабности самообман. Итог этого самообмана — опустошение шельфа, губительное наступление на Мировой океан. И в конечном счете на будущее планеты!

В то же время, когда ведется эта игра в рыбнадзор и разбойников, работающих на одного и того же хозяина — Министерство рыбного хозяйства, когда тратятся огромные средства и усилия людей на выдворение из запретных заливов и зон своих же, советских судов, в нейтральных водах, омывающих Камчатку, ведут промысел польские, немецкие суда. По два месяца тратят они только на переход в этот дальний уголок Тихого океана. И, наверное, не зря это делают. Иначе кто бы стал забираться в такую даль. Они в открытых водах, за пределами нашего шельфа ведут небезвыгодный промысел, а наши, такие же по классу суда, не то что калачом не выманишь из прибрежного мелководья, но и никакими наказаниями не проймешь. Прямо как перед концом света разоряют прибрежья, будто завтра и жить не собираются. А на каждом из этих судов — не партийная организация, так партгруппа, помполиты лекции на экологические темы читают, о высоких материях толкуют. О совести спорят... Партийной... Человеческой...

Вот с той же треской. В марте — апреле Кроноцкий залив белым становится. От чего, думаете? От икры и молок... Нерестится треска в это время. И ее же в это время терзает, колошматит огромный флот. Так с молоками и идет она в трюмы. Глаза сероглазкинских рыбаков не смотрели бы на такое варварство. Ведь они еще помнят другие времена, другое обращение с живностью заливов. Возмущаются они, сероглазкинцы, но сами же и участвуют в этом разорительном разбое. И от этого еще острее испытывают душевные терзания. Но что делать в этой ситуации? Как поступить иначе? Один только путь — не ловить рыбу в это время, давать треске отнереститься и потом уж... Да, но что изменится, если они и пойдут на это? Одни? Не будут сами ловить, выловят другие. Не камчатские промысловики, так приморские или сахалинские. А это еще хуже. Им у чужих берегов и вовсе ничего не жалко. Абы лимит свой вырвать на треске, а там хоть трава не расти. Авачинский залив опустошили таким вот образом, теперь и на Кроноцкий навалились. И от него ничего не останется при таком-то ежегодном нашествии. И при таком отношении. На дне уже живого места не остается.

Известно, треска к донной растительности икру «приклеивает». Это — в обычных, нормальных условиях. А при такой замусоренности к чему ей ее клеить? К робе рыбацкой? Или к сапогам?

Надо еще иметь в виду особенность самок трески, их... беззаботность. Откладывают они икру где попадя и как попадя. Не зарывают ее, как лососевые, не маскируют, не оберегают от пожирания другими рыбами или моллюсками. Сами беспечные, да тут еще человек так жестоко вмешался в биологический процесс. И выживаемость потомства у трески упала до катастрофической отметки и составляет какую-то 0,001 процента.

Тресковая лихорадка, варварский дележ лимита, ажиотаж вокруг него и довели сероглазкинских рыбаков, как говорят, до белого каления. Пошли они войной против весеннего пиратского нашествия армад в Кроноцкий залив. Написали в обком партии, в ЦК. Стали разбираться. Подключили специалистов, ученых. Ответ от них пришел успокаивающий: ничего, мол, страшного. А насчет вылова лимита на треску и меня с толку сбили. Мой давний знакомый рыбоохранник просто оглоушил меня своим заявлением. «Ну чего они зря базарят, эти ваши колхозники,— сказал он.— Какая разница, сколько судов придет в залив брать треску, десять или сорок? Лишь бы им кричать. Наконец, что от этого меняется, какой флот будет ловить ее — малый, средний или даже большой? Есть лимит вылова. Общий лимит. И его должны выбрать. И сколько кому достанется и за сколько они его возьмут — это не имеет никакого значения».

А я и в самом деле не знал, как ему возразить, какой убедительный пример привести. Понимал нутром, интуитивно чувствовал — должна быть какая-то существенная разница между тем, о чем говорил он, и тем, что есть на самом деле.

Как же я злился потом на себя за то, что так ничего и не смог путного противопоставить такому обезоруживающе простому выводу насчет лимита, который всему теперь стал мерилом.

И все-таки хоть запоздало, но аргумент нашел. Совсем неожиданно. И где? Не на земле и не в море, а в небе. Я летел в Москву. Мой сосед читал... что бы вы думали? «Аргументы и факты». Я косился на газету соседа, пробегая глазами заголовки. Один из них привлек мое внимание. «Чем будет богат наш рыбный стол» — так называлось интервью с учеными Всесоюзного научно-исследовательского института рыболовства и океанографии. Попросил газету, когда сосед стал подремывать. Ничего нового в интервью для себя не открыл. Все те же проблемы и тревоги, о которых и сам не раз писал. Уже дочитывал материал и на последнем абзаце чуть не вскрикнул от радости. Вот же он, тот самый искомый мной аргумент!

Оказывается, на численность рыбы, на состояние ее запасов влияет не только добыча. До недавнего времени считалось загадкой исчезновение сахалино-хоккайдской сельди. Какие только предположения по этому поводу не высказывались. Но разгадка пришла совсем не оттуда, где ее долго искали. Вот каков неожиданный, ошеломляюще неожиданный результат исследования: у особей этого стада сельди от шума двигателей разрушались половые клетки.

Вот тебе и лимит. «Вот тебе и какая разница — сотня судов за неделю выбирает его или десяток малых судов за месяцы», — мысленно обращался я к рыбнадзорнику. Ах, как жаль, что его не было в ту минуту рядом. Небось клетки разрушались не от шума двигателей, что стоят на малом сейнерном флоте, да и на среднем.

Отчего-то же сокращаются запасы сельди в Кроноцком заливе. Резко вдруг стали сокращаться. Только за 3 года, с 1984 по 1987-й, вылов этой рыбы судами Сероглазки сократился почти в 20 раз — с 3,5 тысячи тонн в 1984 году до 180 тонн в 1986-м. Независимо от лимита идет такое сокращение. Лимит что? Так, цифра. Ее какую угодно можно нарисовать. Своя, послушная наука у ведомства, обоснует любой план, любой лимит. Да и директор головного института под рукой у министра — в членах коллегии ходит.

А вот шум двигателей и разрушение половых клеток — это уже что-то. Это уже какое-то оружие в защиту Кроноцкого залива от нашествий могучих армад. Может, тоже надо учитывать, если не этот фактор с клетками, так критическую отметку выживаемости потомства трески, плохую сохранность его. Уже сегодня, как было сказано, в результате человеческого вмешательства лишь одна тысячная часть выметанной икры может продлить жизнь. Всего лишь одна тысячная! Как опасно тонка и хрупка нить и как велика ответственность человека.

Не дать оборваться этой нити, сохранить жизнь в заливах-кормильцах для тех, кто будет жить на берегах,— эта человеческая тревога и объединила сероглазкинских рыбаков, подвигнула их на такие действия, на какие раньше они бы никогда не решились.

Прекратить промысел трески в Кроноцком и Авачинском заливах во время нереста — это требование в рыбацкой гостиной звучало почти ультиматумом. Или отдать их под опеку колхоза, если министерству безразлична их судьба. И это тоже выглядело не просьбой.

На «меже» затевалась схватка. В схватках не обходится без зачинщика. Но, бывает, провоцирует ее и какой-то раздражитель. И в такой незавидной роли оказался Олег Иванович Рудомилов. Кандидат наук из Камчатского отделения ТИНРО. Ученый с доброй репутацией в рыбацкой среде. И специалист по треске толковый, и как о человеке молва о нем не худая. Но, как мне рассказали, в гостиной его выступление не в масть пришлось. И взъярились рыбаки.

Неправильно считать, убеждал Рудомилов, что резкое сокращение этой рыбы в семидесятых годах и урожайная вспышка в начале восьмидесятых связаны с переловом или недоловом ее. Объяснение нужно искать в цикличности. А циклы связаны с такими явлениями, как солнечная активность.

Просветил он их и относительно пятен на солнце в период такой активности, а потом сделал вывод: ныне как раз продолжается еще благоприятный для трески цикл. Успокоил — у рыбаков нет серьезных оснований для тревог по поводу промысла этой рыбы в Кроноцком заливе. Заодно и поддел сероглазкинцев за монопольное притязание на этот залив. Ничем не обоснованное притязание. Ничего страшного он не видит в том, что в нем работают и суда государственного лова. У них тоже лимит на треску, где же они его будут выбирать? И количество флота не должно вызывать такое опасение, и то, что берут эту рыбу не только малыши, но и средние и большие суда. А насчет того, что траловый лов трески губительней снюрреводного, то это просто повод у колхозных рыбаков пошуметь. И пошуметь с одним умыслом — вдруг да и прислушаются в верхах, меньше станут сюда направлять судов.

Высказал Рудомилов и такой упрек сероглазкинцам. Если, мол, вы и в самом деле печетесь о заливе, то почему бы вам не перейти на лов в нем рыбы ярусами. Вот это был бы пример для всех.

Счел он беспочвенными и страсти-мордасти вокруг того, надо ли ловить треску весной во время нереста или это страшное преступление перед природой. Получалось так, что в этот период только ее и брать, пока она сконцентрирована. Для промысловиков же выгодно. А после нереста, когда она рассредоточится по всему заливу, погоняешься за ней.

Как-то так получалось, что о чем бы Рудомилов ни говорил — ни одно его высказывание не приходилось по шерстке колхозным капитанам, хоть каким-то краем не задевало каждого из них. Да еще старых счетов к ученым немало накопилось у промысловиков. Да, настроение было не из веселых — слишком тревожно вступала Камчатка в очередной промысловый год. На все это напожилась еще и рекомендация Рудомилова нажимать на нерестовую треску еще и потому, что она не местная, а проходная, американская. Нерестится не у наших берегов.

Словом подлил Рудомилов масла в огонь. Кто бы ни выступал и о чем бы ни говорил, мимо его замечаний никто не проходил.

— Весной берем треску, и к стенкам трюма сплошной серо-стальной массой икра липнет. Разве ж это не преступление перед будущим? — ровно, без надрыва повел свою линию Наголевский.

Кто-то, то ли из рыбводовцев, то ли из ученых, бросил реплику: «А что же тогда будешь ловить, если не треску? Как план выполнять? Семью как кормить?» Но и это не сбило Николая Адамовича. Он лишь кинул мимолетный взгляд в ту сторону, откуда донеслась реплика, и все так же ровно продолжил:

— Мы можем ведь и суда на прикол поставить, если так будет продолжаться. Ничего, проживем как-нибудь... Но и другим тогда хода не будет к нашей треске. Сами охранять станем.

У Николая Ивановича Хорта спокойно, рассудительно, как у Наголевского, не получилось. Он сразу взял высокую захлебную ноту. И, как всегда, в запальчивости густо уснащал свою речь украинизмами, которых избегал, когда говорил спокойно.

Я слушал Хорта с каким-то напряжением, будто все время ждал: вот-вот и он скажет самое, на мой взгляд, главное. Неужели же никто на это не обратил внимания? И он в том числе? Или это только меня потрясло, а для них такое — дело привычное, потому и не задело. Никого... Да нет, переминается чего-то Хорт и Рудомилова глазами ощупывает, будто прикидывает, как бы это его приварить покрепче. Значит, что-то еще хочет сказать? Может, как раз об этом?..

А Хорт уже сорвался в свою очередную запальчивую скороговорку.

— Вы хоть разобрались, куда нас ученый склоняет? Разобрались чи ни? — обводил он воспаленным от возбуждения взглядом гостиную.— Треску нерестовую знищожать. Вот куда! А почему? Так она не наша. Проходная. Американська. Не у нашнх берегов нерестится. Не жалко ее. Хоть всю вражью силу знищожь. Все равно не жалко. Бо чужа вона. Капиталистка. Ну ладно, а различить ее як, Олег Иванович? Подскажи. На лбу ж у нее не написано, чья она: советска чи американська. Красная чи белая? Наша чи чужая, империалистическая?

Вогнал вопросы в Олега и притих, морщиня лоб,— что бы еще сказать?

— А мы ще про новое мышление толкуем... Э-эх,— досадливо махнул рукой и сел, расстроенный.

Капитаны больших судов про свое вспомнили. И, как по бикфордову шнуру, побежал огонек от одного к другому, настраивая на взрывную волну.

— Сердце кровью обливается от беспорядков наших, — начал капитан-директор большого морозильного траулера Рафиков. — В Беринговом море зимой на минтае мы работаем. Тоже будто бы не наш минька, пришлый. Но поднимешь иногда трал, а там одна селедка. Да, та самая знаменитая, печальной памяти олюторская селедка. Зимой, после осенней жировки, она уходит из залива на глубины и отстаивается там перед нерестом. А мы ее берем. И не знаем, что с ней делать. Морозить нельзя. Откуда взялась, скажут. Голову за это снимут. Нет же сельди в рейсовом плане и быть не может. На перегрузчик не сдашь. И тоже по той же примерно причине. Куда дальше? Так она уже сдавленная и все равно погибнет. А ее в кутке тонн тридцать, а когда попадется и больше. Остается только одно: перегонять на муку. Да и мука из нее получается слишком жирная.

Представляете? По всей стране селедины не найдешь, — я иваси не беру во внимание, — а тут жирную селедку на тук пускаем. Сколько судов работает — и наших, камчатских, и сахалинских, приморских, — и все вот так же... на тук. А весной, читаем, ждут ее на нерест и ломают голову, не понимая, почему мало подходит. Не по прогнозу. Двадцать лет уже восстанавливается олюторская селедка после запрета и никак не наберет силу. Да она никогда не восстановится, если мы так же по-варварски будем к ней относиться. Убирать оттуда флот нужно, раз такое дело. А вы нам тут про... циклы. Про солнечную активность... Про пятна на солнце.

Господи, господи, что же с нами будет дальше, если мы идеологию вот так переносим на наше отношение к живой природе? К треске, к вольной океанской рыбе. Раз проходная, чужестранка, да еще американского происхождения — под корень ее... И это ученый так считает. Ученый! Специалист по этой породе рыбы. А значит, по логике, и радетель ее, и защитник. Ладно бы еще, какой-то нравственный урод или закоренелый браконьер с ожесточенной душонкой, который ради наживы и последнюю нить любой жизни оборвет, не задумываясь. Но этот, по отзывам — и человек вполне... Почему же тогда?.. Откуда это в нем? И он ли только в этом виноват, если даже и сейчас не осознает, на что он благословил рыбаков? «Ее можно... Она не местная, проходная...». Будто не наша, не Земли нашей. Да если бы и с другой планеты...

В памяти всплыл фильм про журавлика стерха. Советско-американский фильм. Его не раз показывали по телевидению. Пронзительный фильм. Человечностью своей пронзительный. Наверное, видели его. Речь там идет о совместном советско-аме-

риканском эксперименте по спасению и расселению журавля, который занесен в Красную книгу и которому угрожает полное исчезновение. Журавлик этот своей родиной избрал север Якутии. Не получалось у него с потомством. Судьба птицы шла к трагической развязке. Ученые сразу двух государств вмешались в эту судьбу, чтобы отвести от нее роковой исход. И рухнули перед ними все барьеры, нагроможденные за многолетье пропагандой. Нагроможденные с обеих сторон — и с нашей, и с американской. Разгребать завалы — дело тех, кто их создавал. А ученые спасали журавля. Спасали не для Америки и Советского Союза. Они спасали его для мира. Для всего человечества. Сегодняшнего и будущего. Журавлик для них был живой душой мироздания.

И как же мы, миллионы телезрителей — и наших, и американских, — сопереживали горстке людей, когда они, вслед за журавликами, неспись через континенты и океаны с драгоценным кладом — яйцами, и как безудержно радовались проклюнувшейся из «насиженных» яиц новой жизни...

«А треску можно уничтожать...».

Радуемся всякий раз и газетным, и другим вестям из совместной советско-американской рыбопромысловой кампании. Вот уж где люди проверяются по всем статьям! И на крепость телесную, и на духовную, на способность ценить дружбу, взаимовыручку, на те добрые человеческие проявления, которыми держится наш мятущийся мир. И проверяет их не абы какое море, а самое суровое — Берингово.

Начиналась эта кампания с малого. С одоления людьми недоверия друг к другу, с приглядок да притирок. Совместный вылов и обработка 800 тонн рыбы — это было началом делового партнерства. За десять лет добыча увеличена в тридцать с лишним раз и ныне составляет четверть миллиона тонн. Во сколько раз изменились у людей разных, противодействующих стран отношения друг к другу, насколько они потеплели — такого цифрового учета нет. Жаль, что не введены такие показатели. Хотя... Вот один из них.

Мне так глубоко и волнующе запомнилось это газетное сообщение. Американские добывающие суда ради экономии времени зачастую оставляют кутки с рыбой на плаву. Наша же советская плавбаза передвигается от одного кутка к другому. Уловы поднимаются на борт, взвешиваются, и добытчикам на принятую рыбу выписываются необходимые финансовые документы. При взвешивании чаще всего не оказывается на плавбазе ни одного представителя американских добытчиков. Но не было случая, чтобы кто-то посягнул на это доверие, допустил недовес.

Не знаю как кого, а меня это трогает. По-человечески сильно трогает.

И еще о порядочности. Когда между промысловиками советско-американской кампании заходит речь о работе объединенной экспедиции «Дальрыбы» в Беринговом море, нашим мужикам приходится стыдливо отводить глаза. Или шкодливо, так тоже будет верно. Почему? Да потому, что они знают, какой минтай ловят их земляки — дальневосточные рыбаки — в этой экспедиции. А берут они его, как говорится, без учета возраста и размера. Любой минтай, какой только попадается в трал, идет в дело. Не на пищевую продукцию, так на муку.

Но ведь это же, скажете, самое настоящее истребление. Это же не по-хозяйски. Верно. И в других районах промысла с тем же минтаем так не обращаются. Почему, спросите, здесь и маломерок в ход идет? Да потому, что в этом районе Берингова моря минтай не «наш», не местный. Американский... Можно без зазрения совести ловить его. Мы не прикончим, пожалеем, так прикончат немцы-фээргешники, они тоже работают в этом районе. Даже циркуляры министерские разрешают не церемониться с «чужестранцами», указуют брать больше, брать любого размера...

Самообман... Его можно было бы посчитать невинным заблуждением, если бы он не пододвигал человечество к пропасти...

И треску можно уничтожать... Она тоже не местная, она проходная...

Но вернемся снова в гостиницу. Выступает капитан малого сейнера Кузьменко. Горяч. Сразу кусаться:

— Вот вы тут нам кино про морскую корову показывали. Да если мы будем так к живности морской относиться, как сейчас относимся, так нам уже внукам своим придется рассказывать про рыбы, которые звались... треской и камбалой. Ну как, а? Про треску и камбалу?! Тьфу, стыдоба... Рассказывать, а показать уже нечего будет. Страшное дело! Только нам не надо дожидаться такого часа. Самим за ум надо браться... И так уже успели натворить — дальше некуда. Какую рыбу ни возьми, на чем недавно промысел держался, — поминки по ней справляем... Все была да была. И та была, и другая... пятая. Селедку перемяли, передушили, окуня на тук пережгли, камбалу переловили. И вот треска...

Про окуня обмолвился, а у меня сразу вся картина перед глазами. Сколько же его было, этого окуня! Кажется, все рыбные витрины страны одно время он захлестнул. На нем, на окуне, промысловики больших морозильных траулеров учились и мастерству владения современной рыболовной техникой, и... крупномасштабным разорительным нашествиям на океан. Да, именно с окуня началось освоение океанских просторов, новых, дотоле неизведанных районов промысла. И окунь стал первой жертвой этой школы хищнического опустошения. Дорогой жертвой.

Сейчас бы из этой вкусной рыбы могли выпускать разную продукцию. Тогда же, в середине и в конце шестидесятых годов, поступал от больших морозильных траулеров только шкеренный окунь. И еще мука. Много муки. Это ныне она выпускается в

основном из отходов. Ныне направление пищевой рыбы на тук стало экономически невыгодно и к тому же строго наказывается.

Тогда же окунь, как говорится, живьем шел в туковарку, минуя даже «карманы» на палубе. Из кормовых колонок ни днем ни ночью не переставал валить густой пахучий дым. Вал тогда всему был голова. Без муки же вал не сделаешь. Больше сорока тонн окуня не заморозишь. Такой технический предел. А рыбы — хоть по уши залейся. Вот и выжимали, старались: на морозку пускали сорок тонн в сутки, до 50—60 тонн на тук, и среднесуточная добыча сразу круглилась в сотню. Потому-то и споро управились с окуневыми банками. И еще потому, что окунь — рыба живородящая. Парни в судовых заводах по пояс при разделке в мальке вязли. Гнезда окуневые и среду обитания разорили тралами. И не осталось ни малька, ни окуня...

А пляска безумия на краю пропасти продолжается. Теперь на треску навалились всей мощью.

Да неужто Россия шла державно к восточным своим пределам затем, чтобы вот так закончить свой многовековой поход? Неужто затем, одолевая нехоженые тысячеверстья, двигался встречь солнцу через горы и глухие долины, продирался сквозь таежные дебри, трясинные тундры и болота, одолевая горные перевалы, быстрые и холодные реки, камчатский Ермак Володимир Атласов со товарищи, чтобы его дальние потомки державно пограбили Великий океан? Для этого ли, испытывая нечеловеческие лишения, день за днем открывал для мира Степан Петрович Крашенинников удивительную землю Камчатку с ее тысячами чистых, струнистых рек, кишащих рыбой, чтобы через каких-то два с половиной столетия эти реки превратились в мертвые? Неужто доживем мы до такого позорного часа, когда однажды доставят нам с материка толстолобика или еще какую-то диковинную рыбу и приступят к ее акклиматизации. К нам доставят, на Камчатку?! В «рыбный цех страны»? И все начнется заново...

Вот какие невеселые мысли пробуждали выступления сероглазкинских рыбаков. До того они были гневно-тревожными. Все до единого. Впервые так мужики взбунтовались.

Но было в их суждениях и что-то такое, что рождало хоть и робкую, но надежду. Надежду на какие-то близкие перемены. Что это будут за перемены — улавливалось еще очень смутно. Но суть их все равно не ускользнула от старейшины камчатской науки, человека мудрого, многознающего, Игоря Ивановича Куренкова. Благородного рыцаря науки, как его считают и сами ученые, и специалисты-рыбопромышленники. А рыцари, известно, в поддавки не играют. Честь не велит. Вот и доставалось Игорю Ивановичу во все времена: и в дозастойные — пору молодости с ее дерзостными помыслами и действиями, и в застойные — пору мудрой осмотрительности. Доставалось потому, что свой взгляд на все имел. За то и бит был.

Войну довелось ему вести на несколько фронтов. С начальством своим и рыбохозяйственным, поскольку его, куренковская, позиция часто не сходилась с позицией начальственной. Рыбохозяйственным верхам во все времена знай прогнозируй побольше. Чем больше, тем для начальства лучше. До самого упора, пока в стену не упрутся, требуют этого «больше». Куренкову же, наоборот, разумные пределы иногда виделись в меньшем. Его надо было отстаивать, чтобы это меньшее со временем обернулось выигрышем. Не сиюминутным обманным выигрышем, а устойчивым, таким, что обеспечивал бы промыслу надежность.

А уж как ему от самих рыбаков доставалось — это и в счет не бралось. Для них рыбы нет — науку на чем свет костерят, она во всем виновата. Ну а если оправдываются прогнозы и рыба валом повалит — про науку и не вспомнят. Не до нее. «На них, на наших ученых, надеяться — и ноги протянешь» — это выражение у промысловиков как вечное клеймо, которым они метят науку во все времена и особенно в неблагополучные для себя. Но обиду на них Игорь Иванович никогда не таит. Вот и в этот раз, кидая камни в Рудомилова, сероглазкинские рыбаки так или иначе попадали в Камчатское отделение ТИНРО. И когда поднялся Куренков — гостиная затаилась настороженно. Думали, сейчас начнет искать оправдание. Всему. И неосторожной оговорке насчет проходной, «не нашей» трески, и позиции камчатских ученых в целом по поводу промыслового пресса на камчатском шельфе. Рассчитывали, издалека начнет «мозги туманить» мудрый старик, сумеет так обкрутить, и не заметишь, как в неправых окажешься. А он несколько фраз сказал и сел. Но зато в самую суть заглянул. «Сегодняшняя встреча открыла для нас всех совершенно другого рыбака, — сказал Игорь Иванович. — Не временщика, что десятилетиями приезжал на Камчатку за длинным рублем, а хозяина. Такого хозяина, которому не безразлично будущее океана и который сам берется отвечать за это будущее перед потомками».

Точно подметил. Лучше не скажешь.

Выбор мной был сделан. Все былые задумки в сторону и — под знамена колхозных рыбаков. Надо им помочь. Но как? Слушали их притязания. Что-то улавливалось в них от самостийности, партизанщины: отдайте нам Кроноцкий и Авачинский заливы, а мы сами уж посмотрим, как ими распорядиться. Но ведь это же могут заявить и другие колхозы. И также могут претендовать на «свои» бухты и заливы. На рыбные речки. А как быть государственному флоту? С крупными судами понятно — им нужно выходить в открытый океан. Но где работать среднему флоту, тем же сейнерам-траулерам или средним траулерам-морозильщикам? И не только принадлежащим

государственным предприятиям, но и межколхозному производственному объединению. С ними как быть?

Ну, допустим, пойдут сероглазкинцы на крайний шаг: во имя завтрашнего благополучия откажутся от промысла трески, камбалы, палтуса в Кроноцком и Авачинском заливах. Не станут ловить эту рыбу до полного восстановления запасов. Но где-то же они должны в это время ловить? И что-то? А что? Весь малый флот не поставишь же надолго на прикол? Так и экономику колхоза ненароком ослабишь, хотя, если с умом, часть нагрузки можно с малышей переложить на средний и крупный флот. Разбросать и добычу, и доходы. Поднатужатся, и могут перекрыть долю. Но вот кто будет кормить семьи рыбаков? Если уж оставлять заливы в покое, то не на день и не на два. Потребуются годы. Не может же колхоз на этот период взять команды малых судов на иждивение. А они, видите, на что настраиваются: «Как-нибудь прокормимся». Прямо как бастовать вздумали. Правда, в запальчивости и лишнего, может, наговорили. И хотя это доброе дело, когда люди так решительно идут на любые жертвы ради большой и благородной цели, но все же, все же...

Событие принимало нешуточный оборот. С какой угодно стороны — нешуточный. Нравственная правота была за ними, за рыбаками. Но нужно было осмыслить как следует, с чего повести разговор в печати, на что опереться. Тут нельзя с наскока.

Кинулся за советом к председателю колхоза. Уж его-то разворачивающиеся события никак не обтекут, не задев. Но Владимира Васильевича Сватковского в эту пору не оказалось, улетел в командировку. С кем еще поговорить, в ком опору найти? Может, с Петренко? Как же сразу о нем не подумал. В недавнем прошлом заместитель председателя колхоза. А еще раньше — капитан-директор большого колхозного морозильного траулера. Теперь вот секретарь парткома. Как раз то, что нужно, — рыбацкого корня человек.

С «безработицей» рыбаков малого флота, вопреки моему ожиданию, справились мы с Петренко без особых головоломок. Для Виктора Даниловича будто и вообще не существовало проблемы, чем станут заниматься промысловики в случае отказа от губительного перелова трески. При этом в суждениях его подкупал здравый смысл. И что им даст «забастовка», вслух рассуждал он. Бессмысленная жертва. Где гарантия, что другие не пойдут в залив? Сам по себе пример, конечно, мощный заряд несет. Моральный. Бесследно он не пройдет. Откликнутся на него рано или поздно. Не угадать пока, как и когда, но откликнутся. Но это еще и не заслон для других. На сегодня жертва может оказаться, повторяю, бессмысленной.

И другое. Почему мы замкнулись на одних и тех же породах рыбы. Как будто кроме них у нас ничего не водится. Десятилетия берем то, что с краю лежит. И что брать легко. А выгребем подчистую — и тогда с испугу тараканов начнем ловить, абы не останавливался промысел. Но зачем до этого доводить? Перерывы надо делать. Почему бы не осваивать тем же рыбакам малышей промысел краба, осьминога, кальмара, трубача... Вон сколько добра рядом с нами. И все — деликатесное. Белок. Правда, придется планы снижать на судно. Сразу тощим вал станет. Колхоз на это пойдет. Нам надо уже, надо тормозить с валом. Мы пойдем на снижение, добыча доходом перекроется. Но пойдет ли на это начальство? От областного — до министерства?..

Да-а, тут-то и была вся загвоздка. Размечтались... Называется, нашли выход. Снижать планы... Но почему бы и нет, если это разумно? Разумно и оправданно?

Решили проиграть эту ситуацию. На министерском уровне. С государственными мерками ко всему подойти.

Сначала кресло министра занял я. И сразу почувствовал себя в нем не совсем уютно. Странно, но все из него стало видеться не так, как с моей колокольни. Во-первых, из моей, теперь уже «министерской» головы вмиг и начисто, как будто в ней и не застревали, вылетели названия заливов, Авачинского и Кроноцкого. Да и мне ли, министру, такую мелочь в уме держать? Их тысячи, всех не упомнишь. Мировой океан и главные промысловые районы в нем — другое дело. Это надо держать. Так, чтобы с закрытыми глазами подошел к карте и ткнул указкой в нужное место. Безошибочно ткнул. И про основные цифры по министерству, по главкам надо помнить постоянно. Видеть перед собой, как они вписываются в союзную статистику. И как соотносятся с достижениями других министерств и ведомств: выигрышно или не совсем. Иначе жди с минуты на минуту звонка, звучащего, как удар хлыста, вопроса: «Почему?»

До каких-то там заливов ли в такой-то ситуации? Да и что они значат применительно к масштабам отрасли. Палец приложи на глобусе — и под ним укроется любой из них. Под мизинцем укроется. И вокруг него такие страсти. Вот и секретарь парткома туда же. О чем-то тоже толкует.

Двухметровая каланча этот Петренко. Выше его вроде и нет никого в колхозе. А отсюда, из министерского кресла, и он таким маленьким выглядит... И рассуждает соответственно. Локально. Широты не хватает. Ну чего ты хочешь, чего добиваешься? Опять со старыми бредовыми идеями о передаче колхозу под опеку заливов?

— По нынешним временам не такие уж и бредовые. Можно и попробовать, — настаивает Петренко. — Кооперативам и семейным подрядам все теперь отдают, лишь бы только разворачивались. И ресурсы, и землю, и золото в отвалах. А уж земли бери сколько душе угодно, на сколько силенок хватит — лишь бы пуп не развязался от натуги. Кровушки-то за землю пролито. Реки. Теперь же не знаем, чем и как привязать к ней, какими только калачами не заманиваем. Почему же колхозу, такому технически могучему, как наш, нельзя передать заливы? Почему нельзя другим

колхозам передать под защиту рыбные водоемы? Закрепить рыбные огороды за хозяйствами.

— То земля, а это прибрежные воды. Не путайте.

— Какая разница? И то государственное достояние, и рыба...

— Да что ты с этой... землей... Ею по горло уже сыты. В колхозах во как насытились! А с заливами другое дело.

— Понятно... С землею возиться надо. Вкладывать в нее надо. Средства, труд. Да еще погода. Суша. Ветры. Заморозки. С ней что... Не сей, не ухаживай, а греби, пока гребется. Потому и держитесь за нее так, от себя не отпускаете. А прикончите, легко расстанетесь. Будто в гостях побывали. Встал из-за стола, отбыл долг, думай теперь, куда и к кому завтра? А мы так не можем.

И пошел мне доказывать, почему колхоз так не может. Детьми, внуками пытался меня разжалобить. О них, дескать, колхоз должен думать и для них поберечь жизнь в прибрежных водах. И потому-де надо отступиться. Хоть на какое-то время. Снять опасный пресс с камчатского шельфа. По возможности как-то перераспределить нагрузку по другим промысловым районам. И щадящие технологии лова смелее вводить. И оперативнее. Тот же ярусный лов. Может, с Кроноцкого и Авачинского и начать. Отдать их ярусоловам, пока силу заливы вновь не наберут.

Бог ты мо-ой! О чем он говорит? Это же детский лепет... Эх-ха, мне бы его заботы. «Снять пресс... перераспределить нагрузку по другим районам». По каким это другим? На Балтийское море накинуть? Так его первым прикончили. Мертвым сделали. Теперь вот сколько лет реанимируем. Может, Черное подзагрузить? Смешно. Там не то что государство кормить, на себя не срабатывают. В основном лапево сбывают черноморские уловы. На ненасытную курортную потребу.

Какие еще надежные кормильцы? Азовское море? Каспий? Арал? Ладога?.. Байкал?.. Надо ли про них рассказывать. Про трагедию каждого из них. Разве только Каспий еще не утратил рыбохозяйственного значения, все остальные моря и озера катастрофически оскудели. Да и Каспий даже в лучшие свои времена давал осетровых меньше, чем бассейн реки Камчатки — лососевых.

Так на какие еще бассейны, товарищ Петренко, прикажете мне перераспределять нагрузку? Остается «Севрыба» и «Дальрыба». На последнюю падает почти половинная доля всей добычи страны. Всей, включая и промысел за пределами наших экономических зон. В Дальневосточном регионе сосредоточен самый могучий рыбопромысловый и рыбоперерабатывающий флот. Запасы же рыбы на самом приморском шельфе подорваны. Это и вам, дорогой Виктор Данилович, должно быть известно. И как добытчику в прошлом, и как руководителю хозяйства. Поскудел и сахалинский шельф. Остается камчатский. На него падает два с половиной миллиона тонн рыбы. Это бо́льшая часть добычи «Дальрыбы». У берегов Камчатки концентрируется ударный кулак рыбопромысловых дальневосточных сил.

— Топор... — буркнул Петренко.

— Какой... топор?!

— Топор, говорю, занесен, а не кулак.

— Допустим... и топор. А где мне его еще заносить? Над каким районом?

— Но это же и несправедливо? Кидать в жертву такой рыбный край в угоду отраслевому интересу! Плану! Сегодня обдерем, а что будем делать завтра?

— Камчатский шельф нельзя, значит? А Балтику можно было? Приморское побережье, сахалинское сколько лет давили — это можно было? Не больно, да? Не свое? Там где-то, в стороне? Так? Вот оно прет, местничество! А в мое положение вы входите? Как мне в этой ситуации быть? Не знаете? Тогда я скажу: мне, министру, нет разницы в конце концов, каким шельфом жертвовать. Я уж не говорю про заливы... Кроноцким ли, Авачинским, Кольским... Господи, мелочь-то какая... Мне страну надо кормить. Всю страну! Надо, чтобы в магазинах была рыба... И чтобы ее сегодня было не меньше, чем вчера. И боже упаси, если ее станет меньше, чем предусмотрено контрольными цифрами пятилетки. За это голову снимут. Что, и там этого не понимают?

— Где там?

— А где снимают головы. Не нам, а министрам? Где нам — я знаю. И за что нам — знаю. А вот министрам?..

Ишь какой любопытный. Понимают ли там? Поймет ли тебя твоя жена, если в магазине будет шаром покати. А вслух ему сказал вот что:

— Ответь мне, дорогой, так уж важно жителю Рязани, Челябинска, Вологды или, скажем, Донецка знать, с какого шельфа в их магазины доставили рыбу. С камчатского или с сахалинского? Подорваны там запасы или не подорваны? И так уж важно ему в нынешнее безмясное время знать, во время нереста выловлена треска или после него? Чья она, какого рода-племени, местная или проходная, американского происхождения? Или, может, тебе в каком-то из среднерусских городов доводилось в магазинной книге жалоб и предложений встречать запись — совет такого, например, содержания: «Если у вас там, при морях, совсем туго с рыбой — так и не насилуйте ни себя, ни ее. Не переводите так, как в реках наших перевели. А мы тут много перебивались и еще перебьемся. Мы к этому привычные».

Иметь бы мне, министру, такой документ хоть из одного бы магазина...

— Что же, сочувствовать вам? — ухмыльнулся Петренко.

А я втайне и сам себе уже сочувствовал. Занесло меня в это министерское кресло в недоброе время. Нет бы в нем очутиться, когда рыбы было навалом. И какой

угодно. Озерной и речной столько было — для себя хватало и еще за рубеж вывозили. А что такое шельф, про это и слышать не слыхивали и понятия не имели.

Я уже хотел точку ставить под безвыходностью своего министерского положения, да Петренко сбил меня:

— Не там опору ищете. Не в книге жалоб она. А вот тут. — И по лбу выразительно себя постучал. — И тогда отпадет нужда без удержу наращивать добычу и в жертву этому росту приносить плодоносные бухты и заливы, шельфы и целые моря. Не по хвостам рыбьим надо судить о работе министерства, а по тому, что из этих хвостов делается. Те же японцы только из презренного нами минтая производят сорок видов продукции. И все — пальчики оближешь. А мы... Сами же знаете... Они из минтая говядину вырабатывают, крабовые палочки. У нас же краба передержат, а потом на муку его. На удобрение... Все наоборот...

И пошел перечислять то, что не только мне как министру рыбного хозяйства, но многим известно. Всем, кто газеты читает да телепередачи смотрит. И про выбросы рыбы за борт из-за нехватки приемных мощностей и из-за безалаберности вспомнил. И про узконаправленное и неумелое использование сырца при переработке. И про то, что языки уже онемели от многолетней болтовни о необходимости внедрения безотходного производства. И про безмерную порчу рыбы на всех этапах — от района промысла до прилавка магазина. И про тысячи обезрыбленных рек, речек, озер и прудов вспомнил, про то, что им надо жизнь вернуть, в кормильцев превращать. Только бы с этим навести порядок, и уже можно было бы при меньшей, чем ныне, добыче больше иметь рыбной продукции.

Не забыл он ввернуть в общегосударственные дела и свои, местные заботы.

— При таком порядке об Авачинском и Кроноцком заливах и разговору бы не было. Мы сами бы нашли возможность по-хозяйски ими распорядиться.

Может, и он прав, этот секретарь парткома. Прав со своей колокольни. А каково мне? Ведь я ему даже сказать не все могу. Не могу сказать о том, что решающе влияет на принимаемые мной решения. Вот первое и очень важное, о чем я должен умалчивать. Я ведь новый министр. Совсем недавно в этом кресле. И, как всякому новому министру, мне нужно перво-наперво что делать? Верно. Мне нужно утверждаться. Да, утверждаться. Нужно ли объяснять, что это такое? Для себя я знаю твердо, в случае чего любой сбой в динамике развития отрасли я не стану объяснять Председателю Совета Министров какой-то разумной целесообразностью временного снятия рыбопромыслового пресса с камчатского шельфа. А тем более с какого-то там Кроноцкого или Авачинского залива. Предсовмина меня при нынешней продовольственной ситуации в стране просто не поймет. Не захочет понять. Потому что ему тоже надо кормить страну. Не завтра, не послезавтра кормить, а сегодня. И еще потому, что его тоже могут не понять...

Так чем мне прикажете жертвовать? Камчатским шельфом? Заливами? Или своим новым положением министра? Скажи я это Петренко, тот сразу бы огрел встречно: «Но рыбаки-то наши готовы пойти на жертвы? Суда готовы поставить на прикол во имя завтрашнего благополучия. Ремни на животах затянуть». И что бы я мог ему на это ответить? Что жертвы, моя и их, не соотносимы? И потом, они идут на это ради того, чтобы жизнь продолжалась на их родных берегах. А мне зачем это? В чем смысл моей жертвы? Министры не вечны. К сожалению. Они тоже — люди. Завтра снимут или...

Ну не я это сделал, так сделает другой... Далее. Рыбаки идут на жертву ради будущего. Мне же мое положение министра под будущее не дают. К сожалению. Потому н... сами понимаете.

Тут мы и поменялись с Виктором Даниловичем ролями. Но это ровным счетом ничего не изменило. Как только Петренко взгромоздился в кресло министра, он сразу же начал утверждаться в своей новой роли. А утверждаться министру рыбного хозяйства путем снижения темпов добычи рыбы — такого и в самых потаенных помыслах ни у кого не бывало.

Да простят меня за этот прием, который показался единственно возможным и вполне годным для того, чтобы взглянуть на нынешние заботы колхоза со всех сторон: и снизу и оттуда, сверху. Повод рассуждать именно так, а не иначе, находясь в «министерском» кресле, дал мне сам Николай Исаакович Котляр, действительно ставший недавно министром рыбного хозяйства страны. Что за повод? При нем пока над самым продуктивным камчатским шельфом еще опаснее сгустились тучи. На камчатские берега нацелены чуть ли не круглый год армады приморских, сахалинских, хабаровских рыбопромысловых флотилий. Теперь это в печати открыто называют экспансией. Рыбаки и общественность встревожены. Вычерпают рыбу до опустошения прибрежных вод и уйдут дальше. Туда, куда направит главный штаб отрасли. Кричать вдогонку будет поздно. Катастрофу надо, говоря военным языком, упредить. Происки же ведомства порой принимают агрессивный характер.

В начале 1987 года мне позвонили на квартиру из Камчатрыбакколхозобъединения. Взволнованно сообщили о вторжении больших морозильных траулеров в прибрежные воды северо-востока Камчатки. В запретные для них воды.

Сначала подумалось, что произошло какое-то недоразумение. Уточнил: кому звонят. Голос в трубке после короткого замешательства назвал мою фамилию.

— А при чем тут какое-то вторжение больших морозильных траулеров и... я?

— Как... при чем? Вы же, говорят, пишете? Вот и... Может, пригодится? Так что помогайте словом.

Пришлось выяснять подробнее, о чем все же идет речь. Оказалось, в «Камчатрыбпром» поступила радиограмма за подписью министра рыбного хозяйства Котляра, разрешающая тринадцати большим морозильным траулерам вести промысел в прибрежных водах национального Карагинского района — самого рыбного в Корякском автономном округе. В районе рыбозавода три рыболовецких колхоза, располагающих многочисленным малым флотом. Что же он будет ловить в путину после такого нашествия? А тут еще новость. Вместо тринадцати судов пашут будто бы тридцать больших траулеров. И все — с ведома министра.

И это взбудоражило Камчатку. Словно десант иностранный вторгся — такая началась паника.

Событие это, как воронка, и меня затянуло. Связался с начальником отдела добычи Камчатрыбакколхозобъединения Владимиром Прокофьевичем Сайко. Уж он-то должен разобраться. На его же подопечные владения нашествие. И вообще он всегда ориентируется в обстановке. Еще бы. Сколько я его знаю, столько он и ходит в этой роли. Может, два десятка лет, а может, и больше. Еще совсем молодым его помню. Первый раз встретил его в Олюторской сельдевой экспедиции, и еще подумал: кто, интересно, слушать будет этого пацана? Чем-то напоминал тогда наш камчатский сельдевой бум джеклондоновский Клондайк. Со всего света сбегалась туда публика на путину. И какая публика! Охотники за фартом. И что ни капитан, что ни рыбак, то хоть на холст и на выставку. А рявкнет на тебя морячина простуженно — заикой делаешься, пока не привыкнешь. У Сайко же к тому времени и голос только-только становиться начал.

Как-то очень долго его не доводилось видеть. А столкнулся случайно и с трудом узнал. Темные волосы сединой прошиты, и весь он каждым жестом, каждой черточкой на лице выказывает умудренность житейским опытом.

Так вот. Спросил я у него, чему верить, а что от паники идет.

— Завтра полетим с рыбнадзорниками. Тогда и прояснится. Заказали на утро самолет, — как-то зажато выдал он мне информацию. Может, и верно, пока сам не убедился — чего додумывать.

Позвонил ему на следующий день. На месте. Оказывается, уже успел обернуться. Чуть ли не две тысячи кэмэ отмахали.

— Ложная тревога, — сообщил он. — Да, министр действительно разрешил судам работать в этом районе. Кругом тяжелая ледовая обстановка. Но добро дано ловить на изобатах в четыреста метров. Ближе к берегу не подходить.

— И что? Выдерживают?

— Гм, спросите чего-нибудь полегче. Как же тут с самолета определишь, какие под судами глубины? Четыреста или триста девяносто девять?.. На глаз далековато от берега. Названия и то не прочитывались. Их и льды отжимают мористее. Скорее, за четырехсотметровыми изобатами.

— Много?

— И тут у страха глаза велики. Десяток насчитали. Всего. Да и что он, министр, враг, что ли, сам себе? Станет давать добро на большее число, чем в радиограмме.

По логике, оно вроде бы и так. Должно быть так... Не враг он себе. Но, видно, раньше я лучше думал о министрах. Теперь же насторожила сама реакция на его указание. Это же ведь не кто-либо из другого ведомства, а свои подчиненные так взбудоражились. Бегом на самолет и проверять. Кого? Самого проверять?!

А спустя год и вовсе вышла некрасивая история. О ней было рассказано в «Правде», в «Московских новостях», в местных дальневосточных рыбацких газетах. При небольших вариациях в освещении этой истории суть всех публикаций сводилась к одному и тому же — раскрытию конфликтных ситуаций между Министерством рыбного хозяйства и подведомственной ему рыбоохраной.

На какой почве конфликты? Все чаще рыбоохрана на местах стала выходить из послушания. В Дальневосточном регионе от рыбинспекторов областных управлений просто житья не стало рыбопромышленникам. Не дают грабежом заниматься. Мешают... Завысит, скажем, «Дальрыба» лимит на минтай или треску, и сразу такой шум поднимается в прессе — только успевай отписываться. Направили большой флот на северо-восток Камчатки — снова крик: «Караул! Грабят!». Разрешило министерство экипажам больших морозильных траулеров, работающих в северо-восточном районе Охотского моря, вдвое сократить пределы промысловых глубин — с четырехсот метров до двухсот, — и тут же в печати появились обвинения в покушении на подрыв запасов — плодоносное нерестовое мелководье опустошается. Как будто министерство и его Дальневосточное производственное объединение «Дальрыба» ради каких-то своих ведомственных прихотей на все это идет, а не ради интересов государства. Да и обстоятельства вынуждают делать такие шаги. Никто же не освободит министерство от его доли в решении Продовольственной программы.

В другие времена можно было запросто прижать крикунов, заткнуть им глотку, поставить на место — знай сверчок свой шесток, — но сейчас делать это рискованно. Гласность... Демократия... И экологическая напряженность в стране. В мире.

Обострение конфликтов еще и еще раз убеждало: надо торопиться выводить рыбоохрану из ведомственного подчинения и приводить ее под всемогущую государственную руку. Такие перемены назревали. И назрели. Был принят партийно-правительственный документ «О коренной перестройке дела охраны природы в стране». Новый Государственный комитет СССР — по охране природы — брал под опеку основные природные ресурсы, в том числе и рыбные запасы, морскую среду территориальных вод континентального шельфа и экономической зоны страны.

Такого хозяина давно ждали. С ним связывали большие надежды. Ждала его и

Камчатка. Считали: лишь во власти такого комитета уберечь прибрежные воды полуострова от разорения. Но тут-то и повернулись события несколько неожданной стороной. Ожидалось, и это было естественно, что с созданием комитета обретет силу контроль на местах. Общественность Камчатки настраивалась путем широкого демократического обсуждения выдвинуть из своей среды в природоохранительный контроль тех самых-самых, в чьи руки можно вверить главное богатство полуострова. Подход к отбору кандидатур — жесточайший. Никакой грех в прошлом не прощался. Только бескомпромиссная, ничем не запятнанная любовь к природе, только благородная одержимость быть ее неукротимым и неподкупным защитником принимались в зачет и обеспечивали проходной балл.

Но именно в это время руководство «Дальрыбы» и Министерство рыбного хозяйства спешно проворачивали свою комбинацию. Она преследовала совсем противоположные цели: ослабить рыбоохранный контроль на местах и этим развязать себе руки, освободиться от препон, сдерживающих экспансивные действия. Для этого избран был такой путь. Начальник Всесоюзного рыбопромышленного объединения «Дальрыба» Ю. Москальцев сочиняет в министерство письмо, в котором предлагает упразднить дальневосточные бассейновые управления по охране рыбных запасов и регулированию рыболовства и создать на базе одного из них — Приморрыбвода — единый для всех областей и краев региона «Дальрыбвод». Обоснования этого предложения на первый взгляд выглядят убедительными. Судите сами.

«В настоящее время, — говорится в письме начальника «Дальрыбы», — усиливаются устремления территориальных рыбводов на рыбохозяйственную деятельность предприятий с узковедомственных позиций, что осложняет на бассейне оперативное решение вопросов по охране запасов и рациональному их изъятию, вызывает ненормальные отношения с промышленностью, влечет ненужную переписку с министерством и при решении даже мелких, непринципиальных вопросов создает все большие осложнения и издержки в работе отрасли. Не обеспечивается в бассейне единая система координации усилий и средств охраны экономической зоны, а также мер по воспроизводству запасов».

Ну как доводы? Сразу чувствуется, в каждом слове, в каждой строчке, допекает рыбводовская братия руководителя «Дальрыбы». Мешает она безоглядному браконьерству: на стареньких скрипучих суденышках стерегут местные рыбводовцы запретные для промысла нерестовые мелководья, ловят ежегодно только на камчатском шельфе десятки судов, приморских, сахалинских, своих камчатских, нарушающих правила рыболовства, конфискуют уловы, штрафуют, капитаны лишаются дипломов. А на языке Ю. Москальцева это почему-то называется «устремлениями местной рыбоохраны с узковедомственных позиций влиять на рыбохозяйственную деятельность». Каково, а? Нет бы самому как наиболее влиятельному рыбохозяйственному руководителю в Дальневосточном регионе да учредить специальные премии для местных рыбводовцев за поимку в запретных квадратах браконьерствующих судов. А вместе с премией — радиограммку с добрыми словами. Спасибо, мол, братцы, за помощь. За то, что о нашей чести печетесь, не даете увязнуть в грабеже, заботитесь о том, чтобы и завтра нам было что ловить. Вместо этого — по рукам рыбоохранникам, по рукам, да и каким-то по-чиновничьи затуманенным наветом обжигающе плеснул в сердца тем людям, кому в самом деле больно видеть опустошительное разорение прибрежных вод. Выходит, по Москальцеву, они, эти люди, и осложняют в бассейне «оперативное решение вопросов по охране рыбных запасов и рациональному их изъятию».

Все с ног на голову... Вдумайтесь, о чем вы говорите, товарищ Москальцев! Бога-то хоть побойтесь! О каком рациональном изъятии вы ведете речь? Может, многолетнее хищническое истребление олюторской сельди вы относите к «рациональному изъятию»? Или, может, подрыв и вывод на несколько лет из природопользования охотоморской сельди? А разорение явинской камбальной банки, опустошительные нашествия Дальневосточного рыбопромыслового флота в Авачинский залив, те же благословленные сверху заходы больших морозильных траулеров в прибрежные воды Карагинского и Олюторского заливов, сотни и тысячи воровских вторжений судов в нерестовые мелководья — все это вы тоже считаете рациональным изъятием?! Разве рыбоохрана виновата в том, что так оскудел шельф Приморья и теперь его самый могучий в регионе флот вынужденно создал угрозу разорения камчатского и сахалинского шельфов? А кто виновен в том, что в Приморье почти не осталось лососевых речек?

Достаточно или еще приводить примеры «рационального изъятия»? Думается, Ю. Москальцев не меньше меня знает о них, да и сам приложил руку к таким изъятиям. Но вот с чем надо согласиться, так это с его выводом о том, что «не обеспечивается в бассейне единая система координации усилий и средств охраны экономической зоны, а также мер по воспроизводству запасов».

Что правда, то правда, стыдоба у нас, а не охрана. И с воспроизводством — стыдоба. Потому-то под боком у «Дальрыбы» и повымертвели лососевые реки. На миллиарды рублей гребем ежегодно рыбы в Дальневосточном рыбопромысловом бассейне. А сколько вложено в воспроизводство? Крохи, о которых и упоминать неудобно. И что сделано «Дальрыбой» для обеспечения надежной охраны экономического района? Стоит ли повторяться? Или так помните о содержании писем рыбохозяйственных руководителей по этому поводу?

И еще об усилении охраны экономической зоны. Это что же получается? В бассейне, где полновластным хозяином выступает «Дальрыба», рыбопромышленники выкачивают из океана миллиардные богатства, а технически беспомощная, ограниченная своим же ведомством в правах рыбоохрана должна отвечать за необеспеченность надежной охраны экономической зоны. Любопытное распределение функций, не правда ли?

Но мы отвлеклись. Что дальше-то с письмом-приложением Москальцева? Как отнесся к нему министр Котляр?

Он с ходу наложил на нем резолюцию «Согласен...» А вскоре в «Правде», от 14 марта 1988 года, под заголовком «Рыба по-министерски» появилось коллективное письмо камчатских рыбинспекторов. И комментарий к нему корреспондента «Правды» Александра Андрошина. Привожу его позицию относительно создания, так желанного для Ю. Москальцева и министра Н. Котляра, «Дальрыбвода». «Логичнее всего, — считает А. Андрошин, — было бы видеть его («Дальрыбвод».— Н. С.) поближе к сырьевым ресурсам, скажем, у берегов Камчатки, Сахалина, Магаданской области, где ведется ныне основной вылов рыбы. Однако новую организацию предлагают разместить опять-таки во Владивостоке. Не потому ли, что упомянутые промысловые районы вкупе с Курилами продолжают на свою беду оставаться сырьевыми придатками «Дальрыбы»? Следствием такого отношения уже стала Камчатка, чьи береговые рыбообрабатывающие мощности оставляют желать лучшего. Так же, как, впрочем, и пришедшие в запустение многие заводы, засольные базы, поселки рыбаков. Подобная участь может подстерегать теперь и шельф в целом, если не принять надлежащие меры к его охране. Вызывает сомнение, что именно такой мерой является намерение «Дальрыбы» упразднить ставшие непослушными бассейновые управления рыбводов и создать один, зато свой и послушный...»

Можно не перечислять другие доводы А. Андрошина. Позиция его и без того ясна. А вот от себя кое-что добавлю. Для читателя материкового, живущего в западных районах страны, внесу некоторые пояснения географического порядка. От Владивостока до Петропавловска-Камчатского четверо суток океанским лайнером надо «топать». Две с половиной тысячи километров. Разумно ли за тысячи километров слать рыбоохранников в рыбопромысловые экспедиции? Из Владивостока—и аж к берегам Камчатки или Магадана? Тогда, может быть, лучше из столицы контролировать? Какая уж тут разница? Где три тысячи — там и семь сойдет... Все равно далеко, ничего на таком расстоянии не увидишь.

Но меня не столько расстояние смущает, сколько другая, скорее, психологическая сторона дела. Может, я слишком по-житейски сужу, как это чаще всего, к сожалению, и бывает в нашей жизни, но почему-то все время мне представляется такая картина. Приходят к камчатским или сахалинским берегам из Владивостока рыбоохранник и добытчик — капитан судна. Может так статься, что ни тому, ни другому никогда не выпадало ступать на камчатскую землю. Все с моря да с моря она им виделась. И ни одной ниточкой их сердца к ней не привязаны. А во Владивостоке ждут-томятся невесты... Или семьи, родители. Господи, да что станется, что убудет, если добытчик — кореш ли, сосед по улице или дому, обожмет местных рыбаков на одну-две лишние сдачи за счет не выбранного ими лимита? Что станется с этой вечно хмурой седоглавой землей, если в ее прибрежных водах и черпанут разок-другой не там где следует — в запретных квадратах? Да и не в собственный же карман. Для плана. Больше добыча — крупнее отчисления в бюджет... Конечно, есть еще долг, совесть... Но что долг, что совесть, если в «Дальрыбе» эти нравственные понятия не в чести. Для «Дальрыбы» главное — не мешали бы...

Ну а если на камчатском шельфе контролировать промысел станут местные рыбоохранники? Улавливаете, в чем скажется разница? Пощады не будет ни своим, ни чужим. Потому что охранять они станут свой шельф. А вот министр рыбного хозяйства Н. Котляр и его нынешний преемник начальник «Дальрыбы» Ю. Москальцев этой разницы не улавливают. Не хотят. Они считают, что охрану запасов в камчатских или сахалинских прибрежных водах лучше вести из Владивостока. И они правы, к сожалению. Для них будет в самом деле лучше. А для шельфа?.. Для будущего Камчатки? Или это не в счет?

Предвижу возражение: зачем-де так буквально понимать функции «Дальрыбвода». Тем более предугадывать, как все будет выглядеть, ведь организация еще не создана. И уж совсем в этой ситуации неуместен «житейский подход». Ведь необязательно контроль у камчатских берегов вести из Владивостока. Возможно, те же нынешние бассейновые управления будут преобразованы в подразделения «Дальрыбвода». Они вберут в себя все те же опытные и надежные кадры. К ним на вооружение придет современнейшая техника. За «Дальрыбводом» останется лишь руководство этими подразделениями.

Только и всего-то?.. Совсем немного. Если еще к тому же учесть, что «Дальрыбвод» останется в том же ведомственном подчинении, то бишь в пристяжных у «Дальрыбы». А иначе непонятно, зачем с такой поспешностью Ю. Москальцевым было предложено в канун создания Госкомитета по природе образовать «Дальрыбвод». Будто задался он целью во что бы то ни стало опередить событие союзного значения. И министр подписал это предложение с той же не свойственной министрам несдержанной торопливостью. Он тоже словно в окно выглядывал, нетерпеливо поджидая, когда же поднесут желанное письмо из «Дальрыбы».

Что за трогательный интерес к организации, которая при любых обстоятельствах нет-нет да и будет ставить палки в колеса рыбопромышленникам, создавать те самые, отмеченные в письме Ю. Москальцева, «осложнения и издержки в работе отрасли»? Чего лукавить! Ясно, почему так торопились... Боязнь упустить из-под своего

влияния рыбоохранное дело — вот что водило пером и Ю. Москальцова, и министра рыбного хозяйства Н. Котляра, начертавшего на письме резолюцию: «Согласен...». При себе и в узде нужно держать рыбоохранников, иначе продохнуть не дадут, наделы их всеми полномочиями государственных рыбинспекторов. Государственных!

Как только не надувают ныне ведомства приученных за десятилетия к доверию честных людей ради создания экономического благополучия в своей отрасли. Оправдание готовенько: «У нас хозрасчет, самофинансирование, самоокупаемость. Надо концы с концами сводить». Будто ты же в чем-то виноват, что у них концы не сходятся. Нет бы кому-то цыкнуть вверху на министров-обирал: что же вы с нищего-то последнее тянете? Так нет, почему-то не цыкают. То ли неловко, а вернее, не модно это нынче делать, то ли выгодно не замечать. Деньги, украденные министром у народа, не лишние для государства, испытывающего ныне тяжелое финансовое положение.

Правда, за Байкал и за поворот северных рек кое на кого все-таки цыкнули, и люди взбодрились: ага, и на них есть управа. Только и министры стали ныне не очень пужливыми. Их бьют, а они свое гнут, как говорится, не мытьем так катаньем.

Мартовские дни внесли в эту грустную историю надежду. Сделан выбор, кому доверить Государственный комитет СССР по охране природы. Он пал на Федора Тимофеевича Моргуна, первого секретаря Полтавского обкома партии. Возьму на себя смелость заявить, что это единственный секретарь обкома, которого знает вся страна. Вся. Знает и как партийного деятеля, и как публициста. И еще как человека от земли, целинника, духовного сородича народного академика Терентия Мальцева. Может, я ошибаюсь. Тогда кого знают больше?

Но на Госкомитет надейся, а сам не плошай.

Вот и моя Камчатка учится отстаивать себя. Уникальная природа полуострова, континентальный шельф — главные ценности, которые берутся ныне под защиту общественности. И всякая попытка поднять руку на природу вызывает такой взрыв общественного сопротивления, какого Камчатка не знавала за всю свою историю.

Страницы областной газеты «Камчатская правда» еще хранят в себе неостывший накал людских страстей, разбуженных намерением властей построить на берегу нерестовой реки Быстрой животноводческий совхоз. «Говядина или горбуша?» — так полемично было обозначено в самом заголовке запевной статьи направление борьбы за одну из многочисленных нерестовых рек полуострова.

Вся Камчатка пристрастнейше следила за выступлениями в печати на эту тему, откликаясь на них дельными предложениями, хлесткими репликами, важными замечаниями. И ведь вот что любопытно. Строительство крупного животноводческого совхоза сулило для всех камчатцев реальную выгоду: в магазинах бы прибавилось мяса, молочных продуктов. А что дает река? Какая от нее выгода людям? Ну как же, скажете, а рыба! Да еще лососевая.

Резонно, но не совсем. Дело в том, что говядина и молочные продукты могли быть действительно для всех, а вот с рыбой — как сказать. В разном виде продукция из лососевых, не задерживаясь на полуострове, уходит по разным адресам внутри страны и за рубеж. Об этом же подробно было сказано выше. И в Петропавловске-Камчатском зачастую красную икру купить сложнее, чем, скажем, в столичных ресторанах или в буфетах тех же московских гостиниц. То же самое можно сказать о рыбной продукции из лососевых. Ее лимит для камчатцев ограничен. И это еще при благоприятной раскладке, когда лососевые заходят в реку на нерест. Но бывает, и не приходят. И тогда вовсе и никому и ничего.

И все-таки общественное мнение отклонило говядину и заступилось за реку Быструю. Всем миром встали на ее защиту, хотя уже и был вложен чуть ли не миллион рублей в проектно-сметную документацию и областное руководство всех рангов настаивало на создании совхоза.

Это была первая победа.

Еще не схлынул дискуссионный жар вокруг того, быть говядине или горбуше, как на страницах «Камчатской правды» началось многомесячное движение в защиту бассейна реки Жупановой. И вот теперь на «межу» вышли сероглазкинские рыбаки...

Областному комитету партии, облисполкому теперь приходится вслушиваться в предложения хозяйственников и специалистов и в то же время в многоголосье людей, в то, как на миру воспринимается предложенное сверху. Вслушиваться и оглядываться, как бы опять крупно не промазать с односторонним подходом и не нарваться на тычки общественности. Такая теперь жизнь пошла.

Но и защита Быстрой, и борьба за бассейн Жупановой — все ж движения... домашнего характера. Это как драки в своем дворе, кто — кого. А вот насчет шельфа — от него беды одними выступлениями в местной печати не отвести. Сами масштабы возможной экологической катастрофы требуют иного подхода, привлечения других сил. Но тут-то как раз и начинаются странности: то ли слишком много создалось критических экологических ситуаций в стране, то ли океан находится далеко, где-то в стороне от других народных забот, то ли слишком он велик и могуч, настолько велик — даже в головах людских не укладывается, какая ему может грозить опасность? — но тревоги о нем особой не чувствуется. О внутренних водоемах, морях и крупных озерах, даже о реках и ручейках шумим, в набат бьем, а об океане — молчок. Будто он пребывает в завидном благополучии и экологические катаклизмы нашего беспокойного времени не задевают его никаким краем.

Правда, на местах мы рвем горло, напоминаем о бедах, доказываем, выступаем с проблемными материалами в областной печати. Но выходит это у нас так беспомощно, как бывает порой во сне. Кричишь из последних сил, а звука — никакого, лишь хрип один, и никто тебя не слышит. До столицы бы достучаться, повернуть страну к океану, а не получается. Как не получилось тогда, после выступления с трибуны съезда писателей. Не тот голос, наверное. Слабоватый. Или слух притупился: не слышат нас. Публикация в «Правде» материала «Рыба по-министерски» — это уже был какой-то прорыв. Сигнал «Стоп!» Вслушайтесь! Прикиньте!

И все же в журнале «Наш современник» в это время готовилась, опять же впервые, большая подборка выступлений писателей Камчатки на природоохранную тему. Событие!

Пришел час спасать и океан. Надо так ударить в набат, чтобы над всей землей нашей тревожный звон разнесся, чтоб в Кремле на него отозвались, как отозвались на призыв остановить поворот северных рек, защитить священный Байкал.

Произошло это в Охотском море. Летом. Я находился на плавбазе «Советская Бурятия». День клонился к вечеру. К правому борту, как всегда в сносную погоду, четко, без пауз швартовались промысловые суда. Один «рыбак» отходил, и тут же его место занимал другой. Если этот, другой, был однотипным судном, то и не замечалось смены, будто на одном и том же «пароходе» затянулась разгрузка уловов. Лишь по названию определяешь: с тем уже управились, другой подвалил.

И в тот же день приемка уловов шла в обычном ритме. И вдруг все нарушилось. К матросу, только что стрелявшему напористыми струями воды из шланга, зачем-то потянулись люди. Его «оружие» уже не стреляло, а мирно лежало у ног. По палубе расслабленно извивался шланг, словно отдыхал. Недвижно замер в трюме «рыбака» и каплер, наполненный очередной порцией улова, и парни в оранжевых робах задирали в недоумении головы вверх на пристройку над палубой плавбазы, где восседает лебедчик: что там случилось, почему не вирает? А лебедчик тоже не удержался и, движимый законом толпы, спускался вниз, туда, где уже успели сгрудиться люди.

И я туда же. Сначала через плечи увидел склоненное и чем-то печально-озабоченное лицо матроса. «Покалечился?» — подумалось. Да нет... И голоса — советы: «Может, отогреть попробовать? А ты подуй на нее, подуй!» Меня уже тоже захватило это всеобщее любопытство. Может, что-то из каплера выпало?.. Со дна достали?

Оставаться в неведении я больше не мог. Нажал робко на плечо стоявшего передо мной рослого парня, спросил:

— Что там у него?

— Птичка, — бросил он, не оборачиваясь, словно боялся упустить какой-то очень важный момент.

— Мертвая... Может оживет? Струей ее...

Тут только до меня дошло. Я даже представил, как все это было.

Я не знал, что это за пичуга, какого она рода-племени. Сама маленькая, меньше воробышка, но в отличие от них светлее оперением и какая-то воздушная, будто кроме оперения никакого и тельца нет. И еще приметные длинные и тонкие ноги.

Наверное, угодила под струю.

Теперь матрос, заглаживая свою вину, отогревал собственным дыханием этот комочек, в котором только что билась жизнь...

— В машину лучше, на теплое пристроить, — советовал другой.

А у матроса и глаза вдруг повлажнели. Оторвал он лицо от ладоней, собранных в ковш, и толстомясые губы его, вытянутые, пока дул, в трубку, теперь расплылись в какой-то бездумно счастливой улыбке. Заводил он по сторонам головой, и всем по его сияющему лицу стало ясно, что произошло там, внутри ковша.

Матрос распахнул ладони, и теперь все ее увидели. Светлый со стальным отливом комочек вжался в тело и головкой с длинным и острым клювом боязливо туда-сюда поводит. И как-то так произошло, моментально вспружинила пичуга свои длинные ноги и — скок вверх... Мы и ахнуть не успели, а ее как будто и не было. На руки пялимся, а там и следа никакого. У матроса от неожиданности лицо вытянулось. Стоит с раскрытым ртом и ресницами хлопает, глядючи на опустевшие ладони, на которых, наверное, еще и тепло не выстудилось. Хорошо, хоть догадались головы вверх задрать. Птаху в последний раз увидели. Искоркой мелькнула в глазах — и нет ее.

Шумно расходилась толпа. Над бункером провис очередной каплер и, отчаянно ринувшись вниз, с треском и шелестом раскололся над всепожирающим и никогда не утоляющим жажду чревом.

А в моей голове все навязчивей вертелась мысль. До чего же ты загадочный, Человек! Почему он, отогревая своим дыханием незнакомую птаху, случайно угодившую под гибельную струю, радуется так светло и искренне возвращению жизни к ней и ни одной клеткой не отзывается на денно и нощно поднимающиеся с судов каплеры со смертельно сдавленной капроном живой жизнью океана, живой его душой? Почему не содрогается, нажимая на кнопку ракеты, зная, куда она угодит и сколько всего умертвит? Сразу сколько жизней оборвет. Разных, без которых и Земля, и человеческое бытие намного станут беднее. Почему? Почему? Почему?

Велик Океан. Бездонно глубок Океан. Но ты, Человек, глубже. Твои глубины, Человек, непостижимы...

Мария ХАЛФИНА

МИЛОСЕРДИЕ... И НЕ ТОЛЬКО

ПРОБЛЕМАМИ положения престарелых в нашем обществе я «заболела» более двадцати лет тому назад. Учитель, библиотекарь, депутат, заседатель народного суда, позднее писатель — таков мой жизненный путь. Естественно, мне нередко приходилось принимать практическое участие в горестных судьбах стариков и в разрешении семейных конфликтов на почве удручающих взаимоотношений «отцов и детей».

Делала что могла. Добывала путевки в дома престарелых, места в больницах. Пытаясь привлечь «внимание общественности», писала жалобные статьи и очерки. Журнал «Огонек» опубликовал цикл моих рассказов, объединенных общим заглавием «Что старику надо...». Побывала во многих домах престарелых Украины, Прибалтики, Российской Федерации. Участвовала в работе IX Международного конгресса геронтологов. Многочисленные встречи, обсуждения книги «Что старику надо...», сотни и сотни писем читателей.

Чем глубже проникала в мир старости, тем жизнь моя среди близких и друзей становилась все более тревожной и неуютной. Появилось и крепло чувство вины перед теми, кто на закате дней своих лишен родного угла и теплой заботы близких. Многое обнажалось с предельной пугающей четкостью.

Общество катастрофически стареет. Оно в неоплатном долгу перед своими стариками. Старость обделяется не только материальными благами, но и самым для нее необходимым и драгоценным — подлинно человеческой, сыновней заботой и вниманием. А забота эта фактически взвалена на службу социального обеспечения, которая с конца семидесятых годов становится все менее престижной.

Пропаганда в данной области беспомощна и бездарна. В течение десятилетий мы, под хихиканье юных скептиков, в своих лекциях-проповедях пытались убедить слушателей в том, что для проблемы «отцов и детей» у нас нет социальной основы, толковали об «эстафете и преемственности поколений», распевали сладкозвучные песни о «счастливой старости». Многое наводило на тяжелые раздумья и сомнения. Почему? Вот пришел человечек «первый раз в первый класс». Вскоре на его груди вспыхнет алый пятиконечный знак — он становится членом октябрятской звездочки. Он — член своей возрастной организации. Через несколько лет он наденет красный галстук — станет членом пионерской организации имени В. И. Ленина. К четырнадцати годам человек готовится стать комсомольцем. Каждая из возрастных организаций имеет свойственный своему возрасту устав, определяющий ее полномочия, права и обязанности по отношению к обществу. Все они имеют свои материальные базы, свои газеты и журналы, свои собственные издательства и т. д.

И только одна из возрастных групп, количественно достигавшая к концу семидесятых годов пятидесяти миллионов человек, не имела своей организации.

Слышу реплику читателей: «Вы забыли о советах пенсионеров!» Нет, не забыла. В пятидесятых годах в рабочем поселке Моряковский затон, сама еще не достигшая пенсионного возраста, я помогала родиться Моряковскому совету пенсионеров. Мы делали много доброго и полезного, к нам относились с уважением, но все же советы пенсионеров были одной из форм общественной самодеятельности, создавались они группами энтузиастов на общественных началах.

В семидесятых на «Мосфильме» один за другим вышли два кинофильма по моим рассказам: «Мачеха» и «Безотцовщина». Участие в их создании в какой-то мере отвлекало меня от «стариковщины», но к концу десятилетия я уже не могла заниматься ни литературной работой, ни кино.

У меня, извините за повтор, была очень большая почта. За каждым письмом стоял взволнованный, страдающий человек. Больше всего тревожили меня письма из домов престарелых. Именно они поставили передо мной два требующих ответа «почему?».

Почему наши старики панически боятся дома престарелых?

Почему родные и близкие считают позором, если старик из их семьи находится в таком доме?

Однозначный ответ ясен и прост: старикам в них живется плохо.

Домов престарелых государственной сети у нас два вида: дом психохроников и дом-интернат общего типа. Предназначение дома общего типа — обеспечить человеку спокойную добрую старость, необходимый уход и медицинскую помощь.

Я побывала во многих домах общего типа, и всегда в результате этих посещений на душе оставался очень тягостный осадок. Тревожили противоречия между внешним благополучием и атмосферой горького одиночества и душевной подавленности обитателей этих печальных заведений. Никакие комиссии и обследования (я знакомилась с десятками актов) ответа на эти «почему?» не давали. И я поняла: на какой-то срок надо уйти в дом престарелых (разумеется, не в привилегированный — дом ветеранов партии, дом ветеранов сцены и т. д., а в рядовой дом, из тех, которые в народе по старинке называют богадельнями) и все пережить самой.

В марте 1981 года я выписалась из своей томской квартиры, сдала собесу пенсию и ушла жить в дом-интернат престарелых общего типа, который находится в шестидесяти километрах к северу от Томска и носит красивое название «Лесная дача». Я была уверена, что для «изучения проблемы» мне потребуется не более года, но прожила там около трех лет, приезжая домой, чтобы в очередной раз отлежаться в больнице или просто отдохнуть душой в родной семье. Все же было мне в ту пору уже 72 года...

К каким же выводам пришла в результате этих трех лет?

Первое: дома престарелых государственной сети находятся на местном бюджете и словно в зеркале отражают *уровень отношения к ним местных руководящих органов*. Пример — Томск. Власти не очень баловали вниманием и заботой «Лесную дачу», и положение дел там оставалось, мягко выражаясь, далеко не блестящим.

Но благодаря нашим тревожным сигналам областными и районными организациями за два года было сделано очень многое, что значительно облегчило жизнь стариков и обслуживающего персонала. Открыли магазин и отделение связи, установили автобусное сообщение с Томском, построили 60-квартирный благоустроенный дом для сотрудников и детский сад, коллектив полностью освободили от каких-либо мобилизаций на сельхозработы в колхозе и т. д.

Второе: дом общего типа не может выполнить своего назначения — быть для старого человека домом заслуженного отдыха и спокойной старости. Дело в том, что дома больничного типа, действовавшие в прошлом, давно ликвидированы, больниц для хроников у нас вообще нет, поэтому органам соцобеспечения приходится направлять в дома общего типа тяжелых больных хроников, парализованных, полностью лишенных движения, требующих интенсивного стационарного лечения и специального ухода. А по структуре своей дома общего типа не имеют условий для содержания таких больных. Вот и соседствуют «обеспечиваемые» со стариками, пораженными тяжелыми формами старческого маразма.

Но это не все. В дома общего типа получают путевки старые одинокие *алкоголики, наркоманы и уголовники, отбывшие сроки заключения*. В условиях общежития два-три таких человека могут отравить жизнь сотням нормальных и, по существу, беспомощных старых людей. Наибольшее количество жалоб не на плохое питание и медицинское обслуживание, не на грубость персонала, а на произвол пьяных, хулиганствующих старцев и, что еще страшнее, старушек. Они сознают свою безнаказанность, так как прекрасно знают, что *облсобесу их некуда девать*.

Третье: кадры. Душа дома престарелых — врач. Добрый дух дома, излучающий тепло, душевный покой, хорошее настроение. К сожалению, в большинстве своем в дома престарелых врачами приходят люди совершенно случайные. Ни один из наших медицинских институтов не готовит врачей-гериатров. Считается, что любому терапевту достаточно побывать на краткосрочных курсах в Москве или Киеве, чтобы получить необходимую профориентацию.

В качестве врачей в дома престарелых направляют выпускников мединститутов при распределении. Направляют на определенный срок «отрабатывать стипендию». Вот они и отрабатывают свой срок, словно трехлетнюю каторгу. О призвании и говорить нечего. Я знаю молодых врачей, которые стыдятся говорить о том, что

работают в «инвалидном доме» со стариками.

От врача зависит оснащенность медсанчасти необходимой аппаратурой и медикаментами. Если врач появляется в кухне только для того, чтобы «снять пробу», то в пищеблоке неизбежно хищение продуктов. Там пища готовится по принципу «невелики баре — сожрут», и старики там живут впроголодь.

Если врач не воюет за то, чтобы облегчить труд медсестер, нянечек и санитарок, не заботится об улучшении бытовых условий их жизни и в то же время не требует от них строжайшей дисциплины и точного выполнения всех его требований,— плохо придется старикам, потому что их благополучие в огромной мере зависит именно от сестер, нянечек и санитарок.

Редкий дом престарелых полностью укомплектован нянями и санитарками. Обычно меня утешают сомнительным аргументом, что «теперь везде так», во всех клиниках и больницах эти работники — тоже острейший дефицит. Однако нельзя сравнивать больницу с домом престарелых. Во всех стационарах больных навещают близкие, которые нередко заменяют няню и санитарку. Это во-первых. Во-вторых, пребывая в больнице, я знаю, что, подлечившись, уйду домой. А там-то ведь — пожизненно.

Четвертое: необходимо добиться создания сети домов для ветеранов отдельных предприятий, объединений и ведомств. Сердце радуется, когда наблюдаешь, с какой легкостью и оперативностью строятся различные ведомственные профилактории — вплоть до профилакториев для алкоголиков определенного предприятия или объединения. Но такого чуда, как ведомственный дом ветеранов, мне видеть не приходилось.

Самое горькое впечатление в домах престарелых производят старые колхозницы. Вот росло у дороги старое неухоженное дерево. Люди пожалели, пересадили дерево на новую, плодородную почву. Поливают его, удобряют, а оно не приживается, сохнет на глазах.

— Евдокия Савельевна, — спрашиваю я, — ты же сама рассказывала, что не осталось у тебя в деревне ни одного родного человека. Что же ты так маешься, так тоскуешь?

— Леонтьевна, миленькая, у меня же там могилки... и тятя с мамушкой, и вся моя родня там лежит...

А ведь в том же постановлении ЦК партии и Совмина говорится о необходимости создания домов для ветеранов колхозов. И уже есть прекрасный, проверенный временем опыт строительства колхозных и межколхозных домов ветеранов — например, в Прибалтике. Так что же мешает его сделать повсеместной практикой?..

Теперь уже ни у кого не вызывает сомнения то, что единственной в данное время активной, гибкой и общедоступной формой помощи одиноким старикам является патронажное обслуживание на дому. Форму эту сейчас используют во многих областях и городах, но беда наша в том, что ведется эта работа по принципу «кто во что горазд». Никто всерьез не занимается обобщением и изучением имеющегося опыта, никто не интересуется разработкой методик, точными расчетами в расстановке сил и средств.

Даже в наименовании организаций, занимающихся патронажной работой, полный разнобой. Разумеется, дело не в наименовании, важно, при ком эти комиссии, отделения, бюро и комитеты создаются, кто ими руководит, кому они подчиняются: горисполкому, собесу или местному совету Всесоюзной организации ветеранов.

Некоторые организации работу строят в расчете на человеческую отзывчивость и доброту, пытаются даже возродить... тимуровские команды. Особенно теперь, после статьи Д. Гранина «Милосердие», оживилось движение за создание одноименного добровольного общества, члены которого и будут ухаживать за одинокими стариками. Все это прекрасно и радостно.

Но строить работу патронажного обслуживания престарелых в расчете на милосердие недопустимо. Уход за чужим старым человеком — труд тяжелый, ответственный, и он должен хорошо оплачиваться.

Но прежде всего нужно основательно обсудить и упорядочить следующие положения:

Во-первых — нагрузка опекуна. Какие виды работы он по договору берет на себя? Только доставка продуктов, лекарств, связь с закрепленной медсестрой и участковым врачом или еще и уборка квартиры, сдача в прачечную белья, помощь в мытье подопечного?

Регулярно и качественно «опекун полной нагрузки» в силах обслужить не более 4—6 человек при двух-трехразовых посещениях в неделю. (Все проверено лично при обслуживании четырех человек в течение двух месяцев.)

Во-вторых — кто и из каких средств оплачивает труд опекунов? Ежегодно министерствами социального обеспечения не осваиваются полностью средства, ассигнованные на строительство и ремонт домов-интернатов престарелых и инвалидов. Часть этих сумм должна быть использована на организацию патронажной службы.

В январе 1987 года ЦК КПСС, Совет Министров СССР и ВЦСПС приняли постановление о дальнейшем улучшении обслуживания престарелых и инвалидов. Кроме всего прочего, в нем принято предложение исполкома Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР о развитии за счет его средств патронажной службы для оказания медицинской и социально-бытовой помощи на дому ветеранам войны и труда, одиноким нетрудоспособным.

В-третьих — для организации патронажной службы необходимо на местах объединить три силы: медицину, торговлю и службу быта. Ох, нелегкая это работа... Но здесь решающую роль должны играть местные советы ветеранов войны и труда. Они должны не просто объединить эти силы для совместной работы, но и сделать их своими единомышленниками и соратниками.

Патронажная служба в том или ином городе начинает понемножку действовать, однако многие сомневаются в том, что в дальнейшем найдется достаточное количество людей, желающих стать опекунами. А я уверена в обратном. В недалеком прошлом я проделала небольшой эксперимент — провела встречи со своими читателями по одной теме: положение старых людей в обществе и семье. Выбирала самые разнообразные по своему составу аудитории: от ребят ГПТУ до сотрудников академического института. Вторую половину своего выступления посвящала рассказу о патронажной службе, о работе опекуна. И на всех таких встречах десятки людей обязательно спрашивали: «Где можно записаться? Хочу помогать».

Мне могут сказать, что такой активный всплеск эмоций может оказаться кратковременным порывом, под впечатлением моего выступления. Возможно, на две трети это так, но когда все будет налажено по-деловому, я уверена: люди пойдут.

Разумеется, необходима пропаганда. Систематическая, планомерная пропаганда с помощью всех имеющихся в нашем распоряжении средств массовой информации.

Самое тяжкое в старости — одиночество. Особенно страшно, когда человек, дряхлея, уже не в силах переступить через порог своей квартиры. Изоляция, глухая каменная пустыня одиночества. И здесь приход опекуна — счастье, праздник общения...

— У меня теперь на неделе три воскресенья. Верочка, опекунша моя ненаглядная, прибежит, мы с ней чайку попьем и поговорим обо всем, она мне руки мои несчастные втиранием разотрет, а лапочки-то у нее такие тепленькие, такие ласковые — руки-то мои потом три дня не болят... А то стала я покашливать, она пришла — баночки мне поставила, через два дня горчичники. Я и ожила, и врача мне не надо...

Такое вот я услышала от одной старушки...

Дипломированные медицинские сестры у нас дефицит еще больший, чем нянечки или санитарки. Предел наших мечтаний — чтобы на каждом патронажном участке была закреплена такая сестра. Разумеется, один работник не сможет выполнить всех процедурных назначений участкового врача. Но каждая медсестра заинтересована подготовить в помощь себе так называемый санитарный актив, то есть обучить опекунов своего участка самым простейшим, несложным лечебным процедурам: сделать втирание, поставить банки, горчичники, проследить за деятельностью кишечника, сделать компресс.

Обучает этим процедурам не сама медсестра, она только организует прохождение опекунами краткосрочных курсов при любом медицинском учебном заведении.

Имея актив помощников, дипломированная медсестра в состоянии обслужить своих подопечных такими процедурами, как инъекции, внутривенные вливания, лечебный массаж.

Такая подготовка значительно стимулировала бы труд опекунов и еще больше закрепляла бы их на этой работе.

P.S. Я уже заканчивала эту вот самую статью, как вдруг получила от друзей из ГДР документацию и описание их опыта патронажной работы. Более ста лет у них существует общество «Солидарность». Отделения общества находятся в ведении районных советов. Здесь заключаются договора с опекунами, выплачивается им зарплата. Применяется бригадный метод обслуживания. Удивительно проста структура, постановка планирования и учета, контроль.

Медико-санитарная часть работы находится в ведении Красного Креста.

Юрий МАКУНИН

УКРОТИТЬ ВАНДАЛА

Женщина в милицейской форме была на голову ниже массивной, «танкообразной» (так ее сразу обрисовали в читательской очереди) дамы. Деликатно отсчитывая карандашом листы в папке дамы, постовая заметила, что вносить и выносить из Библиотеки имени В. И. Ленина печатную продукцию нельзя. Дама продолжала настаивать, что листки, насторожившие милиционера, не библиотечные, тут же перешла на повышенный тон и начала клеймить библиотечные «порядочки». Она костила несовершенную демократию книжного хранилища, не учитывающую ее личные творческие заслуги.

Читательский день завершился, и очередь у выхода напирала.

— При чем здесь заслуги, если вы нарушили правила! — донесся до нее мужской голос — Не задерживайте остальных.

Для дамы мужской баритон полыхнул красным плащом в корриде. Скандал разрастался. И милиционер дрогнула. Попросив не повторять подобное, она отпустила мощную читательницу с миром.

Уже почти двадцать лет хожу я сюда. И случаи эти — словно пестрый целлулоидный мусор в работающих шлюзах: кубы воды притекают и утекают, а мусор, приплясывая в водоворотах, остается. Да что — мусор! Сумму всех проблем этой всемирно известной библиотеки правомерно сравнить и с громадной спрессованной свалкой, до нижних залежей которой теперь и докопаться-то нелегко. Словом, никак не обойтись без глубокого бурения, без исторической ретроспективы.

...Надо признать, что Древний Рим умел ценить своих врагов. Сам он выстроил свое благополучие насилием и кровью, так что и мощные ответные удары недовольных оценивал объективно. Но вот одно соседнее племя вело себя не как иные варвары. Его действия не укладывались в тогдашние стереотипы. Наши современники назвали бы такое племя неформальным. Внезапно нападая, оно методично обращало неробких римлян в панику. Мало того, что племя это дерзко отхватывало победы от кованого римского оружия,— после каждого наскока исчезали или рушились бесценные памятники культуры.

Ну грабь золото, сверкающие камни, насилуй молодых женщин, уводи в рабство детей — этим Рим не проймешь. Сам такой! Однако что за оказия с культурными ценностями? Сенаторы даже открыли полемику: уж не стоят ли за алчным племенем вдохновители-инкогнито? Вдохновители, хорошо знающие, что разрушение культуры убийственнее всех иных разрушений?..

Но риторика отцов-управителей не выручила дряхлеющий Рим: в 445 году то же племя, воины которого именовались вандалами, в сущности, доконало бюрократическую машину Западной империи. Все те же подстрекатели-инкогнито тотально сводили счеты с могучим прежде Римом — вырезалось население, поджигались библиотеки, обращались в прах архитектурные ансамбли, дороги, стадионы, водопроводы. Особым шиком считалось осквернение утонченных скульптур женщин: им отбивали носы, груди, ягодицы...

Вытравливалось само понятие о культурных прерогативах древнеримских реформаторов, созидателей. А вместе с дымом от пепелищ в будущее поднималась лишь черная слава Рима — жестокого, злобного, ограниченного.

Погибая, Рим все же успел столь громко ославить обидчиков — вандалов, что мы и сегодня вспоминаем о них. Знаем о тупом, кровожадном Риме. Но и о вандалах, не менее тупых и кровожадных, знаем. По тупости и кровожадности даже готовы меж ними знак равенства поставить. Вот только торопиться с этим не стоит: все же Рим создал могучую цивилизацию. Полупещерным же вандалам было все равно, что рушить, однако рушили они только изящное, только самое ценное. Зачем? Кого брали в наводчики? Или кто пользовался их исполнительностью? Открытые вопросы. За давностью, как говорится, лет...

Но неужто и впрямь все новое — хорошо забытое старое? Взять гитлеровский фашизм. Целая политическая система произросла на деньгах подстрекателей-инкогнито. Не говорим про человеческие жертвы. Сколько библиотек, архитектурных ансамблей, духовных драгоценностей (чужих, разумеется) перемололи в «лагерную пыль» рыцари свастики! А ведь старались не только для себя — отрабатывали долг перед теми инкогнито, что подпитывали фашизм жирными удобрениями...

Как защитная прививка поселился термин «вандал» в словари многих языков мира. Есть такой термин и в наших словарях: вандал — невежда, разрушитель культурных ценностей. Именно этим разъяснением руководствовалась администрация Государственной библиотеки имени В. И. Ленина, когда мучительно размышлила, как нейтрализовать книжный вандализм, поселившийся в главном книгохранилище державы.

Счастливые обладатели пропусков в ГБЛ знают, какое это наслаждение — просто побывать в ней. Здесь сами стены — музейная редкость. Врачующе действуют на тебя таинственно мерцающие облицовочные камни, бронза ручек, светильников. Шел в библиотеку усталым, а вошел в нее — посвежел от прелести дивного сооружения. Коричневатые шкафы с каталогами таят в себе спрессованную мудрость поколений... Случается и так: читатель искал нужный источник в десятках других библиотек — не нашел. ГБЛ — последняя инстанция, где отрицательного ответа не должно быть.

ГБЛ состоит из десятков крупных подразделений, главнейшие из которых — Фонд основного хранения, Центральная справочная библиотека, Фонд картографических изданий, Фонд военной литературы, Фонд (Отдел) рукописей, Фонд литературы по истории книги, редких и особо ценных изданий (Музей книги), Фонд микрокопий и другие.

Среди множества прочих обязанностей у сотрудников ГБЛ есть стержневая — хранить все печатные и рукописные источники на века!

Признаться, размышляя над всем этим, я никак не мог взять в толк необходимость стенда, выставленного на самом людном месте библиотеки. Вот его содержание. Вверху: «Современный вандализм». Подзаголовок: «Книги, испорченные читателями ГБЛ». Ниже представлены изуродованные книги: а) вырезаны бритвой иллюстрации, б) вырвано 445 страниц из тома о зарубежной военной технике, в) публицистика в «толстом» журнале исполосована красным карандашом, г) бритвой «препарировано» несколько медицинских книг, д) «Искусство и культура» на немецком языке тоже изуродована. Вандал — знаток иностранного.

Названы имена схваченных за руку, уличенных в вандализме: Халилов А. Ш., Лобанова Т. Н., Авакянц С. М., Кондратьев И. Р., Фетисов А. А. Их лишили читательских билетов в ГБЛ, о происшедшем сообщили на работу.

Есть на стенде и не менее поучительная статистика: ежегодно ГБЛ восстанавливает около 5000 страниц. За 1987 год по причинам дефектности изданий читатели получили 2475 отказов.

«Что вы думаете по этому поводу? — обращается стенд ко всем, кто около него останавливается. — Ждем ваших предложений по обеспечению сохранности книжных фондов».

А подумать действительно есть над чем. По мудрому совету Козьмы Пруткова — «зри в корень» — я пролистал юридические справочники. Нет, книжное воровство, вандализм не караются нашим законом. Помните, как мы еще недавно сокрушались по поводу того, что просмотрели агрессивную наступательность наркомании, особую прилипчивость ее к подросткам — нашему будущему? Кинулись к юридическим опусам, а там ни строки о подрывной сути манипуляций с наркотиками. Некоторые юристы от обороны перешли в наступление: мы же строим самое передовое общество, а наркотики — отрыжка прошлого. Кто мог предвидеть инфекционную живучесть древних пороков!

Вот и попробуй возрази. Да и кому возражать? Ясно, что вандализм и наркомания — одного поля ягоды. Тут в самый раз поддержать инициативу администрации ГБЛ о создании стенда «Современный вандализм». Может, хоть он станет побуждающим импульсом к совершенствованию законодательства на сей счет.

Еще немного истории, ибо без нее нет широкого взгляда на проблему, нет сравнительного анализа. Беру с домашней полки старую книгу (о таких библиофилы со вздохом говорят: умели же издавать!): «Краткія сведенія по типографскому делу с 450 рисунками. Составил Петр Коломнин. С.-Петербург..., 1899». На 186 странице имеется иллюстрация с краткой текстовкой: «Внутренний вид университетской библиотеки в Лейдене, в 17 столетии (в то время все книги обыкновенно держались на цепях)». Ксилограф особо выделил эти интеллектуальные цепи в библиотеке европейской альма матер.

Нет, не для облегчения участи вандалов сообщаю я этот факт. Если сейчас у нас больше книг дешевых, чем дорогих, то в ту пору дешевых не существовало вообще. Отсюда цепи. Да и не грешно лишний раз напомнить, что хваленая европейская демократия тоже прорастала через такие вот вериги. Что касается дешевых книг, то если они в твоей библиотеке — поступай с ними как хочешь, как собственная культурность подсказывает. Но уж как минимум — отличай собственное от общественного.

Любопытна и недавняя газетная заметка по нашей теме («Советская Россия» от 19 февраля 1988 г.): «После инвентаризации в Королевской библиотеке (Копенгаген) выяснилось, что в фонде недостает более 2000 томов, в том числе более двухсот книг большой исторической ценности. Однако работники библиотеки заявили, что никакой ответственности за пропажу не несут: последняя инвентаризация проводилась в 1820 году...»

И все же есть основания поздравить копенгагенских библиотекарей — за 167 лет их потери в сравнении с нашими мизерные. Всесожжение, всеразграбление русских библиотек падало на 1812, 1905, 1917 годы. До сих пор мало кому известен акт вандализма вселенского масштаба — сожжение в 1905 году крупнейшей в Европе типографии издателя И. Д. Сытина, только-только им отстроенной. Как и сегодняшние грабители могил, церквей, скитов, шныряли ловкие перекупщики национальных ценностей между нищавшими держателями в голодные двадцатые годы. Даже в вымирающем осадном Ленинграде вандалы, заранее складировавшие продовольствие, сорвали свой куш на мефистофельских разменах... Не осталось следа и от двух библиотек (по 10 000 томов каждая) в сытинском Учительском доме, что на бывшей Малой Ордынке. Об их исчезновении, наверное, могли бы поведать члены утесовского джаза, облюбовавшие сей дом в начале 20-х годов: весь интерьер тогда оставался еще нетронутым.

Сегодня создают немало новых, смелых по замыслу музеев. В Париже, например, со-

бирается экспозиция... вредных для здоровья человека товаров и продуктов. Вполне логично и у нас учредить Музей разграбленных библиотек...

Древний Рим, средневековье, Европа капиталистическая, советская эра... Такие разные формации, а библиотечная проблема во многом схожая. При таких-то исторических и смысловых дистанциях логично ли искать конкретного подстрекателя книжного вандализма? Да и существует ли он в природе? Поиск, охота за истиной всегда разумны и актуальны. Именно для этого я и решил побеседовать с возможно большим числом сотрудников ГБЛ — рядовых и руководящих. Выяснилось, что и книжный вандализм, подобно бюрократической пирамиде, имеет свою иерархию: от клерка до босса. Рядовой — это несун с его хватательной психологией. Такой сегодня сам унесет, а завтра, при налаженной воспитательной работе, глядишь, разоблачит другого. Более всего на несунов действует гласность.

Итак, худшая часть читателей портит, крадет книги. Ну а сотрудники ГБЛ? Весьма любопытную историю об этом мне поведали в Музее книги (МК) — заведующая Татьяна Ивановна Кондакова, ее коллеги Галина Александровна Марущак и Лидия Николаевна Петрова.

— Наш фонд редких книг,— говорила Татьяна Ивановна, — неиссякаемый источник научных трудов и вдохновения для историков, филологов, художников, искусствоведов, книговедов, всех любителей и почитателей книги. У нас нет претензий к читателям, но вот своего вора мы недавно изловили...

Экономя место на деталях, хотя они и трогательны, сообщу: вряд ли с таким разоблачением так просто справился бы даже самый блестящий детектив. Сотрудникам МК помогли любовь к своему ремеслу и знание его тонкостей. Уличили жулика, но суда добились с большущим трудом. Был у вора защитник, которому плевать на национальные ценности, лишь бы отыскать лазейку в кодексе, смягчающую участь подопечного. Но поскольку в отношении книг пока наше законодательство — сплошная лазейка, то адвокат, простите, выглядел подстрекателем для будущих жуликов, что и потрясло служителей Музея книги даже более, чем действия самого обвиняемого.

Кто же этот человек, поднявший руку на прижизненное издание А. С. Пушкина, другие ценности МК? Сергей Плаксин, высокий, благообразный молодой человек. Любил представляться пушкиноведом, изучал черный рынок книги. Он и в самом деле стал компетентным толкователем биографии Александра Сергеевича — как за счет собственной усидчивости, так и по причине уникального доступа к уникальным фондам. Увы, свою компетенцию Плаксин использовал не для блага Музея книги, его кормильца, а во вред ему. Позже, «расколовшись», он показывал, как проносил мимо милиционера книги под массивным свитером, под ремнем за спиной, в ящиках при передвижке мебели...

А ведь по биографическим данным Плаксин не имеет ни сучка ни задоринки. Да и психически нормален. Как же объяснить перерождение «пушкиноведа»? Причислить к несунам среднего калибра? В этот стереотип он тоже не укладывается хотя бы потому, что изобретательно подчищал следы своих преступлений — вырывал карточки на обреченную им книгу из всех каталогов. На этом главным образом он и попался, ибо всех каталожных тайн ГБЛ невозможно постичь даже жулику-асу. Характерно и другое: через подставное лицо Плаксин угрожал «особо ретивым разоблачителям», и эти мафиозные приемчики свидетельствуют, что вор рассчитывал на долгий и основательный вандализм в МК.

Плаксин получил два с половиной года условно с выплатой небольшой компенсации. Сотрудники Музея книги, устанавливая истинные грани хищения, потеряли две тысячи рабочих часов на сверку фонда в 300 тысяч томов, на листание квитанций в букинистических магазинах. Здесь их тоже ждало немало разочарований. Мир букинистической торговли не ставит заслонов для книжного жулья. По себе знаю: украденная у меня старая книга до сих пор лежит на прилавке, а мне и моему милицейскому помощнику пояснили, что корешки квитанций ликвидированы. В тот магазин я теперь не хожу, но неразоблаченному жулику от того ни жарко ни холодно...

Плаксин, Плаксин... А может, он связан с подпольными грабителями библиотек? Может, состоит в сговоре с некими продавцами-букинистами? В те же дни наша пресса обнародовала имена Юлия Фанда и Эдуарда Рапопорта—арестованных главарей группы контрабандистов, налетчиков, спекулянтов, перекачивавших ценности из СССР с помощью сети иностранных сообщников, в том числе бежавших в Израиль. Может, Плаксин входил в эту «бригаду»?.. Мои интеллигентные собеседницы из руководства МК щепетильно взвешивали каждое слово. Они и явного жулика оберегали от непроверенных подозрений: таков уж гуманизм советских интеллигентов (не самый ли возвышенный на планете?). Однако у нас не было разногласий на тот счет, что типы, подобные Плаксину, скооперировавшись, умыкнут и сбагрят за чистоган что угодно и кому угодно.

Вот мы и приближаемся к боссам книжного вандализма. Их профили особенно рельефно высвечиваются на фоне деятельности Отдела рукописей (ОР). Иногда этот Отдел сравнивают с Алмазным фондом, и не без основания. В ОР хранятся славянские, латинские, западноевропейские, арабские, древнееврейские рукописи. Приманкой для знатоков служат и рукописи русских масонов. Личные архивы, коллекции представлены рукописными фолиантами XI—XX веков. И таких фондов — более восьмисот. Это уже целое море раритетов. А первый ручеек начался с просветителя и государственного деятеля России Николая Петровича Румянцева. Собрав большую коллекцию рукописей и старых книг, он оставил все это богатство Государству Российскому (но не США или Израилю), читателям России. Благородная эта линия всегда выдерживалась, хотя, конечно, случались и тут досадные помехи. То же, что происходит в наши дни, никак помехами не назовешь. Сегодня бушуют над Отделом рукописей враждебные бури. Однако бурю, как известно, пожинают после того, как некто посеял ветер.

Начнем с анатомии бури. Отдел рукописей ГБЛ возглавил Виктор Яковлевич Дерягин (в этой должности он утвержден по конкурсу в октябре 1988 года) с вполне определенной целью: укрепить сложное хозяйство. Ну а если так, то не худо основательность такого избрания сверить с биографией руководителя. Доктор филологических наук, профессор. Всю жизнь занимался древнерусским языком, палеографией, русской диалектологией, составлял словари, издавал памятники письменности, преподавал в вузах. Четверть века участвует во всесоюзной радиопередаче «В мире слов». И вот предложили ему новое дело. Доверие Виктор Яковлевич оценил правильно—с ходу принялся за изучение учета, систематизации, организации во всех подразделениях Отдела. И чем глубже вникал в проблемы, тем очевиднее становилось невероятное. За что же в последнее десятилетие так отчаянно ругают Отдел? Оказывается, десять лет назад была приостановлена река, по которой из ОР широким потоком перекачивались за рубеж сливки «серого вещества» — продукт умственной работы лучших наших граждан разных поколений. При этом очень важно подчеркнуть, что утечка информации происходила часто из необработанных архивов! Из таких, к которым не подступились еще даже отечественные историки, исследователи различных направлений.

— Предполагал, что в Отделе много было беспорядков, — говорил мне В. Я. Дерягин, — но столь массированного, столь ущербного для Отечества вандализма... Нет, не мог предположить!

Потрясение ученого легко понять, ознакомившись с некоторыми документами. Обнародуем кое-что:

— в 1958 году для Израиля и Нью-Йоркского университета было скопировано полностью более трехсот древнееврейских рукописей (для отечественного читателя копирование в таких масштабах невозможно.— Ю. М.);

— в 1971 году для стажера из США Д.-М.-О. Флагерти скопировано 6559 листов неопубликованных документов из ценнейших фондов XIX века;

— в 1972 году для Э. Касинца (США) отснято 54 единицы хранения из архивов Апраксиных, О. Бодянского, М. Погодина, А. Оленина, Шаховских...

Необычный список этот можно продолжить, но прервемся для разъяснений. ГБЛ ведет книгообмен и обмен копиями архивных документов с крупнейшими библиотеками мира. Это — нормальное международное сотрудничество, усиливающее информационный потенциал библиотек и архивов. Но пока получается «игра в одни ворота»: в указанных и многих-многих иных случаях никакой эквивалентной взаимной любезностью ОР ГБЛ не пользуется. Верно, скопированные документы не секретны. Но содержащаяся в них информация имеет элементарную коммерческую цену. Так давайте же честно торговать! Уже и школьнику известно об основах хозрасчета, самоокупаемости, о том, что во всем мире информация давно стала валютным товаром, а издательское дело — бизнесом. Стыдливо замалчивают и «ЛГ» и «СК» маленькую, но увесистую деталь: те же супруги Проффер крепко заработали на издании оэровского Михаила Булгакова, но по сей день не перечислили на счет ГБЛ ни пенса.

Вот перед нами предисловие книги «Неизданный Булгаков» (Ардис, США, 1977). Э. Проффер правдиво сообщает: «Неопубликованный отрывок из «Белой гвардии» печатается по машинописному оригиналу, находящемуся в Отделе рукописей Библиотеки им. В. И. Ленина». Она же оставила свидетельство и в альбоме «Михаил Булгаков. Фотобиография» (1982): «Многие из использованных фотографий были нелегально вывезены из СССР».

Можно, конечно, и так, но можно и проще: уворованы. Занявшийся расследованием этого ковбойского приема в международном «сотрудничестве» М. Кривоносов установил, с каких именно оттисков, хранящихся в ОР ГБЛ, «заимствованы» опубликованные Э. Проффер фотографии (см. журнал «Советское фото», 1988, № 4).

Детектив? Да нет, заурядное воровство дружной компании похитителей-интеллектуалов. А отвлекающая дымовая завеса — «деза» о международном сотрудничестве. Профессионализм воровства подтверждается и тем, что в документах Отдела рукописей многие следы хищений «заметены». Чисто сработано! А ведь любое легальное использование архивных документов непременно фиксируется. Фиксируется честными чиновниками. Как на таможне, например.

«Девятый вал» подобного рода цунами и пришелся на творчество Михаила Булгакова. Дело дошло до того, повторяем, что по рукописям ОР ГБЛ в США началась публикация собраний сочинений писателя. 22 ноября 1987 года о международном скандале поведала и газета «Советская Россия». Причем трактовку своих работ поамерикански Михаил Булгаков, будь он жив, вряд ли одобрил бы.

Руководители ГБЛ и Отдела рукописей пытались поставить заслон интеллектуальной бесхозности — этому новейшему виду вандализма при социализме. Естественно, возрастала озлобленность тех, кому подобная работа перекрывала прежнюю вольницу... И вот — известие о новом заведующем ОР. Что тут поднялось! Открылась беглая пальба «Литературной газеты», «Советской культуры», других изданий. «СК» организовала 27 января 1988 года письмо десяти ученых во главе с популярным академиком Д. Лихачевым. Против ГБЛ выдвигалось довольно стройное обвинение: рукописные богатства пролеживают без движения, а сотрудники ОР уподобляются собаке на сене. Эффект «точного попадания» смутил и меня, поэтому я попросил В. Я. Дерягина особо прокомментировать образ Лопе де Вега. А Виктор Яковлевич мне молча протянул книгу с названием «Рукописные собрания Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. Указатель. Том I. Выпуск 2. Москва, 1986». Увесистая книга на 381 страницу! (Кстати, позже я купил ее и от прочтения получил большое удовольствие.)

— Видите ли, я много над этим думал, — заговорил Виктор Яковлевич. — Научный аппарат ГБЛ обвинять не в чем. Несколькими годами раньше вышел первый том Указателя. Сейчас он — библиографическая редкость. Наши агрессивные критики путают ученых ГБЛ с исследователями других институтов. Мы тоже согласны, что историческая наука страны крепко прихрамывает. Однако при чем же здесь мы? — После некоторой паузы профессор продолжил: — Ни Лихачев, ни Самсонов, ни Толстой, подписавшие то письмо, не являются читателями Отдела рукописей. Председатель Археологической комиссии Академии наук СССР Шмидт последний раз появлялся в Отделе пять лет назад. От сотрудников Лихачева, приезжавших к нам поработать, мы корректно принимали любые заказы, даже по телефону из Ленинграда. Как, впрочем, от всякого ученого, пожелавшего приобщиться к фондам. Словом, газетная полемика отражает не объективную действительность, а придуманную кем-то схему. Критиковать нас есть за что, но только не за охранные функции.

И верно. Можно ли ругать сторожа за то, что он честно оберегает свой склад? Однако именно за это клянут нынешних администраторов Отдела рукописей, замалчивая главное: интеллектуальное ограбление, утечку сокровищ державы.

Два мощных печатных органа возглавляют обстрел маленького коллектива Отдела рукописей тяжелыми снарядами. Шесть публикаций за девять месяцев! Не снизило накала очевидной травли и вмешательство министра культуры СССР на страницах той же «СК».

Но если газеты еще придерживались хотя и сердитой, но вполне литературной терминологии, то на специальном вечере, состоявшемся 27 января 1988 года в Малом зале ЦДЛ под названием «Мысли вслух», литературность была вытеснена ругательствами. (Можно поаплодировать «Советской культуре», сверхоперативно осветившей это вечернее мероприятие утром следующего дня.) Чисто случайно я попал на тот вечер. Проводила его Мариетта Омаровна Чудакова — булгаковед. С 1968 по 1978 год она в качестве сотрудника Отдела рукописей описывала фонд Михаила Булгакова. Уже по тому признаку, что ее допустили к рукописям, она считает себя прима-знатоком, не терпящим второго мнения относительно творчества Булгакова.

Пригласили на вечер и нового заведующего Отделом рукописей ГБЛ профессора В. Я. Дерягина. Очень скоро прояснилось, для чего пригласили, — чтобы поиздеваться. Сущий шабаш устроили ученому на сборе.

Присутствовала на нем и Сарра Владимировна Житомирская, возглавлявшая ОР с 1952 по 1976 год. Покинула Отдел по требованию общественности, возмущенной развалом работы и прямыми нарушениями в использовании архивных ценностей при ее заведовании. Именно за это бывшая руководительница Отдела рукописей и получила партийный выговор. КПК при ЦК КПСС в 1986 году не снимал с нее обвинений, как утверждалось в «ЛГ», а лишь смягчил меру взыскания, учитывая возраст и «чистосердечное признание».

Тот вечер в Центральном Доме литераторов вернее было бы назвать так: «Черные мысли вслух». Чего стоит одна лишь реплика С. В. Житомирской в адрес нового заведующего ОР:

— Зря вы его не послушали. Увидели бы, какой это доктор, какой профессор!

Требуется пояснение. Дело в том, что хозяева вечера отвергли просьбу профессора Дерягина выступить с изложением своего взгляда на проблему.

Странные порой вечера случаются в ЦДЛ. Наряду с хорошими, разумеется. Создавалось впечатление, что Малый зал полон лишь родственников Чудаковой и Житомирской. Шумный восторг — для них, негодующее улюлюканье — Дерягину. Одна седая мадам топала ногами и кричала профессору: долой, долой, долой!..

И нельзя было не видеть четкой позиции: при Житомирской в Отделе рукописей процветали демократизм и свобода, а сегодня в ОР — террор и хаос.

Кто-то из читателей может спросить недоуменно: зачем же ко всему этому «мыслевслухному» действу приплетать, например, академика Лихачева? Признаюсь, я тоже в недоумении. Но ведь, во-первых, академик сам поставил свою подпись. Не нам, конечно, смертным, критиковать бессмертных, но, во-вторых, есть и другие факты. 23 февраля 1988 года «Известия» в заметке «Книги ждут помощи» информировали о пожаре в ленинградской библиотеке АН СССР, где среди прочего огонь слизнул триста томов невосполнимого фонда Бэра (такие пожары в последнее время участились). Автор заметки вспоминает, что академик Лихачев как бы предвидел катастрофу, предупреждал о возможных потерях. Что ж, подобное при уникальной интуиции крупного ученого не исключено. С другой стороны, именно Лихачев активно помогает сейчас упомянутой Житомирской снова работать (в качестве читателя) в Отделе рукописей ГБЛ. Даже почеловечески трудно понять, как можно вернуться туда, откуда тебя по заслугам изгнали. Неужто фальшивость морали не смущает гуманиста Лихачева? Ратует академик и за то, чтобы еще шире распахнуть ворота в Отдел рукописей. Остается лишь убрать стены в этом помещении. Одной рукой, что называется, тушим пожар, другой кропим в огонь керосин.

Странное дело! Никому и в голову не приходит ослабить учет и контроль в Алмазном фонде, а вот Отдел рукописей с его еще большими ценностями непременно желают превратить в проходной двор. Впрочем, он уже и есть проходной двор. Дерягин лишь пытается удалить многолетнюю ржавчину с ворот в этот храм, уже давно не закрывающихся.

Предвижу взрыв негодования оппонентов. Но не будем нервничать. Вот перед нами Акт приема дел от С. В. Житомирской (от 10 декабря 1976 г.). А в нем такие слова: «Существующая документация и система учета не позволяют сегодня назвать точную цифру хранящихся в Отделе рукописных материалов...»

Общественность уже знает, что книги с драгоценными металлами и камнями на окладах в ОР хранятся вперемешку с другими рукописями. Украшения не описаны подробно, и время утраты их установить невозможно...

Бриллианты, алмазы на книгах! Да, да, дорогой читатель, бесценные сокровища Алмазного фонда имеют достойного соперника в лице Отдела рукописей ГБЛ. С той разницей, что в Алмазном фонде нет фолиантов, рукописей.

По действиям Житомирской и Чудаковой видно, что традиционные ценности нашего народа, лучших его мыслителей они желают подменить своими ценностями, о сути которых остается лишь догадываться. Но к чему подобное общество академику Лихачеву? Бывало, и не раз, такое: разберется видный человек, кто и зачем приставал к нему, сокрушается потом: бес попутал, староват стал, глаз уже не тот, не разглядел, помилуйте...

Любое высокое звание, в том числе звание академика, дается человеку для пользы общенародной. А главное — от народа зависит его материальное благополучие. Вот и надо соизмерять свои действия и поступки с интересами народа, а не сомнительных группок интеллектуалов. Иные из них так поднаторели в жонглировании интеллигентскими категориями, что и академика гипнотизируют не истиной, а ловкостью. Когда же очистишь стержень интересов от псевдонаучных фраз, то остаются их древнейшие величества — корысть, практическая хватка секты.

Помните, читатель, «булгаковщину»? За кого только не выдавали этого мятежного гения, кем не выставляли! До сих пор никому непонятно, от кого Михаил Булгаков просил защиты у Сталина. Просил и получил ее. Не от таких ли булгаковедов, как М. О. Чудакова?

Десятки ярлыков, клееных к имени Булгакова, начинают постепенно отпадать. Одно время, например, усердно рядили писателя в узкий зипун пресловутого антисемита. Оказалось же, он по-русски добр был к евреям-беднякам, но критиковал сионизм.

Поразительная связка. Как-то вечером я направлялся в ГБЛ и увидел на лестнице главного входа — впервые увидел! — демонстрацию советских евреев. Все молодые, крикливые. Над головами лозунги: «Хочу одного — уехать в Израиль», «Рейган и Горбачев, неужели решение еврейского вопроса сложнее разоружения?!». Не стану делиться чувством омерзения от этой наглости сионистов, по максимуму употребивших все льготы нашего строя. Но ведь посмотрите: еврейский вопрос нужен даже этим советским сионистам образца 1988 года! Скажите на милость, какой труженик другой национальности способен выехать из СССР, прогуляться по Вене, Тель-Авиву, Парижу, Лондону, Нью-Йорку, а затем, покаявшись, вернуться в СССР?

Такая вот, или подобная такой, ложь в поведении евреев-сионистов возмущала и Булгакова. А кого, какого нормального человека заставишь полюбить циничное надувательство?!

Казалось бы, ясна позиция Булгакова в отношении сионизма, но нет — нездоровая, воспаленная облачность вокруг этой его «ноты» нагнетается, словно на эстраде современной рок-бациллы с мутной завесой от искусственного льда.

Рядом с «булгаковщиной» в довоенные времена вспучилась и «переверзевщина». Валерьян Федорович Переверзев отведал многолетней тюрьмы как в царское, так и в сталинское время. Там, «одетый камнем», писал он свои удивительно светлые произведения. Но отнюдь не Сталин прилепил ему ярлык «переверзевщины». Не до того было «отцу народов», не до этих мелочей. Нельзя сталинизм обелять, но и нечего валить на него все подряд. Ибо как раз в такой мутной воде обостряется зрение щук ловкачества, да и вандализма тоже.

Почему мы вспомнили о Валерьяне Федоровиче Переверзеве — мученике от русского литературоведения? Да потому прежде всего, что его рукописный фонд передан сыном в Отдел рукописей ГБЛ. И еще потому, что Виталий Валерьянович обратился в дирекцию библиотеки с протестом, узнав, как при Житомирской обращались с фондом его отца. Именно на этом основании и появилась служебная записка «О копировании материалов из архива В. Ф. Переверзева» (еще не обработанного). Вот выдержки из той записки:

«Фонд поступил в 1976 году. ...Для Х. Скотт из США (обучалась на филфаке МГУ) в том же, 1976 году (завидная оперативность! — Ю. М.) сняты полностью рукописи в виде ксерокопий:

1) монография «Белинский и театр», не опубликована, 253 лл. Разрешила копировать В. Г. Зимина (зам. С. В. Житомирской. — Ю. М.);

2) «Неосновательные «Основы науки о литературе», не опубликовано, 114 лл. Разрешила копировать В. Г. Зимина;

3) то же, во второй редакции, 68 лл.;

4) «Поэмотворческий путь Пушкина», не опубликовано, машинопись, 179 лл. Разрешение дано С. В. Житомирской;

5) «Основы эйдологической поэтики» (Введение в литературоведение), последняя редакция, машинопись, 156 лл. Разрешение дано С. В. Житомирской, снято в виде негативного микрофильма;

6) «Творчество Макаренко», в 7 главах, не опубликовано, 399 лл. Снято без 6 и 7 глав. Разрешение дано С. В. Житомирской. Всего — 1169 лл.».

Итак, слитки духовной платины, еще не взвешенные, укочевали с благословения С. В. Житомирской и ее подопечной В. Г. Зиминой в США. Что же остается нам? А нам остается ждать, когда Америка одарит мир изданием трудов В. Ф. Переверзева, как одарила уже сочинениями М. А. Булгакова. Будут, разумеется, дежурные рыдания о репрессиях в СССР, о неповоротливости «русского медведя» в послесловиях. Будут мстительные шабаши нашей диссидентствующей публики, охочей до ярлыков «Made in USA». Будет элегантная туманность «непонятости дома» на ясном лике Валерьяна Федоровича. Ну и, как следствие, появится брожение в умах на-

шего подрастающего поколения на почве предпочтения западных духовных ценностей, наштампованных лукавыми ваятелями из нашего сырья. Одного не будет — ясности в том, кто клеветал на В. Ф. Переверзева, загоняя его в тюрьму. Итак, на очереди — второй виток «переверзевщины».

Лет четырнадцать назад из Центральной справочной библиотеки ГБЛ с полок открытого доступа стали пропадать тома «Еврейской энциклопедии» (шестнадцатитомной) на русском языке. Не укладывалось в голове, как можно было эти увесистые, крупного формата тома вынести из здания библиотеки, минуя милицейский досмотр? Тогда же я обратился в одну, вторую, третью редакции — давайте расскажем о книжном вандализме! И всюду получал от ворот поворот. Я даже приводил пример из той же «Еврейской энциклопедии» о Букакане, еврее-ашкенази средневековья, прославившемся кражей в Индии особо ценных рукописей. Не убоялась же такой гласности «Еврейская энциклопедия»! Но в редакциях тех лет не хотели знать ни меня, ни «Еврейской энциклопедии», ни самой гласности. Теперь — времена иные..

P. S. Уже вычитывал гранки этой статьи, и вдруг — обширная публикация «ЛГ» от 5 октября 1988 года. Опять склоняют ОР! Возникло состояние, многим, думаю, известное: вспоминаешь, мучаясь, до боли знакомую интонацию, фразу, мелодию, а ясности нет и нет. Но наконец-то вспомнил — словно протер мутное стекло, и размытые контуры за окном стали четкими. Конечно же, интонации «ЛГ» повторяют тот приснопамятный вечер в ЦДЛ, на котором унижали профессора В. Я. Дерягина. Одной закваски действа, увы..

Литературой занимается газета. ЦДЛ в своем названии содержит слово «литератор». Отдел рукописей ГБЛ занимается литературой. Но почему же разделены они враждебной баррикадой? Ведь не письмо с партийного собрания ОР содержит злобствование, а комментарий к мнению коммунистов. Видимо, конкретному лицу в «Литгазете» неловко было подписываться под разносным комментарием — и последовала подпись обезличенного отдела. Выверенный приемчик! Ну мыслимо ли обвинять во всех грехах конкретных граждан Дерягина, Лосева, Тиганову, скрывая собственное лицо за ветхобюрократическим термином «отдел»... В боксе это называется «разные весовые категории», когда, например, против легковеса выпускают тяжеловеса.

А тон-то какой! Блистательный эталон командно-бюрократического лексикона: «До каких же пор бюрократы в архивах будут присваивать себе право решать, что во благо, а что во вред народу... До каких пор будут мешать свободному развитию науки, культуры, гласности?»

О гласности литературно-публицистического отдела «ЛГ» мы уже сказали, а вот от имени народа-то кто уполномочил вещать орган Союза писателей? Странная ситуация получается. Маленький коллектив как раз бьется над сохранением духовных ценностей для своего народа, а «ЛГ» поливает его словесным свинцом, обвиняя в нанесении «вреда народу»... Да, да, читатель, все верно: еще капелька литературного темперамента — и готов ярлык, бывший в свое время в таком ходу...

Сотрудники ГБЛ нередко выезжают за рубеж для заимствования передового опыта в крупнейших библиотеках мира. Мнение едино: в нашей ГБЛ доступ к книгам более демократичен. Правда, иногда эта демократия — от неорганизованности, отставания в применении в библиотечном деле достижений НТП. Есть и зажим ее из-за неудовлетворительного ксерокопирования. Но это уже другая тема.

КРИТИКА

Владимир БУШИН

КОГДА СОМНЕНИЕ УМЕСТНО

Это было не так давно. Моя дочь окончила школу. На выпускной вечер пригласили и нас, родителей, — говорят, теперь так принято везде. Как водится, нашим детям торжественно вручали аттестаты, учителя и гости произносили поздравительные речи, ученики с волнением отвечали, все радовались и немного умилялись. Церемония уже клонилась к концу, когда директор школы объявила, что слово предоставляется почетному гостю вечера главному режиссеру Театра имени Ленинского комсомола заслуженному деятелю искусств РСФСР, лауреату Государственной премии СССР Марку Александровичу Захарову.

Выступление Захарова было выдержано в общем духе праздничности, но в самом конце, обращаясь к выпускникам, он сказал примерно так:

— Вы вступаете в жизнь. Что можно пожелать вам в этот торжественный и ответственный час? Пожелаю одного: возьмите с собой в дальнюю дорогу девиз Маркса — «Все подвергай сомнению!»[1].

Когда оратор сел и аплодисменты смолкли, я поднял было руку, чтобы возразить ему. Хотел сказать, что произнесенные им слова — это личный девиз великого ученого-революционера, и не был, как известно, придуман им самим, а взят у другого великого ученого — у Декарта как насущно необходимый ему рабочий инструмент в небывалом труде анализа, критики на специфическом поприще социально-экономической науки. Я хотел сказать оратору и молодежи, что своему девизу, объявленному в домашней анкете дочерей, Маркс вовсе не призывал следовать других — простых смертных, тем паче — всегда и во всем. Более того, в иных сферах жизни он решительно отвергал его. Так, в письме женe 38-летний Маркс писал: «Ведь та разносторонность, которая навязывается нам современным образованием и воспитанием, и тот скептицизм, который заставляет нас подвергать сомнению все объективные и субъективные впечатления, только и существуют для того, чтобы сделать всех нас мелочными, слабыми, брюзжащими и нерешительными». Я хотел сказать, что без знания этой второй грани вопроса односторонне навязывать молодым людям на пороге их жизни для универсального пользования личный девиз гения — безответственно, все равно как дать им противотанковую мину, не объяснив, что это такое. И есть на свете много вещей, в которых нельзя и даже кощунственно сомневаться, — хотя бы в том, что мы — дети великого народа, граждане первой в мире страны социализма. Хотя бы в этом.

Увы, я ничего не сказал выпускникам, не решился нарушить торжественность вечера. А зря, конечно. Пожалуй, именно в той обстановке, накануне первого самостоятельного шага в жизнь, полезно было бы показать юношам и девушкам, что несогласие и борьба взглядов, идей — это дело не только прошлого, достояние не только учебников, но и живой сегодняшней жизни, в которую они вступают. Такой последний наглядный урок, полученный в стенах школы, мог бы запомниться надолго.

О том школьном выпускном вечере я невольно вспомнил позже, читая в «Правде» письмо группы театральных деятелей, озаглавленное «По новому кругу?». Вспомнил не только потому, что там стояла подпись и Марка Захарова, были причины и поглубже.

Это письмо — интереснейший и ценнейший, даже уникальный по своей выразительности документ времени. Редкие поучительные достоинства его прежде всего в том, что оно с неотразимой наглядно-

[1] Вскоре этот девиз начали энергично пропагандировать историк Ю. Афанасьев («Литературная Россия», 17.06.88), философ И. Меихус («Правда», 25.07.88) и другие авторы этого круга. — В. Б.

стью обнаруживает некоторые противоречия перестройки, ее гримасы.

Характерность письма в том, что его восемь авторов убежденно считают себя неукоснительно последовательными и пламенными сторонниками перестройки, а тех, кто не согласен с ними (хотя расхождение тут всего-навсего по одному вопросу — об отношении к пьесе М. Шатрова «Дальше... дальше... дальше!»), — ее опасными противниками. Да, с такой крайностью убеждений и категоричностью выводов, с идейно-психологической моделью «соломинка-бревно» мы встречаемся ныне повсеместно.

Некоторые заходят здесь очень далеко. Например, писатель В. Быков заявляет, что для тех, кто не согласен с ним по вопросу о Сталине, — «правда сопряжена с риском больших потерь», что эти люди беспокоятся прежде всего за свое «правовое и общественное положение» (с вытекающими отсюда благами чисто материального характера), что поэтому они «ничего не хотели бы менять в своей жизни» и любыми средствами «готовы изо всех сил сохранять милые им порядки, нравственно оправдывать их», что, наконец, они до того эгоистичны, что «мало озабочены судьбой нового поколения», то есть судьбой своих собственных детей и внуков. Иначе говоря, писатель, сын вдохновения и мысли, начисто отказал своим оппонентам в каких-либо соображениях и побуждениях идейного, политического или морального характера, а все свел к грубой выгоде и корысти, которые они будто бы преследуют. Какой удручающий взгляд на соотечественников, не желающих шагать с тобой в ногу! А кроме того, ну как, каким образом в нынешней обстановке, спустя 36 лет после смерти Сталина, из такой позиции можно извлечь для себя выгоду? Когда сам В. Быков восхищался философско-исторической глубиной иных идей «Малой земли» при жизни ее автора, то у нас было несколько больше оснований заподозрить его в небескорыстии, но все промолчали: как говорится — а если это любовь?

Дело с прогрессом и справедливостью, увы, обстоит не совсем так, как это представляется в письме театральных деятелей в «Правду», и во множестве других аналогичных случаях. На некоторых суждениях, высказанных в письме, на иных даже чисто внешних и формальных обстоятельствах и чертах его отчетливо видна печать прошлого, печать застоя, а не будущего, не перестройки.

Взять хотя бы обращение к форме коллективного письма. Казалось, чего проще. Допустим, К. Лавров или А. Гельман с чем-то не согласны в нашей театральной жизни. Так напиши об этом и — бери ответственность на себя, как учит перестройка! — за собственной подписью отправь в редакцию. Вон же Г. Товстоногов встал и смело заявил: «Я читал «Доктора Живаго» давно и ничего антисоветского в нем не находил». Правда, лет тридцать он молчал об этом, но тут уж другой вопрос. И вот вместо того, чтобы последовать такому благородному примеру, большая группа москвичей и ленинградцев собирается вместе и пишет коллективное письмо.

Несколько позже я с изрядным изумлением прочитал в огоньковской статье М. Захарова «Проклятые вопросы» то место, где он, не называя имен, иронизирует как может по поводу статьи Ю. Бондарева, В. Распутина и В. Белова, напечатанной в «Правде»: «Недавно три известных уважаемых писателя объединились в совместном меморандуме... Протест их носил как бы всеобщий вселенский охват... Конечно, то, что авторы упомянутой статьи объединились в группу, делает мой спор с ними затруднительным» и т. д. Выходит, оппонентам сам-третей сгруппироваться и то нехорошо, а Марку Захарову со товарищи для их-то меморандума и восьмериком в одну шеренгу встать не грех. Но если бы только в этом дело! Ю. Бондарев, В. Распутин и В. Белов поставили под статьей свои имена, и только, а всем известный восьмерик счел нужным указать и свои почетные звания да еще на всю державу звякнуть регалиями. Если суммировать, то получится, что тут уже не просто восемь наших смертных собратьев, а пять Героев Соцтруда, пять народных артистов, пять самых больших лауреатов, три лауреата поменьше да один заслуженный деятель искусств, именно Марк Захаров. Ну, прямо-таки не продохнуть! Хоть топор вешай. Благоприятна ли столь тяжелая атмосфера для свободной дискуссии? И опять — в этом нет ничего не только от духа перестройки, но и от добрых нравов далеких времен. Можно ли вообразить, чтобы, допустим, знаменитая статья «Не могу молчать!» была написана так: «Лев Толстой, граф, лауреат премии Островского, кавалер ордена святой Анны четвертой степени, а также медалей «В память войны 1853—1856 гг.» и «За защиту Севастополя»? Неужели из восьми человек никто не знает, что ведь всем известно: к таким доводам, как количество званий и звон регалий, прибегают для морального воздействия на оппонента и аудиторию в тех случаях, когда нет доводов более убедительных...

Но что, однако, побудило известных театральных деятелей съехаться из двух городов и скопом взяться за одно перо? Они, оказывается, как раз обнаружили не что иное, как попытку «повернуть вспять» процесс перестройки и развития гласности, и это у них «вызывает глубочайшую тревогу». Понятное чувство! Тем более что в великом многообразии быстротекущей современности такие попытки действительно случаются.

Авторы письма утверждают, что «вновь пошли в ход идеологические ярлыки», что «перекрывают возможность художественного осмысления отечественной истории», что пытаются «вернуть нас в эпоху командно-административных методов руководства культурой» и т. д. Чем дальше, тем страшней. В качестве, судя по всему, самого вопиющего и опасного примера ретроградства названа «критическая кампания вокруг новой пьесы М. Шатрова», упоминавшейся выше.

Как же обосновывается наличие этой антиперестроечной кампании? В начале письма его авторы заявляют: «Ни у кого нет монополии на истину». Сейчас говорят еще так: «Ни у кого нет права на истину в последней инстанции». Это ныне столь часто повторяют в статьях и речах, что отменные афоризмы несколько залоснились. Но гораздо огорчительней то, что у людей, злоупотребляющих ими, получается так, будто истину сыскать и невозможно, что, кажется, и вообще-то ее нет. А между тем независимо ни от каких монополий и инстанций, а порой и вопреки нашему желанию, объективная истина, однако же, существует, в чем мы можем убедиться, даже не выходя за пределы меморандума восьмерых.

Вот, скажем, они просят верить, что не собираются «ни защищать, ни оспаривать» пьесу М. Шатрова. Но все-таки защищают. Такова объективная истина.

Надо сразу сказать, что защита ведется довольно странно. Так, с целью отвести некоторые критические претензии к пьесе защитники налегают на то, что еще «не сказал своего слова ни один театр», что пьеса «еще не поставлена, а драма без сцены, как душа без тела, говорил Гоголь». Очень правильно говорил Николай Васильевич, но ведь в ту пору никто и не судил о «теле», все только о «душе». А «душа» пьесы живет и без сцены, и судить о ней мы имеем полное право. Более того, текст пьесы хранит ее «душу» в наиболее чистом виде, а на сцене возможны всякие деформации. Свидетелями этого мы недавно были. В пьесе М. Шатрова «Брестский мир» Ленин не становится на колени перед Троцким, а М. Ульянов, играющий Ленина, взял да и бухнулся в ножки Льву Давидовичу. Правда, драматург против этого усердия не по разуму не протестовал.

Выдвигают и такой довод: «Как будто это первая пьеса о Ленине случайного человека, а не итог тридцатилетнего пути художника...» Увы, но и это никак нельзя принять всерьез. Да, перед нами далеко не первая пьеса М. Шатрова о Ленине; да, он не случайный человек в данной теме; да, он тридцать, пусть даже пятьдесят лет работает в драматургии, — все это никак не гарантирует от неудач в новой вещи. Хоть кто-нибудь из авторов письма, допустим, Виктор Розов, как самый старший, мог бы все-таки знать, что даже в весьма отдаленные от перестройки времена, скажем, при Николае Первом, никому и в голову не приходило, например, защищать «Выбранные места из переписки с друзьями» того же Гоголя ссылкой на то, что он не случайный в литературе человек, что ранее написал гениальные «Мертвые души», что имеет почтенный творческий стаж и т. д. А ныне вот такие именно резоны нам предлагают брать в расчет! Нет, апелляция к былым заслугам и к стажу — это не просто полемическая неуклюжесть, а прямая морально-идеологическая старорежимность, та именно, от коей в совсем недавнем прошлом мы достаточно натерпелись, причем в самых разных областях жизни.

Еще один, уже третий, основной довод защитников пьесы такой: до сих пор о ней пишут лишь историки, но — «не выступил ни один профессиональный искусствовед». Историки не вызывают у них доверия, подай им даже не литературного критика, а непременно искусствоведа! Еще хорошо, хоть не требуют искусствоведа-лауреата, что было бы совсем не удивительно.

А между тем ничуть не трудно понять, почему в данном случае первыми выступили действительно историки. Да просто потому, что пьеса имеет историко-политический характер и этим заинтересовала прежде всего историков, которым захотелось дать ей свою профессиональную оценку. А критики и искусствоведы не спешили, похоже, по двум причинам. С одной стороны, художества в пьесе, прямо надо сказать, не бог весть какие закрома. С другой, все знают, что и до сих пор легче, проще, безопасней критиковать автора из чужого «цеха», а из своего — и начетисто, и боязно, тем более, если автор, как в данном случае, достаточно именит: имеет ордена, Госпремию, член разных там правлений... Тут частенько прилипает язык к гортани даже у не менее именитых.

Вот, скажем, Михаил Ульянов. Как говорится, «повсеградно обэкранен и повсесердно утвержден». Но редакция «Правды» в ответе на письмо восьмерых напомнила такие его слова: «Что это за общество, в котором кого-то нельзя критиковать? В данном случае я думаю о деятелях культуры, а не о верхах». Подлинно народная прямота, с которой народный артист признается, что у него и мысли не может быть покритиковать кого-то в верхах, заслуживает похвалы. Но, к сожалению, мы видим, что в одиночку, а не артелью М. Ульянов не решается критиковать и деятелей культуры, неприкосновенностью которых только что возмущался. Взять, например, его большую статью «Теперь или никогда», что напечатана в «Советской культуре». Какой заголовок-то решительный! И дальше в своих общих рассуждениях автор весьма решителен, энергичен и даже задирист. Называет множество конкретных имен из самых разных областей жизни: директор завода В. Кабаидзе, председатель колхоза Д. Моторный, ученый Б. Патон и т. д. (Правда, все упомянуты в положительном контексте.) Но когда Ульянов переходит к своему «цеху» или к «верхам» и хочется ему высказать все-таки хоть что-нибудь конкретно-критическое, то он предпочитает выражаться так: «некоторые представители Министерства культуры», «одна ответственная дама из ответственного учреждения»... Точно такую же картину видим и в упоминавшейся статье М. Захарова: «некоторые авторитетные деятели искусства», «один из авторитетных руководителей Министерства культуры» и т. п. Такие они смельчаки.

Итак, что же получается в итоге?

У авторов письма три основных довода в защиту пьесы. Во-первых, пьесу начали критиковать до ее постановки на сцене, а это неправомерно. Во-вторых, критики не приняли во внимание былые заслуги дра-

матург и его отменный стаж работы, а это предосудительно. В-третьих, критикуют одни историки, — а кто им дал право? Как видим, все доводы сторонников гласности и демократии носят не только сугубо формальный, но и явно запретительный характер. При этом они удивительным образом игнорируют то обстоятельство, что на протяжении долгого времени М. Шатров, как многие авторы и других произведений о Ленине, довольно редко оказывались объектом нелицеприятной критики. Такие произведения у нас полагалось главным образом хвалить. Так было принято[1]. Но вот в журналах общего профиля появляются две подряд пьесы М. Шатрова, что само по себе дело весьма необычное, ибо такие журналы пьес почти не помещают, и разные органы печати решаются сказать о новых сочинениях драматурга несогласное слово. И это оказывается столь необычным для данного автора и для данной темы, что повергает сразу целый отряд театральных деятелей в панику, они спешно пишут письмо в ЦО нашей партии, предупреждая весь народ о том, что здесь не что иное, как попытка повернуть вспять перестройку и возродить командно-административные методы руководства. Спрашивается, а где же они, прозорливцы, были в те дни, когда еще до публикаций пьес Шатрова о них появлялись хвалебно-рекламные статьи, имевшие целью не командными, но не менее эффективными методами навязать свою точку зрения?

Однако есть ли у защитников пьесы возражения против ее критики не по форме, а по существу? Да, есть. Так, они заявляют: «В отличие от некоторых историков мы полагаем, что в художественном произведении Ленин не только может, но и должен оценивать современный социализм и все, что мы делаем». Все! Должен! Ну, скажем, а театральную реформу — тоже? Да как же иначе! Но странно выглядит такая категоричность в устах тех, кто предупреждает нас о том, как «опасны методы подавления художественного инакомыслия».

Похоже, авторы письма не помнят, что и давно и совсем недавно уже предпринимались довольно многочисленные и энергичные попытки давать нам оценки устами Ленина, разумеется, только положительные. Например, в самые застойные времена по всей стране можно было встретить такой плакат: в кепочке, с алым бантом в петлице — Ленин. Смотрит на нас, улыбается, приветственно поднял правую руку. А внизу подпись: «Правильной дорогой идете, товарищи!» Можно себе представить, с какой отрадой взирали на этот плакатик Брежнев и Кунаев, Рашидов и Щелоков...

Попытка обратного характера — дать устами Ленина отрицательную оценку — такая же антиисторическая спекуляция, как и самодельные «ленинские» похвалы самим себе.

Как вообще можно хоть с какой-то мерой серьезности относиться к шатровским домыслам за Ленина о никому не ведомом будущем, если он (Шатров) бесцеремонно препарирует даже документально зафиксированные, давно всем известные суждения и оценки Ильича, высказанные им о событиях и лицах, которые он хорошо знал! Л. Овруцкий писал в «Советской культуре»: «М. Шатров идет от ленинской цитаты, пытаясь извлечь больше, чем в ней содержится». Можно сказать, что это любимое занятие драматурга. Например, в дневнике дежурных секретарей Ленина от 1 февраля 1923 года есть такая запись Л. А. Фотиевой: «Владимир Ильич сказал: «Если бы я был на свободе (сначала оговорился, а потом повторил, смеясь, если бы был на свободе), то я легко бы все это сделал сам». 12 февраля Фотиева записала: «По-видимому... у Владимира Ильича создалось впечатление, что не врачи дают указания Центральному Комитету, а Центральный Комитет дал инструкции врачам». Естественно, что человек, всю жизнь привыкший честнейшим образом, не

[1] Правда, сам драматург рисует несколько иную картину. Недавно на страницах одного журнала, известного своим правдолюбием, он даже вон что заявил: «Все мои пьесы из политического театра, и «Шестое июля», и «Большевики», и «Синие кони», и «Так победим!» — все, кроме последней, были запрещены» («Огонек», 1988, № 45, с. 16). За-пре-ще-ны! Шутка ли сказать! Иной читатель с облегчением вздохнет: еще хорошо, мол, что не сослали, как Радищева — за «Путешествие из Петербурга в Москву», как Пушкина — за оду «Вольность», как Лермонтова — за «Смерть поэта» ...Слава богу, что не отдали в солдаты, как Полежаева за поэму «Сашка», как Шевченко — за вольнолюбивые стихи, что не заковали в кандалы и не отправили на долгие годы в острог, как Достоевского... Но мы можем успокоить такого излишне впечатлительного и излишне доверчивого читателя: никто пьесы М. Шатрова, конечно же, не запрещал. Это ему, как и Е. Евтушенко, например, уж очень хочется выглядеть жертвой застоя. На самом же деле пьесы шли в театрах, в кино, их обильно издавали в разных издательствах. Так, пьеса «Именем революции» была издана еще более тридцати лет тому назад. Немного позже — «Шестое июля». В 1974 году в издательстве «Советский писатель» вышел сборник «18-й год», состоящий из пьес «Шестое июля», «Большевики», «Именем революции». Между прочим, сборник был с портретом гонимого автора. А вот уже «Избранное» — увесистый том почти в 800 страниц, появившийся в 1982 году, в самое затхлое время застоя. И здесь все те же «запрещенные» пьесы: «Шестое июля», «Большевики», «Синие кони», «Так победим!» и др. Опять же с портретом несчастного автора. 1983 год. Застой еще благоухает вовсю. А у Шатрова — это всего через годик-то после предыдущего! — выходит новый хорошенький томик в 640 страниц. В нем все те же квазикрамольные пьесы «политического театра», только размещены почему-то в другом порядке: «Так победим!», например, из конца книги переставлена в начало, а «Именем революции» — из начала в конец и т. д. Ну, и в последующие годы мы не раз аплодировали новым изданиям М. Шатрова. Вот так его всю жизнь, при всех режимах, запрещали. Между прочим, в том же номере правдолюбивого «Огонька» он заявил: «Я могу ошибаться, заблуждаться, но не врать. Ибо делу, которому я служу, ложь не нужна. Только Правда, Правда и еще раз Правда». Что ж, будем считать, что на сей раз он ошибается, заблуждается или даже просто не знает об изданиях своих пьес. Ну, допустим, издательства делали это тайно от него. Ведь чего только не было в проклятую застойную эпоху! Возможно, что-то и миллионером стал за счет тайных изданий пьес Шатрова. Ох, возможно!.. — В. Б.

покладая рук работать, находясь на высшем руководящем посту, чувствует свою ответственность за множество прерванных болезнью дел. Такой человек, такой руководитель досадовал на болезнь и тяготился установленным для него строгим лечебным режимом. Но, как видим, первое из приведенных высказываний носит все же характер оговорки, которая самому Ленину показалась забавной, и он повторил ее со смехом. Второе даже не высказывание самого Ленина, а предположение, домысел его секретаря о том, что Ленину могло показаться. И вот из такого-то материала, из шутливых слов и сторонних предположений драматург «извлекает» проходящий через всю пьесу мотив, пожалуй, даже целую концепцию о коварной изоляции Ленина. Без тени улыбки шатровский Плеханов называет Сталина «надзирателем» Ленина, а его, Ильича, положение — «трагедией». Таким образом, используя авторитет Плеханова, М. Шатров пытается подлинную трагедию сумерок гения подменить измысленной трагедией его неволи.

Для подкрепления этой авторской «версии» мобилизуется Мартов. Он проворно подхватывает сказанное Плехановым.

«Не надзиратель? Но он же знал, что ты воспринимаешь его опеку как личную несвободу... Он же знал, что лечебный режим — полная изоляция от всей жизни, — который он вокруг тебя создал, ты воспринимаешь как результат его указаний врачам, а не изоборот».

На эту странную декламацию даже шатровский Ленин вынужден возразить: «Ну какой надзиратель?»... А вот что можно прочитать о тех днях хотя бы в воспоминаниях М. И. Ульяновой: «...врачи старались всячески ограничить его работу, а мы (родственники. — В. Б.) пытались убедить его в необходимости меньше работать... Позднее, когда Ильич не мог уже вставать, врачи, видя его тяжелое состояние духа, решили сделать ему некоторое послабление и предложили свидания с товарищами... Еще позднее, когда он захотел диктовать свои записки, свои последние статьи, врачи было воспротивились этому...» Врачи, а не ЦК, не Политбюро, врачи, а не Сталин, — так свидетельствует человек, знавший этот вопрос несколько лучше, чем Шатров. Еще хорошо, что для лечения Ленина, кажется, не потребовалось никаких инъекций, — можно себе представить, какой антисталинский эффект извлек бы из этого драматург! А если бы прибегли к лечебному голоданию? У-у-у!..

Но какую же цель преследовал шатровский Сталин, сажая шатровского Ленина под шатровский арест? Об этом мы узнаем из уст того же всеведающего и неутомимого шатровского Мартова: «Вчера генсека потребовал заменить, а что завтра? Поэтому еще строже режим, еще строже изоляция, еще страшней кары нарушителям». Иначе говоря, Сталин видел в Ленине угрозу для своего пребывания на высоком посту в партии. И ведь как, черт побери, правдоподобно! Если, конечно, только умело промолчать хотя бы о двух обстоятельствах. Во-первых, когда Сталину стало известно, что Ленин предлагал переместить его с поста генсека, он тотчас подал в отставку. Во-вторых, Сталин узнал об этом не в январе 1923 года, не в дни болезни Ленина, а лишь в мае 1924 года, через четыре месяца после смерти Ильича, когда Н. К. Крупская передала его «Письмо съезду» в ЦК партии. Следовательно, как видим, Сталин не мог опасаться за свой пост при жизни Ленина и не держался за него после смерти Ильича.

Такие фокусы, как превращение слов, сказанных со смехом, в трагедию, а режима для больного человека — в надзирательство над ним, фигур, подобных Плеханову, — в своих сообщников по фабрикации «версий», один остроумный человек определил как умение раздуть из мухи слона и спекулировать фальшивой слоновой костью. Но ведь многие принимают фальшивую кость за настоящую. Ну как же! Человек тридцать лет работает над ленинской темой...

Но «извлечение» из мухи слона не единственный творческий прием драматурга в работе над документальным материалом. Есть у него и другое хобби, как бы противоположного характера: столь же любовно он усекает цитаты и берет из них гораздо меньше, чем они содержат. И далеко не всегда это можно назвать, если еще раз воспользоваться словами упоминавшегося остроумного человека, добычей радия из тысячи тонн словесной руды. В обоих случаях цель у автора одна: нарисовать такую картину событий истории, которая лично ему особенно нравится. Вот характерный пример увлечения второго рода.

Как известно, в связи с грубой выходкой Сталина в отношении Н. К. Крупской, допущенной им в телефонном разговоре 22 декабря 1922 года, Ленин продиктовал ему 5 марта 1923 года письмо. Оно начиналось обращением: «Уважаемый товарищ Сталин!» Драматургу не нравится здесь слово «уважаемый», и он запретил в своей пьесе Ленину его произнести, не считаясь с тем, что таким запретом нанес ущерб не столько образу Сталина (письмо-то не его), сколько Ленина: выброшенное слово свидетельствовало о том, что даже в гневе Ильич старался соблюдать вежливость.

А ведь многие письма Ленина к Сталину начинались и более значительными словами, чем «уважаемый». Например, в одном письме читаем: «Дорогой друг... Пишите почаще и побольше... Пишите скорее». В другом: «Дорогой друг... Ответьте, пожалуйста, поскорее... Жму руку». В третьем: «Дорогой друг... Отвечайте немедленно, хоть два слова». В четвертом, адресованном не одному Сталину: «Дорогие друзья!.. Если молчать, то еврейские марксисты завтра верхом будут на нас ездить... Бунд приспосабливает социализм к национализму» и т. д. Есть некоторые основания полагать, что М. Шатров никогда не пожелал бы воспроизвести в своих пьесах такие строки Ленина. А ведь историю нельзя ни улучшать, ни ухудшать, как порой напоминает нам сам драматург.

Или вот в феврале 1913 года Ленин писал Горькому: «У нас один чудесный гру-

зин засел и пишет для «Просвещения» большую статью...» А через несколько дней — Каменеву: «Трояновский поднимает нечто вроде склоки из-за статьи Кобы для «Просвещения»: «Национальный вопрос и социал-демократия»... Статья очень хороша. Вопрос боевой и мы не сдадим ни на йоту принципиальной позиции против бундовской сволочи». Невозможно и помыслить, чтобы шатровская версия истории (как, впрочем, и рыбаковская) допускала обращение к такого рода ленинским высказываниям о Сталине.

Выходка Сталина по отношению к Крупской и связанные с этим обстоятельства сильно занимают воображение М. Шатрова, что нетрудно понять. Еще в начале 1987 года он писал об этом инциденте в статье «Необратимость перемен», напечатанной в «Огоньке». Там драматург привел текст письма Крупской Каменеву от 23 декабря 1922 года, в котором она просила оградить ее «от грубого вмешательства в личную жизнь» и добавляла: «В единогласном решении Контрольной Комиссии, которой позволяет себе грозить Сталин, я не сомневаюсь, но у меня нет ни сил, ни времени, которые я могла бы тратить на эту глупую склоку».

М. Шатров комментировал это так: «Не знаю, что больше потрясает в этом документе. Меня вот эта фраза: «В единогласном решении Контрольной Комиссии я не сомневаюсь». Вот тут корень всего того, что произошло потом, когда один человек, сосредоточив в своих руках необъятную власть, отбросил демократические принципы партийной жизни». Иначе говоря, автор толкует приведенную фразу в том смысле, что Крупская была совершенно уверена в единогласном осуждении ее Контрольной Комиссией под давлением Сталина. Между тем из контекста ясно, что она была уверена совсем в обратном — в том, что Комиссия единогласно защитит ее, именно в этом смысл противопоставления — «но у меня нет ни сил, ни времени» идти в Комиссию. Факт полного непонимания и противоположного объяснения довольно несложного текста человеком, который, казалось бы, на этом деле зубы съел и должен знать все мельчайшие особенности того времени, право же, загадочен даже. Объясняется он, видимо, тем, что при одном имени Сталина некоторые авторы, порой даже весьма сообразительные и осведомленные, просто теряют способность к размышлению и анализу, у них отшибает разум.

Историк Ю. Афанасьев в полном восторге от того, как М. Шатров «искусно монтирует и обдумывает тексты, документы». Он находит, что это «блестяще и ценно», он уверяет, что драматург работает один за целый научно-исследовательский институт. Что же получилось в данном случае из искусного монтажа документального текста Крупской и комментариев ШатровНИИ?

Драматург вроде бы искренне пишет: «К сожалению, строки официальных документов скупы, противоречивы, иногда не глубоки, порождают массу вопросов, ответов на которые нет». Однако, переходя от общих сожалений к конкретному факту, он урезывает и без того скупой документ, отсекает, утаивает от читателя множество очень важных обстоятельств, и этим достигает не меньшего эффекта, чем из превращения мухи в слона. В данном случае у М. Шатрова получается, что Сталин ни с того ни с сего нагрубил жене Ленина, бесцеремонно и беспричинно вторгся в ее личную жизнь, — именно это автор хочет закрепить в сознании читателя своей статьи. И он стремится к достижению цели с помощью множества умолчаний и усечений.

Во-первых, скрыт тот факт, что Сталин нагрубил Крупской по телефону, а не публично, не при людях. Все-таки это не одно и то же. Другим же стало известно об инциденте от самой Крупской.

Во-вторых, не сказано о том, что специальным постановлением пленума ЦК от 18 декабря 1922 года на Сталина была возложена персональная ответственность за соблюдение режима, установленного врачами для больного Ленина.

В-третьих, ничего не говорится о состоянии больного в эти дни, а оно было очень тяжелым и все ухудшалось. Достаточно сказать, что 16 декабря произошел сильный приступ, а в ночь с 22 на 23 декабря, как раз через несколько часов после роковой диктовки, записанной Крупской, наступил паралич правой руки и правой ноги. И вот в такой-то момент Сталин вдруг узнает: вчера Ленин работал! И помогала ему Крупская!

Разумеется, грубость остается грубостью, но во всяком случае из приведенных соображений становится ясно, что Сталин допустил ее, движимый не какой-то личной страстью и мелким собственным интересом, а ответственностью, возложенной на него партией за здоровье и лечение Ленина, и расценивать это как вторжение в личную жизнь нет оснований. К тому же это еще не все.

В-четвертых, М. Шатров умолчал о том, что Сталин попросил Крупскую забыть о его грубости (и скорей всего сделал это сразу же, по телефону), из чего следует, что он, по меньшей мере, сожалел о происшедшем.

В-пятых, нет ни слова и о том, что Ленин был недоволен своим письмом Сталину с предложением извиниться и с угрозой разрыва, что колебался. М. А. Володичева записала в тот день в дневнике дежурных секретарей об этом: «пока просил отложить, сказав, что сегодня у него что-то плохо выходит». Лишь на другой день, продолжала Володичева, Владимир Ильич снова перечитал письмо и попросил передать Сталину «лично и из рук в руки получить ответ». Но тут заколебалась Крупская. «Надежда Константиновна просила этого письма Сталину не посылать, что и было сделано в течение 6-го» (марта). Колебания и Ленина и Крупской понять здесь можно. Действительно, шуточное ли дело: глава правительства ставил в этом письме вопрос о возможности разрыва отношений с Генеральным секретарем правящей партии не по идейным, политическим или хотя бы деловым причинам, а по личному, семейному поводу! Что же касается Крупской, то она, конечно, не могла не понимать своей ответственности за разрастание этого беспрецедентного конфликта: ведь Каменев, Зиновьев, а скорее всего и Ленин узнали о нем от нее.

Но только чувством ответственности дело могло для Крупской и не ограничиваться. Видя резкую реакцию Ленина, она могла еще и просто не желать разрастания конфликта. Как бы то ни было, а дальше Володичева зафиксировала: «Но 7-го я сказала, что я должна исполнить распоряжение Владимира Ильича. Она (Крупская. — **В. Б.**) переговорила с Каменевым, и письмо было передано Сталину и Каменеву, а затем и Зиновьеву, когда он вернулся из Питера». Отсюда нетрудно понять, что конец колебаниям Крупской положил Каменев, что именно он подтолкнул ее к решительному шагу. Обо всем этом в шатровской статье ни звука.

В-шестых, Володичева писала в тот же день 6-го марта: «Ответ от Сталина был получен тотчас же после получения им письма Владимира Ильича (письмо было передано мной лично Сталину, и мне был продиктован его ответ Владимиру Ильичу)». Шатров умалчивает и об этом. Ответ Сталина, к сожалению, до сих пор не опубликован. Но, конечно же, он, как предлагал ему Ленин, брал в этом письме свои грубые слова назад и приносил извинения, — о чем известно из письма М. И. Ульяновой президиуму июльского (1926 г.) объединенного Пленума ЦК и ЦКК, на котором Зиновьев поднял этот вопрос. Обойдено молчанием в статье М. Шатрова и сталинское извинение — будто его и не было.

В пьесе большинство умолчаний и усечений автор сохранил в неприкосновенности. А кое-что связанное с этим эпизодом, наоборот, усилил в нужном ему духе. Так, Крупская говорит Ленину по поводу письма: «Зачем? Зачем ты это сделал, Володя?.. Стало опять так плохо, что хуже некуда... а десятого новый удар». Да не только десятого, а уже на другой день после письма, 6-го марта, снова произошло резкое ухудшение состояния здоровья Ленина. И обвинение «Зачем ты это сделал?» надо бы адресовать не ему, а тем, кто раздул инцидент и довел о нем до сведения тяжело больного человека. По документальным данным, которыми мы ныне располагаем, о происшедшем знали четверо: Сталин, Крупская, Каменев, Зиновьев. Первый из них в разглашении конфликта не был заинтересован. В пьесе дело объясняется так, словно Ленин сам «стал невольным свидетелем» разговора об этом жены и Марии Ильиничны. Но как, спрашивается, мог стать свидетелем лежавший пластом больной человек? Только в воображении драматурга Ленин был в состоянии вставать с постели и ходить в марте 1923 года.

И последнее, о чем тут надо сказать, это домысел драматурга относительно характера допущенной Сталиным грубости. Что именно он сказал, неизвестно. Для пожилой женщины, воспитанной и прожившей всю жизнь в атмосфере добрых нравов русской революционной интеллигенции, грубостью были бы уже и такие, допустим, слова, сказанные соответствующим тоном: «Не смейте нарушать режим, установленный для больного! Вы будете держать за это ответ перед Контрольной Комиссией!» Что же мы видим в пьесе? М. Шатров в соответствии со своим пониманием грубости, видимо, существенно отличным от понимания Крупской, вкладывает в уста своему Сталину самую последнюю, предельную мерзость. Неправдоподобность ее уже в том, что это мерзость такого рода, после которой просто невозможно ни принести, ни принять никакие извинения. К тому же в письмах и Ленина и Крупской слова Сталина названы грубостью, сказано, что он обругал собеседницу, но не говорится, что это было прямое оскорбление. Словом, тут не все так просто, есть свои оттенки, которые мы и видим в письмах Ленина и Крупской. Но у Шатрова все элементарно просто: не только предельная грубость, но и предельное оскорбление. И Ленина он заставляет говорить именно об оскорблении.

Конечно, большинство читателей не заметит и не узнает о подмене драматургом слова «грубость» словом «оскорбление», а многие, если и заметят, не станут вникать в различие между ними. Но именно в расчете на невнимание, забывчивость и неосведомленность читателя, на его некоторую леность и строится во многом творческий метод М. Шатрова. Например, Ленин в его пьесе говорит: «В письме к съезду я назвал Сталина одним из самых выдающихся деятелей нашего ЦК...» Разумеется, читатель верит, что именно так и есть, может, лишь одному из тысячи придет в голову обратиться здесь к тексту самого письма. И если он обратится, то увидит, что там Сталин назван «выдающимся вождем», а не деятелем. Понятия эти разнятся, пожалуй, еще больше, чем «грубость» и «оскорбление». И кому надо, это понимают. Не случайно, допустим, А. Рыбаков в романе «Дети Арбата» с пристрастием стремится выяснить, кто первый назвал Сталина вождем, и приходит к выводу, что это сделал в 1927 году Л. М. Каганович. Как видим, романист-исследователь несколько ошибся и в авторстве и в сроке (на 5 лет), но это уж вопрос другой.

Или вот слова «потребовать» и «предложить». Тут уж разница всем очевидна. Устами Мартова в пьесе говорится, что Ленин потребовал заменить Сталина на посту генсека. М. Шатров далеко не единственный, кто так пишет. Например, историк Ю. Борисов в недавней статье тоже несколько раз повторил, что Ленин «потребовал» смещения Сталина. Однако, обратившись к тексту письма, видим не потребовал, а предложил. Здесь, как и во многих других случаях, недобросовестная подмена понятий искажает образ самого Ленина: несмотря на весь свой авторитет, он, разумеется, никогда ничего не требовал и не мог требовать от высшего органа партии — от съезда. Подобно тому, как не мог сожалеть, что «не реформировал систему» лишь по той причине якобы, что «слишком поздно спохватился». Вкладывать в уста Ленину такие уверенные слова о своем персональном могуще-

стве — это большая бестактность не только персонального характера. И тут нельзя опять не вспомнить Л. Овруцкого, который писал: «Увы, пока еще самые искренние противники сталинизма (а М. Шатров, несомненно, из их числа) мыслят в категориях культа...

Если опять обратиться к «Письму», то надо сказать, что удивляют не одни лишь прямые искажения его текста М. Шатровым, но и то, как поданы в пьесе многие обстоятельства, связанные с ним. Например, шатровский Зиновьев говорит: «В руководстве ЦК уже сложилась (к маю 1924 года. — В. Б.) определенная расстановка сил... работой Политбюро уже более года руководили мы с Львом Борисовичем, отчасти Сталин». Удивительная расстановка! Главными руководящими фигурами были, оказывается, Зиновьев и Каменев, а Генеральный секретарь, третий год пребывая на этом посту, вроде бы лишь присутствовал при них, и то не всегда. «Пост генсека, — продолжает Зиновьев, — не был тогда решающим, да и сам Сталин на роль лидера не претендовал». Еще интересней! Пост генсека был не решающим, а совещательным, что ли? Сталин же, заняв пост лидера, оказывается, на роль лидера не претендовал. Да похоже ли это на Сталина? Но в том же странном духе пишет и известный философ Д. Волкогонов: «После XI съезда партии на пленуме ЦК 3 апреля 1922 года была учреждена должность Генерального секретаря. В то время этот пост не рассматривался как ключевой, главный... Генсеку нужно было вести текущую работу Секретариата». Ну, всякую там канцелярщину. Непонятно, почему тогда не назвали эту должность секретарь-делопроизводитель. Философ уверяет, что «свои склонности к аппаратной работе» Сталин выявил «еще раньше». Это когда же именно — в годы гражданской войны, что ли, когда мотался по фронтам? Но больше всего удивляет вот что: если всеми делами в Политбюро вертели Лев Борисович и Григорий Евсеевич, если пост генсека не был ни ключевым, ни главным, ни решающим, а Сталин не стремился к лидерству, то откуда же всего через девять месяцев после учреждения нового поста в ленинском «Письме» взялись слова о том, что «товарищ Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть»? Кто-то из двух тут глубоко заблуждался или говорил заведомую неправду — Владимир Ильич Ленин или Михаил Филиппович Шатров? Подумаем не спеша, кто же...

После получения от Крупской «Письма к съезду», продолжает в пьесе Зиновьев, «оскорбленный Сталин сразу же подал заявление об отставке, мы с трудом уговорили взять его обратно». Кто мы — Зиновьев и Каменев? И что значит «уговорили взять обратно» — до официального рассмотрения, получается, дело не дошло? Но вот что говорил на сей счет сам Сталин на объединенном заседании Пленума ЦК и ЦКК 23 октября 1927 года: «Я на первом же заседании Пленума после XIII съезда партии просил Пленум ЦК освободить меня от обязанностей Генерального секретаря. Съезд сам обсуждал этот вопрос. Каждая делегация обсуждала этот вопрос, и все делегации единогласно, в том числе Троцкий, Каменев, Зиновьев обязали Сталина остаться на своем посту». Значит, не Лева и Гриша по-приятельски уговорили Кобу, а съезд партии обязал его. Это не совсем одно и то же.

Конечно, тому человеку, образ которого под именем Сталина выведен в пьесах М. Шатрова и в романе А. Рыбакова, нельзя верить ни в едином слове. Но подлинный живой Сталин сказал на Пленуме приведенные выше слова в присутствии и Троцкого, и Зиновьева, и Каменева. Уж эти херувимы соврать бы не дали!

И еще Сталин сказал тогда: «Через год после этого (то есть в середине 1925 года. — В. Б.) я вновь подал заявление в Пленум об освобождении, но меня вновь обязали остаться на посту».

В свете последних цитат можно по достоинству оценить степень осведомленности таких критиков Сталина, как философ Д. Волкогонов, который писал: «Сталин, узнав о ленинском письме, по некоторым сведениям (!), пытался (!) даже подать в отставку».

Да, много тумана напущено М. Шатровым в вопрос о ленинском «Письме к съезду», или, как иногда говорят, «завещании» В. И. Ленина. Впрочем, драматург здесь совсем не одинок. Об этом документе в последнее время мы читали немало довольно странных публикаций, в которых утверждалось, в частности, что он был чуть ли не злонамеренно скрыт от партии. Авторы таких публикаций лишь повторяли то, начало чему положил еще в 1924 году некто Истмен, американский коммунист, позднее изгнанный из партии, в своей книге «После смерти Ленина».

Вот что было напечатано в связи с этим 1 сентября 1925 года в журнале «Большевик» № 16 на странице 68: «В нескольких местах книжки Истмен говорит о том, что ЦК «скрыл» от партии ряд исключительно важных документов, написанных Лениным в последний период его жизни (дело касается писем по национальному вопросу, так называемого «завещания» и пр.); это нельзя назвать иначе, как клеветой на ЦК нашей партии. Из слов Истмена можно сделать тот вывод, будто Владимир Ильич предназначал эти письма, имевшие характер внутриорганизационных советов, для печати. На самом деле это совершенно неверно. Владимир Ильич со времени своей болезни не раз обращался к руководящим учреждениям партии и ее съезду с предложениями, письмами и пр. Все эти письма и предложения, само собой разумеется, всегда доставлялись по назначению, доводились до сведения делегатов XII и XIII съездов партии и всегда, разумеется, оказывали надлежащее влияние на решения партии, и если не все эти письма напечатаны, то потому, что они не предназначались их автором для печати.

Никакого «завещания» Владимир Ильич не оставлял, и самый характер его отношения к партии, как и характер самой партии, исключали возможность такого «завещания». Под видом «завещания» в эмигрантской и иностранной буржуазной

и меньшевистской печати упоминается обычно (в искаженном до неузнаваемости виде) одно из писем Владимира Ильича, заключавшее в себе советы организационного порядка. XIII съезд партии внимательнейшим образом отнесся и к этому письму, как ко всем другим, и сделал из него выводы применительно к условиям и обстоятельствам момента. Всякие разговоры о скрытом или нарушенном «завещании» представляют собой злостный вымысел и целиком направлены против фактической воли Владимира Ильича и интересов созданной им партии».

Повторяю, это было напечатано еще 1 сентября 1925 года. Кто же написал — Иосиф Виссарионович Сталин? Нет, Лев Давидович Троцкий. Правда, это не помешало ему всего лишь через два года вместе с Зиновьевым и Каменевым встать на позицию Истмена, так убедительно ранее им разоблаченного.

Остается добавить, что XV съезд партии в декабре 1927 года принял решение приложить «Письмо к съезду» (в том числе, разумеется, и все места, относящиеся к Сталину) к стенограмме съезда, а также опубликовать в ленинских сборниках. В соответствии с этим решением «Письмо» было помещено в бюллетене № 30 XV съезда.

Из публикаций ученых о «Письме» нельзя пройти мимо большой беседы доктора исторических наук В. П. Наумова с журналистом Л. Куриным. Историк, в частности, сказал: «Среди так называемых «белых пятен» «Письмо к съезду» занимает одно из первых мест». Надо думать, главная цель беседы в том и состояла, чтобы внести в данный вопрос полную ясность, ликвидировать «белое пятно». Увы, цель эта достигается далеко не во всем. Так, В. Наумов полностью привел строки «Письма» о грубости Сталина, процитировал предложение Ленина переместить его с поста генсека. Но ленинская характеристика состояла не только в этом. В «Письме» говорилось также о больших достоинствах Сталина как выдающегося лидера партии. Более того, Ленин предлагал назначить на пост генсека такого члена ЦК, «который **во всех других отношениях** отличается от тов. Сталина **только одним перевесом**» (выделено мной. — В. Б.). Из этого видно, что Сталин удовлетворял Ленина в должности генсека во всех отношениях, кроме одного-единственного: слишком груб.

Да, проявив отменную добросовестность в отношении строк «Письма» о недостатках Сталина, В. Наумов почему-то не процитировал и даже не пересказал ленинские строки о его достоинствах. Это несколько расходится с его собственным желанием, «чтобы читатели познавали историю нашей партии и государства в первую очередь по Ленину. Причем не выдергиванием цитат на сиюминутную потребу...»

С точки зрения научной основательности, заслуживает внимания и то, как В. Наумов объясняет сам факт назначения Сталина генсеком. Он пишет: «Ленин был фактически не только руководителем Совнаркома, но и ЦК партии. А фактическим помощником выступал секретарь ЦК, руководитель Секретариата». Историк почему-то умалчивает опять, что этим секретарем, даже заменявшим Ленина в его отсутствие на посту председателя Совнаркома, был нередко Сталин. Так, еще 23 декабря 1917 года он назначается председателем Совнаркома на время отпуска Ленина. И заседания Совнаркома 24 и 27 декабря проходят под председательством Сталина.

Дальше В. Наумов пишет: «Когда здоровье Ленина ухудшилось, возник вопрос об укреплении Секретариата. Потребовалась кандидатура авторитетного руководителя, который мог бы вести партийные дела в отсутствие Ленина. Выбор пал на Сталина». Выбор пал! Словно бросили жребий между секретарями, и вот досталось быть генсеком Сталину. Нет, Сталина избрали Генеральным секретарем не по жребию в узком кругу, а на Пленуме ЦК, состоявшемся 3 апреля 1922 года, сразу после XI съезда партии. И Ленин был в ту пору здоров. Он активно работал и перед съездом, и на самом съезде: открыл его, выступил с политическим отчетом, участвовал в заседаниях, вел для себя запись прений, писал предложения по проекту резолюций, произнес заключительную речь, наконец, 3 апреля участвовал в заседании Пленума, на котором внес проект постановления о работе Секретариата и поддержал кандидатуру Сталина на пост Генерального секретаря.

До сих пор считалось, что коня и трепетную лань в одну телегу впрячь не можно; до сих пор лебедь, рак и щука были символом бесплодной несовместимости. М. Шатров уверен, что все это не так, что в антисталинский воз можно впрячь кого угодно, и действительно, он впрягает множество самых разных, казалось бы, совершенно несовместимых коней и ланей — от Плеханова до Черчилля, от Ленина до Керенского, от Свердлова до Троцкого, от Розы Люксембург до Марии Спиридоновой, от Орджоникидзе до Мартова... И все они, не зная других забот, обличают Сталина, с поразительным единодушием обвиняют его и клеймят. Размах обвинений тоже широчайший — от убийства Троцкого до убийства Кирова, от фальсификации выборов на съезде до «нагнетания хлебного кризиса и всех остальных», от разгрома кабинета Ленина до содействия развязыванию второй мировой войны, до жажды новой гражданской войны... Если бы в этот экипаж еще заложить, скажем, Гитлера и Геббельса, Антонеску и Муссолини, генерала Краснова и генерала Власова, то у них тоже нашлись бы доводы против Сталина, притом — не подлежащие сомнению в своей искренности.

Некоторые обвинения уж так показательны для творческой манеры автора, так колоритны, что сказанное ранее хочется все-таки кое-чем дополнить.

Например, устами некоторых лебедей и раков автор обвиняет Сталина в патологической трусости. Так, Орджоникидзе говорит: «Ты вечером с лампочкой или фонарем заглядываешь под кровать, на которой будешь спать, — боишься». Еще бо-

лее интересными сведениями о трусости Сталина драматург наделил Спиридонову, она у него говорит: «Когда в начале войны к нему пришли соратники, он испугался, решил, что они пришли его арестовывать, а они хотели, чтобы он обратился к народу». С какой уверенностью это сказано! Впечатление такое, будто драматург вместе со Спиридоновой лежал в это время под кроватью Сталина и все видел оттуда своими глазами. Так сказать, эффект присутствия. О трусости Сталина много пишет также А. Рыбаков в своем незаслуженно забытом романе «Дети Арбата».

Читателя, должно быть, интересует, как смог драматург пристроить в свою упряжку даже Черчилля, который, как мы знаем, несмотря на всю разность взглядов, позиций, интересов, восхищался Сталиным, о чем можно прочитать хотя бы в книге В. Г. Трухановского «Уинстон Черчилль» («Мысль», 1977). М. Шатров сделал это очень просто. Заставил своего Деникина (мог бы и Корнилова или Дана, Керенского или Лукомского) сказать такие слова: «Существует мнение, говорят, что Черчилль, Сталин, мол, ошибся дважды: когда Ивану показал Европу и когда Европе показал Ивана». Разумеется, ничего подобного Черчилль сказать не мог. Хотя бы только потому, что тут безграмотная чушь. Но дело не в этом. Шатровский Деникин продолжает, придерживаясь той же антисоветско-русофобской терминологии: «Безусловно, не была ошибкой Сталина демонстрация Европе нашего доблестного Ивана». Так наша Отечественная война, наш великий поход в Европу, вызволивший ее народы из фашистского рабства и стоивший нам миллионных жертв, становится в пьесе предметом бесстыдной шутовской полемики (ошибка или не ошибка Сталина), так наша слава и трагедия получают прозвище, до которого, пожалуй, не додумался бы даже Геббельс, — «демонстрация нашего доблестного Ивана». Ну, конечно, это все говорит персонаж. Но не грубейшее ли тут насилие над ним? В самом деле, с какой стати старый человек, с презрением отказавшийся от сотрудничества в годы войны с фашистами, гордившийся победой своей родины над ними, остававшийся, как он заявляет в пьесе, до конца дней русским патриотом, — с какой стати такой человек говорит слова, глубоко оскорбительные для всех советских, для всех русских людей? Во имя чего автор пошел на такое насилие над персонажем?

Нельзя не видеть, что нить замшелых русофобских афоризмов протянута через всю пьесу, ими драматург наделил многих персонажей. В частности, русские неоднократно называются «рабами», «нацией рабов». Струве, например, витийствует: «Наш русский человек пока что раб... Сколько раз ни менялись на Руси обстоятельства и условия, даже если учесть ваш Октябрь, русский человек все равно не меняется — рабство вбито в него накрепко. Почему же он не меняется? Потому что внутренняя сущность человека зависит не от обстоятельств, не от общественных условий, а от того, есть ли в нем высшее духовное начало...» А высшего духовного начала-де в русском человеке от веку не было и нет.

Шатровский Ленин, который в иных случаях произносит весьма энергичные, но тяжеловесные реплики на полстраницы и больше, на эти зоологические измышления возражает и кратко и вяло. Да и возражает ли? Скорее кое в чем поддакивает, ибо тоже уверяет, что русский человек веками стоял «на коленях перед иконой». Все-де стоял да стоял. А кто за него построил огромное государство, кто в тяжкой борьбе отстаивал его независимость из века в век, кто трижды спасал Европу от поработителей, кто без конца бунтовал и совершил три революции, кто создал мирового значения культуру, — неизвестно.

Нет, М. Шатров, конечно, не прочь сказать о русском народе что-нибудь и поощрительное. Его Ленин, например, заявляет, что у русского народа есть чувство национальной гордости, поскольку он «доказал, что способен дать человечеству великие образцы борьбы». Этими не слишком внятными «образцами» вся проблема здесь и исчерпывается. А подпадают ли под понятия сих «образцов», допустим, лирика Пушкина и романы Достоевского, симфонии Чайковского и полотна Левитана, творения Баженова и гений Шаляпина, научные подвиги Менделеева и Циолковского, — на сей счет у М. Шатрова понять ничего нельзя.

Вот еще в пьесе декламирует о нашем народе Орджоникидзе: «Самый добрый, самый отходчивый, самый незлобивый народ — это русский народ». Тут коробит не только приторность, но и то, что под ней скрыто: ясно же, что на одних бойко перечисленных душевных добродетелях в истории далеко не уедешь. А каковы творческие, созидательные, духовно-интеллектуальные достоинства и возможности русского народа, да и есть ли они вообще? Молчание. Таким образом измышление Струве об отсутствии у нас таких достоинств и возможностей остается без ответа.

Зато как обстоятелен, многообразен, размашист перечень обвинений русского народа, который драматург дает опять-таки устами своего Ленина: «великие погромы, виселицы, застенки, великие голодовки и великое раболепство перед сильными мира сего». Тут, может быть, особенно наглядно видны творческие возможности М. Шатрова: беды и несчастья, от которых сам народ и страдал, ему же и ставятся в вину! А что касается опять раболепства, то вспомним хотя бы трех сильных мира сего: Мамая, Наполеона и Гитлера. Наш народ раболепствовал перед ними?

Для полноты созданной на этот счет картины в пьесе остается лишь добавить, что и сам Ленин заявляет у М. Шатрова, что он «держал себя, в сущности, как раб» по отношению к Плеханову — к сильному в мире социал-демократии. После этого уж просто и возразить ничего не моги. Нация рабов! А между тем никто ведь так резко не критиковал Плеханова, как Ленин...

На обрисованном выше фоне бросаются в глаза многотрудные усилия автора хоть как-нибудь, хоть в чем-нибудь представить в возможно более благоприятном свете таких персонажей, как Мартов, Троцкий или даже отец Троцкого, экспроприированный помещик Давид Бронштейн, который в 18-м году, движимый любовью к сыну, направился в Москву, для чего «ему пришлось 200 километров от Херсона до Одессы пройти пешком». Бедный папа Троцкий!..

Так, Мартов, дебатируя все ту же тему рабства, говорит о своих соплеменниках: «Моисей сорок лет водит свой народ по пустыне, чтобы вымерли родившиеся в рабстве». Видимо, это надлежит понимать в том смысле, что после Моисеевой процедуры в его народе не осталось ни рабов, ни рабских черт. Был, правда, Лазарь Моисеевич Каганович, названный «лизоблюдом», но он, как и в романе А. Рыбакова «Дети Арбата», подан как выродок, как исключение, подтверждающее прекрасное правило: чуть ли не один, мол, он изо всех соплеменников называл Сталина вождем и восхвалял. Увы, это, конечно, не совсем так. Тем же самым занимались, допустим, Генрих Ягода и известные руководящие лица его службы, о которых в «Архипелаге ГУЛаг» (не одно ведь там сплошное вранье) есть такое, например, место: «Впору было бы выложить на откосах канала шесть фамилий — главных подручных у Сталина и Ягоды, главных надсмотрщиков Беломора, шестерых наемных убийц, записав за каждым тысяч по тридцать жизней: Фирин — Берман — Френкель — Коган — Раппопорт — Жук. Да приписать сюда, пожалуй, начальника ВОХРы БелБалтЛага — Бродского. Да куратора канала от ВЦИК — Арона Сольца» (ч. 3, с. 99).

Драматург счел полезным, чтобы о себе Мартов сообщил: «Когда-то близкий друг Ленина, один из немногих, с кем он был на «ты». Но этого показалось мало, и автор заставляет сказать проникновеннейшие слова о Мартове и самого Ленина: «мой ближайший друг... поэт... прекрасным революционером был... Какой удивительный товарищ». Ну вроде бы хватит? Нет, еще: «Какой чистый человек... Какая умница... Как нам потом его не хватало... А чувство юмора!» И на следующей странице опять: «Поверь... нам очень тебя не хватало». Дзержинский то же самое говорит самому Ленину: «Нам очень вас не хватает». Вот ведь как: и Ленина не хватает, и Мартова не хватает.

Восхищенно-умильные слова Ленина о Мартове в пьесе — плод авторской фантазии. А вот некоторые подлинные высказывания Ленина об этом «прекрасном революционере» и «чистом человеке». Еще в 1914 году он называл Юлия Мартова «мерзавцем», зачислял его в «банду подлых шантажистов». Или так писал: «Обидно чрезвычайно, что даже Каутский и Вурм не видят пошлости и гнусности таких статей, как Мартова и Троцкого... Ведь это прямо скандал, что Мартов и Троцкий безнаказанно лгут и пишут пасквили под видом «научных» статеек!!» Или вот: «Бунд в «Последних известиях» договорился до чертиков. Мы его высечем так, что до новых веников не забудет. Эти бундовцы такие тупицы и самохвалы, дурачки и идиоты, что просто терпенья нет. «Искра» провралась здорово, особенно Мартов...» Говаривал Ленин о «ближайшем друге» и «умнице» даже и такое: «Повторяю в сотый раз, Мартов есть ноль». И еще: «Недаром Плеханов называл его «жалким человеком!».

Особенно старательно драматург потрудился над «утеплением» образа Троцкого. Чего стоит уже одна такая вложенная ему в уста фраза: «Я — солдат Мировой революции, без колебаний отдаю себя на суд потомков». Мне, мол, скрывать нечего. Или вот он неоднократно выступает беспощадным ненавистником «Краткого курса». Хотя книга эта около сорока лет уже не издавалась и выросло два поколения, которые и в глаза ее не видывали, но считается, что она — величайшая опасность и критиковать ее надо неусыпно. Вот Троцкий у М. Шатрова и критикует, набирая тем самым очки прогрессивности.

С целью хоть какого-нибудь обеления Троцкого автор мобилизует и других персонажей. В частности, Керенского он заставляет уличать Сталина в том, что тот по-разному, мол, оценивал роль Троцкого в октябрьском перевороте: в ноябре 1918 года писал, дескать, одно, а в ноябре 1924-го совсем другое. Дело подано так, словно совершен акт бог знает какого лицемерия и вероломства. Между тем разве не ясно, что за прошедшие шесть лет всякий человек имеет право изменить свои суждения по тому или иному вопросу в результате, допустим, более глубокого его изучения или открывшихся новых обстоятельств. А главное, нельзя игнорировать контекст времени, в частности тот факт, что почти все эти шесть лет Троцкий и его единомышленники вели яростную борьбу против линии ЦК партии, возглавлявшегося Сталиным. В этих условиях требовать от Сталина абсолютного беспристрастия и аптекарской взвешенности формулировок было бы, право же, несколько чрезмерно. Кроме того, особенность обстановки состояла в том, что сам Троцкий и его сторонники, ссылаясь на то, что Ленин накануне восстания находился в подполье, усиленно распространяли легенду, будто вдохновителем и единственным руководителем октябрьского переворота был именно Троцкий. Особенно усердствовал в этом редактор его сочинений Ленцнер и меньшевик Суханов-Гиммер, автор известных «Записок о революции», беспощадно раскритикованных Лениным.

В речи на пленуме коммунистической фракции ВЦСПС 19 ноября 1924 года Сталин справедливо заявил, что «пройти мимо таких легенд уже нельзя, ибо на таких легендах стараются теперь воспитывать молодежь и, к несчастью, кой-каких результатов уже добились». Он обратился к реальным фактам истории Октября. На заседании ЦК 16 октября 1917 года была принята резолюция Ленина о восстании, а не Троцкого. И был избран практический центр по его организационному руководству в составе пяти человек: Свер-

длова, Сталина, Дзержинского, Бубнова, Урицкого. Задача центра — руководить всеми практическими органами восстания согласно директивам ЦК. Троцкий в состав центра избран не был. «Как примирить это с ходячим мнением об особой роли Троцкого?» — спрашивал Сталин. И продолжал: «Между тем здесь нет, собственно говоря, ничего странного, ибо никакой особой роли ни в партии, ни в Октябрьском восстании не играл и не мог играть Троцкий, человек сравнительно новый для нашей партии». Действительно, в партию большевиков он вступил лишь в августе 1917 года, менее чем за три месяца до восстания.

Это не значит, конечно, продолжал Сталин, что у революции не было своего вдохновителя. Нет, был и вдохновитель и руководитель. «Но это был Ленин, а не кто-либо другой, тот самый Ленин, чьи резолюции принимались ЦК при решении вопроса о восстании, тот самый Ленин, которому подполье не помешало быть действительным вдохновителем восстания, вопреки утверждениям Троцкого». Таковы конкретные особенности исторической обстановки, и внутрипартийной борьбы, когда Сталин был вынужден вновь высказаться о роли Троцкого в Октябрьском восстании.

Но может быть, Сталин при этом совершенно перечеркнул свою оценку, данную шесть лет назад? Да ничего подобного! Вот что сказал он теперь: «Я далек от того, чтобы отрицать несомненно важную роль Троцкого в восстании... Троцкий действительно хорошо дрался в Октябре». Отрицал Сталин, как мы видели, лишь претензии Троцкого на особую роль в восстании за счет Ленина, но даже этого М. Шатров спокойно перенести не может! Увы, присяжный поверенный Керенский тут ему не помог.

Кстати, в пьесе М. Шатрова один из персонажей цитирует книгу Лиона Фейхтвангера «Москва. 1937». Жаль, что при этом не приводится то место из главы «Сталин и Троцкий», где сказано об автобиографии последнего: «Книга Троцкого полна ненависти, субъективна от первой до последней строки, страстно несправедлива, в ней неизменно мешается правда с вымыслом». И дальше: «Троцкий в своей книге злобно отвергает все заслуги Сталина, оборачивая его качества в их противоположность, и книга его полна ненависти к Сталину... Троцкий разражался вспышками беспредельной ненависти к человеку, под знаменем которого осуществлялось строительство». Сам Сталин прекрасно понимал закономерность такого отношения к нему Троцкого и его приверженцев. Более того, он говорил: «Я считаю для себя делом чести, что оппозиция направила всю свою ненависть против Сталина. Оно так и должно быть. Я думаю, что было бы странно и обидно, если бы оппозиция, пытающаяся разрушить партию, хвалила Сталина...» Да что Сталин! А как Троцкий порой писал и говорил о самом Ленине! В брошюре «Наши политические задачи» он издевательски называл его «Максимилианом», намекая на то, что Ленин идет, мол, по пути Максимилиана Робеспьера, стремившегося к личной диктатуре. А вот цитатка из известного «Письма Троцкого Чхеидзе»: «Каким-то бессмысленным наваждением кажется дрянная склока, которую систематически разжигает сих дел мастер Ленин, этот профессиональный эксплуататор всякой отсталости в русском рабочем движении». Ну, Владимир Ильич, как известно в долгу не оставался. Чего стоит хотя бы его заметка «О краске стыда у Иудушки Троцкого», правда, в свое время, к сожалению, не опубликованная, — но достаточно и того, что было опубликовано своевременно... Но уже через три месяца после смерти Ильича с присущим только Троцкому проворством он — первым! — выпустил книгу «О Ленине». В ней была искажена роль В. И. Ленина в Октябрьской революции. Даже меньшевистский «Социалистический Вестник» отметил, что Л. Д. Троцкий «издевается над памятью Ленина» («Известия ЦК КПСС», 1989, № 1, с. 246). Так вот, почему бы всю эту многокрасочность не отразить в своей пьесе драматургу, уверяющему, что в истории для него существует «только Правда, Правда и еще раз Правда»?

Увы, одна из причин невозможности для М. Шатрова следовать своим собственным девизам — это, как мы видели, его национальное пристрастие.

Кстати говоря, насколько шире в данном вопросе Анатолий Рыбаков! В его «Детях Арбата» буквально клокочет интернационализм. Это видно даже из простого перечня персонажей, так или иначе фигурирующих в романе: грузин Сталин и еврей Троцкий, латыш Рудзутак и еврей Зиновьев, опять грузин Ломинадзе и еврей Каганович, русский Будягин и еврей Рязанов, латыш Янсон и еврей Столпер, украинец Криворучко и еврей Соловейчик, эстонец Арво и еврей Липман, азербайджанец Шамси и еврей Либерман, армянин Азизян и еврей Лившиц, полька Глинская и еврейка Роза Полужан, армянка Ашхен Степановна и еврейка Софья Александровна, татарка Зида и еврейка Фрида, «человек неясной национальности» Чер и человек вполне ясной национальности Шапиро, еврей Сольц, «похожий на Эммануила Ласкера», тоже еврея, и т. д. Какое богатство! Какое разнообразие! Какой отъявленный интернационализм!

Интернациональная стихия прямо-таки прет из-под пера романиста, являя себя во всем, даже в деталях портретов многих персонажей, там, где мы встречаем, например, «цыганскую бороду» Рязанова, «эскимосское лицо» Березина, «малайские глаза» Вари, «левантийский профиль» Лены, «монгольские глаза» Сталина и т. п. Правда, я лично не знаю, чем отличаются, скажем, профили левантийский и прибалтийский, или глаза малайские и гавайские, но все равно мне приятно: читаешь и чувствуешь хребтом — культура! Изящная словесность!

Между прочим, в романе А. Бека «Новое назначение» мы тоже встречаем у одного персонажа «монгольский штришок» в разрезе глаз и даже «череп с некоторыми монгольскими линиями» (какие тонкости краниологии!), но это уже не Сталин, а Ленин. Так что, если бы к черепу бековского Ленина да глаза рыбаковского Сталина, то получился бы полноценный монгол. Ну, это к слову. Тема рыбаковского интернационализма неисчерпаема...

Почитатели сочинения М. Шатрова могут нам заметить: «Вы подходите к пьесе опять же главным образом с исторической стороны. А где, наконец, анализ ее художественных достоинств, так пленивших, судя по всему, М. Ульянова, К. Лаврова, А. Гельмана и других авторов письма в «Правду», — не стали же они поднимать бы шум из-за пьески убогой!»

Идя навстречу этому законному желанию, мы позволим себе остановиться здесь лишь на одном, на основополагающем компоненте художественности — на языке. Это представляется тем более закономерным, что ведь, пожалуй, ни в одном жанре литературы язык не играет такой важной роли, как в драматургии.

На наш взгляд, язык и последней и предпоследней пьес М. Шатрова носит следы не только большой спешки, но и явной глухоты к слову. Образованные, интеллигентные люди, многие из которых сами были литераторами, говорят в этих пьесах неряшливо, коряво, порой даже просто невнятно.

Ломов: «Если Ленин грозится отставкой, то вы напрасно пугаетесь. Надо брать власть без Владимира Ильича». О какой власти тут речь? Революция совершилась, власть уже несколько месяцев в руках большевиков.

Дзержинский: «Если бы партия была достаточно сильна, чтобы вынести развал и отставку Ленина...» Удивительные речи! Подобно тому, как ни один человек не может быть столь здоров, чтобы вынести собственную смерть, так и ни одна партия не может быть столь сильна, чтобы вынести собственный развал.

Свердлов: «Товарищи, у левых эсеров случилось (!) экстренное заседание». Это юмор, что ли?

Он же: «Кто за принятие новых (немецких) предложений?» Так сказано о грабительских условиях ультиматума. Ничего себе «предложения»!

Бухарин: «Мы проигрываем шансы международного рабочего движения». Кому проигрываем? К тому же шансы не проигрывают, а упускают, теряют.

Он же: «Они идут на нас с открытым забралом». Образованный человек, Бухарин знал, что забрало — это не форточка, которую открывают и закрывают, — забрало поднимали и опускали.

Сталин: «Раз у нас нет средств остановить наступление немцев вооруженной рукой, то мы должны принять другие меры. Либо передышка, либо гибель революции — другого выхода нет». Где драматург видел людей, которые свою гибель считали бы выходом из трудного положения? Неужели таким человеком был Сталин?

Крупская: «Он меня высек в «Правде», что и как я должна вспоминать». Высек, что я должна...

Она же: «Когда они сходятся, я всегда стараюсь смыться». Право, это совсем как из блатной «Мурки»:

Что б не завалиться,
Мы решили смыться...

Автору хочется порой, чтобы некоторые персонажи говорили образно, но, к сожалению, вместо образности мы видим частенько явную неуклюжесть, да еще и довольно комическую иной раз. Так, Орджоникидзе почему-то социализм уподобляет «карманным часам старинной работы», и притом фарфоровым. А Бухарин говорит: «Фильтр истории рано или поздно сметет грязь с моей головы». Но знал же этот человек, что фильтр ничего не сметает, а грязь он может лишь задержать и сконцентрировать.

Чаще всего драматург терпит неудачу в своем стремлении к образности там, где пытается почерпнуть ее в сокровищнице просторечных идиом русской словесности.

Фофанова: «Вы бы слышали, что очередь кричала... Такая злоба, хоть топор вешай». Ну, это уж вообще достойно известного персонажа «Угрюм-реки», который фабриковал афоризмы вроде таких: «пуганая корова на куст садится», «на чужую кровать рот не разевать» и т. п. А ведь тут не какой-то замшелый архаизм, этот «топор» можно встретить не только у классиков или писателей старшего поколения, но и у ровесников М. Шатрова. Например, у А. Рекемчука: «А накурено в комнате — хоть топор вешай». У Ю. Трифонова: «Господи! Топор можно вешать! Надымили!»

Сам М. Шатров: «это власть предержащим не было нужно». Кто такие — «власть предержащие»? Как и зачем они ее, власть, «предерживают»?.. Диво дивное! Тридцать лет заниматься литературой и не знать, что есть выражение «власть предержащая», что означает высшая власть. А кто-то власть «предержащий» — неграмотная чушь.

Но, естественно, более всего огорчает и вызывает досаду язык, которым у М. Шатрова говорит Ленин. И здесь те же неуклюжести да безвкусица, несъедобщина да невнятица: «Он (Горький) думает, что Учредиловка (конечно, Учредилка.— В. Б.) справится с их (солдат) анархизмом? А мы справимся, если только не сваляем дурака». Хорошенькое «если»! Хорошенькое «только»! Может, и Учредительное собрание справилось бы, если бы да кабы.

Персонаж продолжает: «Киев, Донбасс, Ригу — все можно вернуть, а вот доверие народа...» Получается, что отбить у могучего противника большие города и обширные территории, то есть выиграть войну против такого противника, можно и без доверия народа. Ну мог ли так неряшливо, так двусмысленно говорить живой Ленин!

Надо скзать и о том, что безо всякой нужды драматург нашпиговал речь некоторых своих персонажей не только вульгарными и скабрезными, но и похабными, непристойными словами и выражениями. «Сволочь», «проститутки», «словоблудие», «плевать!», «плюнь на него!», «пошел вон!» — это еще не самые крепкие слова, то и дело звучащие в разговорах членов Политбюро и старых революционеров друг с другом. А уж о таких пер-

сонажах, как генерал Корнилов, и говорить не приходится. Он орет, например: «Проклятые интеллигенты! Про(..)али Россию! Сволочи!» И сам Ленин низведен в буесловии до одного уровня с солдафоном Корниловым. Впрочем, нет, он выражается еще забористей. Все это вполне в духе нынешней западной моды на похабщину в литературе и искусстве. И вот мы видим жертвой этой моды даже Ленина. Глядите, мол, как смело, как новаторски и современно показываю я вождя революции: он у меня почти матерится! В следующей пьеске и это освоим.

Говорят: но ведь в Собрании сочинений Ленина действительно можно встретить крепкие словечки. Да, встречаются. Но разве не ясно, что одно дело такие словечки в записке или письме одному или нескольким конкретным лицам по конкретному поводу, и совсем другое — в речи на трибуне, на митинге. В речах и в работах Ленина, разумеется, ничего подобного нет и в помине. А театр, спектакль — это и есть не что иное, как митинг, в котором участвуют сотни людей. Проработав тридцать лет в драматургии, М. Шатров до сих пор не понял простейшую вещь — разницу между запиской и митингом, между словом в книге и словом, звучащим со сцены. Я просто не представляю себе артиста, который в роли Ленина нес бы перед публикой подобную похабщину. Ну, разве что Михаил Ульянов, который, поелозив на коленях перед Троцким-Лановым, открыл нам новые грани своего таланта.

В свете всего сказанного особое значение имеет превентивное шельмование своих вероятных оппонентов, упреждение критики пьесы, к чему автор прибегает на всем ее протяжении. Например, мы говорили о бесцеремонном насилии над образом Деникина, которому драматург вложил в уста явно чуждые ему русофобские высказывания. То же самое можно сказать и о других персонажах. М. Шатров без труда предвидит такое возражение и пытается заранее его обезвредить. Он делает это довольно ловко. Сталин у него говорит: «Это насилие, мы здесь не вольны, нас заставляют говорить черт знает что в угоду сомнительным взглядам, и мы вынуждены подчиняться! Я протестую!». Слова совершенно справедливы, но попробуй сказать это, рискни их поддержать, — ты тотчас оказываешься заодно с самым отвратительным персонажем пьесы!

Как уже отмечалось в «Советской России», драматург «абсолютизирует субъективный фактор общественного развития, явно игнорируя объективные законы истории, проявляющиеся в деятельности классов, масс. Роль пролетарских масс, партии большевиков низведена здесь до «фона», на котором развертываются действия безответственных политиканов». М. Шатров, конечно, предусмотрел и это возражение и стремится дезавуировать его с помощью того же Сталина, который у него говорит: «Движущая сила истории — народ. Почему здесь нет нашего героического народа? Почему нам не показывают массу, не выводят на сцену тех, кто совершил свой исторический подвиг в Октябре 17-го года? Пьеса о революции и без народа! Я полагаю, что это не случайно». Опять — все здесь сущая правда, но автор подал это так, словно перед нами оголтелая демагогия человека, который не заслуживает ни малейшего доверия, и согласиться с ним, значит, немедленно попасть в «стали-ни-сты».

В другой раз тем, кто не согласен с его взглядами, кому не нравится его пьеса, автор устами своего Свердлова дает кличку «идеологические лакеи», «рабы, у которых слюнки текут при воспоминании о тяжелой руке», и даже причисляет их к тем, для кого «стоны из-за колючей проволоки» — ничто. Если это не самые предельные политические ярлыки, товарищи Лавров и Ульянов, то что же? Попробуй тут вякни что-нибудь несогласное — немедленно будешь зачислен в лагерные надзиратели.

Зная, что многие не согласятся с той беспардонной до комизма, злобной до судорог и сплошь да рядом бездоказательной критикой Сталина, которой напичкана пьеса, автор опять же Сталина заставляет сказать: «Многие будут защищать меня, защищая себя». Словом, если ты не согласен со мной, драматургом, значит, ты шкурник, и ничего больше. С такого рода превентивной дискредитацией инакомыслящих мы уже встречались у В. Быкова и других маяков перестройки. Есть это и в письме восьми Героев и лауреатов, о котором речь шла выше. К тому, что на сей счет уже было сказано, целесообразно кое-что добавить.

Помянутая восьмерка пишет: «Да, очень хочется, чтобы Сталин ушел не только со сцены, но и из нашей жизни, чтобы ушли его методы, его «нравственность», его способы разрешения споров, в том числе и в искусстве». Тут сказано многое. И прежде всего — слышен явный намек на то, что спор о пьесе М. Шатрова хотят, мол, разрешить «его методами». Мы уже отмечали, что некоторые черты «его методов» просматриваются как раз в коллективном письме защитников пьесы да и в ней самой, а не в ее критике.

Что же касается страстного желания, чтобы сама фигура Сталина ушла с театральной сцены и из самой жизни, то оно, увы, несбыточно, ибо фигура эта слишком велика. Константин Симонов, близко знавший Сталина и размышлявший о нем больше, чем А. Рыбаков, А. Бек и М. Шатров, вместе взятые, отмечал: «Сталин — личность такого масштаба, от которой просто-напросто невозможно избавиться никакими фигурами умолчания ни в истории общества, ни в воспоминаниях о собственной своей жизни... Сталин на XVI съезде партии явно и непоколебимо определился для любого из нас как первое лицо в стране, в партии и в мировом коммунистическом движении...»

А. А. Громыко в своих недавно вышедших воспоминаниях пишет: «Личность Сталина вызывает и будет на протяжении

десятилетий, а возможно, столетий вызывать разные суждения, в том числе противоречивые. Человек большого масштаба, он, несомненно, явление в истории... Но видеть только одно положительное в Сталине было бы неправильным. Сталин еще и глубоко противоречивая, трагически противоречивая личность». Ни у М. Шатрова, ни у А. Рыбакова нет и намека на масштабность и противоречивость этой фигуры. У них все однолинейно просто: ничтожество и примитивный тупица.

Один из самых ярых ненавистников Сталина известный югославский деятель Милован Джилас еще в 1961 году писал в своих воспоминаниях: «Меня всегда интересовало, — а сейчас еще больше, — как мог такой дурной, коварный и жестокий человек руководить одной из величайших и могущественнейших стран, причем не день и не год, а тридцать лет подряд. Вот что должны объяснить его теперешние критики...» Прошло без малого тридцать лет с тех пор, как это было сказано, прошло тридцать шесть лет со дня смерти Сталина, но и теперешние его критики, такие, как А. Рыбаков и М. Шатров, не только ничего не объясняют в феноменальном вопросе, не только даже не задаются им, но и тащат в него все новые и новые вороха сумбура, путаницы, субъективщины, такой душной злобности, что, право, хоть топор вешай.

Ф. Бурлацкий, близко знавший Ю. В. Андропова, вспоминает: «Он говорил, что нет проблемы, способной в большей мере раскалывать коммунистическое движение, чем вопрос о Сталине». А вот факт совсем из другой области, и притом свежий, но такого же смысла. Б. Окуджава недавно опубликовал в «Дружбе народов» (1988, № 1) цикл уморительных антисталинских стихов («Он маленький, немытый и рябой» и т. п.). Разумеется, в ответ автор получил от читателей много писем, и среди них, как он признал сам, половина — горячие одобрения, вторая половина — столь же горячие протесты. Это ли не раскол! Как можно игнорировать такие факты? Расколу особенно способствуют многочисленные факты, когда под видом критики Сталина и культа его личности глумятся над святыми страницами истории народа, над его национальными героями. Вот хотя бы... 24 мая 1945 года в Георгиевском зале Кремля состоялся правительственный прием в честь командующих войсками Советской Армии. Это было одно из высоких торжеств в ознаменование великой Победы над захватчиками и освобождения Родины, стран Европы от рабского ига.

Естественно, на приеме звучало много тостов: за солдат и офицеров, за партию и ее Центральный Комитет, за дружественную Польшу, представители армии которой присутствовали, за командующих фронтами и армиями... В конце «за здоровье нашего советского народа, и прежде всего русского народа» провозгласил тост Сталин. Он, в частности, сказал, что русский народ «заслужил в этой войне общее признание», что «у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение», что «доверие русского народа Советскому правительству оказалось той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом человечества — над фашизмом». Зал, естественно, горячо принял высокий тост. Но в то же время этот тост навсегда породил лютую ненависть к Сталину всех русофобов, и всем им, конечно, по душе, как изобразил тот час Борис Слуцкий в своем сочинении «Терпение»:

Сталин взял бокал вина
(может быть, стаканчик коньяка),
поднял тост, и мысль его должна
сохраниться на века: за терпение!
Это был не просто тост
(здравицам уже пришел конец).
Выпрямившись во весь рост,
великанам воздавал малец
за терпение.
Трус хвалил героев не за честь,
а за то, что в них терпенье есть.
— Вытерпели вы меня, — сказал
вождь народу. И благодарил.
Это молча слушал пьяных зал.
Ничего не говорил.
Только прокричал «ура!».
Вот иаковская была пора.
Страстотерпцы выпили за страсть,
выпили и закусили всласть.

Эту гнусность напечатал в «Огоньке» В. Коротич. Что в ней — борьба против культа личности? Нет, оскорбление русского и других народов нашей страны, представители которых находились тогда в том зале. Сбродом сластен, выпивох, безответными тупыми страстотерпцами представлены герои величайшей войны, победители фашизма, освободители Родины и Европы. И Коротич еще осмеливается говорить об интернационализме, о консолидации во имя перестройки!

М. Шатров и А. Рыбаков почему-то уверены, что если будут твердить о жалкости, слабости, беспомощности Сталина в молодые годы, то поверят им, а не тому факту, что Сталина шесть раз арестовывали и бросали в тюрьмы, ссылали, а он пять раз оттуда бежал.

Они почему-то думают, что если вслед за Троцким затянут лазаря о серости, посредственности Сталина, то поверят им, видевшим его только на портретах, а не Черчиллю, который знал его по труднейшей работе в годы войны и преклонялся перед ним.

Они почему-то полагают, что если изобразят Сталина трусом, то все скажут им за правду спасибо и никто не вспомнит ни того, что в сорок первом Сталин ни на час не покидал Москвы, ни того, что он приказал 7 ноября 1941 года, когда враг стоял в нескольких десятках километров, провести на Красной площади парад, на котором выступил с речью.

Они почему-то не сомневаются, что если свалят все неудачи войны на Сталина, то опять же вера будет только им, один из которых, кажется, даже и в армии-то не служил, а не таким крупнейшим авторитетам второй мировой войны, как Г. К. Жуков, назвавший Сталина «достойным Вер-

ховным Главнокомандующим», или А. М. Василевский, считавший его «выдающимся полководцем». Причем они говорили и писали так не при жизни Сталина, не в годы, когда Анатолий Рыбаков получил свою Сталинскую премию и благодарил дорогого Иосифа Виссарионовича, а после его смерти и даже после известного постановления о культе личности.

Им почему-то кажется, что они имеют право на «версию» о том, что Сталин — убийца и Троцкого, и Кирова, и Орджоникидзе, хотя сами, конечно, не потерпели бы версии, допустим, даже о том, что они — убийцы литературной добросовестности, хорошего вкуса и приличного языка в литературе.

Они почему-то уверовали, что никто не посмеет дать им достойной отповеди.

Возвращаясь к М. Джиласу, можно заметить, что, ставя свой вопрос о загадке Сталина, он хотел сам дать и отгадку: «Если мы попытаемся оценить фактическую роль Сталина в истории коммунизма, то и теперь и в будущем его следует считать наиболее важной фигурой после Ленина».

Я это говорю не для того, чтобы этими примерами обелить трагические ошибки и преступления Сталина. Но анализ сталинской деятельности не может быть ограничен только преступлениями.

Понял ли читатель, почему, читая в «Правде» письмо восьми театральных деятелей в защиту пьесы М. Шатрова «Дальше... дальше... дальше!», я вспомнил выпускной вечер в школе моей дочери, на котором страстно прозвучал призыв М. Захарова следовать девизу Маркса «Подвергай все сомнению!»? Да потому, конечно, что эта пьеса М. Шатрова, как и его «Брестский мир», принадлежит к разряду тех обильных ныне сенсационных газетно-журнальных публикаций, в подходе к которым помянутый девиз был бы как раз чрезвычайно уместен, более того — он тут совершенно необходим, притом во всем — от замысла и цели до языка. И прежде всего — во имя исторической истины, в интересах достойного воспитания молодежи.

Захаров же почему-то застенчиво уклонился от следования здесь столь любимому девизу. И никто из его сотоварищей не пожелал поверить пьесу М. Шатрова своим богатым художническим опытом. Неужели, скажем, Михаил Ульянов, прочитавший когда-то по радио весь «Тихий Дон», а недавно — «Мертвые души», не понимает, не чувствует, какая бездна между языком этих книг и сочинения Шатрова? Хотя бы только это!.. Неужели Кирилл Лавров, блистательно сыгравший в кино Ивана Карамазова, не видит, что там были подлинные глубины человеческого духа и характера, а здесь — марионетки на веревочках? Неужели Георгий Товстоногов, пронзительно поставивший толстовского «Холстомера», не в силах разглядеть, что в образе лошади, воссозданном неподражаемым Лебедевым, больше жизни и правды, души и ума, чем в шатровских вождях и политиках, членах ЦК и членах Политбюро? Неужели Андрей Гончаров и Виктор Розов, Александр Гельман и Олег Ефремов слаще репы ничего не едали?..

Впрочем, во всем этом меня гораздо больше тревожит записка восьмиклассницы, которую Шатров не постеснялся опубликовать в «Огоньке»: «Мы начинаем проходить историю СССР и изучаем ее в основном по вашим пьесам. Через три года нам сдавать экзамены в институт. Успеете ли вы к этому времени дописать всю историю СССР?»

Милая девочка, он-то успеет, не сомневайся. Но успеешь ли ты под шатровско-рыбаковско-«огоньковским» напором задуматься, усомниться и понять, что суют тебе под видом родной истории и родной художественной литературы?

Из нашей почты

В КРУГОВОРОТЕ ЦЕН. ОТКЛИКИ ЧИТАТЕЛЕЙ

В «Нашем современнике» (1988, № 7) была опубликована подборка статей по вопросам ценообразования. Она вызвала большую читательскую почту. Часть откликов публикуем.

Статью (полемические заметки) Б. Куликова прочитали всей семьей с карандашом в руках. Молодец Куликов!

Я не политик, далека и от экономики, но вижу, чувствую: что-то неладное у нас в стране творится в смысле цен (и кооперативов тоже, но это другой разговор). У нас, как принято говорить, — среднестатистическая семья. Муж — рабочий, его зарплата — 200—220 руб. в месяц, моя зарплата — 150. Трое детей. Жить в последнее время (года два) стало невмоготу. Непомерно высокие цены на мясо, колбасу, незаметно для глаза повысились цены и на рожки, вермишель, рис и т. д. Про промышленные товары и не говорю. Хорошее пальто стоит 400 руб., нашей месячной зарплаты не хватит. А нужно одеть всех и самим одеться. Для квартиры мебель мы не покупали лет 10—12. На что, на какие доходы? Все уходит на питание.

И снова повышение цен обещают. Как жить, как сводить концы с концами? Думала, может, я где-то просчитываюсь в домашней экономике, хотя в нашей семье уважают копейку, уж слишком она нелегко достается. Но нет, у других так же, денег не хватает, даже на самое необходимое.

Много можно писать на эту тему. Пылятся ковры в магазинах, золото редко кто берет. Нет ничего в магазинах. Впрочем, есть котлеты, пельмени, но их, простите, наша кошка не ест. А ребенка одеть — проблема из проблем. Нет колготок (12—14 размера), нет трусиков, маечек, платьиц, нет шубок и пальто. Нет игрушек. Полгода ищу куклу в наших магазинах, купила медведя, малышка его боится, и пылится этот зверь, купленный за 12 руб. 50 коп., на антресолях.

Заканчиваю свое письмо. Оно ничего не убавит и не прибавит, но молчать больше нет сил. Скажу только еще, что дотация, которую нам обещают, — сказка для детей. Честно говоря, очень хотела бы, чтобы академик Т. И. Заславская побывала в моей шкуре, месяц-другой пожила бы так, как мы живем.

М. А. КАРАВАЕВА, г. Красноуфимск Свердловской обл.

Я почитатель вашего журнала. Спасибо, что вы есть, что вы по-настоящему болеете за народ, за его будущее. Поводов написать вам было много: «Наш современник» — журнал с мужественной гражданской позицией. Конкретным же толчком написать свои предложения послужила статья Б. Куликова «Как же вести дом?».

Экономика страны в тупике, нет «сколько-нибудь цельной экономической концепции социализма», а экономических институтов перевалило за сотню. Академики-экономисты есть, здравствуют, их очень даже немало. За какие такие расчудесные экономические теории были ими получены звания, степени, огромные оклады?

И вот что интересно: идет перестройка, приводится в соответствие труд и зарплата, идут переаттестации — многие это ощутили на своем кармане и моральном состоянии (ты — внизу, при любой реформе манипулируют тобой: и понизят, и морально унизят, и сократят). Люди же, доведшие экономику целой страны до тупика, остаются «при козырях» весьма и весьма немалых. Разве кому-нибудь из тех самых академиков снизили зарплату? Что они потеряли в моральном плане за свой вред, за свое н е с о о т в е т с т в и е и н е у м е н и е вести экономику государства? Увы, они и сейчас в числе вершителей чужих судеб.

Наши специалисты, подготовленные в период застоя — а значит, грош цена их дипломам, — будут барахтаться в жуткой реке преобразований, которые предлагают Т. И. Заславская, А. Г. Аганбегян и иже с ними. Сами же ученые эти деятели, ни за что не отвечая, с берега станут наблюдать — выплывем мы или утонем?

Так вот, чтобы не было очередного развлечения для академиков от экономики и чтобы они устремили свои мыслительные способности в нужном направлении, предлагаю:

1. Поставить вопрос о лишении академических званий экономистов, ведущих столько лет экономику к развалу.

2. Зарплату положить как и пресловутым инженерам — по 130—150 руб.

И начать это надо с Аганбегяна и Заславской, чтобы предлагаемую ими реформу они встретили в *равных условиях* с большинством народа.

И еще. Вопрос о повышении цен на продукты — особо важный в жизни страны. *Без референдума* просто *нельзя*. Иначе все разговоры о демократизации превратятся в пустое сотрясание воздуха, в словесную шелуху и обман.

Надежда Васильевна ГРАММ, Москва.

Согласна, дефицит ликвидируется не высокими ценами, а изобилием товаров. Но оно с неба не свалится. И как ни размышляй над вашими информациями, а все-таки к нему (к изобилию) *надо* идти только через цены.

Известно, что дефицит — это то, чего *еще* мало, а спрос *еще* велик. Дефицит всегда был, есть и должен быть. В этом залог развития общества: преодолев один дефицит, наступать на следующий. И чем успешнее общество борется со своими все новыми и новыми дефицитами, тем оно прогрессивнее. А как бороться? Именно через цены! Цена должна централизованно, но на демократической основе увязывать спрос и предложение. Иначе это сделает спекулянт. Чем больше спрос и меньше предложение, тем выше должна быть цена. Высокая цена на дефицит — вот тот экономический рычаг, который будет заинтересовывать производителей в производстве недостающих товаров. И делать это, пока спрос на них не будет удовлетворен; при этом цена должна упасть до определенного сбалансированного уровня, позволяющего выгодно выпускать эту продукцию до тех пор, пока она нужна.

В выпуске товара участвует много звеньев производственного цикла. И *все* звенья должны быть заинтересованы в конечном результате, иначе цепь заклинит. Если зарплата председателя колхоза не станет в зависимость от результатов труда подрядного звена — подряд заглохнет рано или поздно. И никакие директивы не помогут.

И раньше предпринимались меры, которым якобы надлежало дать положительные результаты. Но почему никто (ни писатели, ни экономисты) никогда не упоминает денежную реформу 1961 года? На мой взгляд, именно эта мера оказалась самой ошибочной и разрушительной. Это был трамплин, с которого наша экономика пошла к застою. Это было грубым вмешательством в один из объективно существующих законов развития общества.

Количество денег сократили в 10 раз, а они после этого уже сами стихийно пошли в рост, как бы желая вернуться к своему прежнему уровню. А как вернуться? Путем незаработанных премий и приписок к зарплате (отсюда рост себестоимости продукции и ее цена; причем премии — та же уравниловка), путем ухудшения качества продукции при растущих затратах на ее производство и «вымывания» дешевых изделий из сферы производства. И пошла лавина! Остановить ее нужно исправлением самой ошибки — и тогда не потребуется менять цены. Это не просто, для этого необходимо мужество. Не из-за отсутствия ли его все наши известные экономисты об указанной ошибке скромно умалчивают. Это их тогдашняя соглашательская поддержка подобных «мер» привела к нынешней чехарде. Взять с колхозника 500 тыс. руб. (по старым деньгам) за комбайн вряд ли поднялась бы рука (ведь это — полмиллиона!), а 50 тысяч руб. (в новых деньгах). — ничего, можно.

А цены? В нынешних условиях хозяйствования цены не могут быть подачкой для бедных, для этого есть другие способы.

Е. И. КИЙКОВА, инженер, Донецк.

Каждый раз, встречая в заметках по проблематике цен, дефицита, невыполнения планов товарооборота или роста платных услуг заявления штатных экономистов (в том числе и «видных»), об огромных избытках денежных средств у населения, якобы представляющих собой «неудовлетворенный», отложенный и т. д. спрос на товары и услуги, теряюсь в догадках: что это — некомпетентность, незнание жизни или злонамеренное притворство в целях поддержки столь сладостной для кого-то идеи о необходимости и неизбежности повышения цен на многие товары первой необходимости, в особенности на продовольствие?

Прежде чем опровергать этих экономистов их же «официальными данными Госкомстата СССР» о степени концентрации денежных накоплений у населения, хотел бы задать им два вопроса, вернее — попросил бы объяснить два бросающихся в глаза «феномена»:

1. На любой бензозаправочной станции для частников, в любое время, очередь к колонкам 93-го бензина (стоимостью 40 коп. за литр) всегда меньше, чем к колонкам 76-го (цена которого 30 коп.), хотя подавляющее большинство заправляющихся здесь автомашин выпущено заводами для эксплуатации на 93-м.

2. Прилавки парфюмерных отделов магазинов завалены новыми сортами хорошего мыла по цене около рубля за 150-граммовый кусок, которые, прямо скажем, не расхватывают. Старые, дешевые сорта мыла (земляничное, семейное, банное и т. д.) с упомянутых прилавков улетучились. Если вдруг где-то «выбрасывают» (как правило, не в магазинах, а прямо на улице) партию дешевого мыла — мгновенно выстраивается огромная очередь.

Как эти факты увязать с лишними деньгами у населения?

Если быть мало-мальски честным экономистом, то в отсутствии лишних денег у населения легко убедиться и не вставая из-за своего рабочего стола, — стоит лишь проанализировать соответствующие данные Госкомстата СССР. В частности, в 25-м номере еженедельника «Аргументы и факты» за 1988 год сообщается (естественно, весьма скромно, без обычной помпы и гордости, мелким шрифтом, в самом конце комментария к невыразительной и малосодержательной диаграмме), что на долю 3 процентов населения приходится сумма вкладов в Сберегательный банк СССР, равная сумме вкладов остальных 97 процентов населения СССР. Уже сама по себе такая концентрация денежных средств у очень малой части населения представляется мало соответствующей принципам «равенства, братства, социальной справедливости».

Согласно данным Госкомстата СССР, на 97 процентов населения, таким образом, приходилось на 1 января 1987 года около 134 млрд. рублей денежных накоплений в учреждениях Сберегательного банка СССР, что составляет менее 500 рублей на душу населения, или (если принять за среднюю численность семьи 3,5 человека) около 1,7 тысячи рублей на семью. Причем в эту сумму входят и денежные средства, накапливаемые и изымаемые в течение года.

Но даже если исходить из полутора тысяч рублей, то ясно, что только пятая-шестая советская семья может приобрести один легковой автомобиль (если не будет покупаться ничего другого). Вздумай такая семья купить мебель, то у нее уже не останется средств даже на телевизор, холодильник и т. д. И отдыхать она должна, естественно, обходясь так называемыми отпускными. Это при нынешних-то ценах на путевки и прочие связанные с отдыхом затраты...

Еще раз позволю себе задаться риторическим вопросом: можно ли, зная объективные показатели, характеризующие степень «богатства» подавляющей части населения, вообще ставить вопрос о существенном повышении цен на какие бы то ни было товары повседневного спроса? Ведь если из общей суммы накоплений, находящихся у 97 процентов населения, изъять вклады примерно 7 процентов, следующих за верхними 3 процентами, то получится, дорогие наши экономисты, что у 9-ти из 10 советских граждан скорее всего (точных данных, к сожалению, не опубликовано) никаких накоплений нет, что живут они, перебиваясь от зарплаты до зарплаты, зачастую «перехватывая» до получки, чтобы оплатить хлеб насущный для себя и детей. Так неужели единственный магистральный путь нашего социалистического развития — это дальнейшее снижение их жизненного уровня?!

А. И. ПАНЦЫРНЫЙ, Москва.

Превратив в догмы некоторые представления К. Маркса и В. И. Ленина об основной роли индустрии, базировавшиеся на фактах прошлого века, наши политэкономы до сих пор продолжают твердить, что у современной индустрии (то есть промышленности и строительства), помимо производства потребительских товаров, жилья и услуг населению, есть еще какие-то «свои», «основные» и даже «более важные задачи».

На самом же деле многочисленные факты, фиксируемые объективной и достоверной статистикой, показывают, что даже машиностроение уже давно стало производителем главным образом потребительских изделий. По сравнению с масштабами их выпуска все остальное машиностроение (для орудий труда) «превратилось» всего лишь в «небольшие» цехи нестандартного оборудования. Так, например, самый крупный в мире выпуск станков на московском заводе «Красный пролетарий» составляет 25 штук в сутки, но выпуск легковых автомобилей на ВАЗе — более 2500 штук!

В статистике индустриально развитых стран имеется множество других, в том числе и более общих данных, подтверждающих это положение.

Аналогичным образом и строительство жилой площади в индустриально развитых странах в несколько раз превышает строительство промышленное: производственной площади (для работы на ней в две-три смены), естественно, нужно меньше, чем современного жилья семей рабочих и служащих, а также объектов социальной инфраструктуры — школ, больниц, гостиниц, кафе и т. д. В 1985 году из 201,8 млрд. долларов всего объема нового строительства в США лишь 10,7 млрд. пришлось на промышленное, а на жилищное — 87,2, то есть в 8,2 раза больше, на военные нужды — лишь 2,0 млрд. Большая часть остального объема направлена на объекты социальной инфраструктуры и энергетики, которые тоже работают преимущественно на удовлетворение социальных нужд.

Здесь важно заметить, что все виды автоматизации всегда и везде применялись и применяются прежде всего и главным образом при массовом производстве товаров народного потребления и деталей для комплектации и строительства жилья, если не считать, конечно, массового выпуска боеприпасов, особенно во время войны. Наши же потуги внедрить дорогостоящую электронную автоматизацию при мелкосерийном (хотя и гипертрофированном!) производстве станков, прессов, кранов и другого оборудования производственного и коммунального назначения ничего, кроме убытков и дальнейшего обострения экономических трудностей, не дадут.

Погоня индустрии за химерами — главная причина всех дефицитов в стране, порождаемой ими коррупции, долгостроев, стопроцентных госзаказов, девяностопроцентных отчислений прибыли в бюджеты, других нелепостей и бед нашей экономики.

Превратив колхозы и совхозы из производителей в пожирателей продуктов и техники, мы выпускаем тяжелых тракторов и комбайнов в несколько раз больше, чем США. Всевозможного металлообрабатывающего оборудования мы накопили уже больше, чем США, Япония и ФРГ, вместе взятые. Несмотря на наше многолетнее и многократное лидерство в производстве всевозможного «тяжелого» стационарного оборудования, о чем свидетельствуют скрываемые Госкомстатом сравнительные данные о выпуске комплектующих это оборудование электродвигателей, тот же Госкомстат без-

оговорочно утверждает в своих ежегодниках, что мы все еще отстаем от США по продукции машиностроения. Этой дезинформацией оправдывается дальнейшая безрассудная гонка в машиностроении и производственном строительстве в ущерб качеству и решению всех наших социальных проблем. Получается, что наши ведущие ученые-экономисты, Госкомстат, Госплан, Минфин и множество министерств — «динозавров индустриализации» делают все возможное, чтобы советские люди, перерабатывающие природных ресурсов больше, чем кто-либо в мире, все глубже погружались в пучину напрасного труда и никогда не жили так обеспеченно, как работающие в США, ФРГ и Японии. Ирония в том, что творить невиданные в истории всех времен и народов глупости в экономике помогают нам наши просторы, которых нет ни в ФРГ, ни в Японии...

В. М. ПИСАРЕВ, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник ВНИИстандартэлектро Минэлектротехпрома, Москва

Очень признателен «Нашему современнику» за то, что на своих страницах он развернул полемику о так называемой «реформе цен», а проще говоря, о требованиях некоторых ученых-экономистов повысить розничные цены на все основные продукты питания.

В экономическом репортаже А. Очкина и полемических заметках Б. Куликова убедительно доказано, что без коренного изменения всей структуры сельскохозяйственного производства и освобождения его от многочисленной командно-бюрократической надстройки никакое повышение цен не даст положительных результатов, то есть количество и качество продуктов не увеличится. Зато произойдет очередное удорожание всех прочих товаров и услуг, снижение покупательной способности рубля.

Жаль, что, называя поименно основных поборников повышения розничных цен — Заславскую, Аганбегяна, Шмелева (народ должен знать своих «благодетелей»), Б. Куликов не упомянул доктора наук О. Лациса. Этот ученый на страницах некоторых газет развернул бурную деятельность, требуя увеличить цены на хлеб, мясо, молоко и другие продукты первой необходимости. Причем не стесняясь замалчивать и извращать факты и события в удобной для него форме. Мы, старшее поколение, хорошо помним изобилие разнообразных и высококачественных товаров в конце сороковых — начале пятидесятых годов. Мы с женой в те годы зарабатывали вдвое меньше, а купить могли на свою зарплату больше. О качестве товаров и говорить не приходится, оно было гораздо выше. О многих продуктах, которые тогда свободно продавались, наши взрослые дети (35 лет и 22 года) даже и не слышали. А тов. Лацис вопреки фактам пытается нас уверить, что ничего этого не было и ежегодных снижений цен тоже. А чтобы придать своим рассуждениям больше убедительности, сравнивает цены на товары с довоенными. Но у нас лишь недавно перевелись любители делать сравнения с 1913 годом При этом О. Лацис «забывает» упомянуть о первой послевоенной денежной реформе, которая была актом социальной справедливости, и о второй денежной реформе 1961 года, в результате которой начался и продолжается бурный рост цен на товары и услуги и девальвация рубля.

И вот уважаемые академики настаивают на очередном повышении цен, которое вызовет резкое снижение жизненного уровня людей со средними и низкими доходами На это обстоятельство экономистам с высокими учеными степенями, видимо, наплевать, ведь всегда найдутся такие, кто будет, не считаясь с фактами, доказывать, что черное — это белое, а жить стало лучше, стало веселей.

Г. А. НИКИФОРОВ, ветеран войны и труда, г. Горький.

Спасибо редакции и авторам журнала за выступления против повышения цен на продукты питания. Конечно, цены все равно повысят, но может, не так бешено, как если бы молчала пресса.

Когда-то выйдет закон о новых ценах, а они, цены, до закона поднимаются. У нас в Дмитровском районе нет картошки по 10 коп. за кг, только по 30, лук не 50, а 70 коп., соленые огурцы — 2 руб., говядина — 3 руб., свинина — 3 руб. 80 коп. Напишут или устно заявят: «КООП». И плати по повышенной цене.

Хорошо, если бы вы уделили внимание продавцам, особенно московским. Уж очень они обвешивают. Чем дороже продукты, тем более они наживаются на обвесе. Почему пропали контрольные весы в магазинах? Дома взвесишь — много не хватает. А не докажешь.

А. Ф. ЛОБАНОВА, д. Целеево Московской обл.

В № 7 вашего журнала за 1988 год мы, сотрудники Нижне-Волжского НИИ геологии и геофизики, прочли статью Б. Куликова «Как же вести дом?». Она вызвала бурю эмоций, крайнее изумление по поводу того, какими неаргументированными были выступления ведущих экономистов нашей страны А. Г. Аганбегяна, Т. И. Заславской и Н. П. Шмелева, а потом и выступление в печати А. Н. Комина по поводу реформы цен.

Хотелось бы, чтобы факты, приведенные в статье, стали известны как можно большему числу читателей, а не только подписчикам вашего журнала. Согласитесь, что тираж в 240 000 экз. — это капля в море для читающих в Союзе.

Мы предлагаем перепечатать эту статью в центральной прессе с большим тиражом издания.

Люди должны знать правду!

Е. О. МАКСИМОВА, В. Б. ЩЕГЛОВ, А. В. ПАНКРАТОВ и другие (всего 12 подписей). Саратов

С Борисом Куликовым согласны полностью. Хочется статью его размножить и раздать всем читателям (мы — работники библиотеки), чтобы каждый знал, что значит повышение цен для народа.

Почему бы Б. Куликова не пригласить на телевидение? Аганбегяна, Заславскую и других мы уже наслушались.

Благодарим за статью.

Н. СУРИКОВА и еще три подписи, Ташкент

Давно собиралась написать, но думала, что уже и не надо. Но прочитала в журнале «Наш современник» статьи по поводу цен и решила поделиться своими мыслями.

Я пенсионерка, мне уже немало лет. Когда работала, то заработок у меня был 360 руб. (Это было до денежной реформы). Перешла на другую работу, заработок составил 50 руб. 80 коп. В 1962 году я пошла на пенсию. Мне начислили 42 руб. 50 коп. Через два года прибавили 2 руб. 50 коп. Пошла работать. Года через три мне сделали перечисление, и у меня уже получилось 52 руб. Принималась ещё работать. Еще собес подкинул 3 руб. Теперь моя пенсия 55 руб.

Неужели есть люди, которые верят, что и такой суммы хватает с избытком человеку для нормального проживания при теперешних ценах на все? А где же минимум 60 руб., про который мы с радостью читали в газетах? Пятерка — также заметная добавка в нашем старческом бытие.

Таких, как я, забытых богом и людьми, еще не мало.

Как ни экономь, а на башмаки и сарафан трудно раскошелиться. Вот соберемся такие горемычные, поездыхаем, что о нас позабыли, что без всяких объяснений в газетах продукты все дорожают и дорожают, особенно самые необходимые: хлеб, булочные изделия, макаронные изделия.

Извините, наболело у меня, я и написала.

КАРАВАЕВА Валентина Григорьевна, пос. Тургояк Челябинской обл.

Хорошо бы провести плебисцит по этому вопросу и послушать, что скажет народ. Что касается меня, то я бы предложил:

1. Реорганизовать Госкомцен СССР, удалив из него высокопоставленных бюрократов, оставшихся здесь еще от застойного периода. Включить в его работу высокообразованных, прогрессивно думающих экономистов, ученых, представителей профсоюзов, социологов, медиков, актив трудящихся, журналистов и писателей, а также других заинтересованных лиц и ведомства.

2. Заменить всех бездарных «номенклатурных» руководителей на честных, энергичных и опытных работников, открыть широкую дорогу к руководству не только членам партии, но и высококвалифицированным беспартийным специалистам.

3. С целью экономии народных средств немедленно прекратить все необоснованные «проекты века», как то: переброску северных рек, строительство морских дамб, устройство гигантских водохранилищ с затоплением тысяч гектаров пахотных земель и т. д., отдав указание Министерству финансов о немедленном прекращении финансирования этих проектов (из газет известно, что все эти работы, несмотря на запреты, все еще продолжаются). Освободившуюся технику и средства направить на строительство дорог с твердым покрытием, без чего поднять производительность сельского хозяйства невозможно.

Д. Д. СОКОЛОВ, пенсионер, Москва

Прочитал в вашем журнале статьи Бориса Куликова «Как же вести дом?», М. Ларионова «Деньги, цена и зарплата» и К. Смирнова «Реформа цен и цена справедливости» и должен сказать, что они одна другой лучше, под каждой готов подписаться. Большое спасибо им и вам за публикацию. Непонятно лишь одно: почему ни правительство, ни «экономические зубры» не реагируют на них? Или там нет читателей, а одни руководители? Ни в одной цивилизованной стране такие статьи не проходят без реакции членов правительства или партийных органов.

М. Г. МУХИН, Алушта

ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ЗА 30 КОПЕЕК

Случайно оказался в кинотеатре в утреннее время. Билеты дешевые: 30 копеек. Название заманчивое: «Дорогое удовольствие». Про нас, современников, про наше время, перестроечников. Картину смотрел без передыху, особенно вторую половину. Молодцы! Наивные люди спрашивают: где у нас противники перестройки? Назовите их, покажите! Создатели фильма (студия «Мосфильм») нашли и показали. Показали очень здорово, потрясающе. В особенности когда на всем экране, в натуральном цвете, целиком и «по частям», довольно длительное для кинематографа время — зритель должен успеть все разглядеть и понять — показываются молодые женщины, которые играют свои роли по замыслу сценариста и постановщика — без одежды, без всякой одежды, видимо, чтобы не мешала обнажить идею. Смело, конечно, оригинально, зато впечатляюще. Маски сброшены. Враги перестройки трусливо прячутся за юбку Нины Андреевой. А здесь никаких юбок и всего прочего, чтобы можно было увидеть подлинный облик негодных, с головы до ног, так сказать, по всей периферии, говоря по-никошному, панорамно и со смаком. Хорошо показаны противники перестройки! Высвечены прожекторами со всех сторон, все показано (не соцреализм!), все видно! Только, замечу, один недостаток: к сожалению, у этих отвратительно-привлекательных врагов перестройки (враг коварный!) зачем-то одно место (безыдейное? или самое идейное?) прикрыто лоскутком. Нехорошо! Не в духе гласности: не должно быть закрытых зон! Все должно быть доступно советскому человеку, все ценности надо ему дать. Этот фильм обязательно нужно посмотреть тем, кто еще скулит по поводу якобы нехватки продовольственных товаров. Когда смотришь на розовые и упитанные тела во всей их полноте и многосторонности обзора (блестящая работа оператора!), душа наполняется осознанием того, что Продовольственная программа выполняется! Свидетельство этого — избранные места у героинь.

Несомненно, что успеху фильма способствует участие в нем секретаря Союза кинематографистов СССР Виктора Петровича Демина, который выступает в нескольких ролях, в частности в качестве одного из участников встречи героев, где производится демонстрация антиперестроечных сил (тел) в обнаженном, точнее сказать, раздетом виде. Его идейное руководство чувствуется очень сильно, до невозможности больше терпеть созерцание всего показываемого.

Возникает и другой вопрос: куда мы дойдем с таким искусством? И насколько помогает оно действительной перестройке?

Вкусивший удовольствие Г. МАТВЕЕЦ.

ОТ РЕДАКЦИИ

К нам продолжают поступать письма с вопросом: «Почему «Наш современник» перестал появляться в киосках «Союзпечати»?». Как мы уже сообщали, издательство «Литературная газета», ссылаясь на нехватку бумаги, отказывается печатать ту часть тиража, которая шла для продажи в розницу, тираж «Нашего современника» оказался строго ограниченным — по числу подписчиков.

«Можно ли в таком случае подписаться на этот год?» — спрашивают читатели. Да, можно. **ПОДПИСКА НА «НАШ СОВРЕМЕННИК» НА ОСТАВШИЕСЯ МЕСЯЦЫ 1989 ГОДА И НА 1990 ГОД НЕ ЛИМИТИРОВАНА.** Любое отделение связи обязано оформить эту подписку. Обо всех случаях отказа просим информировать редакцию — меры будут приняты.

От читателей и от работников «Союзпечати», занимающихся подпиской, мы получаем письма с просьбами сообщить, какие произведения появятся в «Нашем современнике» в ближайших номерах этого года и в 1990 году.

В ближайших номерах публикуются произведения В. Астафьева, В. Пикуля, А. Проханова, подборка рассказов молодых прозаиков, стихи и проза украинских авторов, очерки и статьи В. Распутина, И. Шафаревича, О. Платонова, актера и режиссера Н. Бурляева.

Что же касается будущего года, то журнал — не издательство, где загодя формируются годовые планы. Все талантливое, современное, имеющее большое общественное звучание «Наш современник» публиковал и будет публиковать в кратчайшие сроки. И мы убеждены, что для читателя прежде всего важно направление журнала. Направление «Нашего современника» выражено в творчестве писателей, которые здесь публиковались и будут публиковаться. Это прозаики Виктор Астафьев, Василий Белов, Юрий Бондарев, Валентин Распутин, Владимир Солоухин, Валентин Пикуль, Сергей Алексеев, Юрий Сергеев, поэты Станислав Куняев, Николай Старшинов, Ольга Фокина, Фазу Алиева, Николай Благов, Виктор Кочетков, публицисты Михаил Антонов, Иван Васильев, Аполлон Кузьмин, Анатолий Салуцкий, Владимир Ситников, критики Вадим Кожинов, Анатолий Ланщиков, Михаил Лобанов, Марк Любомудров, Владимир Бушин, Владимир Бондаренко. Редакция намерена знакомить своих читателей с новыми именами и всеми силами способствовать становлению молодых прозаиков, поэтов, критиков.